Франц Меринг

ОТ УТОПИИ К НАУКЕ

Перевод с немецкого
СО ВСТУПИТЕЛЬНЫМИ СТАТЬЯМИ
Давида Борисовича РЯЗАНОВА [Гольдендаха]
и Фридриха ЭНГЕЛЬСА

Юго-Восточное краевое партийное издательство «Буревестник»
Ростов-на-Дону—Краснодар, 1924.

Веб-публикация: Vive Liberta, 2011.
Ссылки на тематические материалы даны нами после текста книги

Содержание

Предисловие *Г.Литвина-Молотова* [Георгий Захарович Литвин, псевд. Литвин-Молотов (1898-1972)]

Общая характеристика XIX в. Очерк ***Д.Рязанова***

Развитие социализма от утопии к науке. Статья ***Фр.Энгельса***

Глава I. **Западно-европейский социализм**
- **Введение**
- **Великие утописты и их школы**
- **Мелко-буржуазные социалисты**

Глава II. **Классовая борьба западно-европейского пролетариата**
- **Английские фабричные законы и рабочие союзы**
- **Чартизм**
- **Первые революционные попытки французского пролетариата**
- **Социально-политический строй Германии до июльской революции**
- **Действие июльской революции 1830 г.**
- **Коммунизм подмастерьев. Тайные общества немецких эмигрантов. Вильгельм Вейтлинг**
- **Революционная агитация в Швейцарии**
- **Немецкий массовый пролетариат**
- **Голодные бунты. Силезские ткачи**

Глава III. **Разложение классической философии**
- **Классическая философия**
- **Разложение классической философии**
- **Борьба философии с романтикой**
- **Победа романтики**
- **Бруно Бауэр и Людвиг Фейербах**

Глава IV. **Немецкий социализм**
- **Христианско-феодальный социализм**
- **Буржуазный социализм**
- **Социализм философствующих остроумцев**
- **Макс Штирнер**
- **Государственный социализм Родбертуса**

Глава V. **Карл Маркс и Фридрих Энгельс**
- **Статьи Маркса**
- **Статьи Энгельса**
- **«Святое семейство»**

Глава VI. **Исторический материализм**
- **Энгельс о положении английских рабочих**
- **Маркс о Фейербахе**
- **Маркс против Прудона**

Глава VII. **Союз коммунистов**
- **Статьи в «Немецкой Брюссельской Газете»**
- **«Наемный труд и капитал». «О свободе торговли»**
- **Кризис в «Союзе справедливых»**
- **«Коммунистический Манифест»**

Глава VIII. **Успехи научного коммунизма**
- **Маркс о Лассале**
- **Маркс о товаре и деньгах**
- **Главное сочинение научного коммунизма**

Алфавитный указатель имен

Алфавитный указатель предметов

Предисловие.

Здесь, в одном томе мы из четырех томов «Истории Германской Социал-демократии» Меринга собрали наиболее существенное, касающееся *социалистических учений и движений* XIX-го века, полагая, что эти выборки из капитального труда Меринга явятся «превосходным пособием для тех, кто не может обращаться к специальным работам по истории классовой борьбы и социалистических идей не только в Германии, но и во Франции, в Англии» и др. странах в XIX веке. Мотивы, послужившие нам к этому, следующие: капитальный труд Меринга по истории германской социал-демократии получил массовое распространение. Однако, для массового читателя, да и для обыкновенного *читателя-средняка, эта* четырехтомная работа представляет немалые трудности: «являясь в значительной степени общей историей Германии в XIX веке, работа Меринга *по своему построению* дает не то, чего следовало бы ожидать от истории социал-демократической партии: на четырех почти одинаковых, *по размерам томов* работы Меринга подготовительному периоду партии посвящено целых два тома, и только остальные два тома позднейшему периоду». Таким образом, работа Меринга—*«больше история Германии*, чем история социал-демократии, больше *история социалистической* литературы,—чем история партии». Такая оценка работы Меринга дана тов. *И. Степановым. «Строго говоря,—отмечает тов. Степанов в предисловии* к этой работе Меринга,—в настоящее время была бы необходима история не германской *социал-демократической партии, а германской коммунистической* партии». Эта то история «будет в то же время и критической *историей германской социал-демократии, ее теории и практики, ее программы и тактики*». Однако, все эти недостатки не означают, что работа *Меринга теряет ныне всякий* интерес. ряд отделов книги, как раз здесь нами собранных, надолго остаются, как мы уже отмечали, незаменимым пособием для определенного круга читателей: «это те отделы, где Мерииг говорит о французских утопистах, о ранних ступенях рабочего движения, о 1848 годе, излагая важнейшие работы Маркса и Энгельса».

Сгруппировав эти отделы в одном томе, мы произвели в них необходимую перестановку в расположении материала и сделали ряд сокращений, избавив таким образом книгу от ряда частностей, затрудняющих

усвоение предмета малоподготовленным читателем. *Помимо того, в* последней главе, в изложении главного произведения научного коммунизма—«Капитала» К. *Маркса,—мы вставили из другой работы Меринга* «К. Маркс и история его жизни» изложение третьего тома «Капитала»

В начале книги мы приложили два вступительных очерка — выдержку из книги Д. Рязанова «Маркс и Энгельс»—об общей характеристике XIX века и статью Фр. Энгельса—«Развите социализма от утопии к науке», а в конце ее—алфавитно-предметный указатель.

Г. Литвин-Молотов.

Общая характеристика XIX века.

История XIX века определяется двумя основными фактами: промышленной революцией в Англии и великой революцией во Франции. Промышленная революция в Англии начинается приблизительно в 1760 году. Она растягивается на очень большой период. Разгар ее относится к концу XVIII столетия, но она заканчивается в Англии приблизительно в 1830 г.. Что такое промышленная революция? Это название, которое принадлежит Энгельсу, означает следующее: Англия была приблизительно во вторую половину XVIII века уже страной капиталистической. В ней уже существовал класс рабочих — класс пролетариев, т.-е. класс людей, лишенных всякой собственности, орудий производства и потому вынужденных, чтобы иметь возможность существовать, продавать, как товар, самих себя или, как говорится, свою собственную рабочую силу. Там уже был класс капиталистов, эксплоатировавший класс рабочих, был класс землевладельцев.

Все же капитализм в Англии в середине XVIII века был еще капитализмом, опиравшимся технически на старое ручное производство — ремесло. Это было не то старое производство ремесленное, когда мы имели в каждом маленьком предприятии одного мастера, пару или трех подмастерьев, несколько учеников. Это старое ремесленное производство уже уступало место капиталистическому способу. Как раз ко второй половине XVIII столетия в Англии развились уже сложившиеся формы той ступени капиталистического производства, которая называется мануфактурой. Мануфактурная стадия капиталистического развития производства отличается тем, что, при существовании отношений эксплоатации между капиталистами и рабочими, при существовании крупной уже мастерской, она не переходит за пределы ручного ремесла Но в техническом отношении, в отношении организации труда, она отличается от старого ремесленного способа тем, что, если в ремесленной мастерской работало в пределах одной мастерской 5, 6, 7 человек, то теперь капиталист соединяет в одном большом помещении —100, 200 ремесленников. Пусть это будет какое угодно ремесло, но в пределах этих 300 человек устанавливается в высокой степени развитое разделение труда со всеми его последствиями. Вы имеете перед собою капиталистическое предприятие без машин, без автоматических механизмов, но в котором разделение труда, разделение самого способа производства на различные частичные операции заходит уже очень далеко. И вот, как раз в середине XVIII века этот мануфактурный период достигает в Англии высшего расцвета

Только со второй половины, приблизительно с 60-х годов XVIII в., начинают изменяться самые технические основы производства. Вместо старых ремесленных орудий вводятся машины. Это изобретение машин начинается в той отрасли промышленности, которая являлась главной в Англии, в области текстильной промышленности. Ряд изобретений, одно за другим, преобразовывают технику ткацкого и прядильного ремесла. Приблизительно до конца 80 х годов XVIII столетия были уже изобретены и прядильные станки, и ткацкие. Была изобретена также в 1785 году усовершенствованная паровая машина Уатта, которая давала возможность устраивать фабрики не только на берегах рек, доставлявших необходимую водяную силу, но и переносить их в города. А это, в свою очередь, создавало благоприятные условия для сосредоточения, концентрации производства. С 1785 года, со времени введения этой паровой машины, начинаются попытки применения пара, как двигателя, в целом ряде отраслей промышленности. Но это дело шло не так быстро, как это рассказывается иногда в наших книжках. Вот почему я и назвал период с 1760 до 1830 г., как период всей этой великой промышленной революции. Так, например, прядильный станок, автоматический сельфактор получил свою законченную, усовершенствованную форму только в 1825 году. Ткацкий станок получил свою современную форму только в 1813 г., хотя первые станки были изобретены еще до 1760 г. и несколько позже, но значительно раньше этой усовершенствованной формы.

Представте себе теперь страну, в которой за эти 70 лет вводится непрерывно одно изобретение за другим, в которой производство все более концентрируется, в которой происходит непрерывно процесс экспроприации, разорения, уничтожения мелкого ремесленного производства, разорения мелких мастерских, ткацких и прядильных. Вместо ремесленников вы получаете все более и более увеличивающуюся массу пролетариев. Таким образом, в Англии к концу XVIII в., вместо старого класса рабочих, который начал развиваться в XVI—XVII вв. и который представлял собою еще незначительную часть населения даже в первой половине XVIII века, вы к концу XVIII века, в особенности к началу XIX, получаете значительный класс населения, определяющий собою, кладущий определенную печать на все эти общественные отношения. Вместе с этой промышленной революцией происходит и известная концентрация в среде самого рабочего класса Вот это безусловное изменение всех хозяйственных отношений, вот это вырывание старых ткачей и прядильщиков из их прежних обычных условий существования, при которых старый мануфактурный рабочий знал, что отец его, дед его жил в тех же условиях, в которых мануфактурный рабочий отличается мало чем от ремесленника, от крестьянина—сменились такими условиями, при которых каждый из них хорошо знал: вчера было так, теперь стало иначе. Вчера было хорошо, были унаследованы хорошие, установившиеся отношения между предпринимателями и рабочими. Теперь это изменилось, и предприниматели беспощадно выбрасывают десятки и сотни этих рабочих. В ответ на это коренное изменение самих условий существования рабочих является реакция не в том смысле, как мы обыкновенно говорим,

а воздействие рабочих на это потрясение, на эту революцию. Рабочие возмущаются, рабочие стараются отбояриться от этих новых условий. Вполне понятно, что вся их ненависть, все их негодование направляются сначала на видимый признак этой новой, для них неприятной, революции, она направляется против машин, в которых для них олицетворяются все беды, все зло. И вот, в начале XIX столетия начинается ряд возмущений рабочих против машин, против новых технических условий производства Оно достигает наиболее крупных размеров в Англии как раз к 1815 г., когда ткацкий станок получил свою усовершенствованную форму. К этому году, когда движение охватывает все промышленные центры и когда из чисто стихийного движения оно превращается уже в организованное, оно приобретает свои лозунги и получает своих вождей. Это движение, направленное против машин, известно под именем движения «луддитов».

По одной версии, это название происходит от имени одного рабочего, по другой—оно связано с именем сказочного генерала Лудда, которым рабочие подписывали свои прокламации...

Против этого движения, против движения луддитов правящие классы, господствовавшая тогда олигархия, направляли самые жестокие репрессии. За разрушение машин, за попытку попортить машины, назначена была смертная казнь, и не один рабочий пошел на виселицу.

Требовалась более высокая ступень развития этого рабочего движения, нужна была пропаганда революционеров, чтобы объяснить рабочим, что вина лежит не в самих машинах, а в тех условиях, при которых эти новые машины применяются. Вот это революционное движение, движение, которое поставило себе целью из рабочих создать сознательную массу, которая могла бы бороться против определенных общественных и политических условий, начинает в Англии сильно развиваться как раз с 1815 г. Но это революционное движение имело уже своих предшественников несколько раньше, в конце XVIII столетия.

Однако, чтобы понять роль этих предшественников, нам придется обратиться теперь к Франции.

Французская революция, вспыхнула в 1789 г.. Она достигает своего наивысшего подъема в 1793 году. С 1794 г. она уже идет на убыль и приводит через несколько лет к установлению военной диктатуры Наполеона. В 1799 г. Наполеон совершает свой переворот, 5 лет состоит консулом, потом объявляет себя императором и господствует во Франции до 1815 года.

Франция до конца XVIII века представляла собою страну, во главе которой стоял неограниченный король, как у нас в начале XX столетия. На самом же деле господство принадлежало дворянству и духовенству, которое часть своего влияния продавало, за те или иные денежные подачки, уже народившейся финансово-торговой буржуазии. Под влиянием сильного движения среди народных масс, среди мелких производителей, среди крестьян, среди мелких и средних промышленников, не имевших никаких привилегий, во Франции нарастает сильное революционное движение, которое, в конце концов, заставляет королевскую власть пойти на уступки. Королевская власть созывает так называемые генеральные

штаты. В процессе борьбы двух различных общественных группировок, классов, городской бедноты с привилегированными сословиями, власть попадает 10 августа 1792 г. в руки революционной мелкой буржуазии и парижских рабочих. Внешним выражением этого господства является господство якобинцев во главе с Робеспьером, Маратом и Дантоном. В течение 2 лет Франция находится в руках восставшего народа, авангардом которого является революционный Париж. Эти якобинцы были представители буржуазии, но доведшие до логического конца требования этой буржуазии. Это не были коммунисты, это не были социалисты. Коммунистами и социалистами не были ни Робеспьер, ни Марат. Наоборот, и Марат, и Робеспьер, и Дантон были только мелко-буржуазными демократами, взявшими на себя ту роль, ту задачу, которую должна была выполнить вся буржуазия, т.-е. очистить Францию от всех остатков феодального режима, создать свободные политические условия, при которых могла бы свободно развиваться деятельность всех частных собственников, при которых такой мелкий собственник не встречал бы никаких препятствий к тому, чтобы честным заработком или честной эксплоатацией других наживать себе свой средний необходимый достаток. Но в этой борьбе *за создание таких политических условий*, в борьбе против феодализма, в борьбе против аристократии, главным образом, против всей Восточной Европы, объединившейся, создавшей коалицию, напавшей на Францию,—в этой борьбе эти якобинцы Робеспьер и Марат сыграли роль революционных вождей. В этой борьбе со всей Европой они должны были пустить в ход метод революционной пропаганды. Чтобы противопоставить силе феодалов и государей силу народных масс, они выставили лозунг «война дворцам, мир хижинам». Они несли на своих знаменах лозунг—«братство, равенство и свобода».

Эти первые завоевания французской революции сейчас же пошли впрок Рейнской провинции, там организовались общества якобинцев. Многие немцы втянуты были, как волонтеры, во французскую армию. Некоторые из них в Париже принимали участие во всех революционных обществах. В Рейнской провинции все время продолжалось сильнейшее влияние французской революции—и еще в начале XIX века молодое поколение воспитывалось под сильным влиянием ее героических традиций. Даже Наполеон, который являлся узурпатором, захватчиком, в своей борьбе со старой монархической и феодальной Европой должен был все же опираться на основные завоевания французской революции, просто потому, что он был захватчиком, что он являлся врагом феодального режима. Он начал свою военную карьеру в революционной армии. Огромная масса сначала босых, оборванных, вооруженных иногда чуть ли не палками, французских солдат сражалась с великолепными прусскими войсками и побеждала своим энтузиазмом, своей численностью, побеждала тем, что она прежде, чем посылала пули, посылала прокламации, деморализовала, разлагала враждебную армию. От этой революционной пропаганды не отказывался в своих войнах и Наполеон. Он великолепно знал, что пушки—это весьма сильное средство, но никогда, до последних своих дней, не пренебрегал орудием революционной пропаганды, этим орудием, которое так великолепно разлагает войска противников,

Влияние французской революции в большей или меньшей степени замечается во всех странах Европы. Даже в той самой Англии, которая стояла во главе почти всех коалиционных армий, направленных против Франции, оно охватило не только мелко-буржуазные элементы, но и созданное уже промышленной революцией многочисленное рабочее население. Как раз к 1791 и 1792 годам относится первая революционная рабочая организация в Англии. Эта рабочая организация носит название «Корреспондентское общество», принявшая такое название, чтобы обойти английские законы, запрещавшие какому бы то ни было обществу данной местности, в данном городе, вступать в организационную связь с обществом в другом городе. К концу XVIII века Англия была страной конституционной. Англия XVIII столетия уже знала две революции—одну в середине, другую в конце XVII столетия. Она считалась самой свободной страной, в которой разрешены были клубы и общества, но ни одному из этих клубов и этих обществ не дозволено было вступать в организационную связь с другими обществами. И вот те общества, в которые входили рабочие, чтобы обойти этот запрет, придумали следующий способ: они устраивали корреспондентские общества, где только могли. Это были общества, которые состояли друг с другом в переписке, которые поддерживали друг с другом корреспонденцию. Во главе лондонского общества стоял сапожник Томас Гарди. Это был шотландец французского происхождения. Фамилия его означает—смелый. Гарди, организатор этого общества, привлек в него ряд рабочих. Вступительный взнос был очень низок. Общество устраивало митинги и собрания. Огромное большинство входивших туда рабочих были ремесленники, сапожники, портные. Это объяснялось тем, что промышленная революция начала производить свое разлагающее влияние на старое мануфактурное производство, на старое ремесло. Еще одно имя связывается с дальнейшей историей рабочего движения в Англии,—имя Френсиса Плэса. Это портной, имя которого мы встречаем в истории английского трэд-юнионизма. Затем, имя сапожника Голкрофта талантливого поэта, публициста, оратора, игравшего большую роль в конце XVIII столетия.

Корреспондентское общество в 1792 г., когда во Франции была объявлена (10 августа 1792 года) республика, сейчас же, через две-три недели, тайным путем, воспользовавшись посредничеством французского посланника в Лондоне, отправило адрес с выражением симпатии, сочувствия французскому конвенту. Этот адрес, одно из первых проявлений международной солидарности, международной симпатии, произвел большое впечатление во французском конвенте, потому что это был адрес английского народа, а господствующие классы Англии тогда относились очень враждебно к Франции. Конвент ответил на адрес особой революцией. Сношения английских рабочих корреспондентских обществ с французскими якобинцами дали повод английской олигархии начать против этих обществ преследования. Возбужден был ряд процессов против Гарди и других.

Боязнь за свое господство заставляла английскую олигархию принять целый ряд мер против возникающего рабочего движения. Те союзы,

те общества, которые позволялось до сего времени устраивать буржуазным элементам, более состоятельным элементам, и которые нельзя было запретить устраивать ремесленникам, к 1800 году запрещаются. В особенности запрещаются всякие общества, состоящие друг с другом в письменных отношениях, состоящие друг с другом в корреспонденции В 1799 году закон специально запрещает всякое легальное соединение рабочих в Англии. С 1799 года по 1824 год английский рабочий класс был лишен всякого права собраний и союзов.

Вернемся теперь к 1815 году. Движение «луддитов», ставившее себе целью исключительно разрушение машин, сменилось более сознательной борьбой. Новые революционные организации поставили себе задачей изменение политических условий существования рабочего класса. Они потребовали, в первую очередь, права собраний, права союзов, свободы печати. 1817-й год начинается упорной борьбой, которая в 1819 г. приводит в самом крупном центре английской хлопчато бумажной промышленности, в Манчестере, к знаменитому побоищу. Оно происходило на Петровом поле, но английские рабочие назвали это сражение сражением при «Петерлоо». Против рабочих были выдвинуты огромные кавалерийские массы. Сражение кончилось убийством нескольких десятков человек. Против рабочего класса были приняты новые жестокие меры, так называемые «шесть актов». Но в результате этих преследований революционная борьба усилилась, и в 1824 году, при участии упомянутого Плэса, который за это время успел отойти от своих революционных товарищей и превратиться в состоятельного промышленника, но продолжал поддерживать отношения с радикалами в палате общин, английские рабочие получают, как уступку этому революционному движению знаменитый закон о коалиции То движение, которое развивалось среди них, движение в пользу создания рабочих организаций, союзов, чтоб защищать себя от притеснений предпринимателей, чтобы добиваться лучших условий труда, более высокой заработной платы, получило теперь законную основу. С этого времени начинается рост английского трэд-юнионистского, профессионального, движения. Среди него уже организуются теперь и политические общества, которые ставят себе целью завоевание всеобщего избирательного права. Это происходит в 20-х годах

Тем временем во Франции в 1815 году Наполеон потерпел окончательное поражение, и вместо Наполеона была восстановлена старая, монархия Бурбонов с Людовиком XVIII. Начинается эпоха реставрации которая длится приблизительно 15 лет. Получив назад трон, при помощи иностранного вмешательства, Александра I, Людовик делает ряд уступок пострадавшим от революции землевладельцам. Землю нельзя было вернуть, она осталась у крестьян, но землевладельцев утешили тем, что выплатили им миллиард франков. Новая власть, королевская, старалась всеми силами задержать развитие новых общественных политических отношений. Она старалась по возможности больше отнять из тех уступок, которые вынуждена была сделать. Вот в этой борьбе между либералами и консерваторами новая бурбонская династия дорывается до новой революции, которая вспыхнула в июльские дни 1830 года.

Англия, которая в конце XVIII века ответила на французскую революцию усилением рабочего движения, теперь, под влиянием июльской революции, переживает вновь революционный подъём. Начинается сильное движение за расширение избирательного права. По законам Англии, избирательным правом пользовалась ничтожная часть населения, главным образом, крупные землевладельцы, имевшие часто в своем владении поместья с двумя, тремя избирателями (так наз. гнилые местечки), которые, по их приказу, посылали в палату общин депутатов. Правящие партии, представлявшие, в сущности, различные фракции земельной аристократии, тории и виги, вынуждены были пойти на уступки. Из этих партий, находившихся во вражде, берет верх более либеральная — виги, считающие нужным сделать уступки народу и провести избирательную реформу. Последняя сводилась к тому, что более состоятельное население, промышленная буржуазия получила теперь избирательные права. Обманутыми оказались рабочие. И вот, в ответ на эту измену, на это предательство либеральной буржуазии,— в этом предательстве принимал участие бывший член корреспондентского общества Плэс,— в ответ на это через несколько лет, после различных неудачных попыток, в 1836 году организуется лондонское рабочее общество В отличие от старого корреспондентского общества, оно себя уже называет классовым названием рабочего общества. Во главе этого общества стоял ряд способных рабочих. Из них наиболее выдающиеся Вильям Ловетт, Генри Гезеринггон. В 1837 г. Ловетт и его товарищи впервые формулируют основные политические требования рабочего класса Они уже ставят себе задачей организацию рабочих в виде особой политической партии с особой политической программой, но, прибавлю,— не классовой рабочей партии, которая выставляет свою особую программу против всех остальных буржуазных партий, но в виде рабочей партии, которая заявляет, что она хочет иметь такую же долю влияния, как и все остальные классы. Она хочет тоже принимать участие в политической жизни. Она хочет быть в этой буржуазной политической обстановке политической партией рабочего класса Она не ставит себе никаких особенных целей, она не выставляет особенной экономической программы против всего буржуазного общества. Лучше всего представить это, если припомнить, что в Австралии, в Новой Зеландии имеются такие рабочие партии, не ставящие себе целью коренного изменения самых общественных условий Они состоят иногда с буржуазными партиями в тесной коалиции, чтобы обеспечить рабочим определенную долю влияния в правительственной машине.

Документ, в котором Ловетт и его товарищи формулировали требования рабочих, получил название хартии, а так как по-английски соответствующее слово читается «чартер», то это движение получило название «чартистского». Чартистами назывались те рабочие, которые составляли эту партию. Они выдвигали шесть требований: всеобщее избирательное право, ежегодный парламент, тайное голосование, вознаграждение депутатов, распределение всей страны на равные избирательные округа, отмена имущественного ценза для депутатов. Так началось чартистское движение.

Во Франции, где июльская революция 30-го года привела к низложению Бурбонов, установилась не республика, которую ставили себе целью революционные организации 20-х годов, а конституционная монархия, возглавляемая теперь представителем новой династии, так называемой Орлеанской династии, которая во время великой французской революции, а после и во время реставрации чинила оппозицию своим родственникам — Бурбонам. Луи-Филипп был типичным представителем буржуазии. Этот французский монарх все время занимается тем, что сберегает и накопляет деньги, приводя в умиление всех парижских лавочников.

Эта июльская монархия дает свободу промышленной, торговой и финансовой буржуазии, чтобы облегчить и ускорить процесс обогащения этой буржуазии, и направляет свои удары против рабочего класса, в котором уже зарождается стремление к организации, но еще не в достаточной степени.

В начале 30-х годов революционные общества составляются, главным образом, из студентов и интеллигентов, и рабочие в них являются только единицами. Но в ответ на измену буржуазии, в Лионе, центре шелкоткацкого производства, в 1831 г. вспыхивает восстание рабочих. В течение нескольких дней рабочие держат город в своих руках. Они не выставляют никаких политических требований. Они выставляют на своем знамени лозунг — «Жить трудясь, или умереть сражаясь». В конце концов их побеждают со всеми обычными последствиями такого поражения.

Это лионское восстание повторяется опять в 34 году в том же городе. Оно сыграло крупную роль, еще более крупную, чем июльская революция. Июльская революция подействовала, главным образом, на мелкобуржуазные, так называемые демократические элементы. Лионское восстание с его повторением впервые выявило революционное значение рабочих элементов, которые, правда, пока только в одном городе, поднимают знамя восстания против всей буржуазии и ставят во главу угла рабочий вопрос. Требования, которые выставлял лионский пролетариат, еще не были направлены против самых основ буржуазного строя, но это были требования, направленные против капиталистов, против эксплоатации.

Таким образом, в середине 30-х годов и во Франции и в Англии выступает на сцену новый революционный класс — пролетариат. И в Англии была попытка организовать этот пролетариат. А во Франции, после лионского восстания, видны и первые попытки его революционной организации. Наиболее ярким представителем этого движения является Август Бланки, один из величайших французских революционеров. Он принимал участие в июльской революции. Как раз под влиянием лионских восстаний, показавших, что во Франции наиболее революционным элементом являются рабочие, Бланки начинает вместе с товарищами организовывать революционные общества среди рабочих в Париже. В этих революционных обществах, как когда то во время великой французской революции в Париже, принимают участие и элементы других национальностей — немцы, бельгийцы и швейцарцы. В результате этой революционной деятельности, Бланки и его товарищи, которые ставят себе целью путем удачно проведенного восстания захватить политическую власть и провести ряд мер, направленных в пользу рабочего класса, делают смелую попытку произвести восстание, кончающееся неудачей, в мае 1839 года Это майское восстание в Париже, кончившееся поражением, а для Бланки пожизненным заключением вместо смертной казни, кончилось так же печально для целого ряда немцев, которые принимали участие в этом восстании.

Вскоре после 1815 г. в Германии среди интеллигенции, среди студенчества, начинается движение, главной целью которого является восстановление единства Германии Главным врагом считалась тогда Россия, которая незадолго перед этим, сейчас после венского конгресса, заключила с Германией и Австрией священный союз, направленный против всех революционных стремлений. Основателями его считались Александр I и австрийский император, но в действительности не австрийский император, а главный руководитель австрийской политики Меттерних был душою всей этой политики. Но Россия считалась главным представителем реакционных стремлений, и когда среди интеллигенции и студенчества началось это либеральное движение, ставившее себе целью развитие культуры и просвещения среди немецкого народа, чтобы подготовить объединение, тогда вся ненависть обрушилась, главным образом, на Россию, как на представителя консерватизма и реакции. Среди этих обществ выделялись кружки в иенском, гессенском и других университетах. В 1819 г. один из студентов, Карл Занд, убил немецкого писателя Коцебу, которого считали, не без основания, русским шпионом Вот этот террористический акт, который произвел очень сильное впечатление и в России, где Карл Занд являлся идеалом для многих наших будущих декабристов, этот террористический акт дал Меттерниху, дал немецким правительствам повод обрушиться на немецкую интеллигенцию' В ответ на это, студенческие общества не прекратились, а стали только более революционными, и из них мало-по-малу стали выделяться в начале 20-х годов революционные организации.

Так продолжалось до 1830 г. В 1830 г. вспыхнула во Франции июльская революция. Она произвела большое впечатление во всей Европе к востоку от Франции, но особенно сильное впечатление она произвела в Германии. В некоторых местах она привела к бунтам, к восстаниям. Кончилось дело некоторыми конституционными уступками. Правительство скоро справилось с этим движением, ибо оно не имело прочных корней в народных массах.

Вторая волна возбуждения прокатилась по всей Германии, когда кончившееся неудачей польское восстание 1831-го года, явившееся тоже прямым следствием июльской революции, привело к тому, что масса польских революционеров, скрываясь от преследований, искала себе убежища в Германии. Отсюда новое усиление старого течения в немецкой интеллигенции—ненависти к России и симпатии к угнетенной, находящейся в зависимости от России, Польше.

Под влиянием этих двух событий, несмотря на поражение июльской революции, мы имеем после 31 года ряд революционных движений.

В 1832 г. в южной Германии это революционное движение сосредоточивается не в Рейнской провинции, а в Пфальце. Точно так же, как и Рейнская провинция, Пфальц долго находился в руках французов и только после 1815 г. возвращен был Германии. Рейнская провинция была отдана Пруссии, а Пфальц—Баварии, где реакция свирепствовала не меньше, чем в Пруссии. Нетрудно будет понять, что жители Рейнской провинции, привыкшие к более свободным французским условиям, а также и жители Пфальца должны были сильно реагировать на это. Каждый подъем революционного движения во Франции должен был усиливать это оппозиционное настроение. В 1831 г. в Пфальце это движение особенно сильно разрастается среди либеральной интеллигенции, среди адвокатов, среди писателей. В 1832 г. адвокаты Вирт и Зибенпфейфер устроили в Гамбахе большое празднество, на котором выступал ряд ораторов. Там присутствовал и Берне. Они провозглашали необходимость свободной объединенной Германии. Среди них имелся и один очень молодой рабочий—щеточный мастер Иоганн Филипп Беккер, которому было тогда приблизительно 23 года. Он был в очень близких отношениях с несколькими поколениями русских революционеров, от Бакунина до Плеханова. Беккер доказывал тогда интеллигенции, что нельзя ограничиваться агитацией, что надо подготовляться к вооруженному восстанию. Беккер был типичным революционером старого закала. Способный человек, он после стал писателем, хотя никогда не был выдающимся теоретиком. Он представлял собою больше тип революционного практика. После гамбахского празднества, он остается еще несколько лет в Германии и ведет пропаганду и агитацию, устраивает побеги и нападения для освобождения товарищей из тюрьмы. Ему удалось таким образом помочь нескольким революционерам. В 1833 г. группа, с которой Иоган Беккер тесно связан,—сам он сидел тогда в тюрьме,—делает попытку вооруженного нападения на гауптвахту во Франкфурте, чтобы захватить оружие. Во Франкфурте заседал тогда союзный сейм. Студенты и рабочие, связанные с ними, были уверены, что, устроив удачное вооруженное востание в этом городе, они произведут сильное впечатление в Германии, но с ними быстро справились. Одним из наиболее решительных участников этого восстания был Карл Шаппер. Шапперу удалось бежать во Францию. Все это движение, сосредоточивается как раз в тех местах, которые были под долгим французским владычеством.

Следует отметить еще революционное движение в Гессенском княжестве. В этом княжестве во главе движения становится Вейдиг, пастор, человек религиозный, но в то же время убежденный сторонник политической свободы и фанатик объединения Германии. Он устраивает тайную типографию, в которой печатает прокламации, он старается сосредоточить вокруг себя интеллигенцию. Одним из таких интеллигентов, принимавших крупное участие в движении, является Георг Бюхнер, который известен, как автор драмы «Смерть Дантона». Георг Бюхнер отличался от Вейдига тем, что в своей политической агитации он доказывал необходимость завоевать сочувствие гессенских крестьян. Для этих крестьян он составил особую агитационную газету — первый опыт в этом роде. Эту газету Вейдиг напечатал в своей тайной

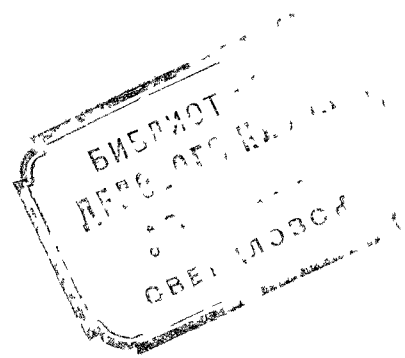
типографии. Дело кончилось неудачей. Вейдиг был арестован. Бюхнеру с трудом удалось спастись от ареста. Он бежал в Швейцарию, где скоро умер. Вейдиг был заключен в тюрьму, где подвергнут был телесному наказанию (Вейдиг был дядей Вильгельма Либкнехта, который воспитывался под влиянием этих глубоких впечатлений, которые сильно запали в его детскую голову).

Часть революционеров, которых освободил Беккер из тюрьмы, Шаппер, который бежал после франкфуртского восстания, затем Шустер — переселились в Париж и основали там тайное общество — Общество гонимых. Под влиянием Шустера и ряда немецких рабочих, которые к тому времени в большом числе оседали в Париже, в этом обществе все более усиливается социалистическое течение. Это приводит к тому, что союз раскалывается. Одна часть, под предводительством Шустера, основывает Союз Справедливых, который существует в Париже три года. Члены его приняли участие в восстании Бланки и разделили с бланкистами их судьбу, попав в тюрьму. После освобождения Шаппер и его товарищи отправляются в Лондон, где основывают рабочее общество самообразования, позднее превратившееся в коммунистическое.

В 30-х же годах, на ряду с Берне, большим влиянием на немецкую интеллигенцию пользовался ряд других писателей, среди которых наиболее выдающимся является Генрих Гейне, поэт и в то же время публицист, корреспонденции которого из Парижа, как и корреспонденции Людвига Берне, играли большую воспитательную роль в среде немецкой молодежи.

В этих-то условиях развивались молодые Маркс и Энгельс и идейно подготовлялось новое — марксистское миросозерцание.

Д. Рязанов.



Развитие социализма от утопии к науке.

I

Новейший социализм по своему содержанию является, прежде всего, результатом наблюдений, с одной стороны, над господствующим в современном обществе антагонизмом между имущими и неимущими классами, капиталистами и наемными рабочими, с другой,—над анархией, существующей в производстве. Но по своей теоретической форме он кажется на первый взгляд только дальнейшим развитием и как бы более последовательным проведением принципов, установленных великими философами XVIII-го века. Как всякая новая теория, социализм должен был примкнуть к порядку идей, созданному его ближайшими предшественниками, хотя его корни и лежали очень глубоко в материальных экономических фактах.

Великие люди, просветившие французские головы для приближавшейся революции, сами были крайними революционерами. Никаких внешних авторитетов они не признавали. Религия, взгляды на природу, общество, государство, все подвергалось их беспощадной критике, все призывалось пред судилище разума и осуждалось на исчезновение, если не могло доказать своей разумности. Разум стал единственной меркой, под которую все подводилось. Это было в то время, когда, по выражению Гегеля, «мир был поставлен на голову», т.-е., когда человеческая голова и придуманные ею теоретические положения предъявляли притязание служить единственным основанием всех человеческих действий и общественных отношений, и когда вслед за тем противоречившая этим положениям действительность была фактически ниспровергнута сверху до низу *), Все старые общественные и государственные формы, все традиционные понятия были признаны неразумными и отброшены, как старый хлам. Было решено, что до настоящего момента мир руководился одними предрассудками, и все его прошлое достойно лишь сожаления

*) Вот что говорит Гегель о французской революции: „Мысль о правоте сразу вошла в силу, и ветхие опоры бесправия не могли оказать ей никакого сопротивления. Идея права положена в основание конституции, и теперь все должно опираться на нее. С тех пор, как солнце светит на небе и вокруг него обращаются планеты, еще никогда не было, чтобы человек становился на голову, т.-е, перестраивал действительность по своим идеям. Анаксагор первый сказал, что разум управляет миром, но только теперь впервые человек дошел до признания, что мысль должна господствовать в сфере духовной действительности. Это был величественный восход солнца. Все мыслящие люди радостно приветствовали наступление новой эпохи Торжественное настроение господствовало над этим временем, и весь мир проникся энтузиазмом духа, как будто совершилось впервые его примирение с божеством" (Гегель, „Философия истории" 1840 г.).

и презрения. Теперь впервые взошло солнце, наступило царство разума; и с этих пор суеверие и несправедливость, привилегии и угнетение уступят место вечной истине, вечной справедливости, естественному равенству и неотъемлемым правам человека.

Мы знаем теперь, что это царство разума было ничем иным, как идеализованным царством буржуазии; что вечная справедливость осуществилась в виде буржуазной юстиции; что естественное равенство ограничилось равенством граждан перед законом, а существеннейшим из прав человека было объявлено право буржуазной собственности. Разумное государство и «общественный договор» Руссо оказались. и могли оказаться на практике, только буржуазной демократической республикой. Великие мыслители XVIII века, как и все их предшественники, не могли выйти за пределы понятий своего времени.

Но рядом с борьбой между феодальным дворянством и буржуазией оставался во всей силе другой, более глубокий антагонизм—эксплоататоров и эксплоатируемых, богатых тунеядцев и трудящихся бедняков; и он то именно дал возможность представителям буржуазии явиться защитниками не какого-либо отдельного класса, а всего страждущего человечества. Мало того. Буржуазия с самого начала уже носила в себе своего будущего противника: капиталисты не могли возникнуть без наемных рабочих, и те самые условия, в которых средневековый цеховой мастер развивался в современного капиталиста, заставили цехового подмастерья и принадлежащего к цеху поденщика превратиться в пролетария. И хотя требования, которые защищало третье сословие в своей борьбе с дворянством, в общих чертах действительно соответствовали интересам различных слоев трудящегося населения того времени, тем не менее, при каждом крупном восстании горожан проявлялось самостоятельное движение того слоя, который был более или менее развитым предшественником современного пролетариата. Таково было направление Томаса Мюнцера в эпоху реформации и крестьянских войн в Германии, левеллеров—во время английской революции, Бабефа—во французской. Рядом с этими революционными попытками еще не сложившегося класса, являлись и соответствующие теории: утопические изображения идеального общественного строя в XVI и XVII столетиях, а в XVIII уже прямо коммунистические теории Морелли и Мабли. Требование равенства не ограничивалось уже областью политических прав, а распространялось на общественное положение отдельных личностей: заявлялось о необходимости уничтожить не только классовые привилегии, но и самые классы. Аскетически суровый, спартанский коммунизм, осуждавший всякое наслаждение, был первым проявлением нового учения. Потом явились великие утописты: Сен-Симон, у которого буржуазные стремления уживались еще отчасти с защитой интересов пролетариата, Фурье, и, наконец, Оуэн, который в стране наиболее развитого капиталистического производства и под впечатлением порожденного этим способом производства антагонизма, выработал целый ряд проектов устранения классовых различий, поставив свою систему в прямую связь с французским материализмом.

Эти три великих утописта сходились между собою в том, что никогда не выставляли себя защитниками интересов исторически развившегося к тому времени пролетариата. Подобно философам XVIII века, они хотели начать эпоху обновления освобождением всего человечества, а не данного только общественного класса. Подобно этим философам, они хотели основать царство разума и вечной справедливости, но это царство, как небо от земли, отличается от царства разума французских просветителей. Буржуазный порядок, основанный на принципах философов XVIII века, так же неразумен и несправедлив, и должен быть отброшен с таким же презрением, как феодализм и все прежние общественные формы. До сих пор истинные законы разума и справедливости не были известны человечеству, и только по этой причине оно ими не руководилось. Для его счастья не доставало того гениального человека, который явился теперь поведать миру всю истину. Что великое событие совершилось именно теперь, это вовсе не было результатом общего хода исторического развития, неизбежно ведшего к нему, а просто случайностью. Гениальный человек мог с таким же удобством родиться пятьсот лет тому назад и тем избавить человечество от пяти веков заблуждений, борьбы и страданий.

Мы видели, таким образом, что подготовлявшие революцию философы XVIII века апеллировали к разуму, как к единственному судье над всем существующим. Они требовали основания разумного государства, разумного общества и безжалостного устранения всего, стоящего в противоречии с вечным разумом. Мы видели также, что этот вечный разум оказался в действительности лишь идеализованным рассудком третьего сословия, готового превратиться в современную буржуазию. Если общественный строй и новое государство, созданные французской революцией, и могли казаться разумными, по сравнению со старыми учреждениями, они были, во всяком случае, очень далеки от абсолютной разумности. Царство разума потерпело крушение. «Общественный договор» Руссо нашел себе применение в терроре, от которого изверившаяся в своей политической правоспособности буржуазия искала спасения сперва в испорченности директории, а потом под крылом наполеоновского деспотизма. Обетованный вечный мир превратился в бесконечные завоевательные войны.

Не более посчастливилось и разумному общественному строю. Противоположность между богатством и бедностью, вместо того, чтобы разрешиться во всеобщем благоденствии, напротив, усилилась, вследствие устранения цеховых и иных привилегий, служивших промежуточными звеньями между высшими и низшими слоями общества, а также вследствие исчезновения церковной благотворительности, несколько смягчавшей бедствия нищеты. Быстрое развитие промышленности на капиталистическом основании скоро возвело бедность и страдания рабочих масс в необходимое условие существования общества. Деньги стали, по выражению Карлейля, единственным связующим элементом этого общества. Количество преступлений возрастало с каждым годом. Если пороки старого дворянства, прежде выставлявшиеся на показ, теперь на время стушевались, зато тем пышнее расцвели на их месте пороки буржуазии,

прежде робко скрывавшиеся во тьме. Торговля все более и более проникалась мошенничеством. Революционный девиз «братство» осуществился в плутнях и во вражде конкуренции. Подкуп заменил грубое насилие, и, вместо меча, главнейшим рычагом общественной жизни стали деньги. Право первой ночи по наследству перешло от феодалов к фабрикантам. Проституция выросла до неслыханных размеров, и даже самый брак превратился в законом признанную форму разврата, в его официальный покров, дополняясь к тому же многочисленными незаконными связями. Одним словом, возникшие вслед за победой разума политические и общественные учреждения оказались самой злой, самой отрезвляющей карикатурой на блестящие обещания философов XVIII века. Недоставало только людей, способных констатировать всеобщее разочарование, и эти люди явились с началом нового столетия. В 1802 году вышли «Женевские письма» Сен-Симона; в 1808 году появилось первое произведение Фурье, хотя основание его теории относится еще к 1799 году; 1-го января 1800 года Роберт Оуэн взялся за управление Нью-Ланарком.

Но в это время капиталистическое производство, а с ним и противоположность между буржуазией и пролетариатом, было еще очень неразвито. Крупная промышленность была неизвестна во Франции и только что возникла в Англии. А между тем, лишь из крупной промышленности развивалась борьба не только между созданными ею классами, но и между порожденными ею производительными силами и формами обмена, и лишь эти, создаваемые крупной промышленностью, столкновения ведут с роковою необходимостью к перевороту в способе производства и к устранению его капиталистического характера, при чем та же крупная промышленность в гигантском развитии производительных сил дает также средство для разрешения ею же созданных противоречий. Если в 1800 г. сама борьба, вытекающая из современного общественного порядка, только что зарождалась, то тем менее было в наличности средств для ее устранения. Хотя во время террора неимущие массы Парижа захватили на минуту власть и смогли, таким образом, направить буржуазную революцию против самой же буржуазии, но их минутная победа послужила наилучшим доказательством всей невозможности прочного господства рабочего класса при тогдашних условиях. Пролетариат, еще не выделившийся из общей массы неимущих людей, составлял в то время лишь зародыш будущего класса и не был способен к самостоятельному политическому действию. Он являлся лишь угнетенной, страдающей массой, способной в своей беспомощности ждать избавления только от какой-нибудь внешней, высшей силы. Это историческое положение отразилось и на учениях основателей социализма. Незрелому капиталистическому производству, невыясненности взаимного положения классов соответствовали и незрелые теории. Приходилось изобретать, а не открывать решения общественных отношений. Очевидны были только недостатки общественного строя, найти же средства к их устранению казалось задачей мыслящего разума. Требовалось изобрести новую, самую совершенную систему человеческих отношений и привить ее к существующему обществу посредством пропаганды, а по возможности и посредством примера образцовых учреждений

по новой системе. Эти новые социальные системы были заранее обречены оставаться утопиями, и чем старательнее разрабатывались их подробности, тем дальше уносились они в область чистой фантазии.

Утопическая сторона социалистических теорий теперь уже всецело отошла в область истории, и мы не будем останавливаться на ней ни минуты долее, предоставив литературным лавочникам самодовольно перетряхивать эти смешные фантазии и любоваться трезвостью своего образа мыслей по сравнению с подобным «сумасбродством». Мы гораздо охотнее постараемся найти под фантастическим покровом зародыши гениальных идей, всюду разбросанные в теориях великих утопистов, но незаметные для слепых филистеров.

Уже в «Женевских письмах» Сен-Симона мы находим положение, что «все люди должны работать»; в том же произведении он утверждает, что господство террора во Франции было господством неимущих масс. «Посмотрите»,—взывает он к этим массам,—«что произошло во Франции когда там господствовали ваши братья: они создали голод!». Нужна была гениальная проницательность, чтобы в 1802 году понять, что французская революция была классовой борьбой и не только между дворянством и буржуазией, но также между дворянством, буржуазией и неимущими массами. В 1816 году Сен-Симон заявляет, что политика есть наука о производстве, и заранее предсказывает ее полнейшее поглощение экономикой. Если понятие о происхождении политических учреждений из экономических основ видно здесь лишь в зародыше, зато совершенно ясно выражена та мысль, что политическая власть над людьми должна превратиться в управление вещами, в заведывание процессами производства, т.-е. притти к «упразднению государства», о котором так много шумели в последнее время. С таким же превосходством над современниками Сен-Симон заявляет в 1814 году,—тотчас по вступлении союзников в Париж,—а затем в 1815, (во время ста дней), что союз Франции с Англией и этих двух стран с Германией представляет единственную гарантию мирного развития и процветания Европы. Нужно было много мужества и исторической дальнозоркости, чтобы в 1815 году проповедывать французам союз с победителями при Ватерлоо.

Если гениальная широта взглядов Сен-Симона позволила ему уловить зародыши почти всех позднейших социалистических идей, не относящихся к области чистой экономики, то Фурье, с своей стороны, дает нам глубоко захватывающую критику существующего общественного строя, выраженную при этом с чисто французским остроумием. Он ловит на слове вдохновенных пророков до-революционной буржуазии и ее подкупленных льстецов новейшего времени. Он беспощадно раскрывает всю моральную и материальную нищету буржуазного мира и сопоставляет ее с блистательными обещаниями наступления царства разума, цивилизации, несущей счастье всем, и бесконечного совершенствования рода; он показывает, какая жалкая действительность соответствует напыщенным хвалебным речам современных ему буржуа-идеологов, и изливает весь свой сарказм на это окончательное фиаско фразы. Благодаря живости своей натуры Фурье является не только критиком, но и

сатириком, и даже одним из величайших сатириков всех времен. Сильными и меткими штрихами рисует он спекулятивные плутни и мелко-торгашеский дух, овладевший французской торговлей после-революционного периода. Еще удачнее его сатиритическое изображение отношений полов в буржуазном обществе и положения в нем женщины. Ему первому принадлежит мысль, что степень свободы, достигнутая данным обществом, должна измеряться большей или меньшей свободой женщины в этом обществе. Но выше всего поднимается Фурье в своем взгляде на историю человеческих обществ. Весь предшествующий ход ее он разделяет на четыре ступени развития: дикое состояние, варварство, патриархат и цивилизация. Под последней он разумеет существующий буржуазный строй, начавшийся с XVI столетия, и показывает, как «эта цивилизация делает ложным, двусмысленным и лицемерным каждый порок, остававшийся в простом виде при варварстве». Он указывает на «заколдованный круг» непобедимых и вечно возобновляющихся противоречий, в котором движется цивилизация, всегда достигая результатов, противоположных тем, к которым, искренно или притворно, она стремится. Например, по его словам: «в цивилизации бедность порождается самим избытком». Очевидно, Фурье так же мастерски владел диалектикой, как и его современник Гегель. С той же самой диалектической точки зрения он утверждает, вопреки господствовавшей тогда теории о бесконечной способности человека к совершенствованию, что не только каждый исторический фазис имеет свой период роста и упадка, но что и все человечество, в конце-концов, обречено на исчезновение. Эта идея Фурье заняла в исторической науке такое же место, какое заняла в естествознании идея Канта о конечном разрушении земного шара.

В то время, как над Францией проносился ураган революции, в Англии совершался тихий, но не менее значительный переворот. Пар и машины превратили мануфактуру в современную крупную промышленность и тем самым революционизировали все основы буржуазного общества. Медленный, сонливый ход мануфактуры превратился в настоящий «период бурных стремлений» промышленности. Разделение общества на крупных капиталистов и лишенных всякого имущества пролетариев совершалось с постоянно возраставшей быстротой, разрушая промежуточные состояния. Устойчивый средний класс старого времени превратился теперь в колеблющуюся, неустойчивую массу ремесленников и мелких торговцев, составляющих наименее обеспеченную и оседлую часть населения. Новый способ производства находился еще на первых ступенях своего развития, он был еще нормальным, правильным, единственно возможным, при данных условиях, способом производства, а между тем он успел уже породить вопиющие общественные бедствия. Масса бездомного населения скопилась в отвратительнейших закоулках больших городов; разрушились традиционные связи, патриархальный семейный быт, даже самая семья; крайнее растяжение рабочего дня изнуряло непосильной работой, по преимуществу детей и женщин; испорченность нравов в среде рабочего населения, внезапно брошенного в совершенно новые условия существования, достигла поражающих размеров. И вот, за реформы общественных отношений,

порождающих такие бедствия, взялся Роберт Оуэен, 29-летний фабрикант, соединявший редкую способность руководить людьми с возвышенной и почти детской простотой характера. Он усвоил себе материалистическое учение XVIII века об образовании человеческого характера из взаимодействия, с одной стороны, унаследованной организации, а с другой,—условий, окружающих человека, в особенности в период его развития. Большинство его собратьев по положению видело в промышленной революции только беспорядок и хаос, годный для ловли рыбы в мутной воде и для быстрого обогащения. Оуэн искал в ней благоприятных условий для осуществления своей любимой идеи, вносящей порядок в хаос. Он уже пытался, и не без успеха, применить ее в Манчестере, в качестве директора фабрики, занимавшей 500 рабочих. С 1800 по 1829 год он управлял большой бумаго-прядильной фабрикой в Нью-Ланарке, в Шотландии и, будучи компаньоном в предприятии, действовал здесь с большой свободой и таким успехом, что вскоре его имя сделалось известным всей Европе. Население Нью-Ланарка, постепенно возросшее до 2,500 человек и состоявшее из крайне смешанных и, по большей части, сильно развращенных элементов, он превратил в образцовую колонию, в которой пьянство, полиция, тюрьмы, суды, благотворительность и надобность в ней стали неизвестными вещами. Он достиг своей цели единственно тем, что поставил рабочих в условия более сообразные с человеческим достоинством и заботился о хорошем воспитании подрастающего поколения. В Нью-Ланарке были впервые введены детские сады, придуманные Оуэном. В них принимали детей, начиная с двухлетнего возраста, и так хорошо занимали их, что родители с трудом могли увести домой разыгравшихся питомцев. Рабочий день был уменьшен в Нью-Ланарке до $10^1/_2$ часов, тогда как на соперничавших с ним фабриках работа длилась до 13 и 14 часов. А когда хлопчатобумажный кризис принудил к четырехмесячной остановке работ, рабочие продолжали получать полную плату. И, при всем том, фабрика удвоила свою стоимость и постоянно приносила своим собственникам отличный доход.

Но все это не удовлетворяло Оуэна. Положение, в которое он поставил своих рабочих, в его глазах, далеко не соответствовало человеческому достоинству. «Эти люди — мои рабы»,— говорил он:—«сравнительно благоприятные условия существования рабочих Нью-Ланарка были далеко недостаточны для всестороннего развития их ума и характера, не говоря уже о свободном приложении сил и способностей. А между тем, трудящаяся часть этих 2.500 человек создала такое количество реального богатства, для производства которого полвека тому назад потребовался бы труд 600.000 человек. Я спросил себя: куда девается разность между количеством продуктов, потребляемых 2.500 рабочих, и тем количеством, которое потребовалось бы для прежних 600 000?»— Ответ был ясен. Эта разность получалась собственниками фабрики в виде 300 000 фунтов стерлингов ежегодного дохода, сверх 5 % на основной капитал предприятия. Этот ответ еще в большей степени, чем к Нью-Ланарку, был применим ко всем остальным фабрикам Англии. «Без нового источника богатств, созданного машинами, не было возможности вести

войны для свержения Наполеона и поддержания аристократических принципов общественного устройства. И эта новая сила была делом рук рабочих»[1])... Им поэтому должны принадлежать и плоды ее. Новые могучие силы производства, служившие до сих пор только обогащению единиц и порабощению масс, представлялись Оуэну основами общественного преобразования и должны были служить благосостоянию всех в качестве общественной собственности.

В такой деловой обстановке, основанной, так сказать, на торговом счетоводстве, возник коммунизм Оуэна и до конца сохранил свой практический характер. Так, в 1823 году Оуэн составил проект земледельческих колоний, с целью устранения ирландских бедствий, и приложил к нему подробное вычисление необходимого основного капитала, ежегодных издержек и предполагаемых расходов. В своем окончательном плане будущего строя Оуэн обращает особенное внимание на техническую сторону дела, тщательно разрабатывает все подробности, прилагает при этом планы, чертежи и рисунки, и все это с таким знанием дела, что, если принять его метод общественных реформ, то очень немного можно сказать против подробностей, даже с точки зрения специалиста.

Переход к коммунизму был поворотным пунктом в жизни Оуэна. Пока его деятельность была простой филантропией, она доставляла ему богатство, всеобщее одобрение, почет и славу. Он был тогда популярнейшим человеком в Европе. Его речам благосклонно внимали не только его товарищи по общественному положению, но даже сами государи. Но лишь только он выступил со своими коммунистическими теориями, — показалась оборотная сторона медали. Три великих препятствия заграждали, по его мнению, путь к общественным реформам: частная собственность, религия и современная форма брака. Начиная борьбу с этими препятствиями, он знал, что ему предстоит стать отверженным среди официального общества и потерять свое положение; но эти соображения ни на волос не убавили энергии его нападения. Произошло именно то, что он предвидел: его изгнали из официального общества; игнорируемый прессою, обедневший, благодаря неудачным коммунистическим опытам в Америке, поглотившим все его состояние, он обратился прямо к рабочему классу и трудился в его среде еще тридцать лет.

Все общественное движение, все действительные успехи, достигнутые рабочим классом Англии, связаны с именем Оуэна. Так, в 1819 г., благодаря его пятилетним усилиям, прошел первый закон, ограничивающий работу женщин и детей на фабриках. Под его председательством собрался первый конгресс, на котором трэд-юнионы *) всей Англии соединились в один большой ремесленный союз. Он же организовал, в качестве переходных ступеней к совершенному коммунистическому общественному строю, первые кооперативные товарищества (потребительные и производительные), полезные уже тем одним, что они доказали полную возможность

[1]) Из записки «The revolution in mind and practice», адресованной всем „красным республиканцам, коммунистам и социалистам Европы" и французскому временному правительству 1848 года, но поданной „королеве Виктории и ее ответственным советникам".

*) Союзы рабочих различных ремесл

обходиться без купцов и фабрикантов. Кроме того, он устроил рабочие базары, на которых продукты обменивались при помощи бумажных денег, единицей которых служили часы труда. Эти базары неизбежно должны были потерпеть неудачу, но они вполне предвосхитили позднейший прудоновский банк, от которого они отличались лишь тем, что не возводились своим изобретателем в универсальное средство от всех зол, а предлагались только, как первый шаг к коренному переустройству всего общества.

Миросозерцание утопистов долго господствовало над социалистическими воззрениями XIX века и отчасти господствует еще поныне. Его держались все английские и, до недавнего времени, все французские социалисты, а также прежние немецкие коммунисты, не исключая Вейтлинга. Социализм, в их представлении, есть выражение абсолютной истины, разума и справедливости, и нужно только открыть его, чтобы он собственной силой покорил весь мир; а так как абсолютная истина не зависит от времени, пространства и исторического развития человечества, то это уже дело чистой случайности, когда и где она будет открыта. При этом абсолютная истина, разум и справедливость различны у каждого основателя школы и обусловливаются субъективным складом его ума, условиями его жизни, количеством его познаний и способом мышления. Поэтому при столкновениях этих различных сортов абсолютной истины примирение возможно лишь путем сглаживания их взаимных противоречий. Из этого не могло выработаться ничего, кроме особого рода эклектического, среднего социализма, который действительно господствует до сих пор в головах большинства рабочих-социалистов Англии и Франции Этот эклектический социализм представляет собою пеструю смесь из наиболее общепризнанных критических замечаний, экономических положений и идеальных представлений различных основателей сект; эта смесь получается тем легче, чем скорее ее составные части утрачивают в потоке споров, как камешки в ручье, свои острые углы и грани. Чтобы превратиться в науку, социализм должен был, прежде всего, стать на реальную почву.

II

Между тем, рядом с французской философией XVIII века и вслед за нею развилась новейшая немецкая философия, нашедшая свое завершение в Гегеле. Ее величайшей заслугой было возвращение к диалектике, как высшей форме мышления. Древние греческие философы были все прирожденными диалектиками, и Аристотель — самая всеобъемлющая голова между ними—исследовал уже все существеннейшие формы диалектического мышления. Хотя и в новой философии диалектика имела блестящих представителей (Декарт и Спиноза), но она, особенно под влиянием английской философии, все более склонялась к, так называемому, метафизическому способу мышления, почти исключительно овладевшему также французами XVIII века, по крайней мере, в их специально-философских трудах. Однако вне этой области они смогли оставить нам высокие образцы диалектики: припомним только «Племянника Рамо» Дидро и сочинение Руссо «О происхождении неравенства между людьми». Мы

укажем здесь вкратце на существеннейшие черты обоих этих методов мышления.

Когда мы мысленно рассматриваем природу или человеческую историю, или нашу собственную духовную деятельность, то перед нами сперва возникает картина бесконечного сплетения соединений и взаимодействий, в которой ничто не остается неподвижным и неизменным, а все представляется движущимся, изменяющимся возникающим и исчезающим. Таким образом, мы видим сперва общую катину, в которой частности еще более или менее стушевываются, мы больше обращаем внимание на ход движения, на переходы и сцепления, чем на то, что именно движется, переходит, сцепляется. Этот первоначальный, наивный, по существу, правильный взгляд на мир, был присущ древне-греческой филисофии и впервые ясно выражен Гераклитом: все существует и в то же время не существует, так как все течет, все постоянно изменяется, все находится в постоянном процессе возникновения и исчезновения. Несмотря, однако, на то, что этот взгляд верно схватывает общий характер всей картины явлений, он все же недостаточен для объяснения частностей, составляющих ее, а пока мы не знаем их, нам неясна и общая картина. Для того, чтобы изучить эти частности, мы должны изъять их из их естественной или исторической связи и, рассматривая каждую порознь, исследовать ее свойства, ее частные причины и действия и т. д. В этом состоит, прежде всего, задача естествознания и истории, т.-е. тех отраслей науки, которые, по вполне понятной причине, занимали у греков классических времен лишь второстепенное место, потому что грекам нужно было раньше накопить необходимый для этого материал. Только после того, как естественно-научный и исторический материал был накоплен в достаточном количестве, могло возникнуть критическое исследование, сравнение и разделение на классы, порядки и виды. Поэтому приемы точного исследования природы развились впервые лишь у греков александрийского периода, а затем, в средние века, развиты дальше арабами. Настоящее же естествознание начинается только со второй половины XV века и с этого времени оно непрерывно делает все более быстрые успехи. Разложение природы на отдельные ее части, разделение различных явлений и предметов в природе на определенные классы, анатомическое исследование разнообразного и внутреннего строения органических тел,—все это было основой тех исполинских успехов, которыми ознаменовалось развитие естествознания в последние четыре столетия. Но тот же способ изучения оставил в нас привычку брать предметы и явления природы в их обособленности, вне их великой общей связи, к тому же—не в движении, а в неподвижном состоянии, не как существенно-изменяющиеся, а как вечно-неизменные, не живыми, а мертвыми. Перенесенное Бэконом и Локком из естествознания в философию, это мировоззрение создало характеристическую ограниченность последних столетий: метафизический способ мышления

Для метафизики вещи и их умственные образы, т.-е. понятия, суть отдельные, неизменные, застывшие, раз навсегда данные предметы, подлежащие исследованию один после другого и один независимо от

другого. Метафизик мыслит законченными, непосредственными противоположениями; речь его состоит из: «да — да, нет — нет; что сверх того, то от лукавого». Для него вещь существует или не существует; для него предмет не может быть самим собою и в то же время чем-нибудь другим: положительное и отрицательное абсолютно исключают друг друга; причина и следствие также совершенно противоположны друг другу. Этот способ мышления потому кажется нам на первый взгляд вполне верным, что он присущ так называемому здравому смыслу. Но здравый человеческий смысл, весьма почтенный спутник в домашнем обиходе между четырьмя стенами, переживает самые удивительные приключения, лишь только он отважится пуститься в далекий путь исследования. Точно так же и метафизическое миросозерцание, вполне верное и необходимое в известных, более или менее широких областях, рано или поздно достигает тех пределов, за которыми оно становится односторонним, ограниченным, абстрактным и запутывается в неразрешимых противоречиях, потому что за предметами оно не видит их взаимной связи, за их бытием не видит их возникновения и исчезновения, за их покоем не видит их движения, за деревьями не видит леса. Мы, например, в обыденной жизни можем с уверенностью сказать, существует ли данное животное или нет, но при более точном исследовании мы убеждаемся, что это иногда в высшей степени запутанный вопрос, трудности которого прекрасно известны юристам, тщетно пытавшимся открыть рациональную границу, за которой умерщвление ребенка в утробе матери можно считать убийством. Невозможно также точно определить и момент смерти, так как физиология, показывает, что смерть есть не внезапный, мгновенный акт, а очень медленно совершающийся процесс. Всякое органическое существо в каждое данное мгновение таково же, каким оно было в предыдущее, и вместе с тем не таково. В каждое мгновение оно перерабатывает получаемое им извне вещество и выделяет из себя другое вещество, одни клеточки его организма вымирают, другие нарождаются, так что, спустя известный период времени, вещество данного организма вполне обновляется, заменяется другим составом атомов; вот почему каждое органическое существо всегда то же и, однако, не то же. Точно так же, при более точном исследовании, мы находим, что оба полюса какой-нибудь противоположности — положительный и отрицательный — столь же неотделимы один от другого, как и противоположны, и что они, несмотря на всю противоположность, взаимно проникают друг друга. Мы видим далее, что представление о причине и следствии имеет значение лишь в применении к отдельному явлению, но, рассматривая то же явление в его общей мировой связи, мы убеждаемся, что эти два представления соединяются и переходят в представление о всемирном взаимодействии, в котором причина и следствие постоянно меняются местами, и то, что теперь в данном месте является следствием, то в ином месте или в иное время будет причиной, и наоборот.

Все эти явления и приемы исследования не вмещаются в рамки метафизического мышления. Для диалектики же, которая берет вещи и их умственные отражения, главным образом, в их взаимной связи, в их сцеплении, в их движении, в их возникновении и исчезновении, такие

явления, как вышеприведенные, напротив, подтверждают лишь ее собственный метод. Природа есть пробный камень диалектики, и современное естествознание, представившее для этой пробы чрезвычайно богатый, с каждым днем увеличивающийся материал, тем самым доказало, что в природе, в конце-концов, все совершается диалектически, а не метафизически, что она движется не в вечно однородном, постоянно сызнова повторяющемся круге, а переживает действительную историю. Здесь, прежде всего, следует указать на Дарвина, который нанес сильнейший удар метафизическому взгляду на природу, доказав, что весь современный органический мир, растения и животные, а следовательно, также и человек, суть продукты процесса развития, длившегося миллионы лет. Но так как и до сих пор можно по пальцам перечесть естествоиспытателей, научившихся мыслить диалектически, то это противоречие добытых научных результатов с вышеизложенным метафизическим способом мышления вполне объясняет ту безграничную путаницу, которая господствует теперь в теоретическом естествознании и одинаково приводит в отчаяние как учеников, так и учителей, как писателей, так и читателей.

Итак, точное представление о вселенной, об ее развитии и о развитии человека, равно, как и об отражении этого развития в головах людей может быть приобретено только путем диалектики, только принимая постоянно в соображение общее взаимодействие между возникновением и исчезновением, между прогрессивными изменениями и изменениями регрессивными. На такую именно точку зрения стала новейшая немецкая философия. Кант начал свою ученую карьеру с превращения неизменной и вечной — после знаменитого первого толчка — солнечной системы Ньютона в исторический процесс, начавшийся возникновением солнца и планет извращающейся туманной массы. Он уже пришел при этом к тому выводу, что возникновение солнечной системы предполагает и ее будущее исчезновение. Спустя полстолетия его взгляд был математически обоснован Лапласом, а еще полстолетием позже спектроскоп показал существование во вселенной предположенных Кантом раскаленных газовых масс в различных степенях сгущения.

Новейшая немецкая философия нашла свое завершение в гегелевской системе, величайшая заслуга которой состоит в том, что она впервые представила весь естественный, исторический и духовный мир в виде процесса, т.-е. исследовала его в беспрерывном движении, изменении и развитии и пыталась раскрыть взаимную внутреннюю связь этого движения и развития. Людям, стоящим на этой точке зрения, история человечества перестала казаться нелепой путаницей бессмысленных насилий, которые в равной мере все осуждаются перед судейским креслом теперь лишь созревшего философского разума, и которые лучше всего возможно скорее забыть. История людей явилась процессом развития самого человечества, и задача научной мысли свелась к тому, чтобы проследить последовательные ступени этого процесса, среди всех его якобы ложных путей, и доказать внутреннюю его закономерность среди всех кажущихся случайностей.

Для нас здесь безразлично, разрешила ли система Гегеля все поставленные ею себе задачи: ее великая заслуга состояла в самой постановке

БИБЛИОТЕКА ДЕПОЗИТНОГО КЛУБА № ЛОВСК

этих задач. Разрешение их не может быть делом какого бы то ни было единичного ума. Хотя Гегель, наряду с Сен-Симоном, был самым всеобъемлющим умом своего времени, но ему все-таки пришлось считаться как с неизбежной ограниченностью своих собственных знаний, так и с ограниченностью—в смысле глубины и обширности—знаний и взглядов своей эпохи. К этому присоединилось еще третье обстоятельство. Гегель был идеалист, т-е. его мысли не казались ему более или менее отвлеченными отражениями существующих в действительности вещей и явлений, а, наоборот, предметы и их развитие казались ему лишь воплощением «Идеи», существовавшей где-то еще до сотворения мира. Таким образом, все было поставлено на голову, и действительная связь мировых явлений вывернута на-изнанку. И хотя Гегель сделал немало верных и гениальных указаний относительно взаимной связи некоторых отдельных явлений, но все же упомянутые нами причины привели к тому, что даже в частностях его системы многое оказалось ошибочным, искусственным, натянутым,—словом, извращенным. Гегелевская система, как система, была колоссальным недоноском, но зато и последним в своем роде. К тому же она страдала неизлечимым внутренним противоречием: с одной стороны, в основе ее лежало убеждение в том, что человеческая история есть процесс развития, ход которого по самой его природе не может быть закончен открытием так называемой абсолютной истины; но, с другой стороны, его система претендует быть изложением этой именно истины Всеобъемлющая, раз навсегда законченная система познания природы и истории противоречит основным законам диалектического мышления, что, однако, отнюдь не исключает, а, напротив, предполагает, что систематическое познание всего внешнего мира может делать громадные успехи с каждым поколением.

Уразумение полной ошибочности господствовавшего до тех пор в Германии идеализма должно было неизбежно привести к материализму, но, само собой разумеется, не к простому метафизическому, исключительно механическому материализму XVIII века. В противоположность наивно-революционному, простому отрицанию всей протекшей истории, современный материализм видит в истории процесс развития человечества, при чем его задачей является открытие законов движения этого процесса. В противоположность господствовавшему у французов XVIII века и еще у Гегеля представлению о природе, как о всегда равном себе целом, неизменно вращающемся в одних и тех же ограниченных пределах, с вечными мировыми телами, как учил о них Ньютон, и с неизменными органическими видами, как учил о них Линней, современный материализм связывает в одну систему все новейшие успехи естествознания, благодаря которым стало ясно, что природа тоже имеет свою историю во времени, что небесные тела, как и все виды организмов, населяющие их при благоприятных условиях, возникают и исчезают, и что вообще природа движется далеко не в таком тесном круге, как думали раньше. В обоих случаях материализм является по существу диалектическим и делает излишней всякую философию, предъявляющую претензию стать выше других наук Когда к каждой отдельной науке применяется требование выяснить свое место в общей системе вещей и

знаний, какая-либо особая наука об этой общей их связи становится излишней. Из всей прежней философии самостоятельное значение сохраняет лишь наука о мышлении и его законах,— формальная логика и диалектика. Все же остальное входит в положительные науки о природе и истории.

Но, между тем, как естественно-научное миросозерцание могло развиться лишь по мере того, как исследования доставляли соответствующие положительные знания,— уже значительно раньше совершились исторические события, обусловившие собою решительный поворот в понимании истории. В 1831 году в Лионе произошло первое рабочее восстание; с 1838 по 1842 год первое национальное рабочее движение,— движение английских чартистов, достигло своего апогея Классовая борьба между буржуазией и пролетариатом стала занимать первое место в истории более развитых стран Европы по мере того, как развивалась, с одной стороны, крупная промышленность, а с другой — ново-приобретенное политическое господство буржуазии. Факты все с большей и большей наглядностью показывали всю лживость учения буржуазной экономии о тождестве интересов капитала и труда, о всеобщей гармонии и всеобщем благополучии народа, которое будто бы явится следствием свободной конкуренции. Невозможно уже было не считаться с этими фактами, равно, как и с французским и английским социализмом, который являлся их теоретическим, правда, крайне несовершенным выражением. Но старое идеалистическое, еще не отвергнутое, воззрение на историю не знало никакой классовой борьбы, основанной на материальных интересах, как вообще оно не признавало этих интересов. Производство, как и все экономические отношения, являлось в нем мимоходом, в качестве второстепенного элемента «истории культуры».

Новые факты заставили подвергнуть всю прежнюю историю новому исследованию, и тогда выяснилось, что вся она, за исключением первобытного состояния, была историею борьбы классов, что эти борющиеся общественные классы являются в каждый данный момент результатом отношений производства и обмена,— словом, экономических отношений своего времени. Экономический строй общества каждой данной эпохи представляет собою ту реальную почву, свойствами которой объясняется, в последнем счете, вся надстройка, образуемая совокупностью правовых и политических учреждений, равно как религиозных, философских и прочих воззрений каждого данного исторического периода. Гегель освободил от метафизики понимание истории,— он сделал его диалектическим,— но его собственный взгляд на нее был идеалистичен по существу. Теперь идеализм был изгнан из его последнего убежища, из области истории, теперь найден был путь для объяснения человеческого самосознания условиями человеческого существования, вместо прежнего объяснения этих условий человеческим самосознанием.

Поэтому социализм является теперь не случайным открытием того или другого гениального ума, а неизбежным следствием борьбы двух исторически возникших классов:—пролетариата и буржуазии. Его задача заключается уже не в том, чтобы измыслить возможно более совершенный общественный строй, а в том, чтобы исследовать историко-экономический процесс, необходимым следствием которого явились названные

классы с их взаимной борьбою, и чтобы в экономическом положении, созданном этим процессом, найти средство для разрешения этой борьбы. Но прежний социализм был так же несовместим с этим материалистическим взглядом на историю, как несовместимы были с диалектикой и с новейшим естествознанием воззрения французских материалистов на природу. Прежний социализм хотя и критиковал существующий капиталистический способ производства и его последствия, но он не *мог объяснить его, а следовательно, не в состоянии был справиться с* ним,— он мог лишь объявить его никуда негодным. Чем сильнее восстал он против неизбежной при этом способе производства эксплоатации рабочего класса, тем менее был он в состоянии наглядно объяснить, в чем состоит эта эксплоатация и как она возникает. Это было сделано благодаря открытию прибавочной стоимости. Было доказано, что присвоение неоплаченного труда есть основная форма капиталистического способа производства и свойственной ему эксплоатации рабочих; что даже в том случае, когда капиталист покупает рабочую силу по полной стоимости, какую она, в качестве товара, имеет на рынке, он все же извлекает из нее стоимость больше той, которую он заплатил за нее, и что эта прибавочная стоимость есть источник той суммы стоимостей, благодаря которой накопляется в руках имущих классов постоянно возрастающая масса капиталов. Таким образом, было выяснено происхождение капиталистического способа производства, равно как и производство самого капитала.

Этими двумя великими открытиями: материалистическим пониманием истории и разоблачением тайны капиталистического производства посредством понятия о прибавочной стоимости — мы обязаны Марксу. Благодаря им социализм стал теперь наукой, которую нужно лишь разработать во всех ее подробностях и во взаимной связи ее отдельных частей.

III.

Материалистическое понимание истории зиждется на том положении, что производство и обмен продуктов служат основанием всякого общественного строя; что в каждом историческом обществе распределение продуктов, а с ним и образование классов или сословий, зависит от того, как и что производится этим обществом, и каким способом обмениваются произведенные продукты. Отсюда следует, что коренных причин социальных перемен и политических переворотов нужно искать не в головах людей, не в более или менее ясном понимании ими вечной истины и справедливости, а в экономике данной эпохи. Пробудившееся сознание неразумности и несправедливости существующих общественных отношений, убеждение в том, что „Vernunft — Unsinn, Wohl — Plage geworden ist“ („разумное стало безумием, благо — бичем“),— служит лишь указанием того, что в способах производства и в формах обмена постепенно совершились изменения настолько значительные, что им уже не соответствует общественный порядок, выкроенный по мерке старых экономических условий. Из сказанного ясно, что и средства для устранения сознанного зла должны заключаться — в более или менее развитом виде — в самих изменившихся условиях производства. Ум человеческий не может *изобрести* эти средства; он должен *открыть* их в данных материальных явлениях производства.

Что же мы можем сказать, на основании этого, о современном социализме?

Всеми признано, что существующий общественный строй создан господствующим теперь классом — буржуазией. Свойственный буржуазии способ производства, обозначаемый со времени Маркса именем капиталистического, не мирился с местными и сословными привилегиями, равно как и с теми взаимными связями между личностями, которые существовали в феодальном обществе; буржуазия разрушила феодальный порядок и воздвигнула на его развалинах буржуазный общественный строй, царство свободной конкуренции, свободы передвижения, равноправности товаровладельцев, словом, всех буржуазных прелестей. Капиталистический способ производства мог развернуться теперь на полном просторе С тех пор, как машины превратили старую мануфактуру в крупную промышленность, выработавшиеся под управлением буржуазии производительные силы стали развиваться с неслыханной прежде быстротой и в небывалых размерах. Но точно так же, как мануфактура и усовершенствовавшиеся под ее влиянием ремесла пришли некогда в столкновение с феодальными узами цехов, крупная промышленность, на более высокой ступени своего развития, приходит в столкновение с узкими пределами, которыми ограничивает ее капиталистический способ производства. Новые производительные силы переросли буржуазные формы их эксплоатации. Это противоречие между производительными силами и способом производства не выдумано людьми,— подобно противоречию между первородным грехом и божественной справедливостью,— а существует в действительности, объективно, вне нас, независимо от воли и поведения даже тех людей, деятельностью которых оно создано. Современный социализм есть не что иное, как умственное отражение этого *фактического противоречия, идеальное отражение его в головах, прежде* всего, того класса, который страдает от него непосредственно, т.-е. класса рабочих.

В чем же состоит это противоречие?

До появления капитализма, т.-е. в средние века, всюду существовало мелкое производство, основанное на частной собственности производителей по отношению к средствам производства; в деревне господствовало земледелие мелких, свободных или крепостных крестьян, в городах — ремесло. Производительные средства—земля, земледельческие орудия, мастерские и инструменты ремесленников — были производительными средствами отдельных лиц, расчитанными лишь на единичное употребление, и следовательно, по необходимости оставались мелкими, несовершенными, ограниченными. Но потому-то они и принадлежали самим производителям. Историческая роль капитализма и его носительницы-буржуазии заключалась именно в концентрировании этих мелких орудий труда, в приданий им более широких размеров, в превращении в современные могучие рычаги производства. Как выполняла она эту роль, начиная с XV столетия, на трех различных исторических ступенях

производства: простой кооперации, мануфактуры и крупной промышленности,— прекрасно изображено в IV отделе «Капитала» Маркса. Но там же показано, что, превращая ограниченные средства производства в громадные современные производительные силы, буржуазия не могла не превратить их, вместе с тем, из частных в общественные, приводимые в действие лишь усилиями многих людей. Вместо самопрялки, ручного ткацкого станка, кузнечного молота появились прядильные машины, механический ткацкий станок, паровой молот; вместо маленьких мастерских—громадные фабрики, требующие соединенного труда сотен и тысяч рабочих. Подобно средствам производства, и само производство превратилось из ряда разрозненных усилий единиц в ряд общественных действий, а продукт из произведения отдельного лица — в произведение всего общества. Пряжа, ткани, железные товары, выходящие теперь из фабрик и заводов, представляют собою продукт труда множества рабочих, которые поочередно прилагали к ним свои усилия, прежде чем придали им окончательную форму. Никто в отдельности не может сказать об этих товарах: это сделал я, это мой продукт.

Но в обществе, производство которого основано на естественно выросшем разделении труда, продукты неизбежно принимают форму товаров, обмен которых, купля и продажа, дает отдельным производителям возможность удовлетворять свои разнообразные потребности. Так и было в средние века. Крестьянин, например, продавал ремесленнику земледельческие продукты и покупал у него ремесленные произведения. В это то общество разъединенных товаропроизводителей проник новый способ производства. Среди первобытного, без всякого плана сложившегося разделения труда между членами всего общества возникло разделение труда на фабриках, организованное по заранее обдуманному плану; рядом с индивидуальным производством появилось общественное производство.

Продукты того и другого продавались на одних и тех же рынках, а следовательно, по ценам, по крайней мере, приблизительно равным. Но организация, созданная по обдуманному плану, была могущественнее первобытного разделения труда, продукты общественного фабричного труда стоили дешевле продуктов мелких разъединенных производителей. Индивидуальное производство приходило в упадок, общественное производство революционизировало, наконец, весь старый способ производства. Революционный характер его, однако, был так мало заметен, что оно вводилось именно ради усиления и поощрения товарного производства. Оно возникло в непосредственной связи с известными, уже раньше его существовавшими, двигателями товарного производства — торговым капиталом, ремеслами и наемным трудом. Выступая лишь в виде новой формы товарного производства, оно оставляло в полной силе свойственные этому производству формы присвоения.

При средневековом производстве товаров вопрос о том, кому должны принадлежать продукты труда, не мог даже и возникнуть. Они выделывались каждым отдельным производителем из собственного материала, часто им же самим произведенного, собственными орудиями и собственными руками или руками семьи. Такому производителю незачем было

присваивать себе свои продукты, они принадлежали ему по самому существу дела. Следовательно, право собственности на продукты основывалось на личном труде. Если посторонняя помощь и имела место в производстве, то она в большинстве случаев играла лишь второстепенную роль и вознаграждалась не одною лишь заработною платою; цеховой ученик и подмастерье работали не столько ради платы или содержания, сколько ради собственного обучения и подготовки к званию самостоятельного мастера. Но вот началась концентрация средств производства в больших мастерских и мануфактурах, превращение их на деле в общественные средства производства. И с этими общественными средствами и продуктами продолжали поступать так, как будто они по-прежнему оставались средствами производства и продуктами труда отдельных лиц. Если до сих пор производитель, бывший одновременно и собственником орудий труда, присваивал себе свой продукт, в котором чужой труд участвовал лишь в виде исключения, то теперь собственник орудий труда продолжал присваивать себе продукты, хотя они производились уже не его, а исключительно чужим трудом. Таким образом, продукты общественного труда стали присваиваться не теми, кто работал с помощью его орудий и был настоящим производителем его продуктов, а капиталистами. Средства производства и продукты по существу своему стали общественными; но они были подчинены форме присвоения, основанной на частном, едином производстве, свойственном тому времени, когда каждый владел своим собственным продуктом и сам выносил его на рынок. Новая форма производства подчинилась старой форме присвоения, несмотря на то, что она совершенно разрушила ее основы *). Это противоречие, сообщившее новому способу производства его капиталистический характер, заключало в себе зародыши всех современных противоречий. И чем полнее становилось господство нового способа производства во всех наиболее значительных отраслях труда, во всех наиболее влиятельных в экономическом отношении странах, чем дальше оттеснял он незначительные остатки единичного производства, тем резче должна была выступать несовместимость общественного производства с капиталистическим присвоением.

Первые капиталисты застали, как мы видели, форму наемного труда уже готовою. Но наемный труд существовал лишь в виде исключения, побочного занятия, переходного положения для рабочего. Земледелец, нанимавшийся по временам на поденную работу, имел свой собственный клочок земли, продуктами которого он мог жить в случае крайности. Цехи заботились о том, чтобы сегодняшний подмастерье завтра

*) Само собой понятно, что, хотя форма присвоения и осталась прежней, но характер его изменился вследствие вышеописанного процесса столь же радикально, как и характер самого производства. Большая разница, присваиваю ли я продукт своего собственного, или продукт чужого труда. Заметим мимоходом, что наемный труд, скрывавший в себе зародыш всего капиталистического производства, существует с давних времен. В единичной случайной форме мы встречаем его в течение столетий рядом с рабством. Но скрытый зародыш не мог развиваться в капиталистический способ производства раньше, чем созрели необходимые для него исторические условия.

становился мастером. Но все изменилось, лишь только средства производства приобрели общественный характер и сконцентрировались в руках капиталистов. Средства производства и продукты единичных производителей все более и более теряли цену, и их владельцам не оставалось ничего иного, как наниматься к капиталистам. Наемный труд, существовавший раньше в виде исключения, стал общим правилом, основою всего производства; из побочного он превратился в единственное занятие рабочих. Временный наемный рабочий превратился в пожизненного. Масса наемных рабочих чрезвычайно увеличилась благодаря одновременному разрушению феодального порядка, распущению свит феодалов, изгнанию крестьян из их усадеб и проч. Совершился полный разрыв между средствами производства, сконцентрированными в руках капиталистов, и производителями, лишенными всего, кроме рабочей силы. Противоречие между общественным производством и капиталистическим присвоением проявилось в антагонизме между пролетариатом и буржуазией.

Мы видели, что капиталистическое производство появилось в обществе, состоявшем из отдельных товаропроизводителей, связанных между собою лишь посредством обмена своих продуктов. Но особенность каждого общества, основанного на производстве товаров, заключается в том, что в нем производители теряют власть над своими собственными общественными сношениями. Каждый производит сам по себе, сколько позволяют случайно имеющиеся в его распоряжении средства производства, для удовлетворения своих потребностей при посредстве обмена. Никто не знает, сколько появится на рынке того продукта, который он производит, и в каком количестве он может найти потребителей; никто не знает, найдет ли потребителя его товар, окупит ли он издержки производства, да и вообще будет ли он продан В общественном производстве господствует анархия. Но товарное производство, как и всякая другая форма производства, имеет свои, присущие ему и неотделимые от него законы, которые проявляются, несмотря на анархию, в анархии и посредством анархии. Эти законы проявляются в единственно-сохранившейся форме общественной связи, в обмене и подчиняют себе производителей, как принудительные законы конкуренции. Они неизвестны вначале самим производителям и открываются ими лишь постепенно, путем долгого опыта. Следовательно, они действуют без участия производителей и против производителей, столь же неотразимо и слепо, как законы природы. Продукт господствует над производителем.

В первые столетия средних веков производство было расчитано, главным образом, на собственное потребление. Оно удовлетворяло, прежде всего, потребности самого производителя и его семьи. Там же, где, как в земледелии, существовала личная зависимость, производство удовлетворяло также потребности феодального господина. Следовательно, здесь не существовало обмена, и продукты не принимали характера товара. Крестьянская семья сама производила все для нее нужное: орудия и одежду так же, как и пищу. Производить на продажу она начинала только тогда, когда у нее оставался излишек от собственного потребления и после уплаты натуральных повинностей господину; этот пущенный

в обмен излишек становился товаром. Городские ремесленники должны были, конечно, с самого начала производить для обмена. Но и они сами производили большую часть нужных для них предметов; они имели сады и небольшие поля, пасли свой скот в общинном лесу, который, кроме того, доставлял им строительный материал и топливо; женщины пряли лен и шерсть и т. д. Производство с целью обмена, производство товаров еще только возникало. Отсюда — ограниченность обмена, ограниченность рынков, устойчивость форм производства, местная замкнутость от внешнего мира, местная связь производителей: марка [1]) в деревнях, цехи в городах.

С расширением же производства для сбыта и именно с выступлением на историческую сцену капитализма, законы товарного производства, до тех пор как бы погруженные в дремоту, стали действовать с большей силой и ясностью. Старые связи были разрушены, старые рамки разбиты, и производители все более и более обращались в разъединенных и независимых товаропроизводителей. Анархия общественного производства выступила наружу и принимала все большие и большие размеры. А между тем, главнейшее орудие, с помощью которого капитализм усиливал анархию в общественном производстве, представляло собою прямую противоположность анархии; оно состояло в усилении общественной организации производства в каждом отдельном промышленном предприятии. С помощью этого рычага, капиталистический способ производства покончил со старым мирным застоем. Проникая в данную отрасль промышленности, он изгонял из нее все старые методы производства. Становясь господствующим в данной сфере ремесла, он уничтожал старый характер этого ремесла. Поле труда стало полем сражения. Великие географические открытия и последовавшая за ними колонизация умножили места сбыта и ускорили превращение ремесла в мануфактуру. Борьба не ограничивалась уже местными, единичными производителями: соперничество отдельных местностей разрослось, в свою очередь, до размеров национальной борьбы, до торговых войн XVII и XVIII столетий. Наконец, крупная промышленность и всемирный рынок сделали эту борьбу всемирной и в то же время придали ей неслыханную напряженность. От обладания естественными или искусственно созданными выгодными условиями производства зависит теперь существование не только отдельных капиталистов, но и целых отраслей промышленности, и даже целых стран. Побежденные безжалостно устраняются. Это — дарвиновская борьба за существование отдельных особей, возведенная в степень и перенесенная из царства природы в человеческое общество. Естественное состояние животных представляется венцом человеческого развития. Противоречие между общественным производством и капиталистическим присвоением выступает наружу, как противоположности между организацией производства на отдельных фабриках и его анархическим состоянием в обществе, взятом, как целое.

*) Маркой называлась древняя германская поземельная община.

В этих двух формах проявления того противоречия, которое свойственно ему в силу его происхождения, безвыходно движется капиталистическое производство, описывая «заколдованный круг», указанный еще Фурье. Но во времена Фурье во всяком случае невозможно было еще видеть, что этот круг постоянно суживается, что движение производства идет по спирали и, подобно движению планет, должно закончиться столкновением с центром. Неумолимая сила общественной анархии производства превращает постоянно возрастающее большинство человечества в пролетариев, а пролетариат, в свою очередь, положит конец анархии производства. Та же неумолимая сила социальной анархии производства превращает возможность бесконечного усовершенствования машин, служащих крупной промышленности, в безусловную обязанность для каждого отдельного капиталиста беспрерывно совершенствовать свои машины под страхом разорения. Но совершенствовать машины значит делать излишним человеческий труд. Если введение и распространение машин означало вытеснение миллионов работников ручного труда немногими рабочими при машинах, то усовершенствование машин означает все более и более сильное вытеснение самих рабочих при машинах и образование усиленного предложения рабочих рук, превышающее средний спрос на них со стороны капитала. Масса незанятых рабочих образует промышленную резервную армию, как я назвал ее еще в 1845 году *), являющуюся к услугам производства, когда оно работает на всех парах, и выбрасываемую на мостовую крахом, неизбежно следующим за каждым оживлением. Эта армия, постоянно висящая свинцовой гирей на ногах рабочего класса в борьбе за существование между ним и капиталом, служит регулятором рабочей платы, постоянно удерживая ее на низком уровне, соответственно потребностям капиталистов. Таким образом, выходит, что машина, говоря словами Маркса, является сильнейшим оружием капитала против рабочего класса, что орудие труда постоянно вырывает хлеб из рук трудящегося, и собственный продукт рабочих превращается в средство для их порабощения. Оказывается, что сбережение в издержках производства является в то же время самой беззастенчивой растратой рабочей силы и хищничеством по отношению к нормальным условиям труда; что машина,— это сильнейшее средство сокращения рабочего времени,—превращается в самое верное средство обращения всей жизни рабочего и его семьи в рабочее время, всегда готовое к услугам капитала. Оказывается, что чрезмерный труд одной части рабочего класса обусловливает полную безработицу другой его части, что крупная промышленность, по всему свету гоняющаяся за потребителями, доводит у себя дома потребление рабочих масс до ничтожного минимума и, таким образом, подрывает свой собственный рынок. «Закон, по которому относительное перенаселение или резервная промышленная армия постоянно находится в равновесии с размером и силою накопления, этот закон приковывает рабочего к капиталу крепче, чем молот Гефеста приковал Прометея к скале

*) «Lage der arbeitenden Klasse in England», стр 109 („Положение рабочего класса в Англии")

Он обусловливает соответствующее накоплению богатства накопление нищеты, изнурения, рабства, невежества, огрубения и нравственного вырождения на противоположном полюсе, т.-е. в среде того класса, «продукт труда которого становится капиталом». (Маркс, «Капитал»). Требовать от капиталистического способа производства другого распределения продуктов было бы столь же основательно, как требовать, чтобы электроды батареи, оставаясь в соединении с нею, перестали разлагать воду и собирать на положительном полюсе кислород, а на отрицательном — водород.

Мы видели, как способность к усовершенствованию, доведенная современными машинами до высочайшей степени, превратилась, вследствие анархии общественного производства, в неумолимый закон, принуждающий отдельных капиталистов-промышленников постоянно улучшать свои машины и увеличивать их производительную силу. В такой же принудительный закон превращается для них и простая фактическая возможность расширять размеры своего производства. Громадная способность крупной промышленности к расширению, перед которой расширяемость газов оказывается детской игрушкой, проявляется теперь в виде потребности расширять ее и качественно и количественно, несмотря на все препятствия. Эти препятствия создаются условиями потребления, сбыта, рынков для продуктов крупной промышленности. Способность рынков как к экстенсивному, так и интенсивному расширению определяется совсем иными законами, действующими с гораздо меньшей энергией. Расширение рынков не может итти в уровень с расширением производства. Отсюда столкновение, неизбежное, пока существует капиталистическое производство, а потому повторяющееся периодически Капиталистическое производство попадает в новый „заколдованный круг".

И действительно, начиная с 1825 года, когда разразился первый общий кризис, весь промышленный и торговый мир, производство и обмен всех цивилизованных народов, равно как и их более или менее варварских соседей, приблизительно раз в десять лет сходят с рельс Торговля останавливается, рынки переполняются массой не находящих сбыта продуктов, наличные деньги исчезают из обращения, кредит уничтожается, фабрики останавливаются, рабочие лишаются всяких средств к существованию, именно по той причине, что они произвели эти средства в слишком большом количестве, банкротства следуют за банкротствами, аукцион сменяется аукционом. Застой длится целые годы, массы производительных сил и продуктов уничтожаются и расточаются, пока накопившиеся товары не разойдутся, наконец, по более или менее пониженной цене, и не возобновится движение производства и обмена. Мало-по-малу движение это ускоряется, шаг сменяется рысью промышленная рысь переходит в галоп, уступающий свое место безумному карьеру, настоящей steeple chase (скачке с препятствиями) промышленности, торговли, кредита и спекуляции, чтобы, после отчаянных скачков, снова свалиться в ров краха С 1825 года мы уже пять раз пережили этот круговорот и теперь (в 1877 году) переживаем его в шестой. Характер этих кризисов до такой степени очевиден, что Фурье

определил их все разом, назвавши первый из них — кризисом от излишка, crise plethorique.

Во время кризисов противоречие между общественным производством и капиталистическим присвоением переходит в жесточайшее столкновение двух враждебных сил. Обращение товаров на время прекращается, деньги из орудия обращения становятся его препятствием; все законы производства и обращение товаров действуют навыворот. Экономические противоречия доходят до своего апогея,— способ производства восстает против способа обмена.

Тот несомненный факт, что общественная организация производства внутри фабрик достигла такой степени развития, на которой она становится несовместимой с существующей рядом с нею и над нею анархией производства в обществе, этот факт становится осязательным для самих капиталистов, благодаря совершающейся во время кризисов насильственной концентрации капиталов путем разорения многих крупных и несравненно большего числа мелких капиталистов. Весь механизм капиталистического производства надламывается под тяжестью им же созданных производительных сил. Он не может уже превращать в капитал всю массу производительных средств: они остаются без употребления, а потому должна бездействовать и резервная армия рабочих. Средства производства, жизненные припасы, рабочие руки, все элементы производства и общего благосостояния находятся в избытке. Но, как говорит Фурье, этот избыток становится источником нужды и лишений, потому что именно он-то и препятствует превращению в капитал средств производства и потребления, ибо в капиталистическом обществе средства производства не могут функционировать иначе, как превратившись в капитал, т.-е. в орудие эксплоатации человеческой рабочей силы. Как привидение, стоит между рабочими и средствами производства и потребления необходимость превращения этих средств производства в капитал. Она одна препятствует соединению вещественных и личных двигателей производства; она одна мешает средствам производства превращаться в продукты, а рабочим жить и трудиться. Следовательно, с одной стороны, капиталистический способ производства сам обнаруживает свою неспособность к дальнейшему управлению производительными силами,—с другой стороны, сами производительные силы с возрастающей силой стремятся к уничтожению этого противоречия, к освобождению себя от своих капиталистических свойств, к фактическому признанию их характера, характера общественных производительных сил.

Эта-то борьба могущественно возрастающих производительных сил против своих собственных свойств, эта-то возрастающая необходимость признания их общественной природы и принуждает самих капиталистов все чаще и чаще употреблять их в качестве общественных производительных сил, насколько это возможно при капиталистических отношениях. Как периоды промышленной горячки с их безгранично широким кредитом, так и самые крахи, разрушающие крупные капиталистические предприятия, побуждают капиталистов к усвоению тех форм обобществления больших масс производительных средств, которые мы встречаем

в различного рода акционерных компаниях. Некоторые из этих средств производства и сообщения, как, например, железные дороги, по самому существу своему до того колоссальны, что не допускают никаких других форм капиталистической эксплоатации. На известной ступени развития становится недостаточной и эта форма: государство, как официальный представитель капиталистического общества, оказывается вынужденным*) взять на себя ведение дела. Эта необходимость превращения в государственную собственность наступает, прежде всего, для крупных средств сообщения: почты, телеграфа и железных дорог.

Если кризисы показали неспособность буржуазии к дальнейшему управлению современными производительными силами, то переход крупных производительных предприятий и средств сообщения в руки акционерных компаний и государства доказывает ее ненужность. Наемные агенты исполняют теперь все общественные функции капиталистов. Для самих капиталистов не осталось другой общественной деятельности, кроме загребания доходов, обрезывания купонов и игры на бирже, где различные капиталисты отнимают друг у друга капиталы. Капиталистический способ производства, вытеснявший сперва рабочих, вытесняет теперь и самих капиталистов, правда, пока еще не в резервную армию промышленности, а только в разряд излишнего населения.

Но ни переход в руки акционерных компаний, ни превращение в государственную собственность не отнимают, однако, у производительных сил их капиталистических свойств. Относительно акционерных компаний это очевидно. Что же касается современного государства, то оно есть не что иное, как организация, которую создает буржуазное общество для охранения общих, внешних условий капиталистического производства от посягательств как рабочих, так и отдельных капиталистов. Какие бы формы ни принимало современное государство, оно остается механизмом чисто капиталистическим, государством капиталистов, идеальным совокупным капиталистом. Чем больше производительных сил захватит оно в свою собственность, тем полнее будет его превращение в совокупного капиталиста, и тем большее число граждан будет оно эксплоатировать. Рабочие останутся наемниками-пролетариями. Капиталистические

*) Я говорю: оказывается вынужденным, так как лишь в том случае, когда средства производства или сообщения действительно переросли управление акционерных компаний, когда переход их в ведение государства станет экономически неизбежным, только тогда,—даже, если его совершит современное государство,—он будет экономическим прогрессом, шагом вперед по пути к переходу всех производительных сил в руки общества. Но в последнее время, с тех пор, как Бисмарк начал гоняться за государственными монополиями, появился особого рода фальшивый социализм, проявляющийся то там, то тут в виде особого рода добровольного лакейства, объявляющего без всяких затруднении социализмом всякое, даже бисмарковское обращение средств производства в государственную собственность. Если табачная монополия есть социализм, то Наполеон и Меттерних, несомненно должны быть занесены в число основателей социализма. Когда бельгийское правительство, из самых обыденных политических и финансовых соображений, взялось за постройку главных железных дорог, когда Бисмарк без малейшей экономической необходимости превратил в государственную собственность главнейшие прусские линии, ради удобств эксплоатации и пользования ими в случае войны, ради образования из железнодорожных чиновников послушно вотирующего за правительство стада, а главным образом, для того, чтобы иметь новый, независимый от парламента источник дохода, то все это ни в коем случае не было социализмом, ни прямым, ни косвенным, ни сознательным. Иначе—королевская морская торговля, королевская фарфоровая мануфактура и даже ротные швальни в армии должны быть признаны социалистическими учреждениями.

отношения не устранятся, а еще более обострятся. Но это обострение будет последним шагом их развития. Превращение производительных сил в государственную собственность не разрешает противоречий капитализма, но оно заключает в себе формальное средство, возможность их разрешения.

Это разрешение может состоять лишь в фактическом признании общественной природы современных производительных сил, следовательно, в приведении способов производства, присвоения и обмена в соответствие с общественным характером производительных средств. А этого можно достигнуть только прямым и открытым переходом в общественную собственность производительных сил, переросших всякий другой способ применения их к делу. Общественный характер средств производства и его продуктов, проявляющийся теперь с разрушительной силой слепого закона природы, обрушивающийся против самих производителей, периодически нарушающий ход производства и обмена, будет тогда сознательно проведен в жизнь производителями и превратится из причины неурядицы и периодических столкновений в сильнейший рычаг производства.

Общественные силы, подобно силам природы, действуют слепо, насильственно и разрушительно, пока мы не понимаем их и не считаемся с ними. Но раз мы узнали их, изучили их действие, направление и влияние, от нас самих зависит все более и более подчинять их нашей воле и через них достигать наших целей. Это в особенности относится к современным могучим производительным силам. Пока мы упорно отказываемся понять их природу и характер,— а этому пониманию противятся капиталистический способ производства и его защитники,— до тех пор производительные силы действуют помимо нас и против нас, до тех пор они властвуют над нами, как это подробно показано выше. Но раз их природа будет понята, они могут превратиться в руках соединившихся производителей из демонических повелителей в покорных слуг. Здесь та же разница, что между разрушительной силой, производящей молнию, и электричеством, покорно действующим в телеграфном аппарате или лампе, между пожаром и огнем, служащим на пользу человека. Когда с современными производительными силами станут обращаться сообразно с их узнанной, наконец, природой, общественная анархия в производстве заменится общественным производством, организованным по плану, расчитанному на удовлетворение потребностей как целого общества, так и каждого его члена; тогда капиталистический способ присвоения, при котором продукт порабощает сперва производителя, а затем и самого присвоителя, уступит место новому способу присвоения, основанному на самой природе современных средств производства: с одной стороны, прямому общественному присвоению продуктов, в качестве средств для поддержания и распространения производства, а с другой — прямому индивидуальному присвоению их, в качестве средств существования и наслаждения.

Превращая постоянно возрастающее большинство населения в пролетариев, капиталистический способ производства создает силу, которая под страхом собственной гибели должна совершить этот переворот. Все более и более толкая крупные обобществленные средства производства

на путь перехода в государственную собственность, капитализм сам указывает путь совершению этого переворота. Пролетариат овладевает государственною властью и превращает средства производства сперва в государственную собственность. Но тем самым он прекращает свое существование, как пролетариата, уничтожает различия классов и их антагонизм, а также само государство, как государство. Классовый антагонизм, лежавший в основании до сих пор существовавших обществ, вызывал необходимость государства, т.-е. организации данного класса эксплоататоров для охранения общих условий производства, следовательно, и для насильственного удержания эксплоатируемого класса на той ступени подчинения, которая требовалась данным способом производства (в рабстве, крепостном состоянии или в положении наемных рабочих). Государство было официальным представителем всего общества, оно объединяло его в одной видимой организации, но оно исполняло эту роль лишь постольку, поскольку было государством того класса, который сам являлся представителем всего современного ему общества: в древности — государством граждан-рабовладельцев; в средние века — феодального дворянства; в наше время — буржуазии. Сделавшись, наконец, действительным представителем всего общества, оно станет излишним. Когда не будет общественных классов, которые нужно было бы удерживать в подчинении, когда не будет господства одного класса над другим и борьбы за существование, коренящейся в современной анархии производства, когда устранятся вытекающие отсюда столкновения и насилия, тогда уже некого будет подавлять и сдерживать, тогда исчезнет надобность в государственной власти, исполняющей ныне эту функцию. Первый акт, в котором государство выступит действительным представителем всего общества,— обращение средств производства в общественную собственность,— будет его последним самостоятельным действием в качестве государства. Вмешательство государственной власти в общественные отношения станет мало-по-малу излишним и прекратится само собою. Государство не будет «уничтожено»,— оно умрет. Отсюда можно видеть, какой смысл имеет фраза: «свободное народное государство», пригодная для временных агитационных целей, но неудовлетворительная в научном отношении; отсюда же можно судить о требованиях, так называемых, анархистов относительно уничтожения государства чуть ли не в 24 часа.

С тех пор, как на сцену истории выступило капиталистическое производство, переход всех производительных средств в собственность всего общества часто являлся в виде более или менее неясного идеала будущего как отдельным личностям, так и целым сектам. Но возможным и исторически необходимым он стал лишь тогда, когда явились материальные условия его осуществления. Как и всякий другой общественный прогресс, такой переход становится возможным не потому, что понято противоречие между существованием классов и идей справедливости равенства и т. п., не вследствие простого желания уничтожить классы, а лишь при наличности известных новых экономических условий. Разделение общества на классы эксплоатирующие и эксплоатируемые, господствующие и угнетенные было неизбежным следствием прежнего

недостаточного развития производства. Пока совокупность результатов общественного труда едва превышает самые необходимые средства существования, пока труд отнимает все или почти все время громадного большинства общества, до тех пор оно неизбежно делится на классы. Рядом с огромным большинством, исключительно занятым физической работой, образуется класс, освобожденный от прямого производительного труда и заведующий общественными делами: руководством в работе, государственным управлением, правосудием, науками, искусствами и т д. Следовательно, в основе деления на классы лежит закон разделения труда Это, однако, отнюдь не исключало значительного участия насилия, хищничества, обмана и хитрости в образовании классов; а раз господствующий класс упрочил свое положение, он никогда уже не упустит случая усиливать свою власть на счет трудящихся классов и превращать управление общественными делами в усиленную эксплоатацию масс.

Но если разделение на классы и имело известное историческое оправдание, то оно имело его лишь для данного периода и при данных общественных условиях. Оно коренилось в слабости производства и будет сметено полным развитием современных производительных сил. И действительно, уничтожение общественных классов предполагает достижение той ступени исторического развития, на которой является анахронизмом не только господство того или другого определенного класса, но и вообще всякое классовое господство, а следовательно, и само разделение на классы. Следовательно, уничтожение классов предполагает такую высокую ступень развития производства, на которой присвоение особым общественным классом средств производства и продуктов,—а с ними и политического господства, монополии образования и умственного главенства,— не только становится излишним, но и является препятствием экономическому, политическому и умственному развитию. Эта ступень теперь достигнута. Политическое и умственное банкротство буржуазии едва ли составляет тайну даже для нее самой, а ее экономическое банкротство повторяется аккуратно каждые десять лет. При каждом кризисе общество задыхается под тяжестью собственных производительных сил и продуктов, которых оно не может употреблять в дело, и остается беспомощным перед бессмысленным противоречием, лишающим производителей возможности потреблять именно потому, что на продукты нет потребителей. В своем могучем росте средства производства разрывают узы, наложенные капитализмом. Освобождение от этих уз есть единственное предварительное условие беспрерывного, постоянно ускоряющегося развития производительных сил, а благодаря этому — и практически безграничного увеличения самого производства, Но это еще не все. Обращение средств производства в общественную собственность устранит не только нынешние искусственные препятствия правильному его ходу, но также неизбежную теперь положительную растрату и порчу производительных сил и продуктов, достигающую высших размеров во время кризисов; сверх того, оно сбережет для общества массу производительных средств и продуктов путем устранения безумной роскоши господствующих теперь классов и их представителей.

Возможность, путем общественного производства, обеспечить всем членам общества вполне достаточные и с каждым днем увеличивающиеся материальные условия существования, а также полное развитие и упражнение их физических и умственных способностей — эта возможность достигнута теперь впервые, но она действительно достигнута *).

С переходом средств производства в общественную собственность устраняется товарное производство, а вместе с тем господство продуктов над производителями. Анархия общественного производства заменится организацией его по заранее обдуманному плану. Прекратится борьба отдельных личностей за существование. Можно сказать, что таким образом человек окончательно выделится из царства животных и из животных условий существования перейдет в условия, действительно, человеческие. Жизненные условия, окружающие человечество и до сих пор над ним господствовавшие, попадут под власть и контроль людей, которые впервые станут действительными и сознательными повелителями природы, и именно в той мере, в какой они станут господами своих собственных общественных отношений. Законы их собственных общественных действий, противостоявшие людям до сих пор, как чуждые, господствующие над ними законы природы, будут тогда вполне сознательно применяться ими, и следовательно, подчиняться их господству. Общественный строй, до сих пор являющийся людям как бы дарованным свыше природой и историей, будет тогда их собственным свободным делом. Объективные, внешние силы, господствовавшие над историей, поступят под контроль человека. И только тогда люди начнут вполне сознательно сами создавать свою историю, только тогда приводимые ими в движение общественные причины будут иметь в значительной и все возрастающей степени желаемые действия. И это будет скачком человечества из царства необходимости — в царство свободы

В заключение резюмируем весь ход изложенного нами развития.

I. Средневековое общество

Мелкое единичное производство. Средства производства, предназначенные для единичного потребления, и потому, естественно, неуклюжие, мелкие, с ничтожным действием. Производство с целью непосредственного потребления продуктов самим ли производителем, или его феодальным господином. Лишь там, где оказывался излишек производства над непосредственным потреблением, излишек этот поступал в продажу и подвергался обмену, следовательно, товарное производство находилось

*) Несколько цифр могут дать приблизительное понятие о громадной растяжимости современных средств производства, даже под капиталистическим давлением По новейшим вычислениям Гиффена общая сумма всех богатств Великобритании и Ирландии составляла круглым числом

в 1 14 г	2 200	милл	фунт	стерлингов	или 22 миллиарда рублей
1865 „	6 100	„	„	„ 61	„ „
„ 1875 „	8 500	„	„	„ 85	„ „

Что же касается уничтожения средств производства и продуктов во время кризисов то на втором конгрессе немецких промышленников (в Берлине 22 го февраля 1879 года) установлено, что общая потеря одной только германской железной промышленности дошла во время последнего кризиса до 455 миллионов марок

в зачаточном состоянии; но уже и тогда оно заключало в себе зародыш анархии общественного производства.

II. Капиталистическая революция.

Переворот в промышленности, совершившийся сначала посредством простой кооперации и мануфактуры. Сосредоточение разобщенных до тех пор средств производства в больших мастерских и превращение их этим путем из производительных средств отдельных лиц в общественные, превращение, вообще говоря, не коснувшееся способа присвоения. Старые формы присвоения остаются в полной силе. Появление капиталиста; в качестве собственника производительных средств он присваивает себе также и продукты и обращает их в товары. Производство становится общественным делом; обмен же, а с ним и присвоение продуктов, остается индивидуальным актом, делом единиц. Продукт общественного труда присваивается отдельным капиталистом. Это и составляет основное противоречие, заключающее в себе те противоречия, в которых движется современное общество, и которые с особенной ясностью обнаруживаются крупной промышленностью:

а) Отделение производителя от производительных средств. Обречение рабочего на пожизненный наемный труд. Противоположность между пролетариатом и буржуазией;

б) Возрастающее обнаружение и усиливающееся действие законов, господствующих над товарным производством. Безграничная конкуренция. Противоречие между общественной организацией на каждой отдельной фабрике и общественной анархией в общем ходе производства.

в) С одной стороны, усовершенствование машин, обратившееся, благодаря конкуренции, в принудительный закон для каждого отдельного фабриканта и равносильное с постоянно усиливающимся вытеснением с фабрик работников — возникновение резервной армии промышленности. С другой стороны, беспредельное расширение производства, также обратившееся в принудительный закон конкуренции для каждого фабриканта. С обоих сторон — неслыханное развитие производительных сил, превышение спроса над предложением, переполнение рынков, кризисы, повторяющиеся каждые десять лет, заколдованный круг: в одном месте излишек производительных средств и продуктов, в другом — излишек рабочих без занятий и без средств существования. оба эти двигателя производства и общественного благосостояния не могут соединиться, потому что капиталистическая форма производства не позволяет производительным силам действовать, а продуктам двигаться иначе, как под условием предварительного обращения их в капитал, чему именно и препятствует их излишек. Это противоречие возрастает до бессмыслицы: способ производства восстает против формы обмена. Буржуазия уличается, таким образом, в неспособности к дальнейшему управлению своими собственными общественными производительными силами.

г) Частное признание общественного характера производительных сил, к которому принуждаются сами капиталисты. Обращение больших производительных организмов и средств сообщения — сперва в собственность акционерных компаний, а затем и государства. Буржуазия оказывается излишним классом; все ее общественные функции исполняются теперь наемными агентами.

III. Революция пролетариата.

Разрешение противоречия пролетариат овладевает общественною властью и обращает с помощью этой власти отнятые у буржуазии общественные средства производства в общественную собственность. Этим он освобождает производительные силы от их современного капиталистического свойства и дает полную свободу развития их общественному характеру. Таким образом, становится возможным общественное производство по заранее обдуманному плану. Развитие производства делает анахронизмом существование различных классов. В той же мере, в какой исчезает анархия общественного производства, ослабевает политическая власть государства. Люди, ставшие, наконец, господами своих общественных отношений, становятся вследствие этого господами природы и самих себя, т.-е. достигают свободы.

Совершение этого освободительного дела составляет историческое призвание современного пролетариата. Исследовать исторические условия и самую природу этого переворота и, таким образом, выяснить призванному к его совершению, теперь угнетенному классу, значение его собственного дела — такова задача научного социализма, который является теоретическим выражением рабочего движения.

Ф. Энгельс.

ОТ УТОПИИ К НАУКЕ

ГЛАВА I.

Западно-европейский социализм.

Введение.

Мировой хозяйственный поворот XVI века, 30-летняя война XVII и бесчисленные войны XVIII веков привели Германию в состояние глубокого упадка. До начала XIX столетия священная римская империя германской нации стояла, как оборванное пугало, среди европейских культурных народов Правящие классы выродились до мозга костей, управляемые же не имели достаточно силы, чтобы разбить ярмо, пригибавшее их к земле. То, что буржуазный класс Англии осуществил в своей революции XVII века, а буржуазный класс Франции в своей революции XVIII столетия,—того не дано было совершить германскому бюргерству*). Его лучшие умы создали себе в литературе и философии идеальный образ гражданского мира, но выметать из немецкой земли феодальную гниль начала лишь железная метла чужеземного завоевателя**).

Французская революция выковала себе в военной диктатуре Наполеона оружие, при помощи которого она обеспечила свои социальные результаты,—было ли то в борьбе с Англией за господство на мировом рынке, или в борьбе с Россией, Австрией и Пруссией за разрушение феодализма***).

*) Нарождавшаяся немецкая буржуазия городов.

**) Речь идет о Наполеоне.

***) Феодализм— предшествовавший капитализму общественный строй, характеризующийся в экономической области преобладанием натурального хозяйства (производства продуктов для собственных потребностей данного частного хозяйства) и отсутствием стремления к расширению сношений между отдельными хозяйствами и разделению труда; феодальное хозяйство, главным образом, земледельческое, основанное на господстве и подчинении, власти и зависимости земледельца-крестьянина от землевладельца-помещика и не только хозяйственной зависимости, но и личной (крепостной); политическое устройство феодального общества, покоящегося на вышеуказанной экономической зависимости и сословном неравенстве, характеризуется ослаблением центральной власти и дроблением страны на множество государств (каждый помещик — государь). Прим. ред.

Одно время казалось, что ее колоссальные успехи увлекут ее далеко за пределы первоначально поставленной цели, но экономическое равновесие восстановилось опять с железной силой. Мечта французского мирового господства разбилась в такой же мере о превосходную силу английской промышленности, как о первобытный еще феодализм восточной Европы. Руководимая своим классовым инстинктом, французская буржуазия довольно скоро отрезвилась от опьянения, которое одно время затуманило ей голову. Она поспешила сама разбить оружие, которому пришла глупая мысль разыгрывать из себя самовластного господина. Ее измена была в еще большей степени причиною крушения Наполеона, чем английское золото и русский снег.

На первых порах, однако, плоды ее предательства не достались ей. Под предводительством английских тори*) и русского царя, европейская коалиция победила при Лейпциге и Ватерлоо. Таким образом, в 1814 г. император Александр I, а в 1815 г. герцог Веллингтон восстановили старо-бурбонскую королевскую власть. Феодализм попытался еще раз уютно устроиться в этой Европе. В Англии аристократическое землевладение со времени хлебных законов**) 1815 г. вступило в открытую ссору с промышленным капиталом; во Франции тот же антагонизм составлял скрытую подкладку спора между помещиком феодального и мелким крестьянином буржуазного общества. Политически это была борьба правительств и их друзей из дворян и попов с народными массами, предводительствуемыми буржуазией. Однако, знамя Священного Союза, вокруг которого сплотились деспотизм и феодализм, расплылось, как бесформенный туман, перед весьма осязательными и постоянно растущими силами, стоявшими за буржуазией. В Англии крупная промышленность, выросшая с последней трети XVIII века, стала развиваться гигантскими шагами; начиная с торгового кризиса 1815 г. и особенно 1825 г., она вступает в периодический

*) Консервативная партия английских феодалов.

**) Хлебные законы — существовали в Англии с конца XVIII до половины XIX века; установленные этими законами чрезвычайно высокие пошлины на ввозимый хлеб, подняли цены на хлеб и, будучи выгодными богатым землевладельцам, страшным гнетом ложились на неимущие слои населения. Окончательно хлебные законы были отменены в 1864 году. Прим. ред.

круговорот своей современной жизни. Во Франции старобурбонская реставрация потерпела решительную неудачу в своей попытке разрушить современное буржуазное общество, освобожденное от пут великой революцией и упроченное первой империей; как замаскированное чужеземное владычество, она скорее неотступно раздражала национальное самолюбие французского народа и толкала его к возмущению. В июльской революции 1830 г. французская буржуазия завоевала политическую власть; недолго спустя английский средний класс добился того же биллем о реформе 1832 г.*). В обеих странах буржуазия начала с того, что мошеннически лишила союзный с нею до тех пор пролетариат его доли в общей победе.

Этим самым современному рабочему классу был открыт путь ко всемирно-исторической борьбе. В сопротивлении общим угнетателям, отсталым классам, выводившим свои притязания на политическое господство из отживших способов производства, буржуазия и пролетариат были связаны общими интересами. Но по мере того как в этой борьбе развивалась буржуазия, развивался также и пролетариат. Буржуазия не может не порождать пролетариата, ибо только в этой противоположности она возникает и состоит. С ее ростом нераздельно связан также рост пролетариата, и ничем не тревожимая опека над своим детищем дается ей всегда только на короткое время. Буржуазному классу еще ни разу в истории не приходилось испускать громкого победного клика без того, чтобы ему не ответило глухое эхо из рабочего класса. Начиная от Томаса Мюнцера и до Гракха Бабефа в чреве буржуазной революции всегда шевелился зарождающийся пролетариат. Однако, пока ему отказано было в самостоятельной жизни, он двигался только, как во сне, он сражался лишь при помощи фантастического оружия, чтобы падать, испытывая жестокие разочарования. Лишь решительное поражение общих противников могло разорвать последние узы между буржуазией и пролетариатом. Как только

*) Билль о реформе — парламентский закон, изменивший и упорядочивший в Англии систему избрания депутатов в нижнюю палату; этим законом избирательные права утративших свое значение средневековых городов (т. н. «гнилых местечек») были переданы новым городам и местностям, до того лишенным избирательного права. Билль этот — первое достижение народившейся городской буржуазии. Прим. ред.

западно-европейская буржуазия достигла около 1830 г. политического господства, западно-европейский пролетариат стал неудержимо развиваться в политическую оппозицию.

Эта классовая борьба была следствием условий хозяйственной жизни капиталистического общества. Угнетенный класс восстал против угнетающего, пролетариат повел борьбу против буржуазии подобно тому, как буржуазия в свое время боролась против феодализма. Однако, между буржуазной и пролетарской революцией была одна существенная разница. Когда буржуазный способ производства опередил феодальный, он уже очень рано выступил против него с блестящим оружием в руках. Какое обилие великолепных фигур дала уже средневековая городская община. Какое головокружительное поприще открыли для буржуазного честолюбия великие открытия и изобретения XVI столетия! С каким бессмертным хохотом прогоняли феодальные привидения и тени, всякие Боккачио и Рабле, Лессинги и Вольтеры! Напротив, когда буржуазия достигла в крупной промышленности кульминационного пункта своего развития, то она взрастила, правда, соответственно многочисленный пролетариат, но в то же время ввергла последний в бездонную, неслыханную раньше во всемирной истории нищету. Чем резче выступала классовая противоположность между буржуазией и пролетариатом, тем безнадежнее казалась борьба между этими угнетателями и жертвами их угнетения.

Мыслящие головы буржуазии скоро поняли, что экономическое развитие, покупавшее всякое увеличение общественного богатства ценою возрастающей нищеты масс, должно привести к гибели всякой человеческой культуры. Чем яснее, однако, выступали пред ними последствия капиталистического способа производства, тем больше удалялась от них также мысль, что этот исторический процесс может когда-либо изнутри себя самого изменить направление. Спасение, поворот был необходим, но он никогда не мог, по их мнению, притти из самих страждущих масс, численный рост которых сопровождался только ослаблением их силы. Сами имущие классы должны были понять, что так дело дальше итти не может; нужно было убедить их в невыносимости социальных зол. Нужно было только обратиться с призывом к их уму и сердцу; буржуазное общество надо было поставить на новое

основание или, по крайней мере, удержать только его светлые стороны, уничтожив, напротив, теневые; нужно было опытами в малом масштабе доказать возможность нового общества в большом; в особенности же нужно было устранить причину всяческого зла: резкую и с каждым днем все более обостряющуюся противоположность классов. С этой точки зрения, становящейся над классами, классовая борьба пролетариата казалась делом безразличным или даже вредным. Она могла быть и безразличной, так как, в конце концов, она, ведь, ни к чему не могла привести; она становилась вредной, когда озлобляла имущие классы и еще обостряла классовый антагонизм, устранить который именно и нужно было.

Так возникло противоречие между классовой борьбой и социализмом, которого не удалось примирить ни в Англии, ни во Франции.

Исторически социализм предшествовал классовой борьбе пролетариата. Раньше чем буржуазия в состоянии была захватить политическое господство, она должна была достигнуть высокой ступени развития, а раньше, чем она могла достигнуть высокой ступени развития, она должна была создать обширные массы неимущих наемных рабочих, лишить собственности целые слои населения. Просвещенные люди, стоявшие в центре крупного капиталистического хозяйства, видели уже в начале XIX столетия его мрачную оборотную сторону и набросали планы нового общества. Во Франции это сделали Сен-Симон и Фурье, в Англии — Оуэн.

Великие утописты и их школы.

Общею чертою утопистов было враждебное отношение их к французской революции, вообще ко всякой активной политической роли рабочих классов. Объяснялось оно вопиющим противоречием между порядками, созданными французской революцией, и теми гражданскими идеалами, которые были возвещены при ней, — идеалами мира, справедливости, равенства. Эти идеалы утописты хотели теперь осуществить во всей их чистоте, они хотели улучшить положение всех членов общества, хотя на первом плане и для них стояло положение самого бедного и многочисленного класса — пролетариата. Но в таком случае нужно было пойти по другому

пути, чем тот, которым шла революция. Мыслящий разум должен был начертать план нового общества и убедить правящие классы в необходимости устроить это общество. Пока в еще зарождавшемся только пролетариате нельзя было распознать никакой движущей исторической силы, до тех пор утопистам оставался лишь этот путь для достижения своих целей. Сен-Симон обращался с призывом к королевской власти, Фурье ежедневно ждал посещения миллионера, который принес бы ему деньги для осуществления его утопии, Оуэн ограничивался мирной пропагандой, державшейся в стороне от всякой политической агитации.

Естественно, что всеобщий разум утопистов проявился в каждом из них, как его особый разум. Сен-Симон был фаустовской натурой, исследовавшей жизнь своей эпохи на всех ее высотах и низах, универсальным умом, одинаково возвышавшимся над французским просвещением, как и над французской романтикой. В противоположность просветителям, он понимал внутреннюю связь истории, историческое оправдание средневековья, движущую силу религии; в противоположность романтикам*) он отвергал возвращение к порядкам феодального и клерикального**) владычества. Вельможа старой Франции, он провозгласил, что не церкви и войску, а промышленности и науке приличествует отныне господство; превосходный инженер, стоявший в первых рядах завоевывающей мир буржуазии, он не обманывался насчет ее исторически преходящего характера.

Основная идея его жизни состояла в том, чтобы обеспечить каждому самое свободное развитие его способностей. До настоящего времени человек эксплоатировался человеком, как раб, крепостной, наемный рабочий. Теперь наступила пора, когда предметом эксплоатации должна стать только одна природа, земной шар, притом путем объединения, ассоциации всех, ибо работать должны все люди. Подобно тому как промышленность не должна больше состоять в эксплоатации людей, а в эксплоатации одной природы людьми, так и правительство должно быть впредь управлением вещами,

*) Романтики своим лозунгом выставляли возвращение к средневековому строю, таким образом, немецкий романтизм XIX века в политике является реакционным направлением, феодальной реакцией против нарождавшихся капиталистических порядков.
Прим. ред.

**) Церковного.

а не людьми. Новое христианство это — моральное и физическое поднятие пролетариата, это — блаженство всех людей уже в земной жизни, это — единство плоти и духа, которые старое христианство разлучило. К гениальным предвидениям Сен-Симона примешивался еще грубый шлак буржуазных и даже иерархических представлений, но брошенные им семена оказали плодотворное действие на позднейший социализм в самых разнообразных областях, и из противоречивого мира его идей то и дело прорывались блестящие пророческие откровения, подобно свету звезд из несущихся облаков.

В гораздо большей степени, чем Сен-Симон, был критиком буржуазного общества Фурье. Служа приказчиком в оптовой торговле, он видел, как при всех политических переворотах процветает только капитал Он видел, как торговля постоянно извлекала барыши из конфискации имений, из бумажно-денежного хозяйства, из континентальной системы*), из поставок оружия, одежды и провианта для французских армий: коротко говоря — из всякого мероприятия революционных властей и их наследника — Наполеона. Против гидры торговли, против торгового феодализма были направлены самые острые его стрелы. Но и Фурье исходил из идеальных предпосылок великой революции. Он стоял на почве французского материализма, когда объявлял хорошими все человеческие наклонности и инстинкты и хотел построить свое новое общество на разумном удовлетворении их.

Общество это было игрой его фантазии, и нет ничего легче, конечно, как вышутить его причудливые детали. Это не мешает, однако, признать, что Фурье своей критикой современной цивилизации проложил новые пути в этой области. Он остроумно и проницательно вскрыл противоречия, которые эта цивилизация беспрерывно создает вновь, никогда не имея силы побороть их; он впервые указал на то, что нищета происходит в ней от изобилия. Он сказал, что она возводит всякий простой порок варварства в нечто сложное, двусмысленное, лицемерное. Он осыпал едкой насмешкой буржуазный брак и произнес глубокомысленное изречение: «степень женской эмансипации является естественным мерилом общей эмансипации». Критика его была в высшей

*) Система, установленная Наполеоном и заключавшаяся в недопущении на материк английских товаров.
Прим. ред

степени плодотворной: то, что Фурье сказал об уничтожении противоположности между городом и деревней, о слиянии наций, о труде, как завершении человеческого существа, а не хозяйственной необходимости, о громадном процессе ассоциированного, обобществленного человечества, — все это получило непреходящее значение.

Несмотря на все свои фантазии, Сен-Симон и Фурье были революционными мыслителями. Только их приверженцы и преемники стали реакционными. Они вербовались почти исключительно из имущих классов; в особенности у Сен-Симона явились уже после его смерти (1825 г.) многочисленные последователи, которые после июльской революции выступили с порядочным шумом на общественную сцену. Но именно о пробный камень практической революции сен-симонизм разбился. Базар, руководивший тайными политическими союзами против бурбонской реставрации, хотел распространить учение своего учителя путем политической пропаганды и, таким образом, принудить государственную власть к его признанию, — в противоположность Анфантену, который занимался иерархически-религиозной организацией школы и проповедывал возрождение плоти в грубо-чувственном смысле. Анфанген, происходивший из банкирской семьи и сам работавший в одном банковском деле, обладал некоторыми чертами пророка. Соединяя в своем лице человека холодного, беспощадного расчета и необузданного мечтателя, он в этом смешении противоположных элементов оставался, однако, обворожительной натурой, сумевшей подчинить своему влиянию даже такого человека, как Генрих Гейне. Он одержал верх над Базаром, которому жестокое разочарование стоило жизни.

После этого более здоровые элементы выступили из школы, и между ними — Бюше, старый товарищ Базара. Он дал религиозным моментам сен-симонизма практическое направление. Ему хотелось осуществить заветы христианской морали в социальной области при помощи мирного средства — ассоциации; рабочие должны были, по его плану, основывать производительные товарищества, — не для того, чтобы сделать отдельных рабочих предпринимателями, а чтобы освободить рабочий класс от системы наемного труда. Бюше рассчитывал на чувство солидарности у пролетариата. Это чувство, надеялся он, побудит первые удачные товарищества обратить

часть своей чистой прибыли на образование нераздельного капитала, который, в качестве неотчуждаемой собственности всего класса, должен постепенно объединить в товарищества рабочих всех промыслов. Этот план был основан на полном непонимании внутреннего существа капиталистического общества, но тем не менее энергично содействовал распространению идеи ассоциации среди французского рабочего класса.

С выступлением некоторых членов школы Анфантен тем быстрее увлек сен-симонизм к бесславной гибели. В те самые июньские дни 1832 г., когда буржуазной монархии было дано первое уличное сражение, мечтательная община сен-симонистов удалилась в деревенскую глушь. Легкое судебное преследование, которое не в состоянии было бы нанести ни малейшего вреда всякому стихийному классовому движению, разбросало сен-симонистскую школу. Отдельные последователи ее перешли к Фурье, но большинство отрезвившихся мечтателей вступило в ряды беззастенчивых рыцарей наживы. Биржевая спекуляция второй империи в самых грубых своих злоупотреблениях плавала под сен-симонистским флагом; прежние мученики, по саркастическому замечанию Гейне, не несли больше креста — кроме креста Почетного Легиона.

Подобно Сен-Симону, Фурье умер (1837) в глубокой нищете. Гейне часто видал его пробирающимся в сером потертом сюртуке вдоль колон Палэ-Рояля*), с туго набитыми карманами: из одного выглядывало горлышко бутылки, а из другого — длинный хлеб. Фурье нашел в лице Виктора Консидерана умного и мужественного приверженца, и фурьеризм продолжал, хотя и в более тесном кругу и возбуждая меньший шум, но зато тем упорнее держаться, чем сен-симонизм. Однако, и он бесследно погиб, отчасти от маленьких и неудавшихся, конечно, попыток осуществить утопию учителя, отчасти вследствие своего сопротивления пролетарской классовой борьбе.

От французских утопистов Оуэн отличался тем, что казался во многих отношениях более узким, но фактически он стоял на более высоком сторожевом посту экономического познания. Во Франции крупная промышленность была почти еще неизвестна, в то время, когда она почти революционировала

*) Знаменитый дворец в Париже

уже все основы гражданского общества в Англии. Только крупная промышленность доводит до крайнего предела антагонизм между буржуазией и пролетариатом, противоречие между производительными силами и производственными отношениями капиталистического общества, но лишь она создает также средства преодолеть этот антагонизм и это противоречие. В своих практических опытах Оуэн исходил из той самой фабричной системы, из которой взяла свое начало социальная революция. В тех пунктах, где он соприкасается с Фурье, — напр., в требовании, чтобы пагубные последствия разделения труда, вырождение рабочего и ухудшение качества работы были устранены путем более разнообразного и менее продолжительного труда, — там более высокое развитие Англии дает ему превосходство в оценке явлений. То, чего Фурье хотел достигнуть в своих утопических фаланстерах*), Оуэн видел вырастающим из Иродова избиения младенцев, с которого начала крупная промышленность: его умственному взору рисовалось воспитание будущего, которое для всех детей старше известного возраста будет соединять производительный труд с образованием и гимнастикой, не только как способ увеличения общественного производства, но и как единственный способ производить всесторонне развитых людей.

Принципиально Оуэн, подобно Фурье, примыкал к французскому материализму XVIII века. Он видел в человеке продукт его естественных наклонностей и окружающих его условий, и промышленный переворот Англии дал ему отличный случай подтвердить правильность своего любимого тезиса. С 1800 до 1829 года он управлял большой бумагопрядильней в Нью-Ланарке. Из ее 2.500 рабочих, выродившихся вследствие плохой оплаты труда, чрезмерной продолжительности рабочего времени, безграничной эксплоатации женщин и детей, — рабочих, задолжавших кругом мелким лавочникам, погрязших в пьянстве, половых излишествах, грубости и невежестве, — из них он создал образцовую колонию. Средствами его были 10-часовой рабочий день, заботливое воспитание подрастающего поколения, — вообще — достойные человека условия, которые он создал для рабочих. Достигнутые

*) Общественные дома-коммуны общин Фурье; общину же Фурье назвал фалангой. Прим. ред.

им великолепные результаты возбудили внимание всей Европы, и коронованные особы старались приобщиться к блеску, окружавшему имя благородного филантропа. Русский император объявил себя покровителелем Оуэна, и даже сонный король прусский, пассивно смотревший на избиение младенцев в рейнской промышленности, послал ему золотую медаль и лестное письмо. Однако, уже Генц, самый продувной наемный писака Священного Союза, правильно определил ценность этих знаков уважения, цинически заметив: «Мы вовсе не желаем, чтобы массы стали зажиточными и независимыми: как мы могли бы иначе править ими?»

Действительно, лавры на голове Оуэна быстро завяли, как только он решительно пошел по пути, на который однажды вступил. Достигнутое в Нью-Ланарке нисколько не удовлетворяло его: рабочие оставались его «рабами», они оставались очень далекими от того состояния, которое носилось перед его умственным взором, как конечная цель человеческого развития. А между тем эти 2.500 рабочих производили для общества столько же действительного богатства, сколько каких-нибудь полвека тому назад производило население в 600 тыс. человек. Оуэн задал себе вопрос: куда девается разница между тем, что потребили 2.500 человек, и тем, что должны были бы потребить 600.000 лиц? Ясный ответ давали те 300 тыс. с лишним фунтов стерлингов чистой прибыли, которые были получены владельцами Нью-Ланарка сверх 5% дохода на основной капитал. Исходя из этой точки зрения, Оуэн пришел к социализму. Те самые колоссальные производительные силы крупной промышленности, которые при существующих условиях служили для обогащения отдельных лиц и порабощения масс, он хотел сделать рычагом нового общества, где они должны были, в качестве общей собственности, применяться только для общего блага всех. Три великих препятствия к созданию такого общества Оуэн видел в «триединстве зла»: позитивной религии, частной собственности и нерасторжимости брака. Выступив против них с полным сознанием, что он ставит все на карту, он действительно потерял все. Оффициальное общество подвергло его опале, печать замалчивала его или, по примеру руководящего органа буржуазии, обрушивалась на него с воплями по поводу его «чудовищных гнусностей»,

его «скотских гадостей», его «мерзостей, достойных преисподней». Состояние Оуэна было затем истрачено в попытках положить первые начатки социалистического общества, доказать в малом масштабе его возможность. На почве капиталистического общества эти опыты должны были по необходимости потерпеть крушение, но все же они еще свидетельствовали об искусной руке и широком взгляде их инициатора. С глубоким знанием дела Оуэн набросил план своих колоний во всех технических подробностях; его рабочие базары, — учреждения для обмена продуктов труда при посредстве рабочих бумажных денег, единицу которых составлял 1 час труда, — предполагали непосредственно обобществленный труд, следовательно, полное упразднение товарного производства, на котором покоится капиталистическое общество.

Подобно тому, как в практическом отношении Оуэн вывел свои социалистические заключения из крупной промышленности, так он теоретически вывел их из классических представителей политической экономии, у которых сущность капиталистического общества исследована еще с научной объективностью. Богатство такого общества состоит из товаров, и меновая ценность товара была загадкой, над разрешением которой бились с конца XVII века английские и французские экономисты. Наконец, Рикардо выяснил, что ценность товаров определяется рабочим временем, и доказал в главном своем труде, что этот закон управляет также теми буржуазными производственными отношениями, которые на первый взгляд находятся в полном противоречии с ним. Рядом с этим он констатировал, однако, факт, что продукт всего общественного труда распределяется между тремя классами — землевладельцами (рента), капиталистами (прибыль) и рабочими (заработная плата). Таким образом, получалось все-таки вопиющее противоречие. Если меновая ценность продукта была равна содержащемуся в нем рабочему времени, то меновая ценность рабочего дня должна была равняться его продукту, другими словами: заработная плата должна была равняться продукту труда. Между тем, в действительности вознаграждение рабочего ограничивалось тем, что оставалось от продукта общественного труда по вычете из него ренты и прибыли, и производители всех ценностей находились в крупной промышленности в более жалком положении, чем какое когда-либо

выпадало на долю рабочих классов. Если признавалось желательным помочь им восстановить свое право, то для достижения этого необходимо было отдать им всю ценность продукта их труда.

Именно эту задачу ставил себе Оуэн своими бумажными рабочими деньгами. Если рабочее время является мерилом ценностей, к чему еще тогда другое внешнее мерило, деньги? Благодаря тому, что все другие товары определяли свою ценность в одном этом товаре, меновая ценность обратилась в цену, и стало возможным распадение продукта труда на ренту, прибыль и заработную плату. Оуэн слишком ясно понимал, однако, внутренний механизм капиталистического способа производства, чтобы вообразить, будто он в состоянии устранить деньги своими рабочими билетами, оставив товарное производство во всех прочих отношениях нетронутым. Чтобы *рента и прибыль исчезли, нужно было заменить* частную собственность на средства производства общей собственностью. Переходной ступенью к этой конечной цели должны были служить рабочие базары Оуэна. Это была утопия, ибо нельзя перевернуть существующее общество посредством маленьких опытов, имеющих своим назначением практически убедить это общество в его внутренней неразумности. Оуэн не знал, однако, в гораздо большую ошибку, которую делают, когда хотят вытащить капиталистическое общество из болота за его собственную косу.

Ясно, что Оуэну пришлось уже стать к рабочему классу на много ближе, чем это приходилось французским утопистам. Он работал для него не только в Нью-Ланарке; разошедшись со своими жадными компаньонами, он еще продолжал жить среди рабочих в течение целого поколения, до самой смерти своей, последовавшей в 1858 г. Поскольку английское фабричное законодательство и кооперативное дело обязаны своим существованием пионерским усилиям одного человека, Оуэна можно считать их отцом. Оуэн агитировал также среди пролетариата за свои социалистические теории и при этом испытал уже все преследования, которые стали с тех пор обычным уделом борцов за пролетарские интересы, начиная от трудности найти залу для собрания и кончая угрозами жизни и здоровью. Однако, от борьбы рабочего класса за политическое господство, испытавшей такой могучий

подъем в чартистском движении, Оуэн держался в стороне. Он хотел прежде всего убедить имущие классы при помощи мирной пропаганды и относился с недоверием к пролетариату, еще очень незрелому в те годы, когда Оуэн был в расцвете своих сил.

Ученики Оуэна не пошли дальше него. Правда, Дж. Ф. Брей высказал раз убеждение, что правящие классы неспособны понимать великие истины, но это не мешало ему отвергать политическую борьбу рабочих, а по мнению его однофамильца Ч. Брэя, чартистское движение не доказало ничего, кроме неспособности пролетариата взять в руки свои собственные дела. Единственным их лекарством для больного общества были те рецепты блаженства, которые они измыслили в своих головах. Приверженцы Оуэна стали сектой, чтившей в нем своего непогрешимого пророка. Чем революционнее развивался чартизм, тем миролюбивее вели себя оуэнисты. Неудивительно, если они потеряли связь с массами, установление которой стоило такого труда. Оуэнизм измельчал в товариществах, вдохновлявшихся «самопомощью», и в религиозном вольнодумстве.

Мелко-буржуазные социалисты.

Вместе с ростом классовой борьбы крупно-буржуазный социализм умирал вообще. Чем сильнее буржуазия была теснима пролетариатом, тем больше она теряла охоту и досуг для составления и созерцания картин будущего строя, в котором уничтожены страдания пролетариата. Зато мелко-буржуазный социализм развивался именно под давлением растущей классовой борьбы между буржуазией и пролетариатом.

Не то, чтобы мелко-буржуазные социалисты приняли в этой борьбе сторону рабочих! Нет, как промежуточный класс, в котором одинаково притупляются интересы двух классов, мелкая буржуазия считает себя выше классового антагонизма и отвергает классовую борьбу. Отличие мелко-буржуазного социализма от крупно-буржуазного утопизма заключалось скорее в том, что первый не стремился уничтожить крайние пункты — капитал и наемный труд,— а хотел только ослабить и превратить в гармонию их противоречия Он хотел привести к мелко-буржуазному уровню высоты и низины современного общества. Так как он не выдумывал

никакого нового общества, а хотел лишь освободить буржуазное общество от противоречий, составляющих его сущность и с ним нераздельных, то он охотно щеголял своей «наукой», подобно тому, как мелкая буржуазия охотно выступает в роли «народа», полагая, что она защищает общее благо, когда отстаивает свои особые интересы.

Отсюда нисколько еще не следует, что мелко-буржуазные социалисты должны были стоять на уровне понимания какого-нибудь сапожного мастера или перчаточника. По образованию и происхождению они довольно часто далеко возвышались над классом, интересы которого отстаивали. Они выступили с остро отточенным оружием за пролетариат против буржуазии, они разрушили своей едкой критикой лицемерные прикрашивания капиталистических экономистов. Мелко-буржуазными социалистами делало их то обстоятельство, что они не в силах были выйти своей мыслью за те границы, за которые мелкая буржуазия неспособна выйти в жизни. Они хотели либо построить буржуазное общество во всей его чистоте, осуществить определение товарной ценности трудом и свободный обмен продуктов труда между равноправными владельцами товаров согласно этому мерилу ценности,— либо насильственно втиснуть обратно современные средства производства и экономического оборота в старые условия собственности, давно разорванные ими. Оставаясь на почве действительности, мелко-буржуазные социалисты были уверены, что это обстоятельство дает им громадное превосходство над крупно-буржуазными утопистами; на самом деле они заменили революционные утопии реакционными.

Первая из упомянутых мелко-буржуазных утопий возникла в Англии, вторая — во Франции. Учение о рабочем времени, как непосредственной денежной единице, было впервые систематически развито Джоном Грэем в 1831 г. Он предложил основать национальный центральный банк с филиальными отделениями, которые должны были производить обмен товаров не на деньги, а на удостоверения о количестве воплощенного в них рабочего времени. Внутреннее противоречие, которым страдали эти планы и о которое они разбивались при всякой попытке практического их осуществления, состояло в том, что продукты должны были производиться как товары, но обмениваться не как таковые. Тогда как рабочие бумажки

Оуэна должны были констатировать только индивидуальное участие производителя в общей работе и его индивидуальное притязание на предназначенную для потребления часть общего продукта, рабочие удостоверения Грэя имели своим назначением осуществить обмен продуктов отдельных независимых производителей. Этим самым терялся, однако, всякий контроль над тем, воплощается ли в индивидуальной работе отдельных лиц общественно-необходимый труд. Только в денежной форме товара индивидуальный труд становится общественно-необходимым трудом. Упразднение денег, если допустить вообще его возможность в капиталистическом обществе, не вознесло бы этого последнего на вершину мелко-буржуазной гармонии, а повергло бы его в бездну немедленного банкротства. Товар и деньги так же связаны друг с другом, как два полюса. Вместе с исчезновением товарного производства исчезают также деньги, но ни в каком случае деньги не могут исчезнуть без одновременного исчезновения товарного производства. Как неизменно ни терпела фиаско эта утопия при каждой попытке ее осуществления, тем не менее она проходит красною нитью через историю мелко-буржуазного социализма, сначала в Англии, но затем также в Германии и во Франции. Определение товарной ценности трудом есть реальная основа, из которой вырастают буржуазные идеалы справедливости и равенства, и потому не прекращались безнадежные попытки очистить буржуазное общество от его зол путем попыток устранения тех условий, при которых оно вообще только и может жить.

В соответствии со степенью хозяйственного развития обеих стран мы видим, что эта утопия возникла в Англии, тогда как другая мелко-буржуазная утопия, желавшая посадить курицу назад в разбитое яйцо, зародилась во Франции, где мелкое производство сохранило еще гораздо большее значение, чем в Англии. Ремесло обнаружило здесь большую крепость и жизнеспособность, потому что Франция противопоставила массовым продуктам, с которыми Англия выступила на мировом рынке, свои предметы роскоши. Крестьянство составляло больше половины французского населения, тогда как английские крестьяне давно уже были проглочены прожорливой пастью капиталистического способа производства. Сохранением французского крестьянства объясняется более

продолжительное существование французского феодализма; им же объясняется различие между английскими и французскими экономистами. В Англии победное шествие капитализма было блестящим и скорым и сопровождалось страшным разрушением мелкой собственности, во Франции оно осуществилось с гораздо меньшей быстротой, с гораздо меньшим блеском, но тем мучительнее для управляемой и угнетенной массы, в сравнении с бесконечными страданиями которой немедленное уничтожение могло казаться почти благодеянием. Вследствие указанной причины буржуазные экономисты Франции смотрели на это триумфальное шествие, смеясь одним глазом и плача другим: они единым духом возвеличивали и проклинали буржуазную форму труда; по ясности понимания они уступали, может-быть, английским экономистам, но по своему гуманному образу мыслей они шли впереди них. Подобно тому, как эта разница выступала уже резко в конце XVII века между первыми представителями классической экономии, между Буагильбером и Петти, так мы можем наблюдать ее еще в начале XIX столетия между ее последними представителями — Рикардо и Сисмонди.

Рикардо выпустил в свет главное свое произведение в 1817 г., Сисмонди — в 1819 г. В промежутке между этими датами был пережит первый торговый кризис, вспыхнувший по восстановлении мира в Европе. Рикардо отнесся к нему еще очень легко, как к неприятности, которую всякий богатый народ может перенести столь же терпеливо, как богатый негоциант переносит опасности своего корабля, из-за которых он не станет, ведь, завидовать своему бедному соседу, гарантированному от таких опасностей. Напротив, Сисмонди видел причину кризисов в растущей бедности масс. Он находил, что буржуазное общество стремится отделить всякого рода собственность от труда всякого рода. «По мере того как имущества сосредоточиваются в руках небольшого числа собственников, внутренний рынок суживается все больше, и промышленность все больше вынуждена искать сбыта на чужих рынках, где ее ожидают еще большие перевороты». В красноречивой форме Сисмонди анализировал противоречия современных производственных условий: анархию в производстве, истребительную промышленную войну между нациями, волнующую

КНИГОХРАНИЛИЩЕ

в распределении богатств, концентрацию капитала и земельной собственности, угрожающую гибель крестьянства и ремесленников, нищету пролетариата. Ему первому принадлежит меткое замечание: римский пролетариат жил на счет общества, тогда как современное общество живет на счет пролетариата.

Критика Сисмонди никогда не переходила, однако, за мелко-буржуазный круг идей. Он сравнил крупную промышленность с тем учеником магии, который не в состоянии укротить вызванных им духов, и потому его главною целью было — ограничить производство. Сисмонди задавал вопрос: неужели богатство — все, а люди — ничто? Накопление богатств должно находить свой предел в благосостоянии людей. Сисмонди был слишком проницательным экономистом, чтобы просто вернуться назад к феодально-цеховым условиям, но его более или менее гнала туда логика его мелко-буржуазной точки зрения. В промышленной области, где международная конкурренция делала цеховой строй ремесла явно невозможным, Сисмонди принужден был удовольствоваться самыми общими проектами реформы, напр., требованием сделать предпринимателей ответственными за существование работающих у них пролетариев и создать, таким образом, «известную солидарность» между капиталом и трудом. Но в области аграрных отношений для него открывался лучший исход в предположении, что мелкое хозяйство имеет здесь преимущества над крупным. Сисмонди обратил, поэтому, самую усердную свою заботу на мелкое хозяйство в земледелии. Французский мелкий крестьянин превратился, благодаря великой революции, из полу-крепостного в свободного земельного собственника, он бился в сражениях республики и империи против феодализма, теперь же капиталистический ростовщик со своей гипотекой*) стал теснить крестьянина не меньше, чем его теснил некогда феодальный помещик со своей барщиной. Однако, наследственная аренда, родовые и рентные имения, которыми Сисмонди хотел поддержать крестьянское землевладение, приближались опять к связанной собственности средних веков. Его школа окончательно двинулась назад к патриархальному хозяйству.

*) Ссуда под залог земли.

Сисмонди, бывший последним представителем классической экономии, был также первым представителем мелко-буржуазного социализма, который находился во Франции под его господствующим влиянием, приблизительно, в течение 20 лет. Затем его направление нашло новых представителей, понять которых можно лишь ознакомившись с классовой борьбой пролетариата.

ГЛАВА II.

Классовая борьба западно-европейского пролетариата.

Английские фабричные законы и рабочие союзы. Чартизм.

В начале XVI столетия расцвет шерстяной мануфактуры *) во Фландрии и рост цен на шерсть дали первый толчок к насильственному обезземелению английского крестьянского класса английским крупным землевладением; в конце XVIII века крупная промышленность согнала с земли кустарей-прядильщиков и ткачей, последний значительный остаток населения, сидевшего когда-то на собственной земле. Но затем машина, устранив необходимость в мускульной силе, вызвала женский и детский труд,—то своеобразное и страшное страдание современного пролетариата, которого в такой степени никогда не знало ни древнее рабство, ни крепостное состояние средних веков. В то время как Англия была как бы заново создана и большие города словно поднимались из земли, а из бесплодных болот вырастали огромные человеческие ульи, в то время как капитал увеличивался в гигантских размерах и завоевывал один иностранный рынок за другим,—в то самое время над английским пролетариатом разразились неслыханные бедствия.

Капитал в крупной промышленности отнял у пролетария все, что придает жизни какую-либо ценность. На день жизни своего рабочего он смотрел всецело как на свой рабочий день, за исключением тех немногих часов отдыха, без которых рабочая сила не может обойтись, если не хотят, чтобы

*) Мануфактура—особая форма капиталистического производства на первых ступенях его, это—капиталистическое ручное (без помощи самодвижущихся машин) производство с довольно большим числом рабочих; от ремесла отличается высокой степенью разделения труда, наемным характером рабочих, вполне зависимых от хозяина-капиталиста, лично не принимающего участия в работе. Прим. ред.

она совершенно отказалась служить. В стране, где так свято чтут «субботу», воскресный отдых был отнят у рабочего; точно также у него было отнято время для исполнения своих семейных обязанностей, для общественных сношений, для образования и духовного развития вообще. Детскому организму не оставляли времени, необходимого для развития и роста, для наслаждения свежим воздухом и солнечным светом, не оставляли даже необходимого времени для быстрого проглатывания скудного обеда. Детям и взрослым часто вкладывали в рот пищу во время самой работы, так что рабочий являлся только вещным средством производства, которому подносили пищу так же, как паровому котлу подают уголь или машине сало и масло. Здоровый сон для освежения и обновления жизненной силы сократился до такого количества часов оцепенелого состояния, какое было безусловно необходимо, чтобы вернуть к жизни совершенно истощенный организм. Если полное вырождение фабрично-заводского пролетариата и было несколько замедлено притоком здоровых элементов из сельских округов, то скоро и этот источник начал иссякать, и врачебные отчеты констатировали быстрое вымирание сельских рабочих. Жизненная сила английского народа была подточена вкорне.

Этим самым, однако, было подвергнуто опасности господствующее положение Англии на всемирном рынке. Забота о нем, ненависть крупного землевладения к промышленному капиталу, раскол в среде самой буржуазии, предостережения врачей, филантропическое сострадание лучших элементов буржуазии, неутомимое рвение таких благородных друзей человечества, как Оуэн, наконец, даже деловой интерес некоторых крупных фабрикантов,—одним словом, ряд самых разнообразных причин соединились для того, чтобы склонить имущие классы, за исключением фабрикантов в их массе, к государственной охране самых беззащитных по крайней мере, рабочих слоев, следовательно, прежде всего—детей. Действительно, в 1802, 1819, 1825, 1829 и 1830 г. г. были изданы законы для защиты детей, занимаемых работами на фабриках. Но все эти законы оставались мертвой буквой, так как парламент не отпустил ни гроша на фактическое проведение их в жизнь вопреки сопротивлению предпринимательского класса. Гораздо больше, чем по своим фактическим

плодам, эти буржуазные старания о законодательной охране труда оказались действительными по своему отраженному психологическому действию на самих рабочих. По ним пролетариат узнал, какое важное значение он имеет для общества при всем своем безгранично-бедственном положении.

Впрочем, и без того пролетариат никогда не терял вполне этого сознания. Воспрещение коалиций законом 1799 г., несмотря на всю суровость установленных им наказаний за коалиции рабочих, не достигло цели, к которой стремились его инициаторы. Оно вызвало в рабочих, которым угрожал закон, сознание солидарности своих интересов даже там, где он мягко применялся. Там же, где его проводили с драконовской строгостью, как в фабричной промышленности, он возбуждал насильственное сопротивление. Рабочие соединялись в тайные общества; члены их брали на себя обязательства под страшными клятвами; неверные товарищи платились жизнью и здоровьем. В лишенных человеческого облика жертвах капитала проснулась нечеловеческая жажда мести, как последнее человеческое чувство; поджоги, кражи, разрушение машин, стали обыденным явлением. Умные представители индустриализма сами поняли, что такое положение вещей не может продолжаться; они поняли, что не в праве отрекаться от следствий, вытекающих из их собственного учения, когда те выгодны для рабочих. Усилиями радикального фритредера *) Юма,—за спиной которого стоял портной Плэс, необыкновенно практичный агитатор, достававший каждый раз новое оружие для борьбы,— удалось в 1824 году провести контрабандою через парламент отмену воспрещения коалиций.

Тотчас же во всех отраслях труда возникли трэд-юнионы, профессиональные рабочие союзы, старавшиеся завоевать себе лучшие условия труда, в особенности при помощи стачек. Испуганный парламент уже в следующем году снова ограничил только что дарованную свободу коалиций, но подъем духа среди рабочих не был сломлен этим. Рабочие союзы продолжали энергично развиваться, они сблизились с радикализмом и социализмом, соединились в 1834 году в один

*) Фритредеры—сторонники свободы торговли, необходимой новой городской буржуазии; во главе с Ричардом Кобденом выступали против английских хлебных законов.

могущественный союз, направившийся на всех парах к коммунистическому обществу. Проникнутые уверенностью в победе, они слишком опрометчиво предприняли крупные стачки, кончившиеся рядом тяжких поражений и приведшие к распадению их союза. Тем не менее трэд-юнионы пережили и этот удар. Сколько препятствий им ни ставила на каждом шагу крайняя немилость законодательства и общественного мнения, руководимого капиталистической прессой, сколько ни доказывали им бесполезность их усилий экономисты и социалисты,—проснувшееся классовое сознание пролетариата не давало больше сбивать себя с толку.

Оно не дало сбить себя с толку и тогда, когда поддержало ненавистную буржуазию в ее политической борьбе с короной и крупным землевладением. Еще слишком неразвитый, чтобы образовать собственную партию, английский рабочий класс был достаточно развит для понимания того обстоятельства, что реакционные насилия над гражданской свободой, что сохранение палаты общин, назначаемой наполовину ленд-лордами *) и наполовину—подкупленными избирателями, прямо противоречат его интересам. Он примкнул к мещанско-радикальному крылу буржуазии, требовавшему парламентской реформы на основе всеобщего избирательного права Реформу вырвал у короны и обеих палат прежде всего страх перед «угрюмыми рабочими массами Ланкашира и Иоркшира». Но билль о реформе 1832 г. обеспечил избирательное право только среднему классу, который отклонил дальнейшее расширение его в пресловутом заявлении об «окончательности» реформы.

Преобразованный парламент тотчас показал, чье он духовное детище. Исключительные законы против Ирландии, новая организация городского управления, обеспечившая буржуазии в больших промышленных городах непосредственное господство над местным пролетариатом, новый закон о призрении бедных с его «Бастилиями» **), в которых с безработными обращались хуже, чем с преступниками,—все это толкнуло пролетариат в политическую оппозицию против буржуазии. Такое же действие оказал фабричный закон 1833 г., составлявший, по многим своим предписаниям, шаг назад, сравни-

*) Английское дворянство (помещики)
**) Ночлежные дома

тельно с прежними фабричными законами, и принесший положительные результаты, лишь благодаря тому, что введение фабричной инспекции, которое было задумано, как шахматный ход крупных фабрикантов против мелких, оказалось на практике выгодной для рабочих мерою. В 1835 г. в Лондоне собралось одно рабочее общество и составило «народную хартию» *), как свою программу. В нее входили 6 пунктов: всеобщее право голоса для всякого мужчины, находящегося в здравом рассудке и не изобличенного в каком-либо преступлении, ежегодные выборы в парламент, жалованье членам парламента, тайная подача голосов, равные избирательные округи, избираемость всякого избирателя. Исполнение этих требований перевернуло бы вверх дном английскую конституцию.

Чартизм был первой попыткой современного пролетариата завоевать политическую власть, чтобы использовать ее в своих интересах. Он не был, однако, чисто-пролетарским движением и, с другой стороны, не обнимал всех передовых элементов рабочего класса. Он был перемешан с мещанско-радикальными составными частями, но от него сторонились трэд-юнионы, которые как раз перед этим были сильно обескуражены неудачей своей первой большой кампании. Сюда прибавилось еще то, что чартизм вмешался в жестокую классовую борьбу, которая велась между аристократией и буржуазией. Как только английская буржуазия добилась политической власти, она стала усердно стремиться к проведению своего идеала, т.-е. к тому, чтобы сделать Англию «всемирной мастерской», которой все другие страны должны были служить рынками для ее промышленных изделий и поставщиками пищевых средств и сырья. Но этому мешали прежде всего хлебные законы. удорожавшие промышленное производство возвышением хлебных цен, а следовательно, и заработной платы. Эта внутренняя распря между поземельной рентой и прибылью на капитал затрагивала рабочих, как таковых, лишь косвенно. Чартисты не были нисколько заинтересованы в том, чтобы сохранить хлебные законы, но они знали также, что фритредеры громко требуют дешевого хлеба не ради пролетариата. Целью чартистов в экономической области был

*) От английского слова charter (программа требований), а отсюда и название—чартисты.

10-часовой рабочий день, как в политической ею была хартия. Именно этим требованием правящие классы попытались воспользоваться как приманкой, чтобы привлечь на свою сторону рабочих. Фритредеры обещали им ввести после отмены хлебных законов 10-часовой рабочий день,— чтобы впоследствии с Брайтом и Кобденом открыто нарушить свое слово. Крупные землевладельцы скрыли печаль по поводу опасности, угрожающей их земельной ренте, под знаменем 10-часового рабочего дня, вокруг которого они пытались сплотить более незрелые слои пролетариата.

Нельзя сказать, чтобы чартисты не видели насквозь своих ложных друзей. Они поддерживали агитацию аристократии в пользу 10-часового рабочего дня, не сливаясь с ней, и сбрасывали с трибуны противников хлебных законов, как только эти софисты прибыли на капитал начинали возвещать наступление тысячелетнего царства с введением свободной торговли. Тем не менее, лишенные собственного представительства в парламенте, они вынуждены были считаться с парламентскими партиями — то с ториями, то с вигами. Политический характер чартизма обнаружила вполне только большая стачка 1842 г., в которую рабочие были, вероятно, втравлены фабрикантами, чтобы затем испытать на себе их предательство. Сотни тысяч рабочих сердец пробудил его боевой клич: «политическая власть — наше средство, социальное счастье — наша цель». Но тут чартизм был наказан за свое неумение оценить социализм, как с другой стороны, социализм был наказан за неумение оценить чартизм. Споры о моральном давлении и физическом насилии, о «священном месяце», т.-е. всеобщей забастовке, об аграрном плане, в основу которого был положен наивный расчет скупить ряд имений на капитал, собранный среди рабочих путем подписки на мелкие акции,— все это парализовало каждый раз внутреннюю силу партии. Тем не менее, ее геройская борьба заполняет первую славную страницу в революционной истории современного пролетариата. Об ее стойкое сопротивление разбились «постыдные маневры», которыми фабриканты хотели затормозить мужественную, компетентную деятельность фабричных инспекторов и опять свести к нулю значение закона 1833 г. Она пробудила деятельную духовную жизнь среди английского рабочего класса и создала собственную пролетарскую

литературу, превзошедшую одновременные произведения верхних 10-ти тысяч не отшлифованной и вылощенной формой, а энергией мысли и глубиною внутреннего содержания.

Чартистское движение было такое могучее, что оно оказало известное отраженное действие и на имущие классы. Отдельные радикальные фабриканты стали на сторону борющихся рабочих; из гуманныхториев образовалась «Молодая Англия», которая хотела восстановить романтический феодализм с его хорошими сторонами и стремилась, таким образом, к невозможному, но наносила все-таки чувствительные удары спесивой денежной аристократии. Наиболее блестяще, пожалуй, она была представлена романом Дизраэли «Sybil», где мы находим глубоко захватывающее изображение стачки 1842 г. Такой талантливый юморист, как Томас Гуд, в своей «Песне о рубашке» и своем «Мосте вздохов» выразил в потрясающей форме безмерные страдания женского пролетариата. Наконец, чартизм нашел громкий отзвук в писаниях Карлейля. Воспитанному на немецких классиках, Карлейлю казалось, что вместе с крупною промышленностью надвигается век нового варварства Удивительно красивым языком он изобразил ее опустошительные действия и выступил с требованием об организации труда.

Бесспорно, глубоко внутри этой литературы было скрыто реакционное ядро, которое должно было тем сильнее разрастись, чем яснее пролетариат стал сознавать свое всемирно-историческое назначение. Сострадание к нужде, как бы чисто оно ни было и в каких бы ярких чувствах оно ни прорывалось, представляет нежное растение, которое быстро вянет в знойной отмосфере разгорающейся классовой борьбы. Даже Карлейль кончил как апологет рабства.

Первые революционные попытки французского пролетариата.

Во Франции запрещение рабочих коалиций было объявлено уже в 1791 г. Здесь предлогом пришлось взять декларацию прав человека и страх пред восстановлением цехов, тогда как при английском запрещении коалиций были пущены в ход, в качестве пугала, спасение общества и страх пред французским якобинством. Однако, различие фраз, при помощи которых рабочие были обмануты по ту и по сю сторону

пролива Ламанша, отвечало действительным различиям в экономических условиях. Во Франции отсутствовало быстрое развитие крупной промышленности и вместе с ним то солидарное движение больших рабочих масс, которое имело место в Англии в связи с устранением запрета коалиций, основанием трэд-юнионов и введением фабричных законов. Соответственно с этим, здесь у власти оказалась на первых порах не промышленная, а финансовая буржуазия, так называемая финансовая аристократия, банки и биржа, владельцы больших лесов, копей и рудников. Июльская монархия была акционерной компанией для эксплоатации французского национального богатства,— компанией, дивиденты которой делились между короной, министрами, палатой, двумя сотнями тысяч избирателей и их приспешниками.

Французская финансовая аристократия показала, что по части надувания пролетариата она может вполне сравняться с английской крупной индустрией. Прежде всего, она стянула у рабочих и мелких буржуа французскую республику; назначив Луи-Филиппа управляющим своего эксплоататорского предприятия, она лицемерно утверждала, что создала монархию с республиканскими учреждениями. Внутренний смысл этого обнаружился скоро, когда новый король-буржуа назначил своим министром-президентом богатого банкира Казимира Перье. Ограниченный и мрачный фанатик капитализма, Перье начал с заявления июльским мечтателям, что революция не опрокинула социального строя, а коснулась лишь политического порядка, что каждое восстание преступно, какое бы знамя оно ни развертывало, что каждый насильственный акт есть анархия. В то же время этот французский буржуа ввел практику, которой суждено было с тех пор стать одним из главных средств, применяемых всеми специалистами по части спасения отечества: его полиция вербовала за деньги бродяг, рецидивистов, выпущенных на свободу каторжников и других субъектов подобного же рода, чтобы устраивать мнимые покушения, бунты и заговоры и при этих случаях избивать обманутую толпу. Под впечатлением искусственно созданной паники Казимир Перье заставил послушную палату упразднить политические права, которые только что завоевали своей кровью народные массы, а после его преждевременной смерти это патриотическое дело продолжали с неослабевающей энергией

Тьер, Гизо и подобные им господа. Буржуазной монархии не было еще и полдюжины лет, как в ее летописях числилось уже около трех дюжин маленьких революций, более дюжины покушений на короля и — почти дюжина законов, отнявших у масс их политические права, и прежде всего — свободу печати и союзов.

Эта политика должна вызвать озлобление среди июльских борцов как из мелких буржуа, так и из пролетариата, и именно потому произвести до известной степени действие, предотвращение которого составляло якобы ее задачу. Отрезанные от политической жизни, угнетенные классы организовались в тайные общества; лишенные устного и печатного слова, они прибегли к кинжалу и ружью. Не один раз полиция обожгла себе пальцы у огня, которым она играла. Стоит отметить, что даже в самом кровавом покушении на Луи Филиппа, произведенном при помощи адской машины Фиески*), участвовал в качестве вожака отставной полицейский сыщик. Рядом с полицейскими восстаньицами были, однако, предприняты и серьезные попытки низвергнуть с оружием в руках жадную плутократию, которую буржуазия навязала на шею нации. При этом пролетариат, как слабо развитой еще класс, стоял назади мелкой буржуазии, энергичные элементы которой находились под властью якобинских преданий великой революции. На первых порах правящий класс боялся радикального мещанства больше, чем бунтующих рабочих.

Это ясно обнаружилось во время восстания голодающих лионских ткачей осенью 1831 г. С черным знаменем в руках, на котором красовалась мрачная надпись: «жить работая, или умереть сражаясь!», рабочие прогнали гарнизон и в течение нескольких дней оставались хозяевами второго города в королевстве, где все время поддерживали образцовый порядок. Голодный бунт не имел никакой определенной программы. Организованы были не кустари-ткачи, а те 8—10 тысяч мастеров, которые стояли между 40—50 тысячами рабочих и 800 фабрикантами; хотя и являясь сами орудием эксплоатации, они вынуждены были, однако, горькой нуждой стать

*) Жозеф Фиески при помощи адской машины в 1835 г. произвел покушение на жизнь Луи-Филиппа, но неудачно, ибо король спасся; Фиески за это в 1836 г. был казнен. Прим. ред.

на сторону рабочих. Даже и эти мастера были организованы только в общество взаимопомощи, устав которого запрещал всякое обсуждение политических и религиозных вопросов. После быстрого подавления восстания в органах буржуазии раздался вздох облегчения: это было простое столкновение между фабрикантами и рабочими. Гораздо больше напугал ее республиканский мятеж, вспыхнувший в 1832 году при погребении генерала Ламарка в Париже.

Лионские ткачи извлекли тем временем урок из своего бесплодного восстания. В феврале 1834 года они, под руководством общества взаимопомощи, попытались путем стачек воспрепятствовать дальнейшему понижению их голодной платы. При отсутствии сколько-нибудь широкой организации, они потерпели неудачу уже по прошествии одной недели, но как раз в момент самого возбужденного их настроения правительство выступило с дерзким покушением на последние остатки свободы союзов. Тьер и Гизо, которым нехватало открытой грубости человека вроде Перье и которые заменяли ее — один трусливым хныканьем, а другой — елейными нравственными проповедями, хотели нанести этим удар прежде всего буржуазным республиканцам, но так как они сделали призрачным решительно всякое право союзов, то убили также общество взаимопомощи. В протесте, покрытом 2.500 подписями, общество это заявило, что оно добровольно держалось в стороне от политики и потому не опасалось никакого нападения со стороны правительства; теперь убийственный для свободы закон об ассоциациях доказал ему, что оно заблуждалось, но оно не подчинится унизительному ярму, а будет продолжать свои собрания и не остановится ни перед какими жертвами, чтобы защитить естественное и неотъемлемое человеческое право. Общество взаимопомощи вступило в тесные сношения с «Обществом прав человека», самой влиятельной и многочисленной из тайных организаций буржуазных республиканцев. Но в этом обществе господствовали всякие раздоры и мелкая мещанская зависть между вождями; дело не обошлось также без участия разных сыщиков Таким образом правительство имело возможность приготовиться к грозному удару. Со времени голодного восстания 1831 года Лион был сильно укреплен, и войско стояло готовым к бою на всех решающих пунктах, когда рабочая масса поднялась 9 апреля

1834 г. Она геройски билась в пятидневной борьбе, пока не была раздавлена солдатами, учинившими беспримерно зверскую расправу над повстанцами. В Париже республиканцы поднялись только 13 апреля, но уже на следующий день они были побеждены. И здесь войско совершило бесчисленное множество зверских подвигов; кровавая баня на улице Транснонен еще и теперь не забыта.

Грандиозный процесс, который был возбужден против пленных, совершенно разрушил «Общество прав человека». Еще более чувствительный удар буржуазные организации восстания испытали вследствие того, что более известным вождям их удалось бежать из предварительного заключения за-границу. Место беглецов заняли более даровитые и энергичные люди, особенно Барбес и Бланки, основавшие в 1835 году «Общество семей», а затем «Общество времен года»; в этих обществах почти исключительно господствовало пролетарское направление. Свой центр тяжести последнее находило в учениях Бабефа, память о котором оживила в свежих красках история его заговора, написанная Буонаротти. Новые общества требовали «социальной и радикальной революции», «уничтожения аристократии, богачей, банкиров, подрядчиков. монополистов, крупных землевладельцев, биржевых спекуляторов,— одним словом — эксплоататоров. наживающихся на счет народа». Они заявляли, что учреждение республики не столько цель, сколько средство, чтобы перенести имущественные блага от собственников, которые не работают, к рабочим. у которых ничего нет. Это была самая беспомощная форма коммунизма, покоившаяся в существенных чертах на буржуазно идеологической форме равенства. В своей тактике, как и в своей программе «Общество времен года» примыкало к Бабефу: достаточно, мол, небольшого числа решительных заговорщиков, чтобы посредством переворота захватить государственную власть. Однако, когда Барбес и Бланки сделали 12 мая 1839 года свою попытку произвести переворот, то после немногих часов кажущейся удачи она потерпела полное крушение.

Троекратное поражение парализовало силы боевых революционных партий. С тех пор буржуазная монархия была

избавлена от новых восстаний, но тем быстрее происходило ее внутреннее разложение. Само собой понятно, что июльская монархия ничего не сделала для рабочего класса; единственный фабричный закон, который был издан в 1841 г. и должен был — в весьма ограниченной степени — защитить детский груд, остался без всякого практического действия Промышленной буржуазии этим оказывалась, конечно, большая услуга. точно так же, как на пользу ей шли вывозные премии и покровительственные пошлины. Но чем сильнее она становилась, тем больше росло ее недовольство правящей частью своего класса. Финансовая аристократия, сидевшая у кормила государственного правления, была по своей природе озабочена больше присвоением уже существующего, чем созданием нового богатства. Она запускала сельское хозяйство, торговлю, судоходство, пути сообщения и тем наносила чувствительный вред промышленной буржуазии. Она восстановила против себя и мещанскую честность своими учредительскими аферами, бессовестными подкупами, всякого рода обманом и грабежом, в результате которых она развилась в золотую роту высшего полета. Ее жалкой политике внутри страны отвечала ее жалкая внешняя политика. Среди самих имущих классов образовалась все возраставшая оппозиция против их руководящей фракции, — оппозиция, составившаяся из весьма разношерстных элементов, но нашедшая общее знамя в требовании избирательной реформы. Она была единодушна насчет того, что нужно снести тесные границы активного и пассивного избирательного права, обеспечивавшие финансовой аристократии ее исключительное господство, но в вопросе о том, как далеко должно итти расширение избирательного права, она расходилась.

В существенных чертах можно было различать в этой буржуазной оппозиции три направления: династическую оппозицию, которая желала сохранить буржуазную монархию и лишь предоставить различным слоям буржуазии более равномерное участие во власти; буржуазно-республиканскую оппозицию, которая в республиканском образе правления видела наиболее надежную гарантию общего господства буржуазии; наконец, демократическо-республиканскую оппозицию, пред глазами которой носился идеал мещанской республики по якобинскому образцу. Так как республика была немыслима без

помощи рабочих, то буржуазные республиканцы, — которые в прочих отношениях были столь же равнодушны к интересам рабочих, как династическая оппозиция, — принуждены были кокетничать до известной степени с пролетариатом. Это направление, группировавшееся вокруг «Народности», покровительствовало рабочей газете «Мастерская», которая выходила с 1840 г. и объявляла производительные ассоциации панацеей от всех социальных зол.

Демократическо-республиканская оппозиция, имевшая своего парламентского оратора в лице Ледрю-Роллена, а в «Реформе» — свой публицистический орган, сближалась с рабочим, тем более, что, по мещанским понятиям, она представляла «народ» вообще в противоположность буржуазии. Она называла себя социал-демократической и требовала всеобщего избирательного права, а также организации труда, которая должна была заменить наемные отношения ассоциацией. В программе «Реформы» значилось: рабочий имеет такое же право на признательность государства, как солдат; крепкому и здоровому рабочему государство должно дать работу, старому и слабому — помощь и защиту. Организация труда и право на труд — таковы были социально-политические цели этого направления, литературным представителем которого был в особенности Луи Блан. Он называл свободную конкурренцию системой истребления, которая ближайшим образом разоряет пролетария, но затем и буржуа. Свободная конкурренция ведет к уничтожению ремесленника фабрикантом, крестьянина — гипотекой, она ведет, в конце-концов, к монополии крупного капитала и удорожает товар, который якобы должна сделать более дешевым. Задача государства — устроить общественные мастерские, разбить рабочих одинаковых промыслов, на большие товарищества и поддерживать их из общественных средств. Эти солидарно связанные между собою товарищества постепенно поглотят частную промышленность и, таким образом, уничтожат губительную конкурренцию.

Легко распознать мелко-буржуазный характер этих предложений. Дело обстоит с ними приблизительно так же, как с рабочим временем в качестве непосредственной денежной

единицы. Действительно, право на труд в буржуазном обществе организовано, насколько оно вообще может быть организовано в нем. Безработица есть следствие перепроизводства, нераздельно связанного с развитым капиталистическим способом производства. Если бы государство предоставило безработным пролетариям возможность производить дальше на нормальных условиях, то оно безгранично увеличило бы перепроизводство и кончило бы банкротством. Для осуществления права на труд необходима общая собственность на орудия труда. Покуда существует частная собственность на средства производства, право на труд возможно только в форме того работного дома, который внушает английским рабочим больший ужас, чем каторжная тюрьма и даже голодная смерть. Точно также труд в буржуазном обществе организован так, как он только и может быть организован в нем, т.-е. как наемный труд, который предполагает капитал и может быть упразднен лишь одновременно с капиталом, следовательно — вместе с буржуазным обществом. То же замечание относится к свободной конкурренции, которая в обществе обменивающихся между собой товаропроизводителей является единственно-возможной организацией общественного производства.

Весьма понятно, однако, что предложения Луи Блана произвели глубокое впечатление на французских рабочих. Опасность войны и политические потрясения, обусловленные восточным кризисом 1840 г., вызвали безумную спекулятивную горячку среди имущих классов, а рабочему классу принесли массу нужды и страданий. Множество безработных запружали улицы Парижа, так что пришлось поддерживать свободный проезд при помощи войска. При таких обстоятельствах громкие требования о праве на труд и об организации труда получали значение бурного протеста против нелепых следствий капитализма. Несмотря на запрещение коалиций, вспыхнули большие стачки среди портных, столяров, обойщиков, а позже и среди плотников, при чем о пробуждающемся сознании солидарности у рабочего класса свидетельствовало то, что небастовавшие промыслы, как наборщики, деятельно поддерживали своими сбережениями бастующих товарищей. Своеобразные классовые интересы современного пролетариата принимали все более осязательную форму и заставляли рабочих заходить все дальше

идеологического эгалитарного*) коммунизма. Опыт учил их, что разрозненными восстаниями нельзя завоевать политическую власть; требование всеобщего избирательного права приобретало среди них все больше сторонников.

Это отнюдь еще не значило, однако, чтобы классовая борьба и социализм слились. Правда, фурьеристы также требовали права на труд, но они усердно боролись против реформистов. Виктор Консидеран заявил в своем органе «Мирная Демократия», что вся беда лишь в отсутствии идей у правительства: стоит обучить его общественной науке, и реформу можно будет осуществить без революции. На это «Реформа» возражала, что беда заключается в другом: правительство имеет за собою не народ, а одни только монополии и привилегии, которые недоступны поучению, а могут быть только сломлены; от победоносных интересов нельзя требовать самоубийства. Люди «Реформы» не были бы, однако, мелкобуржуазными республиканцами, если бы они не ненавидели от всей души всякий социализм и коммунизм, накладывавший топор на самые корни буржуазного общества. «Мы не коммунисты и не социалисты», заявлял своим избирателям Ледрю-Роллен. Результатом этого спора был первый рабочий коммунизм, ставший массовым движением и нашедший своего выразителя в лице Кабэ.

Кабэ был и якобинцем и утопистом. Как один из вождей буржуазных республиканцев, он навлек на себя судебные преследования, из-за которых принужден был бежать в Англию. Здесь он пришел к коммунистическим воззрениям, только не путем практического изучения жизни, а под влиянием литературных исследований, особенно — благодаря Томасу Мору и Оуэну. Его коммунизм покоился всецело на идеологической основе. Из приципа равенства и братства Кабэ вывел необходимость общности имуществ, которая одна гарантирует счастье всех людей. Подобно всем утопистам, он хотел осуществить свой идеал путем мирной пропаганды, но в отличие от других утопистов он требовал господства демократии, как необходимого переходного периода. Он говорил рабочим: будьте прежде всего демократами и реформистами, подписывайте петиции о реформе избирательного права. Кабэ был бесспорно самым

*) Эгалитэ — равенство

неглубоким утопистом: его «Путешествие в Икарию» носит преимущественно мелко-буржуазный характер; рядом с утопиями какого-нибудь Сен-Симона или Фурье она кажется бедной и робкой. Но, будучи самым неглубоким, Кабэ был также и самым популярным утопистом, так как он отвел, наконец, известный простор для активной политической роли пролетариата.

Вообще ему принадлежит та заслуга, что он дал самое верное выражение классовому сознанию французского пролетариата, поскольку это сознание было развито в 40-х г. г. Отсюда – громадное распространение его сочинений среди рабочих, отсюда же — всеобщая ненависть, которую он возбудил против себя в буржуазном мире. Фурьеристы так же знать его не хотели, как реформисты, и это неудивительно: ведь он попал в больное место тех и других. Его бывшие единомышленники из «Народности» обличали его, как прислужника Священного Союза, а какой-то священник в Шампани рекомендовал побить коммунистов камнями. Папа и французские епископы предавали коммунизм проклятию, а между тем Кабэ по-своему признал христианство. Он говорил: «Икарийский коммунизм это—христианство, основанное Иисусом Христом, во всей его первоначальной чистоте, ибо христианство есть принцип братской любви, равенства, свободы, ассоциации и общности имущества». Кабэ и в этом пункте сумел затронуть чувство современного пролетариата, который в первых стадиях своей освободительной борьбы охотно обращает свои взоры назад к первобытному христианству. Дезами, старавшийся обосновать коммунизм атеизмом и материализмом, поступил гораздо последовательнее, чем Кабэ, а между тем и в отдаленной степени не достиг такого влияния на рабочих.

Все враждебные нападки не поколебали Кабэ, они повредили ему лишь тем, что безмерно раздули его самомнение. В усердном старании убедить несогласный с ним мир в возможности своей утопии, он забыл о том, что сам признал непременным ее условием, и попытался осуществить ее в маленьких колониях на американской почве. Самопожертвование его приверженцев дало ему возможность выполнить опыт, но едва первая экспедиция отплыла, как вспыхнула февральская революция (1848 г.). Она с убедительною силою показала французскому пролетариату, что его интересы лежат

в другом месте, чем в безнадежных стараниях одолеть гигантские силы капитализма при помощи детской игрушки — карликового коммунизма. Икарийские колонии, как таковые, погибли, подобно аналогичным опытам фурьеристов и оуэнистов, от которых они отличались, впрочем, гораздо более сильным классовым сознанием. Диктаторски властвовать в них Кабэ оказался не в силах: он умер в 1857 г. в С.-Луи (Сев. Америка), сломленный неудачей своих планов.

Рядом с кабетистским и реформистским движением продолжали существовать пролетарские тайные союзы, но профессиональные заговорщики все более и более теряли почву в них; в тайных обществах, которые по положению вещей обнимали лишь небольшие части рабочего класса, также все сильнее сказывалась потребность организовать пролетариат, как таковой, и просветить его насчет его классовых интересов.

Богатая социалистическая литература, выросшая в душной атмосфере 40-х годов, скорее мешала, чем способствовала такому самопросвещению. Корень ее лежал в чувстве возмущения, которое возбуждало господство финансовой аристократии и в котором сошлись все другие классы, начиная от феодальной аристократии и кончая промышленным пролетариатом. Чем сильнее нарастало это возмущение, тем больше затушевывались противоположности между различными социальными слоями общей оппозиции. Имущие классы воодушевлял в ее борьбе против финансовой аристократии туманный социализм; расплываясь в сотнях оттенков, он задерживал энергичное развитие классового сознания, которое начало пробуждаться у наиболее передовых рабочих. Более или менее сильный отзвук его мы находим почти у всех поэтов того времени, от Беранже до Ламартина; его гениальнейшей представительницей была Жорж-Занд, величайшая писательница XIX столетия, а его наиболее читаемым представителем — Эжень Сю, приводивший в восхищение всех мещан своими сантиментальными и полными ужасов романами, печатавшимися в фельетонах буржуазных газет. В католическом мире поднялся Ламеннэ, призывая церковь стать во главе социального движения; осужденный Римом, он провозвестил затем в пламенных «Словах верующего» и в других сочинениях священство народа. Красноречивый и в своем роде убежденный энтузиаст,

он приобрел известное влияние на массы, хотя его социальная программа, как он сам заявлял в «Народности», ограничивалась жиденьким требованием, чтобы заработная плата назначалась более справедливая. Обо всех социалистических системах он говорил, что они хотят обречь народы на такое рабство, какого мир никогда еще не видел, что они низводят человека на степень простой машины, простого орудия, и что осуществление их поставило бы его ниже негра, даже ниже животного.

Преобладающему влиянию этого буржуазного социализма французский пролетариат мог противопоставить сначала лишь немногих теоретиков, которые вышли из его собственной среды и, руководимые верным инстинктом, пытались разрешить противоречия современной цивилизации при помощи диалектического оружия немецкой философии: то были два наборщика — Леру и Прудон. Рядом с «Новым христианством» Сен-Симона, «Воспитание человечества» Лессинга было уже канонической книгой сен-симонистов, а к ним принадлежал вначале Леру. Скоро он отделился от все более опускавшейся секты и углубился в немецкую философию, которую понимал и излагал несравненно глубже, чем это дано было официальной науке во Франции. Но завершителя этой философии он видел не в Гегеле или Фейербахе, а в Шеллинге, и немецкой диалектикой он не научился достаточно владеть, чтобы быть в состоянии пользоваться ею, как ключом к тайнам истории. Леру представлял себе развитие человечества, как постоянный прогресс, как непрерывное приближение к равенству, как все большее освобождение от уз семьи, государства, собственности. Но он не исследовал исторического процесса, который совершился и продолжал совершаться в этих институтах, а хотел уничтожить их дурные стороны, чтобы организовать хорошие. Таким образом, он снова попал в Утопию.

Гораздо глубже захватила предмет работа, в заглавии которой Прудон поставил вопрос: что такое собственность? Ни вопрос, ни ответ, данный на него Прудоном, не были новы: уже 60-ю годами раньше Бриссо объявил собственность воровством. Но своими достоинствами, как и недостатками, памфлет Прудона произвел действие как первый научный манифест французского пролетариата. Если буржуазные экономисты для оправдания частной собственности пользовались

богатством, которое создается ее движением, то Прудон воспользовался нищетой, созданной движением частной собственности, чтобы отвергнуть последнюю. Это была смелая попытка уничтожить оффициальную экономию ее собственным оружием, и предпринята она была с вызывающей дерзостью. Но с неменьшей резкостью Прудон выступил и против всего предшествующего социализма. От великих утопистов он отличался тем, что уничтожил собственность не в фантазии, а изобличил ее внутреннюю нелепость в суровом действительном мире; его отличие от мелко-буржуазных социалистов состояло в том, что он нападал не на отдельные стороны собственности, не на фабричную систему, не на деньги, не на свободную конкурренцию, а на собственность, как таковую, на собственность вообще.

Прудон примыкал к Канту, как Леру к Шеллингу, но ему так же мало удалось проникнуть до самой глубокой сущности немецкой философии. Он тоже не видел естественной связи исторического развития, он тоже хотел буржуазное общество без тех элементов, которые разлагают и революционируют его. Выступая и против коммунизма и против частной собственности, он хотел, чтобы вместо них был введен институт «владения»,— смысл, который он придавал этому термину, мы не станем разбирать здесь. Его идеал справедливости, согласно которому он различал добро и зло, его идеал честного обмена, его идеал анархии, безвластия, индивидуальной независимости,— все это было почерпнуто из идейной сокровищницы буржуазного общества и клонилось в конечном счете к признанию его основ. Слабые стороны и неясности, которые содержало в зародыше уже первое произведение Прудона, способны были, пожалуй, усилить его действие на французский пролетариат, еще проникнутый мелко-буржуазными воззрениями и задыхавшийся под строго централизованной государственной властью, которая применялась в интересах крупного капитала. Но самого Прудона они должны были при дальнейшем следовании по этому пути привести назад к мелко-буржуазному социализму.

Не через посредство Прудона, а в борьбе с ним немецкой философии удалось примирить классовую борьбу и социализм и этот всемирно-исторический подвиг совершили немецкие головы.

Социально-политический строй Германии до июльской революции.

В то время как 1830 г. призвал английскую и французскую буржуазию к политическому господству, он немецкое бюргерство еще только пробудил от долгой политической спячки.

Немецкое бюргерство обязано было началом своей социальной эмансипации чужеземному владычеству, разбившему его национальное существование*). Оно вынуждено было бороться против своего освободителя и могло сделать это только на службе у своих угнетателей; оно помогло одержать победу европейской реакции, но от участия в плодах этой победы оно было устранено. Германия осталась разорванной на тридцать с чем-то деспотий, из которых самая малая была так же суверенна, как самая большая. Германский Союз был насмешкой над германским единством; союзный сейм во Франкфурте-на-Майне, над которым тяготело всеобщее презрение, исполнял лишь одну национальную задачу: он был общим палачом государей против народа.

Страшное разочарование вызвало в немецком бюргерстве одну попытку мужественного сопротивления. Его энергичная молодежь, воодушевленная традициями классической литературы и только что вернувшаяся домой с победоносной войны, вдруг зила в немецких университетах знамя восстания в форме землячества. Но вокруг этого авангарда не собралось никакой армии, да и у него самого отсутствовало всякое ясное классовое сознание. В землячестве перекрещивались средневековые мечтания об императоре и империи с якобинским гневом, направлявшим кинжал мстителя против нарушивших свое слово князей и их прислужников То и другое было перемешано в члене буршеншафства**) Занде, убившем в 1809 г. русского шпиона Коцебу. Вызванное великодушными мотивами, деяние это было в политическом отношении бессмысленно, но тем более желанным оно явилось для деспотическо-феодальной реакции, давно уже подстерегавшей такой удобный момент.

*) Завоевание Германии французскими войсками при Наполеоне I несло за собой освобождение от старого феодального гнета.

**) Студенческое землячество. Прим. ред.

Избыток политической реакции, в котором задыхалось немецкое бюргерство, стал возможным вследствие недостаточного экономического развития этого класса. Чужеземное французское владычество успело очистить Германию только от самого крупного мусора феодализма. Совершенно разрушен был последний только на левом берегу Рейна: здесь дворянство не имело больше никаких привилегий, феодальные и церковные имения перешли в крестьянские руки, крестьянин стал свободным землевладельцем, как во Франции. Зато в других местах Германии сохранился повсюду громадный остаток феодального сора, всего более на севере и на востоке.

В то время, так назыв., освобождение крестьян еще не устранило феодальных порядков. Французские крестьяне внесли в помещичьи головы достаточно света при помощи красного петуха, которого они пустили по замкам своих мучителей, и дворяне, заседавшие во французском национальном собрании, шли впереди всех, когда в знаменитую августовскую ночь 1789 г. был положен конец феодальным привилегиям. Немецкие крестьяне были доведены до слишком жалкого состояния, чтобы применить одинаково основательный метод; лишь там и сям, наприм., в восточной Пруссии и Силезии, они немного шевелились. Зато более умные члены дворянского сословия выступили сами в пользу освобождения крестьян, но они были озабочены отнюдь не крестьянскими интересами, а интересами помещиков. Они понимали, что крепостной мужик работает плохо и ненадежно, и обращая его в свободного, но неимущего пролетария, они хотели выжать из него большее количество труда. Подобно тому как Мирабо, титулованный вождь третьего сословия, стоял в стороне от тех постановлений французского национального собрания, которые упразднили феодальные приемы эксплоатации, так Шён, самый свободомыслящий из всех прусских государственных людей, хотел восстановить личную свободу крестьян, но отнюдь не их свободное право собственности на свою землю. Масса же юнкерства*) в своем закоренелом классовом себялюбии неспособна была понять даже и это. Только жестокие тумаки, которые они получили от крестьянских сыновей во французских армиях, вдолбили им в голову немного экономической логики.

*) Земледельческое дворянство.

Пресмыкаться пред французскими деспотами было для немецких государей и юнкеров старой, почтенной привычкой. Они достаточно много пресмыкались и пред Наполеоном. Но наряду с этим они ненавидели в нем плебейского душеприказчика буржуазной революции, и эта ненависть выступала тем ярче, чем глубже отдельные части Германии коснели еще в феодализме С крепостными мужиками нельзя было, однако, побить свободных крестьян; прусское освобождение крестьян ограничило, поэтому, свою задачу тем, чтобы сделать их годными для современного способа ведения войны, в прочих же отношениях спасти от феодализма все, что только можно было спасти. Крестьянам предоставили личную свободу и надавали всякого рода обещания насчет упорядочения их земельных прав, пока неприятель не был прогнан из страны. Затем крестьянство обманули еще хуже, чем бюргерство.

Прусское освобождение крестьян имело вид жестокой сатиры на то, что французские крестьяне получили от своей революции. По ту сторону Рейна абсолютизм и феодализм были низвергнуты, и возвращение их, наподобие привидений, после Ватерлоо*) доказало только, что их дни были раз навсегда сочтены. По сю сторону Эльбы они разрослись тем привольнее, чем больше эксплоатация масс позволяла им поставить хозяйство государственных доменов и юнкерских имений на капиталистическую ногу. Крупное сельское хозяйство имело теперь форменный пролетариат и могло обращать в монету последнюю каплю его пота, а колоссальные затраты деньгами и землею, которые крестьяне вынуждены были сделать, расплачиваясь за то, что их грабили в течение 400 лет, дали средства для устройства сельскохозяйственных промыслов, прежде всего — винокурения, которое отныне стало наводнять Германию, а затем и весь мир прусской сивухой. Прусская водочная промышленность начала отравлять массы с успехом, который был превзойден только англо-индийским производством опиума для отравления Китая. Создавая этой и другими новейшими отраслями промышленности, например свеклосахарным производством, новые оплоты для своей власти, прусские юнкера в то же время продолжали судорожно удерживать в своих руках множество

*) Местечко в Бельгии, около которого в 1815 г. немцы и англичане одержали победу над Наполеоном Бонапартом. Прим. ред.

старых феодальных привилегий — поместную полицию, вотчинную юстицию, церковный патронат, право охоты и т. д.

Но пока немецкое бюргерство не справилось с упорным и цепким классом прусских юнкеров (помещиков), веками привыкшим властвовать, оно не должно было и помышлять о собственном политическом господстве,— тем менее должно было помышлять, что эти юнкера выковали себе в прусской армии и бюрократии оружие, готовое в любой момент к действию.

В прусском государстве более $^3/_4$ населения жило в деревнях, в Германском Союзе — более двух третей. В городах распоряжалось, главным образом, цеховое ремесло, хотя и очень опустившееся. В 1830 г. оно стояло на той же ступени, как в 1800 г. Во второй половине этого периода оно с трудом залечило раны, которые были нанесены ему в первой половине непрекращавшейся войной. В прочих отношениях оно не обнаруживало никаких признаков прогрессивного развития. Оно работало на местное потребление, как работали деды, добросовестное, ограниченное и себялюбивое, недружелюбно относясь ко всякому техническому прогрессу, скучно прозябая в удручающей тесноте маленьких городов. Ремесленные заведения имели карликовые размеры: мастеров было почти вдвое больше, чем подмастерьев. Каждый подмастерье имел надежду сам сделаться мастером, и там, где существовала свобода промысловых занятий, можно было тотчас же основаться. Ремеслу недоставало напряжения социальных противоречий.

Тем не менее, среди подмастерьев было не так серо, как среди мастеров. Старые союзы подмастерьев распались после 30-летней войны, а жалкие остатки их были насильственно растоптаны немецкими князьями в интересах нарождающегося капитализма В первом ряду стояла при этом прусская монархия. По ее настоянию был издан имперский закон 1831 г., сломивший последнее сопротивление некогда столь воинственных и строптивых подмастерьев, и прусский ремесленный устав 1833 г. назначил за нарушение предписаний имперского закона самые суровые кары — тюрьму, арестантские роты, а для рецидивистов — смертную казнь. Само собою понятно, что вслед за тем и в прусском земском праве появилось строгое запрещение коалиций. Но именно жестокость

этого законодательства поддерживала в подмастерьях своего рода смутное классовое сознание, беспокойный дух недовольства, который постоянно разжигался одним из институтов цехового строя — обязательным странствованием.

В Швейцарии, Англии и Франции немецкие подмастерья знакомились с прогрессивными порядками, представлявшими довольно резкий контраст с гнилым болотом на родине; многие оставались навсегда за-границей, другие приносили домой более свободные воззрения.

Обветшалому состоянию немецкого ремесла соответствовало ветхое состояние его устройства. Уже в XVIII веке капиталистическая политика просвещенного деспотизма занесла руку на цеховое устройство, проломила в нем брешь и поколебала его; затем над ним пронеслись бури наполеоновской эпохи, которые, однако, основательно вымели цех лишь там, где они положили конец и феодализму: в рейнской Пруссии, в рейнской Баварии и рейнском Гессене. Во всех прочих местностях южной Германии цех продолжал еще господствовать; также обстояло дело в королевстве Саксонском, достигшем уже сравнительно высокой ступени промышленного развития. В старопрусских провинциях существовала, правда, на бумаге промысловая свобода, но она не вызвала никакого нового подъема в прусском ремесле. В течение 400 лет князья и юнкерство так часто ощипывали города Ост-Эльбии, что в них исчез всякий сколько-нибудь деятельный гражданский дух.

Политический-же идеал того мелкого бюргера, который преобладал в Бадене, Пфальце, Вюртемберге, определялся его экономическим положением. Ему хотелось по временам иметь республику, но республику, как тихую Аркадию, крестьянско-бюргерскую республику небольших размеров, без великих противоположностей исторической и социальной жизни, без большого богатства и без большой бедности,— чтобы все было сплошь среднее сословие и посредственность. Он не хотел князей, цивильного листа, дворянства, постоянной армии и, если бы это было возможно, то охотно обошелся бы также без налогов, но с другой стороны, он не хотел никакого активного участия в истории, никакой внешней политики, крупной промышленности, всемирной торговли. Если бы распадение Германии на некоторое число таких захолустных республик

могло осуществиться, то она бы основательнее, чем когда-либо раньше, исчезла из числа великих наций.

Рядом с преобладавшим ремеслом в Германии не было, однако, недостатка и в разных начатках капиталистического способа производства.

Несмотря на всеобщее обнищание, в старых торговых и приморских городах сохранились более или менее значительные остатки капитала. Затем, ненасытные денежные потребности деспотизма на содержание двора и флота, его растущие налоги и растущие государственные долги, его хозяйничание, основанное на монополиях, привилегиях и протекционизме,— все это сильно способствовало в XVIII столетии возникновению капиталистического способа производства. Отчасти капитал промышленников имел своим непосредственным источником государственное казначейство; Мирабо объяснял блестящее состояние мануфактуры в Саксонии 180 миллионами талеров государственного долга этой страны. Всем известна меркантилистическая политика*) Гогенцоллернов. Прусские налоги, акцизы и контрибуция выжимали все соки из ремесленников и крестьян, чтобы отдавать львиную долю получаемого отсюда дохода армии и юнкерству, но рядом с этим многие кругленькие суммы перепадали капиталистам, которые с восхищением прославляли тогда принцип «государственной помощи». Обезземеление крестьян поставляло молодому капиталу все новые массы людей для превращения мускулов и нервов в приплодливую прибавочную ценность, а драконовское искоренение «понедельничанья», суммарное сокращение числа церковных праздников все больше ускоряли ход капиталистического насоса. Более мелкие деспоты выручали несметные миллионы массовой продажей подданных для чужих войн. Первоначальное накопление капитала было в Германии запечатлено кровью, нищетой и позором.

Все же немецкий капитализм оставался далеко позади французского, а тем более английского. Главный его рессурс заключался в том, чтобы на всемирном рынке подставлять ногу более сильной конкурренции западных народов при помощи нищенской заработной платы и мелких коммерческих

*) Покровительство мануфактурной промышленности и торговле и забота о превышении вывоза над ввозом (критику меркантильной системы впервые сделали физиократы, а затем—Адам Смит). Прим. ред.

уловок. Его фундаментом была домашняя промышленность, мануфактура же, основанная на ручном труде, и тем более механическая фабрика играли гораздо меньшую роль.

Между тем домашняя промышленность, будучи самой старой, представляет собою также и самую отсталую форму капиталистического способа производства. В своих начальных стадиях она часто появляется как благодетельница бедного крестьянина и ремесленника; она убаюкивает свои жертвы и погружает их дух в приятный летаргический сон, чтобы затем разбудить их к самому жалкому прозябанию в физическом и духовном отношениях. Как только мануфактурное, а тем более машинное производство, опережает домашнюю промышленность, она может держаться только путем самого лихорадочного напряжения рабочей силы. Разбросанность кустарей парализует силу их сопротивления капиталу, *и непрерывное понижение заработной платы заставляет их* растягивать рабочий день до крайних границ физической возможности, запрягать в то же ярмо жену и детей, обрекать себя и семью на быстрое изнурение и раннюю смерть, не только вследствие чрезмерной работы, но и вследствие недостатка света, воздуха и вентиляции в тесном помещении, служащем одновременно мастерской и квартирой, довольно часто также—вследствие опасности занятия для здоровья. Сюда прибавляются нерегулярность работы, расплата товарами вместо денег и растовщичество, паразитическое посредничество, сотня других зол. Самые безнадежные из всех пролетариев, кустари, тем не менее стоят всего дальше от пролетарского классового сознания. Они гордятся призраком своей независимости, тогда как в действительности их легковесная собственность тянет их, как тяжелая свинцовая гиря, в пропасть. Характер их предприятия бросает их тем более безоружными в разрушительный механизм мирового рынка, чем крепче он приковывает крестьянина к его клочку земли, а ремесленника—к его инструменту.

Немецкая домашняя промышленность возникла, в общем, двояким путем. Отчасти капитал проник в трещины цеха и разрушил гнилую постройку, так что отдельные ремесленники превратились в капиталистических скупщиков, большинство же—в кустарных наемных рабочих. Государственная власть и здесь оказывала капиталу дружеское содействие.

Прусское земское право подчинило все цеховое устройство приказу королевской власти; новые цехи имел право открывать только король, а существующие цехи он мог закрыть или открыть по своему усмотрению. Главным же образом капитал кинулся в деревню—здесь он был свободен от стеснительных все-таки рамок цеха,— кинулся на крепостного крестьянина, которого юнкер уже сделал безоружным, на парцеллярного *) крестьянина, который в местностях с неплодородной почвой и сильно раздробленным землевладением сидел на своем скудном участке, не мог жить одним земледелием и давно уже искал себе подсобного промысла в прядении, ткачестве и резьбе более или менее художественной домашней утвари.

Характерно, что капитализм затопил бедствиями кустарного производства высоты и склоны немецких гор—Эйленгебирге, Исполиновых гор, Рудных гор и Фихтельгебирге, Тюрингенского леса и Рена, Таунуса, Шварцвальда и Баварских Альп. Но он не брезгал и жертвами, которые ему предлагала равнина; широкие полосы у нижнего течения Рейна и в Вестфалии были старыми центрами домашней промышленности.

Таким образом, промышленные центры восточной Германии вязли еще более или менее в феодальном болоте. Напротив, промышленный центр западной Германии достиг почти высоты современного буржуазного общества. Рейнская Пруссия имела более развитую и более разнообразную промышленность, чем Силезия и даже Саксония, но она ушла от них вперед и в том отношении, что с 1795 г. она также проделала гражданско-освободительную законодательную работу французской революции,— преимущество, которое во всей Германии разделяли с ней только рейнская Бавария и рейнский Гессен. Старая, выросшая естественным образом промышленность, находившая искони чрезвычайно благоприятные условия для своего развития в лучшем водном пути Германии, в близости моря, в минеральных богатствах почвы, достигла под французским владычеством высокого расцвета.

В тесном взаимодействии с промышленностью находилась весьма обширная для германских условий ввозная и вывозная

*) Мелкоземельного.

торговля, значительные прямые сношения со всеми главными пунктами мирового рынка. Процветание торговли и промышленности содействовало накоплению капитала; в городах старые сословия распадались, и атомы их собирались снова во все более резко отделявшиеся друг от друга классы буржуазии и пролетариата. В деревне существовала свобода земельной собственности; там преобладал мелкий крестьянин, свободный от феодальных повинностей, но все более попадавший в кабалу к капиталу. Буржуазия властвовала над ним при помощи гипотеки, как она властвовала над пролетариатом при помощи заработной платы, а над мелким мещанством — при помощи конкурренции. Господство буржуазии было признано и упрочено при посредстве коммерческих судов, фабричных судов, суда присяжных, при посредстве всего материального законодательства. Для Германии это была исключительно высокая ступень экономического развития.

Рейнская промышленность отличалась тем, что в ней рано развилось мануфактурное и машинное производство; первая механическая прядильная машина в Германии была пущена в ход в 1783 г. одним эльберфельдским фабрикантом при помощи водяной силы. И если зоолингенские точильщики устроили в 1826 г. беспорядки против ужасающей системы расплаты товарами вместо денег, а крефельдские ткачи шелка прибегли в 1828 г. к тому же средству, защищаясь против невыносимого понижения заработной платы, то одновременно с этим дети рабочих целыми гекатомбами погибали безгласно, как жертва машины.

Во всех отраслях текстильной промышленности, а также на фабриках бронзовых изделий, пряжек, обоев, бумаги, фарфора и пр. массы детей в самом нежном возрасте, начиная уже с 4-летнего, изнурялись непосильным трудом, и после 10, 12, даже 14 часов работы, за жалкую поденную плату в несколько грошенов, им — по выражению одного отчета — предоставляли развлекаться в течение своего короткого отдыха водкой, табаком, развратом и азартной игрой. В других отчетах говорилось: «Бледные лица, тусклые и воспаленные глаза, вздутые животы, одутлые щеки, распухшие губы и крылья носа, опухоли шейных желез, злокачественные сыпи и припадки астмы, отличают эти несчастные создания, в отношении здоровья, от других детей того же народного класса,

только не работающих на фабриках. В таком же забросе находится их нравственное и умственное воспитание». Даже в местностях, еще так мало развитых в промышленном отношении, как провинции Бранденбург и Саксония, господствовали уже самые печальные условия. Магистрат города Лукенвальде заявлял, что дети, занятые в местных суконных фабриках, вырастают в гибельной нравственной обстановке, а в гвоздарнях мерзебургского округа детей занимали с 4 ч. утра до 6 час. вечера тяжелой работой раздувания мехов.

Однако, ко всему этому прусское министерство оставалось весьма равнодушным. На напоминание оно ответило грубо, но с глубоким пониманием существа прусского военного государства: «Фабричный труд детей все же менее вреден, чем труд юношества, направленный к приобретению умственного образования». Только, когда гуманно настроенные фабриканты Рейнской провинции подняли шум в газетах, и рейнский провинциальный ландтаг потребовал законодательной регламентации детского труда, правительство соблаговолило в 1839 г., если не провести, боже сохрани, на практике некоторые ограничения фабричного труда детей, то, по крайней мере предписать их на бумаге. Прошло еще 10 лет, пока были приняты во внимание жалобы рейнских рабочих на систему выдачи заработной платы не деньгами, а товарами. Лишь после спасительного урока 1848 г. было издано и несколько серьезно проведено запрещение расплаты товарами; до тех же пор прусское правительство в ответ на жалобы рабочих, на неоднократные требования рейнского и вестфальского провинциального ландтага, даже на страстную агитацию некоторых почтенных фабрикантов, выражало «серьезные опасения и значительные сомнения» насчет того, можно ли запретить ужасающую ростовщическую эксплоатацию бедных и беззащитных пролетариев. Зато оно обнаруживало большую готовность подавлять оружием всякое беспокойное движение притесняемого рабочего класса.

Глубокое сочувствие, с которым ост-эльбская бюрократия относилась к эксплоататорским вожделениям рейнской буржуазии, было, впрочем, единственным связующим звеном между восточными и западными провинциями прусского государства. В других отношениях на рейнских обывателей смотрели как на побежденных мятежников и, путем постоянного

оспаривания их прогрессивных законов, старались принизить их. Все, что было там образованного и сознательного, глубоко возмущалось христианско-германским правительством в Берлине, а как любовно относился к этой отеческой власти пролетариат, в частности, это легко себе представить.

Действие июльской революции 1830 г.

Июльская революция нашла могучий отклик в Бельгии, Италии, Польше, она пробудила новую жизнь и в Германии. Но здесь она не зажгла никакого национального движения, для которого отсутствовали еще все экономические предпосылки. Она пошатнула менее значительные из тридцати с чем-то немецких отечеств, но в прочих отношениях дала пока только толчок к национальной манифестации.

Предметом этой манифестации были остатки польской армии, которая после доблестной борьбы была рассеяна русским царем. Траурное шествие польских беглецов через Германию превратилось в настоящее триумфальное шествие. Все бюргерские круги инстинктивно чувствовали, что геройская борьба поляков против русского обер-деспота была также борьбой против немецких суб-деспотов. Энтузиазм, вызываемый поляками, пробудил для немецкой мелкой буржуазии ее величайшего агитатора в лице Роберта Блюма; он заронил в душу подрастающего дворянчика фон-Бисмарка ту неискоренимую ненависть к полякам, которая еще спустя полвека нашла себе выход в слепой политике насилия. Насколько этот энтузиазм стоял на правильном пути, показал впоследствии тот факт, что прусские вооружения против польского восстания поглотили почти 40 миллионов талеров и надолго нанесли удар финансам и военным силам абсолютизма.

Если немецкая буржуазия не созрела еще для национального движения, то немецкий пролетариат не был еще зрел для движения социального. В Ахене и Эйпене рабочие, подстегиваемые тяжкой нуждой, разрушили машины и машиностроительные заводы. Торговая палата, промышленный суд и даже окружные власти были достаточно умны, чтобы понять причины беспорядков; они просили запретить выдачу рабочей платы товарами и произвольные штрафы. Но берлинское правительство оставалось глухо. Тем больше было оно напугано, когда портняжные подмастерья, встревоженные конкурренцией

портних, устроили под окнами короля шум. Министр иностранных дел довольно комично жаловался в дипломатических депешах по поводу «этого нового симптома того духа безумия и шарлатанства, который может скоро обратить всю Европу в сумасшедший дом», а правительство считало блестящим успехом, что вооруженная сила разогнала портняжный бунт, действуя плашмя одним холодным оружием и не пуская в ход пушек. Что касается буржуазных классов, то они держали себя в Пруссии еще совсем тихо.

Несколько деятельнее они были в остальной северной Германии. В Брауншвейге они прогнали за рубеж злого деспота-пигмея, в Касселе они постарались путем сорегентства сделать более или менее безвредным такого же негодного князя. Большее значение имело то обстоятельство, что в северогерманских государствах средней величины был несколько выметен феодальный мусор. В Ганновере этот результат был достигнут благодаря студенческим волнениям в Геттингене и угрожающему поведению крестьянства; в Саксонии — благодаря уличным беспорядкам, особенно в Лейпциге и Дрездене, которые ближайшим образом были направлены против клики городских заправил и ее молочной тирании, но при общем брожении в стране привели все-таки к кое-каким реформам. В общем итоге северо-германское движение было настолько скромно или устранило столь невыносимые злоупотребления, что союзный сейм волей-неволей покорился.

Иначе отнесся сейм к возбуждению среди южно-германской мелкой буржуазии. Отчасти и здесь дело шло об упразднении феодальных оброков и барщин, как в Бадене и Гессене, но по существу южно-германское движение было направлено против позорных карлсбадских постановлений. Целью его были, в особенности, расширение полномочий земства и свобода печати; наиболее смелые доходили в своих пожеланиях до «соединенных свободных штатов Германии». Движение имело вполне мелко-буржуазный характер: рядом с энергичными элементами – много болтунов, мужественная стойкость — в очень детских часто формах, большая неясность идей, которую шумные фразы скорее разоблачали, чем скрывали, в общем — много дыму и мало огня. Центром его был баварский Рейнпфальц, не только потому, что французское право открывало для него здесь больший простор, но и

потому, что мелкое крестьянство и мещанство этой маленькой области терпело тяжелую материальную нужду. Запертое баденской, гессенской, прусской и французской таможенными линиями, население Пфальца задыхалось в богатстве своих продуктов. Бутылка вина продавалась по одному крейцеру, и так же низки были цены на хлеб и мясо. Крестьяне и ремесленники не в состоянии были больше платить свои общинные и государственные подати, вносить проценты по закладным; в городах и деревнях продажи с молотка стали обыденным явлением. При этом Пфальцу приходилось еще вносить ежегодно в баварскую государственную кассу несколько миллионов,— тяжелое бремя, не становившееся более приятным оттого, что Пфальц не имел ничего общего с Баварией по своей истории, обычаям и нравам, и что он относился к Мюнхену приблизительно с такими же благожелательными чувствами, с какими население рейнской Пруссии относилось к Берлину.

Во главе пфальцской агитации стояло несколько писателей, из которых самым даровитым и энергичным был Вирт из Франконии. Он перекочевывал со своей газетой из одного пфальцского города в другой, как только ему опечатывали его ручной станок; некоторую защиту от преследований баварской полиции он находил во французском судопроизводстве. Вирт основал союз печати, задачею которого была провозглашена «организация Германской империи в демократическом духе», и вместе со своими товарищами созвал на 27 мая 1832 г. в гамбахский замок собрание всех немцев, чтобы отпраздновать «немецкий май». Под развевающимися немецкими и польскими флагами 20-тысячное собрание воспламеняло себя шумихой фраз, подчас очень страшно звучавших, но в общем безобидных. Благодаря этому «всенемецкому празднику» окончательно созрели планы, давно уже обдумывавшиеся реакцией, и четыре недели спустя были обнародованы известные 6 статей, которыми накладывалось ярмо союзного сейма на южно-германские ландтаги и учреждалась союзная комиссия для полицейского надзора над ними.

Сила южно-германского движения была этим сломлена; оно умерло, сделав еще несколько последних конвульсивных попыток. Немногие радикальные элементы, главным образом, из студенческих кругов, организовались тайно, чтобы

продолжать сопротивление. В количестве 50-ти с чем-то человек они задумали произвести на франкфуртской гауптвахте переворот против союзного сейма. Незрелое восстание было выдано полиции еще задолго до того, как оно вспыхнуло, и кончилось жалкой неудачей еще раньше, чем началось как следует. Австро-прусская реакция не замедлила, однако, использовать необдуманную революционную попытку. Над страною разлилась волна тяжких насилий: неугодные реакции книги были изъяты из обращения, неугодные газеты запрещены, неугодные лица вынуждены эмигрировать или брошены в тюрьмы, подвергнуты пытке жестокого предварительного заключения без всяких улик или по ничтожным поводам, приговорены раболепными судами к медленному умиранию в крепостных казематах или одиночных камерах каторжных тюрем.

Коммунизм подмастерьев. — Тайные общества немецких эмигрантов.—Вильгельм Вейтлинг.

Под сильным напором экономической эволюции различные течения, из которых составилось буршеншафтство (прусские студенческие землячества), должны были разойтись в разные стороны. Мало того, большинство академических бунтовщиков заключили такой основательный мир с предержащими властями, что возбуждали зависть прусских мандаринов, никогда не уклонявшихся от стези праведных; покачивая своими косами, эти мандарины острили, что никто не делает такой быстрой карьеры, как раскаявшийся демагог.

Подобное же разделение произошло по однородной причине между революционными элементами, которые реакционная волна выбросила за пределы Германии, с тою лишь разницей, что свободный воздух или развитая классовая борьба чужих стран, и в немалой также степени непрекращающиеся преследования немецких правительств, передвинули центр тяжести этого разделения не в реакционную, а в революционную сторону. На нейтральной почве Швейцарии немецкие политические беглецы встретили итальянских и польских товарищей по несчастью, подобно им гонимых Меттернихом и его прислужниками; во Франции они познакомились близко с социалистическим движением. При таких условиях та доля узкого национализма, какая еще сохранилась у немецких эмигрантов, подверглась жестокому испытанию; из двух главных составных частей эмиграции подмастерья выдержали это испытание лучше, чем студенты, среди которых только наиболее даровитые сумели развиться дальше более или менее полинялого радикализма

Париж был тогда столицей европейской революции, и здесь возникла в 1834 г. первая тайная организация немецких эмигрантов — «Союз изгнанников», после того как существовавшее гласно «Народное Общество для поддержки южногерманской оппозиционной печати» было закрыто французским правительством. По уставу целями союза были: освобождение и возрождение Германии, установление и поддержание политического и социального равенства, свобода, гражданская добродетель и национальное единство. Союз преследовал демократическо-республиканские задачи, как французское «Общество прав человека», и подобно ему был организован в виде иерархически расчлененного общества заговорщиков, на начале безусловного послушания по отношению к оставшимся втайне старшим членам. Преобладающий контингент членов союза составляли несколько сот ремесленных подмастерьев,— не только живших постоянно в Париже, но и странствующих подмастерьев, которые со временем должны были вернуться в Германию. Именно эти связи союзу приходилось поддерживать особенно усердно, раз он хотел завязать сношения в Германии, что и удалось ему в целом ряде крупных городов: Ганновере, Бремене, Берлине, Лейпциге, Мюнхене, Франкфурте, Майнце. Но союз безнадежно погибал уже от внутренней слабости, когда был выслежен в 1840 г. полицией.

Вскоре после основания этого союза возникла и в Швейцарии первая организация немецких эмигрантов. Отсюда Мацциии*) предпринял в феврале 1834 г. вооруженное вторжение в Савойю, при чем его поддержали немецкие революционеры. Савойский поход потерпел неудачу, и тогда Мацциии образовал «Молодую Европу» народов против старой Европы королей. Она состояла из «Молодой Германии», «Молодой Италии» и «Молодой Польши», к которым

*) Известный итальянец — революционер.

впоследствии присоединились «Молодая Франция» и «Молодая Швейцария». Как уже явствовало из верховного руководства Маццини, «Молодая Европа» была свободна от социалистических тенденций; в ее акте братского единения, помеченном апрелем 1834 г., свобода, равенство и гуманность названы в качестве трех неприкосновенных начал, из которых единственно может исходить разрешение социального вопроса; в другом воззвании говорится даже о святости собственности. Тем не менее, по тем же причинам, как и «Союзу изгнанников», «Молодой Германии» приходилось сводить свою деятельность к агитации среди немецких ремесленников в Швейцарии. Швейцарское право союзов и собраний представляло ей большую свободу действий, чем «Союз изгнанников» имел в Париже; ее члены основали публичные рабочие ферейны для образовательных целей, для чтения, пения, гимнастики и пр., где они могли обрабатывать немецких подмастерьев и вербовать новых сторонников. «Молодая Германия» распространилась в Берне, Цюрихе, Женеве, а затем и в Биле, Солотурне, Сен-Галлене, Лозанне и других городах Швейцарии.

С парижским союзом она поддерживала духовную связь и распространяла, в качестве своих программных изданий, «Изгнанника» и книгу Ламеннэ. Рядом с этим она издавала полу-прозаическую и полу-поэтическую, полу-кровожадную и полу-высокопарную литературу, в стиле того якобинского крыла буршеншафтства, которое точило некогда кинжал против изменников-князей и было теперь сильно представлено между основателями «Молодой Германии». Южно-германские династии смотрели на все это с тем большей тревогой, что на одном собрании немецких ремесленников в Штейнгёлцли, близ Берна, их флаги были сорваны и заменены черно-красно-золотым знаменем. Меттерних был уже сильно напуган вторжением Маццини в Савойю и стал через союзный совет требовать от швейцарского союзного собрания отмены права убежища для членов «Молодой Германии». Когда собрание не сразу подчинилось, то Австрия и Пруссия, равно как Франция, послали в Швейцарию тайных сыщиков, из которых один, прусский студент Лессинг, был убит в Цюрихе кинжалом, при чем виновники деяния так и остались необнаруженными. Германский союз запретил студентам посещение

швейцарских университетов, а ремесленным подмастерьям — странствование по Швейцарии, но самым действительным средством оказалась тогда, как и впоследствии, угроза таможенной войною. Наконец, швейцарское правительство покорилось; многократными декретами от 1834 и 1836 г оно выслало немецких революционеров и закрыло немецкие ремесленные союзы. По своей грубой злобности республиканская травля эмигрантов мало уступала монархическому преследованию «демагогов»; она лишний раз доказала, что различия в государственных формах имеют лишь проблематическое значение. Молодая Германия исчезла, и только некоторые остатки ее сохранились в кантонах Женева и Ваадт, где власти обнаруживали меньшее полицейское усердие.

Около того же времени, как была закрыта «Молодая Германия» в «Союзе изгнанников» произошел раскол. Более энергичные члены под предводительством Шустера выступили: им надоела бесполезная игра в революцию, и отныне они решили поставить пропаганду выше заговоров. В 1836 г. они основали «Союз справедливых», который состоял преимущественно из ремесленников и принял демократическую конституцию. Правление было тотчас же выбрано. Среди его членов выделялись: Карл Шаппер из Нассау, бывший гиссенский студент-лесовод, который после своего участия в заговоре франкфуртской гауптвахты бежал в Швейцарию, и, высланный из нее, снискивал себе пропитание в Париже, как наборщик, затем — сапожник Генрих Бауер из Франконии и портной Вильгельм Вейтлинг из Магдебурга. Правда, внешние условия вынуждали Союз оставаться еще наполовину заговорщичьим обществом; он так же искал себе опоры в «Обществе времен года», как «Союз изгнанников» искал ее в «Обществе прав человека». Но в то же время внутри него поднималась живая потребность пойти дальше грубой формы бабувизма. В 1838 г. Вейтлинг составил памфлет «Человечество, как оно есть и каким оно должно быть»,— коммунистическое изложение взглядов, на форме которого сильно отразилось еще влияние Ламеннэ, на содержании же не менее сильно — критико-утопический социализм. Насколько глубоко эти воззрения проникли уже в Союз, показало самоотверженное рвение, с которым члены его распространяли сочинение Вейтлинга: они подвергли себя величайшим

лишениям, чтобы напечатать его на тайном печатном станке и распространить в 2 тысячах экземпляров среди немецких ремесленников. В духе утопического социализма Вейтлинг основал также на коммунистических началах столовую для немецких портняжных подмастерьев в Париже, приносившую им большую пользу.

Тем временем «Союз справедливых», как немецкий, так сказать, филиал «Общества времен года», был вовлечен в тяжкое поражение, понесенное этим обществом при попытке устроить восстание 12 мая 1839 г.. Карл Шаппер и Генрих Бауер вынуждены были после продолжительного ареста покинуть Францию. Они отправились в Лондон, где сообща с Иосифом Моллем, часовщиком из Кёльна, основали 7 февраля 1840 г. открытое общество для самообразования рабочих, существующее поныне. Вместе с тем они восстановили «Союз справедливых» и перенесли его центр тяжести в Лондон. В Париже Вейтлинг собрал рассыпавшиеся элементы; затем он летом 1840 г. переехал не надолго в Швейцарию, весною же 1841 г. переселился в нее окончательно, чтобы повести здесь революционную пропаганду

Он натолкнулся на большие затруднения. Естественно, что прежде всего он постарался столковаться с остатками «Молодой Германии», но члены «Молодой Германии» знать не хотели коммунизма. Они заправляли всем в женевском обществе для самообразования рабочих, откуда вытеснили тех членов, особенно швейцарских, которые были против всякого занятия политическими вопросами, теперь они отнюдь не желали быть вытесненными, в свою очередь, коммунистами. Вейтлинг привлек к себе некоторых из них, напр., Августа Беккера, друга Георга Бюхнера, но перетянуть на свою сторону весь ферейн (общество) он не был в силах. Даже когда он убедил большинство ферейна в целесообразности плана общей столовой, то члены «Молодой Германии» провели вотум недоверия лично против него, помешав его избранию в заведующие, несмотря на то, что он выразил готовность исполнять эту обязанность безвозмездно, если дело не даст ожидаемой прибыли. Мало того, «гамбахские политики» без колебаний выжили из ферейна 5 членов, заподозренных в коммунизме, и решили, что если бы большинство оказалось когда-либо коммунистически настроенным, то меньшинство должно

потребовать себе имущество ферейна. Чем больше тревоги и раздражения обнаруживали члены «Молодой Германии», тем больше бодрости и веселого настроения проявлял в этой борьбе Вейтлинг. По его мнению, она была необходима, чтобы видеть, по плечу ли молодой основе коммунизма его великие задачи, чтобы приучить боязливых дипломатов, магистратов и лавочников к шуму коммунистического учения, как лодочника к шуму волн.

Большее, хотя и тайное содействие Вейтлинг нашел, повидимому, у некоторых богатых граждан Ваадта, которых привлек на сторону коммунизма еще Буонаротти во время своего изгнанничества в Швейцарии. Но затем Вейтлингу удалось завербовать в лице кожевника Симона Шмидта из Швабии превосходный административный талант Сообща со Шмидтом Вейтлинг основал тайный «Союз справедливых», распространившийся сначала по французской, а потом и по немецкой Швейцарии. При вступлении в союз члены делали следующее заявление: «Мы, рабочие, устали, наконец, работать для тунеядцев, жить в постоянных лишениях, в то время как другие утопают в роскоши: мы не хотим больше позволять эгоистам накладывать на нас тягости, не желаем больше уважать законов, которые держат самые многочисленные и полезные классы населения в унижении, лишениях, презрении и невежестве только для того, чтобы дать немногим людям средства сделаться господами этих трудовых масс. Мы хотим стать свободными и желаем, чтобы все люди на земном шаре жили так же свободно, как мы, чтобы никто не был наделен лучше или хуже, чем другой, а делили вместе все тяготы, труды, радости и наслаждения, т.-е. жили общинной жизнью». Члены союза говорили друг другу «ты» и называли себя братьями; они обязывались отклонять всякую сплетню, даже если бы она содержала истину, пристыдив при этом сплетника, быть умеренными во всех наслаждениях, изучать и обсуждать все социальные системы, пропагандировать устно принципы союза и распространять его издания, делать небольшой месячный взнос и т. д.

Тайным союз должен был оставаться лишь для того, чтобы сделать возможной его деятельность и в тех странах, где отсутствовала свобода союзов, как во Франции и в Германии. В прочих отношениях Вейтлинг, в противоположность

младонемцам, *стоял как за братство всех рабочих, так и за* публичную пропаганду. В тайном союзе он хотел собрать наиболее сознательных и деятельных коммунистов, как в средоточии, из которого они могли бы руководить общественными столовыми и ферейнами для самообразования, чтения и пения. Оживленная работа в ферейнах была в его глазах истинной подготовительной школой жизни в государстве; ферейны он называл верным прототипом общества в малом масштабе. Для предотвращения насилий со стороны властей члены союза должны были встречаться в небольшом числе в частных квартирах, мастерских и трактирах. «Никакая человеческая власть не в состоянии помешать пропаганде добра и истины, невозможно запретить людям разговаривать при работе, за столом, в своей спальне или во время своих прогулок». Наряду с этим Вейтлинг действовал путем печати; уже в сентябре 1841 г. он начал издавать ежемесячник *«Зов помощи Немецкой Молодежи»*, *с эпиграфом:* «против интересов отдельных лиц, поскольку они вредят интересам всех. и за интересы всех, не исключая никого». С января 1842 г. этот орган стал выходить под названием «Юное Поколение», а в декабре того же года Вейтлинг выпустил «Гарантия Гармонии и Свободы»,—свою главную работу, к которой прежние его писания ведут вверх и с которой ведут вниз писания позднейшие. На ней в особенности покоится слава Вейтлинга, как первого теоретика немецкого коммунизма.

Вильгельм Вейтлинг родился в 1808 г. в Магдебурге; незаконнорожденный ребенок, он вырос среди тяжких лишений и нужды. Он учился портняжному ремеслу и с 1828 до 1835 г.г. странствовал по Германии. Об этом периоде его жизни имеется очень мало сведений, да и те не особенно надежны. Говорят, будто он участвовал сатирическими стихами в саксонских беспорядках 1830 г., о необдуманности которых он с осуждением высказывается в главном своем сочинении. В Вене он будто бы был счастливым соперником одного эрцгерцога в расположении одной молодой девушки и затем был выслан обманутым соперником из города. Решительный поворот наступил в его жизни, когда он в середине 30-х г.г. прибыл в Париж, где с некоторыми перерывами прожил до 1841 г. Его впечатлительный и живой ум жадно впитывал учения французского социализма, и в то

же время он, как член «Союза справедливых», принимал страстное участие в революционной борьбе рабочего класса. Он пытался перековать социалистические учения в оружие для этой борьбы и таким образом стал промежуточным звеном между утопическим и пролетарским социализмом,—промежуточным звеном, как оно и соответствовало его промежуточному социальному положению.

Вейтлинг был уже пролетарием, но оставался еще ремесленным подмастерьем. Он принадлежал к мещанскому слою, который неудержимо начал опускаться вниз в пролетариат, но именно потому не имел еще ясного пролетарского классового сознания. Как член угнетенного класса, Вейтлинг очень хорошо понимал, насколько обманчивы были надежды утопистов на королей и миллионеров; он не отказывается вполне от этих надежд, но говорит о них, как о чем-то таком, на что никак нельзя полагаться. Однако, в силу своего мелко-буржуазного происхождения, он ничего не знает о своеобразной исторической жизни пролетариата. Основанием его теории все еще является равенство, играющее столь большую роль в истории французского социализма, в своей критике буржуазного общества, как она не блестяща, он всецело стоит на нравственной точке зрения утопистов, а по уровню своего исторического понимания остается даже далеко позади Сен-Симона и Фурье. Его гипотезы о происхождении собственности висят в воздухе: он исповедует еще историческое воззрение просветительной эпохи, по которому всемирная история не более как сплошная разбойничья сказка, где честные люди во все времена оставались в дураках.

Правда, в известном отношении Вейтлинг заходит гораздо дальше этого воззрения. Он верит в прогресс общества, как закон природы, и знает, что этот закон действует также в современном обществе. Примыкая к Фурье, он видит в человеческих страстях элемент общественного порядка, с той лишь разницей, что он значительно упрощает фурьеристскую классификацию человеческих инстинктов. Вейтлинг знает три главных разряда страстей: страсти знания, приобретения и наслаждения. Страстям соответствуют способности удовлетворить их, и применение этих способностей составляют умственные и физические работы человека. Способности—естественные границы страстей. Для того же, чтобы привести в движение

весь организм, природа вложила все свои прелести в удовлетворение страстей. Эти прелести возбуждают чувства к новым страстям, а из новых страстей развиваются новые способности. Таким образом, осуществляется прогресс человечества.

Согласно с этим во всяком данном обществе существует всегда превосходнейшее равновесие между человеческими страстями и способностями. Вместе со страстями растут способности, а вместе со способностями растут страсти. Причина всех общественных зол лежит в насильственном нарушении этого равновесия. «Из свободы и гармонии страстей и способностей всех людей возникает все доброе, а из подавления их к выгоде некоторых—все злое. В этих немногих словах заключено решительно все». В современном обществе подавление страстей одной его части к выгоде страстей другой его части создает отвратительное неравенство в общественных отношениях; оно рождает и умножает законы, преступления и наказания. Возможным оно стало вследствие того, что страсти приобретения и наслаждения правят, тогда как страсть знания вынуждена склоняться ниц перед брюхом своих чувственных товарищей и вырождается в бессмыслицу, заблуждение, суеверие, обман и ложь, к выгоде любостяжания и погони за наслаждениями.

Сила знания не дает себя, однако, подавить навсегда. Свое притязание на руководство обществом она осуществляет тем, что медленно подкапывается под основы современного общественного порядка и неожиданно открывает путь прогрессу, что она, как приманку, бросает открытия и изобретения страстям приобретения и наслаждения. Любостяжание и жажда наслаждений хватаются за них, не подозревая, что они подрывают таким образом свое собственное господство. Применение силы пара к машинам и в особенности книгопечатание — таковы примеры, на которые ссылается Вейтлинг. Книгопечатание,— говорит он,— дает возможность собирать и сохранять искры знания, пока они не станут достаточно сильными, чтобы покорить страсти, внушаемые личным интересом.

Мы видим: Вейтлинг умеет по-своему довольно хорошо обращаться с экономической диалектикой, только он делает это как пролетаризованный ремесленный подмастерье, а не как

пролетарий, проникнутый классовым сознанием. Вейтлинг отнюдь не игнорирует значения политической свободы для экономического освобождения пролетариата, он прямо требует свободы союзов, печати, выборов. Но в конце-концов он все же находит, что этим ничего нельзя сделать при господстве системы денежного хозяйства. Он именно стоит посередине между утопическим и пролетарским социализмом. Особенно резко эта позиция выступает в его суждении о свободе ассоциаций. Вейтлинг полемизирует против Фурье, который в своих фаланстерах хотел, наряду с вознаграждением труда, допустить также вознаграждение капитала и таланта; он вышучивает фурьеристов за химерическую надежду привлечь этим денежных людей. Он хочет пролетарской ассоциации. Но если она является уже для него наполовину орудием революционной пропаганды, то наполовину она еще служит ему орудием коммунистического сектантства, как об этом свидетельствует высокое значение, которое Вейтлинг придавал общим столовым. Мысль, что рабочий класс в борьбе за политическое господство приобретает одновременно способность применять это господство на практике, энергично рвется в нем наружу, но с недвусмысленной ясностью она у него никогда не выступает.

Как ни далек еще, однако, Вейтлинг от пролетарского классового сознания, он уже далек от буржуазного утопизма. Он знает, что рабочий класс никогда не будет освобожден, если не освободит себя сам. Для Вейтлинга революция пролетариата получает то же значение, какое имел для Фурье спасительный миллионер: правда, это революция, которая согласно всей точке зрения Вейтлинга должна опереться не на растущее усиление, а на растущее обнищание рабочих. Он хочет довести существующую анархию до ее высшей точки, повергнуть рабочие классы в безграничнейшую нищету. В их отчаянии он усматривает самый действительный рычаг революции и возлагает даже надежды на босяков, рекомендуя воровство, как последнее оружие бедных против богатых.

При такой точке зрения он должен, естественно, держать наготове план нового общества, которое можно было бы воздвигнуть на месте разрушенного старого общества. Вейтлингу нужно восстановить естественно равновесие между страстями

и способностями и, таким образом, обеспечить страсти знания, другими словами — науке, управление страстями приобретения и наслаждения, т.-е. производством и потреблением. Заметьте, управление — не правление. «Совершенное общество не знает никакого правительства, а только управление, никаких законов, а только обязанности, никаких наказаний, а только лекарства .. Здесь нет ни оказания почестей, ни формул покорности, нет внешних знаков славы, как и внешних знаков презрения; здесь не приходится приказывать и слушаться, а только регулировать, устанавливать порядок и совершенствовать. Тут нет ни преступлений, ни наказаний, а есть еще только остаток человеческих болезней и слабостей, которые природа поставила нам на пути, чтобы устранением их подгонять наши физические и духовные способности и, таким образом, сделать их двигателем прогресса». Этот остаток устраняется не законами и наказаниями, а *лекарствами, и Вейтлинг посвящает особую главу философ*ской медицине.

С затратой большого прилежания и остроумия Вейтлинг измышляет организацию нового управления, которое должно руководить в будущем «большим семейным союзом», как он называет коммунистическое общество. Во главе стоит «трио», или «совет трех», состоящий из величайших философов, которые в то же время являются первоклассными гениями в медицине, физике и механике. Затем следует отряд центральных мастеров, которым избирается трио и замещаются важнейшие должности большого семейного союза. После него идут отряды мастеров, управляющие округами, областями, уездами и меньшими семейными союзами. Чтобы облегчить и упростить управление, каждый отряд мастеров выбирает из своей среды заводский комитет, а отряд центральных мастеров выбирает большой комитет, который состоит при совете трех в качестве исполнительного административного персонала. При отрядах мастеров состоят академии для управления приятными и изящными работами, пока они не стали еще общераспространенными: академии выбирают из своей среды академический совет. Рядом со всеми этими корпорациями, в руках которых находится управление, стоят санитарные комиссии, под особым руководством санитарного совета, который подобно большому комитету помогает трио управлять большим семейным союзом.

Нет надобности входить подробно в эти детали, а тем более критиковать их. Историческое значение утопий заключается не во внешнем остове, который с большим или меньшим искусством сооружают их авторы, чтобы доказать практическую осуществимость своих реформатских идей, а в этих самых идеях, в глубине и силе, с которой они вскрывают причины социальных зол. Это тем больше относится к Вейтлингу, что он в известном смысле утопист поневоле. Будучи в состоянии познать лишь отрицательную сторону пролетарской революции, он вынужден положительную сторону ее изобретать из собственной головы. Но в то же время он очень ясно чувствует, что дает этим только суррогат; уже в предисловии к «Гарантиям» он объясняет, что его задача — показать обществу, чем оно является при дурной организации и чем могло бы быть при лучшей. Он предостерегает читателей не придавать слишком большой цены излюбленным планам нового социального строя, замечая, что нет ничего совершенного под луною, и никогда нельзя будет придумать такую общественную организацию, которая была бы наилучшей неизменно для всех времен. Но реформаторская мысль, лежащая в основании этого фантастического сооружения из академических и санитарных советов, отрядов мастеров и центральных мастеров и высшего трио величайших гениев, это — ясное понимание, что личные интересы правящих эксплоатируют общество. Никто не должен быть беднее правительства — говорит Вейтлинг; — пока тем, которые управляют богатствами всех, дозволяется иметь и приобретать особые богатства для себя, до тех пор они будут также своим управлением вредить интересам всех. Большим семейным союзом Вейтлинга должны руководить не лица, а способности. Замещение должностей должно производиться не путем выбора лиц, а выбора способностей, путем состязания в решении конкурсных задач, путем пробных работ, каковы письменные трактаты о полезных научных предметах, открытия и изобретения, пробы художественных произведений, рисунки и планы зданий, машин, инструментов и т. п. Конкуренты подают свои пробы в те учреждения, в которые они желают быть принятыми, но имена их остаются неизвестными и объявляются лишь в случае благоприятного исхода испытания.

Из за гармонии человеческих страстей и способностей Вейтлинг не забывает их свободы. Вслед по образцу Фурье он делит работы на необходимые, полезные и приятные. Для всякого работоспособного человека предписывается известное рабочее время, чтобы выполнить необходимые и полезные работы, за что он получает от общества все необходимое и полезное для удовлетворения жизненных потребностей. Вейтлинг знает превосходство общественного труда над разрозненным и умеет ясно показать его. Он считает достаточным 6-тичасовой рабочий день. Иначе, чем с необходимыми и полезными работами, дело обстоит с приятными. Так как природа никого не заставляет потреблять приятные блага, то нельзя принудить никого к приятным работам. Гармония всех и свобода каждого отдельного лица, взаимно обусловливающие друг друга, требуют непременно, чтобы каждому было предоставлено работать много, мало или совсем не работать ради пользования приятными благами, смотря по тому, сколько он желает их — много, мало или совсем не желает. В этом отношении Вейтлинг регулирует производство и потребление при помощи коммерческих книг, где на одной стороне отмечаются часы исполненного труда, а на другой — полученные наслаждения. Торговые книги — любимые детища Вейтлинга; он прославляет их в восторженных выражениях: «Они в одно и то же время паспорт, метрическое свидетельство, свидетельство о приписке, ремесленный аттестат, вексель, квитанция, расчетная книжка, дневник, школьный диплом, входный билет, рекомендательное письмо, копилка, кошелек, календарь: они зеркало всех духовных и физических потребностей индивида, его портрет, его биография, коротко говоря — все образное «я» индивида, как оно никогда еще не было представлено». В этом крике восторга разрешается мука бесконечных мытарств, которые приходилось терпеть ремесленным подмастерьям вследствие множества требовавшихся полицией удостоверений.

Как построить, однако, новое общество после крушения старого? В силу своего промежуточного социального положения Вейтлинг обнаруживает колебания по этому вопросу; им же было обусловлено заключение Вейтлинга, что наиболее желательным представлялся бы такой переходный период, когда, благодаря перевороту в том или ином государстве,

кормила управления стал бы человек, всей душой преданный коммунистическому принципу и полагающий в осуществлении его свое счастье, свою честь, свою жизнь. Он возвращается неоднократно к этой мысли и заключает вдохновенными словами: «Придет новый Мессия, чтобы осуществить учение первого. Он разрушит гнилое здание старого общественного порядка, отведет источники слез в море забвения и превратит землю в рай. Приготовимся достойно встретить его! По какому признаку мы узнаем, однако, этого Мессию? А вот по какому: он придет простой и беспритязательный, гордо презирая очарования Маммоны и открывая свое сердце страданиям человечества. Он спустится с высот богатства в бездну нищеты, в толпу несчастных и презираемых, и сольет свои слезы с их слезами... Но данную ему власть он выпустит из рук не раньше, чем смелое дело будет закончено. Тогда над обществом не будет господствовать больше воля одного, а знание всех. И величайший Мессия подчинится с тихою скромностью этому новому господству. Это будет венцом его деяний, и весь мир узнает по этому признаку второго Мессию, более великого, чем первый». Как гордо ни возвышается это величественное, в своем роде, видение над спекуляцией фурьеристов на толстую мошну миллионеров, все же оно ведет назад к самому настоящему утопизму.

Тем энергичнее выступает в Вейтлинге пролетарий, когда он наталкивается на препятствия, практически задерживающие освобождение рабочего класса. Он насквозь видит ложь патриотизма, «которая служит самым яростным врагам прогресса и всеобщей свободы, последним якорем спасения их заблуждений, спасательной доской их привилегий», и швыряет им ее под ноги, «чтобы бежать под знамя человечества, которое не будет считать среди своих защитников ни высших, ни низших, ни богатых, ни бедных, ни господ, ни рабов» Он отмечает международный характер современного рабочего движения, ставя вопрос: «какую любовь может в настоящее время питать к так называемому отечеству тот, который не может в нем потерять ничего такого, чего он не в состоянии был бы найти во всех чужих странах?» Кому бы ни принадлежало владычество, Наполеону или Фридриху-Вильгельму, рабочие так же вынуждены играть роль вьючного животного при одном властелине, как при другом.

Менее свободно относится Вейтлинг к женскому вопросу. Он верит еще в естественное превосходство мужчины, и пока природа не явит чуда, пока женский пол не превзойдет мужского в полезных знаниях, изобретениях и талантах, до тех пор женщина не должна занимать никакой руководящей должности в новом обществе. Но это также последняя тень, которую домашнее хозяйство ремесленника бросает в воззрениях Вейтлинга на брак и любовь. В прочих отношениях он подвергает буржуазный брак столь же злой, сколько меткой критике «Любовь — ядро ореха, брак — скорлупа. Система денег, это — червяк, проникающий в ядро и губящий его. Огромное большинство грызет горькую и жесткую скорлупу. Вот вам полное определение наших современных браков». Вейтлинг требует добровольного, никем не вынужденного сожития в браке. Если узы его не держатся больше потребностью в уважении, дружбе и любви, «так развяжите же их, во имя неба, и не создавайте друг другу двойного и тройного ада!» И он снова заключает увлекательными словами: «Утри свои слезы, бедная, несчастная, презираемая и унижаемая женщина, и подумай, что еще много других слабых людей страдает на земле. Когда-нибудь и для тебя наступит светлая заря освобождения, и золотой луч его снимет своим поцелуем горячие и горькие слезы рабства с влажных ресниц. Тогда посмотри гордо в глаза своему тирану, ибо он тебе больше не нужен, и закон не защищает его больше; тогда и ты, бедная, обманутая, соблазненная девушка, найдешь снова хорошего человека, который с презрением отнесется к предрассудку толпы; тогда вы, жизнерадостные юноши и девушки во цвете лет, живите и любите! Тогда дайте волю противоестественно запертому в вашей груди огню, который грызет ваше сердце и парализует вашу энергию, дайте ему волю, раньше чем он принимает вредное для общественной гармонии и вашего здоровья направление. Тогда люби, кто любить способен!». Воспитание детей, начиная с 3 или 6 года, лежит на обязанности общества: они принимаются в школьную армию, обучаются всем наукам и искусствам, приучаются ко всем работам, в частности также — к самым противным. Образование юношества должно быть связано с производительной работой для общества.

Религия встречает насмешки Вейтлинга, поскольку она является в руках духовенства средством обманывать страждущие классы относительно мук земной жизни надеждою на темный загробный мир. Над «сектантским хламом» он презрительно пожимает плечами. Зато по форме он много заимствовал у Ламеннэ, и первобытное христианство близко ему, как революционное движение угнетенных классов. Он настаивает на обязанности щадить то, что свято для других, поскольку это позволяет коммунистический принцип, а к Христу он обнаруживает в «Гарантиях» симпатию, которой предстояло вскоре выступить еще гораздо сильнее.

Как это понятно само собою, в экономической критике Вейтлинга фабричное дело стоит на отдаленном плане в сравнении с торговлей. Вейтлингу хорошо известно, что фабричная промышленность создает массовую нищету в самых резких ее формах, но он полагает, что ею нельзя теперь нажить так много, как торговлей. «Коммерция» для него главный паразит, высасывающий кровь из трудовых масс; самые зажигательные свои тирады он направляет против денежного и товарного торгашества. Как немец, как природный пруссак, он находит также энергичное словцо для торга титулами и грубой военщины; его замечания об истязаниях солдат производят теперь впечатление такой же свежести, как в день своего появления.

Главное сочинение Вейтлинга произвело при первом своем выходе в свет значительное впечатление, и с полным правом. Если он в умственном отношении и не стоял на равной высоте с великими утопистами Запада, то все же он разрушил преграду, отделявшую их от рабочего класса, и был достойным учеником их по своему энтузиазму, своей фантазии и остроумию. Во всех этих отношениях он стоял выше современного ему рабочего коммунизма Кабэ и уж наверно выше массы либералов, как раз тогда начавших борьбу за политическое освобождение немецкого бюргерства.

Никто не признавал этого охотнее, чем те немецкие современники, которые могли бы с некоторым правом смотреть на Вейтлинга сверху вниз. Когда Людвиг Фейербах получил сочинение Вейтлинга от одного ремесленного подмастерья, он воскликнул: «Как поражен я был образом мыслей и умом этого портняжного подмастерья! Поистине, он пророк своего

сословия. Как поразили меня также его серьезность, манера держаться, жажда образования! Что представляет собою компания наших академических буршей в сравнении с этим буршем!» Фридриг Энгельс называл Вейтлинга единственным немецким социалистом, действительно кое-что сделавшим, а Карл Маркс писал: «Где могла бы буржуазия — включая сюда ее философов и ученых — дать такое сочинение об эмансипации. политической эмансипации, как «Гарантии гармонии и свободы» Вейтлинга? Если сравнить трезвенную, робкую посредственность немецкой литературы с этим смелым и блестящим литературным дебютом немецких рабочих; если сравнить эти исполинские детские башмаки пролетариата с карликовыми размерами стоптанных политических башмаков буржуазии, то немецкой Сандрильоне нужно предсказать атлетическую фигуру». Под свежим впечатлением книги Вейтлинга Маркс добавил, что немецкий пролетариат так же является теоретиком европейского пролетариата, как пролетариат английский является его экономистом, а французский — его политиком. Нужно сознаться, что Германия настолько же имеет классическое призвание к социальной революции, насколько она неспособна к революции политической.

С своей стороны, немецкое бюргерство ревностно постаралось подтвердить этот взгляд.

Вильгельм Вейтлинг.— Революционная агитация в Швейцарии.

Коммунистическая пропаганда Вейтлинга в Швейцарии нашла свой скорый конец. Она погибла не только от внешней силы, но и от заключенного в ней внутреннего противоречия, от стремления Вейтлинга путем революционной деятельности агитатора призвать к жизни утопию коммуниста-сектанта.

Вначале практические успехи Вейтлинга были довольно значительны. Его тайный союз простирался на кантоны Женева, Ваадт, Невшатель, Цюрих, Ааргау, Берн. Если во многих местах были только отдельные, разбросанные приверженцы, то все же их крепко сплачивало вместе то истинное воодушевление, которое Вейтлинг сумел внушить им. Его

«Гарантии гармонии и свободы» вербовали сторонников для его союза даже в буржуазных классах.

Ядро союза составляли ремесленные подмастерья, и, главным образом, немецкие подмастерья. Трудно составить себе преувеличенное представление об их стремлении к образованию, их жажде знания, самоотверженности и энергии. Они нанимали себе учителей, чтобы те преподавали им сведения из различных областей знания. Чтобы напечатать в 2.000 экземпляров первое издание «Гарантий», 300 рабочих разделили между собою расходы и в уплату взяли книги; четверо рабочих отдали на напечатание все свои сбережения в количестве 200 франков. Дух, воодушевлявший приверженцев Вейтлинга, отражается в его журналах — «Hilferuf der deutschen Jugend» («Зов помощи немецкого юношества») и «Молодое поколение» — еще больше, чем в его книгах: захватывающие картины нужды среди ремесленных подмастерьев, смелое бичевание придирок, которыми травили их отечественные власти, сменяются здесь остроумными сатирами на их мучителей,— сатирами, облеченными то в форму разговора между европейскими реками, то в форму ретроспективного взгляда или взгляда вперед в 2.000 г.

На нас производит впечатление чего-то еще весьма туманного, когда мы читаем в одном месте, что к числу коммунистов принадлежат и трудолюбивый поселянин, который делит свой кусок хлеба с голодающим подмастерьем, и прилежный ремесленник, не сдирающий шкуры со своих рабочих, а вознаграждающий их по соразмерности из дохода от общего труда, и богач, употребляющий свой избыток на благо страждущего человечества, и император, король или князь, законы которого имеют своей целью благо самых бедных и многочисленных классов и т. д. Но революционный инстинкт прорывается все-таки именно из этой теоретической неясности, когда «Молодое поколение» объявляет в другой раз, что оно не позволит себя втиснуть ни в одну из коммунистических сект. «Нас охотно желали бы насильно втиснуть в эти секты; желали бы, чтобы мы по примеру сектантов начали щипать друг друга и ссориться между собою. На это мы не пойдем. Мы будем бороться только против тех, которые хотят задерживать наше движение, и предпочтем лучше смотреть сквозь пальцы на ошибки людей, опережающих нас». Под сектантами

«Молодое Поколение» понимало людей, не желающих пропускать никого вперед по дороге; оно отказывалось устанавливать принципы, которые имели бы силу на вечные времена.

Однако, как искусно ни вели свое дело Вейтлинг и его приверженцы, они не привлекли на свою сторону всех революционных элементов, находившихся среди немецких подмастерьев в Швейцарии. Младонемецкая агитация сохранила враждебную позицию по отношению к ним. Правда, она все больше теряла буржуазно-национальный характер и принимала пролетарско-революционный, но она попала не в русло французского социализма, а немецкой философии.

Благодаря смешению политики и религии, которое свойственно было романтической реакции, революционное развитие немецкой философии нашло живой отклик среди чутких подмастерьев: мыслящий человек, освобожденный от всех суеверий и предрассудков, стал для них исходным пунктом и средоточием пролетарской революции; им казалось, что одновременно с оковами человеческого духа падут и цепи человека. Утопия Вейтлинга представлялась им новым евангелием, сам Вейтлинг — новым пророком, а его приверженцы — новой сектой. Видя уже в эмансипации человеческого сознания эмансипацию человеческого общества, они не испытывали никакой потребности строить новый мир; абсолютная свобода человека от всякого принуждения была их идеалом, и это можно было, пожалуй, называть их анархизмом. Но полная туманность этого анархизма и, в особенности, практическая борьба, которую они вели с Вейтлингом, выдвигали вперед, как наиболее отличительную их особенность, их атеизм.

Инстинктивному коммунизму Вейтлинга, созревшему на экономическом классовом антагонизме, были совершенно непонятны умозрительные хитросплетения философии. Немецких философов он называл «людьми тумана», которые охотятся за абстракцией в царстве сверхчувственного,— людьми, понятия которых никто не в состоянии охватить. «Прославленный Гегель для меня также человек тумана. Я вправе называть его так, хотя не читал ни строки из его сочинений. Почему? Потому, что никто не мог сказать мне, чего он хочет, хотя вся немецкая туманная философия страшно кричит о нем». Именно этот природный коммунизм постоянно направлял взор

Вейтлинга,— как свободен он ни был от всякой догматической церковной веры,— на первобытное христианство, евангельского Иисуса, к которому он относился с удивлением и симпатией. Вейтлинг обладал слишком ясной и трезвой головой, чтобы не понимать, насколько все революционирование сознания бессильно хотя бы даже пошатнуть экономический строй, от которого столь невыразимо страдали рабочие. Между младонемецкими и коммунистическими ремесленными подмастерьями примирение было невозможно. Антагонизм становился тем глубже, чем больше обстоятельства действительно начали толкать Вейтлинга к роли пророка.

Обусловлен был такой исход отмеченным выше внутренним противоречием его агитации. Успехи Вейтлинга укрепили в нем сознание собственной силы, но в то же время они вызывали все большее сопротивление того мира, который он замышлял разрушить. Консервативные правительства в Швейцарии стали опасаться коммунистического движения, проникшего уже в некоторые радикальные органы; типографы, печатавшие «Молодое Поколение», терпели притеснения со стороны полиции, и Вейтлингу пришлось несколько раз менять место печатания. В Германии, Австрии, Франции сочинения его строго преследовались. Министерство Гизо распорядилось раз отобрать на границе и сжечь 1.200 экземпляров «Молодого Поколения», не дав себе труда предварительно запретить это издание. Бедный подмастерье вправе был сказать: вот какое почтение власть имущие питают к собственности! Много забот причиняли Вейтлингу и столовые, которые часто терпели крушение от того, что одни и те же ферейны должны были вести борьбу против старого общества и быть зародышами нового. Несмотря на всю готовность к жертвам, которую проявляли приверженцы Вейтлинга, его личное положение было вообще очень стесненное. Его нужда так же расла вместе с его успехами, как его вера в свои силы. Правда, благодаря этому в нем только расла жажда подвигов, но тут-то роковым образом сказалось отсутствие ясной цели у его революционной агитации.

Чтобы возможно скорее разрушить существующее общество, Вейтлинг хватался за всякие странные идеи. Он хотел немедленно ввести «общность жен», организовать воровскую банду для партизанской войны против имущих классов, составить

тайный заговор, который должен был затем внезапно разразиться восстанием.

Его вера в свои силы выродилась в тщеславие, его бодрое, боевое настроение — в неуступчивую сварливость, он стал чувствовать себя непризнанным гением. Идея «второго Мессии» поднималась в нем тем ярче, чем более неясным ему становилось, как произвести революцию в старом обществе. Под влиянием этого настроения он написал весною 1843 г. свое «Евангелие бедных грешников».

В этом произведении Вейтлинг хотел доказать более чем сотней цитат из библии, что самые смелые выводы из свободолюбивых идей находятся в полном согласии с духом Христова учения. Вольтер и другие хотели для освобождения человечества разрушить религию: напротив, Ламеннэ—к слову сказать, непризнавший себя солидарным с сочинением Вейтлинга, когда оно вышло в свет — и многие предшествовавшие ему христианские реформаторы, как Карлштадт и Томас Мюнцер, показали, что все демократические идеи вытекают из христианства. К ним присоединяется отныне и Вейтлинг: он говорит, что для освобождения человечества нужно воспользоваться религией; Христос — пророк свободы и учит любви.

С точки зрения коммунистической пропаганды сочинение представляет несомненный шаг назад против «Гарантий», но зато оно наиболее верно рисует личность Вейтлинга и дает наиболее своеобразный, быть может, образчик его таланта. Вейтлинг не отрицает результатов современной критики евангелий: он говорит лишь, что его задача указывать противоречия евангелий, из которых не малое число вскрыто Штраусом: он хочет, напротив, принять, как истину, то существенное, определенное и возможное, на котором покоится христианство, чтобы вывести отсюда принцип христианства. В Иисусе евангелий он находит свой прообраз. С инстинктом родственной души он отыскивает следы, которые коммунизм первых христиан оставил в евангельском повествовании. Он очень хорошо видит, что этот коммунизм простирался только на потребление, а не на производство, но он полагает, что «общность потребления» предполагает «общность работ». «Это труднее было объяснить,— пишет он,— и еще труднее было бы понято; этого и теперь еще не могут понять миллионы. Что они могут понять, это — полную возможность отнятия избытка

у одного для раздачи его бедным. Такая мера была бы, однако, целесообразна лишь тогда, когда дело идет о пищевых средствах, платье и домашней утвари, ремесленные же инструменты, деньги, земля не могут быть поделены в обществе; поэтому первое (избыток) становится бесполезным и упраздняется, последнее же (имущество) принадлежит всем вместе и никому в особенности». Сочинение есть своего рода исповедь Вейтлинга пред самим собою и пред миром,— пред друзьями еще больше, быть может, чем пред врагами. На своих опытах и успехах, на своих радостях и страданиях он измеряет деяния и слова Христа. Пусть некоторые говорят, что при помощи библии можно доказать все, что угодно, Вейтлинг отвечает им: «Бесспорно вы, господа, это доказали, вы сделали из нее евангелие тирании, угнетения и обмана, я же хотел бы сделать из нее евангелие свободы, равенства и общности, знания, надежды и любви, если бы она уже не была им. Если ошибались те, то причиною был личный интерес, если ошибаюсь я, то это происходит от любви к человечеству. Моя цель известна, и места, откуда я черпаю, указаны. Читатель может теперь сам прочитать, подвергнуть испытанию, судить и верить, чему хочет. Аминь». Для Вейтлинга дело шло больше о нем самом, чем о Христе; второй мессия призывает здесь к себе на помощь первого,— второй и больший мессия, ибо по обстоятельствам того времени Иисус, «вероятно, совсем не изготовил или изготовил весьма несовершенный» организационный план нового общества; нельзя требовать, чтобы он «вполне понял тогда все глубины теперешнего коммунистического учения».

Вейтлинг написал «Евангелие бедных грешников» еще в Лозанне; он хотел напечатать его в Цюрихе, куда переехал в мае 1843 г. Еще раньше, однако, чем книга вышла в свет, разразилась катастрофа: цюрихские священники обратились к прокурору с заявлением, обвинявшим в богохульстве проспект, который распространил Вейтлинг. Прокурор тотчас открыл следствие, и по его приказу Вейтлинг был арестован в ночь с 8-го на 9-е июня. Обыск в его квартире и в типографии отдал в руки властям его частную переписку и часть рукописи «Евангелия бедных грешников».

Цюрихское правительство хотело одним уничтожающим ударом сразить коммунистическую партию и вместе с ней —

радикальную. Это был первый опыт подобного спасения государства — по крайней мере, там, где «звучит немецкий язык и славит господа на небесах»,—и в своем роде он был типичен для всех последующих. Прокурор передал захваченные бумаги правительству, а правительственный совет назначил комиссию для расследования «всех коммунистических происков в Швейцарии». Доклад, представленный этой комиссией и принадлежащий перу проф. Блунчли, был напечатан на государственный счет и пущен в продажу через книжные магазины. Блунчли доказал своей работой, что по своему историческому, экономическому и политическому уровню понимания он стоял далеко ниже портного Вейтлинга и что с другой стороны, он был вполне достоин еще поколение спустя сиять, как звезда первой величины, на небе немецкого либерализма. Вместо какой бы то ни было попытки оценить по достоинству теоретические цели, не говорим уже практические корни коммунистической агитации, он поднял жалобный плач по поводу того, что бездна, открывающаяся перед холодным, абстрактным принципом коммунизма, поглотит всякий божественный и человеческий порядок. Вместо каких-нибудь положительных мер для устранения причин, вызывающих жалобы рабочих, он призвал на помощь полицейскую палку: по его мнению, не-швейцарских членов цюрихского рабочего ферейна, с которыми Вейтлинг вступал несколько раз в сношения, следовало прогнать из страны, затем точно так же следовало поступить со всеми не-швейцарцами, которые подозреваются в коммунистических происках, а если бы после «упрощенного расследования дела» они были изобличены в таких происках, то нужно было сверх того еще выдать им волчий паспорт. Сюда были прибавлены истинно мещанское предложение ограничить число трактиров и винных погребов и — само собою понятно — елейная рекомендация христианства, как корректива, который должен «внутренней святостью душевной жизни» утешить бедняка за имущественные неравенства внешнего мира.

С этой лицемерной узостью уже тогда сочеталось то вероломство которое старается использовать красный призрак в интересах своих партийных делишек. Руководимый благородной целью скомпрометировать политических противников правительства, Блунчли опубликовал из найденных у Вейтлинга

бумаг частные письма лиц, не имевших решительно никакого отношения к следствию и не провинившихся ни в каком наказуемом деянии против законов цюрихского кантона, следовательно, письма, на оглашение которых комиссия не имела даже видимого права. Этот противозаконно использованный материал Блунчли заведомо ложно редактировал так, что на вождей цюрихского радикализма падало совершенно неосновательное подозрение, будто они содействовали преступным целям коммунистов. Для довершения сходства между тогдашним и теперешним временем буржуазный радикализм струсил, как только его заклятейшие враги обвинили его в коммунистических стремлениях. Радикалы отступились и «Швейцарский Республиканец» вынужден был прекратить свое существование за недостатком подписчиков.

Напротив, коммунистическая агитация не думала сдаваться. Вейтлинг с мужественным достоинством защищал себя сам пред судом. Правда, и здесь он обнаружил, как впоследствии в тюрьме, признаки болезненного возбуждения, но от своих принципов он не отрекся. Из обычного букета прокурорских даров, сплетенного в обвинительном акте — сюда входили богохульство, нападки на собственность, составление тайного союза и т. п., — вторая инстанция подобрала отдельные цветки несколько иначе, чем первая,— обстоятельство, не имеющее, впрочем, особого значения при так называемой «мотивировке» подобных тенденциозных приговоров. Печально для Вейтлинга и бесславно для цюрихского правосудия было то, что уже первая инстанция вынесла суровый приговор — шесть месяцев тюрьмы, с зачетом двух месяцев незаслуженного предварительного заключения, а вторая еще усилила это наказание до 10 месяцев тюрьмы с зачетом 4 месяцев незаслуженного предварительного заключения. Приговор первой инстанции заключал в себе еще пожизненное изгнание из Швейцарии; приговор второй ограничился 5-летним изгнанием, но фактически это не составляло разницы для осужденного.

Почти год Вейтлинг просидел в цюрихских тюрьмах, где несколько раз был подвергаем дисциплинарным, а по одному известию,—даже телесным наказаниям. Выпущенный на свободу, он хотел переселиться со своим приверженцем Андреем Дитчем в Америку, чтобы основать там коммунистическую колонию, но цюрихское правительство, радуясь возможности

оказать полицейскую услугу, настояло на выдаче его прусской полиции. Несмотря на энергичное сопротивление, Вейтлинг был доставлен на немецкую границу, откуда его потащили через различные «фатерланды», в сопровождении их сыщиков и с временными остановками в их тюрьмах, в родной город Магдебург, где и сдали в солдаты, как дезертира. В виду физической негодности Вейтлинга к военной службе, его пришлось скоро отпустить, и тогда прусское правительство выпроводило его в Гамбург, не взирая на его право приписки и на представленное доказательство обладания достаточными средствами к существованию, за которые поручился один книгопродавец; из Гамбурга оно толкнуло его в далекую чужбину с 7 талерами в кармане. Вейтлинг отправился в Лондон; на многолюдном митинге немецкие, французские и английские социалисты приветствовали здесь «мужественного и талантливого вождя немецких коммунистов», как назвал его орган Оуэна.

Приверженцы Вейтлинга в Швейцарии также продолжали храбро свое дело. Направленный против них удар сопровождался обычным отраженным ударом: общественное внимание теперь только обратилось настоящим образом в сторону преследуемых, и даже доклад Блунчли явился энергичной пропагандой для них. При всей искусственности в группировке фактов, при всех искажающих комментариях, содержавшихся в докладе, нельзя было изгладить глубокого впечатления, которое должны были произвести на пролетариат сами документы, преданные теперь широкой гласности, в особенности — длинные выдержки из сочинений Вейтлинга. Прусский посланник в Париже сообщил в Берлин, что этот доклад побудил 300 немецких ремесленных подмастерьев вступить в «Союз Справедливых», а Моисей Гесс в насмешливом адресе благодарил бравого спасителя государства Блунчли за то, что он оказал хорошему делу такую большую услугу. В серьезном тоне произведение Блунчли было разобрано в анонимном памфлете «О коммунизме в Швейцарии», и впечатление от его уничтожающей, меткой критики скорее усиливалось, чем ослаблялось тем обстоятельством, что автор, хотя и будучи коммунистом, относился несочувственно к революционным тенденциям Вейтлинга. Последнее сочинение Вейтлинга, рукопись которого его друзьям

удалось спасти в значительной части, вышло в свет в Берне под несколько измененным заглавием — «Евангелие бедного грешника», а прежние сочинения его были напечатаны новыми изданиями. Три издания подряд выдержала также коммунистическая брошюра Андрея Дитча, швейцарца родом и щеточника по профессии. В ферейнах общие кухни и столовые, поскольку эти учреждения стали твердо на ноги, оказались теперь полезными и для пропаганды: они не дали распасться коммунистам в период замешательства, созданного внезапным исчезновением Вейтлинга и преследованиями полиции.

Однако, несмотря на это доблестное сопротивление, коммунистическая агитация в Швейцарии все более и более мельчала. Не потому, или не потому одному только, что она потеряла в лице Вейтлинга своего духовного главу. Скорее можно было бы сказать обратное: потому что члены двигались в том же такте, как и голова. Коммунизм Вейтлинга всегда был в большей или меньшей степени коллективным продуктом его последователей; Вейтлинг хорошо знал это и, несмотря на разраставшуюся в нем самоуверенность, он еще в «Евангелии бедных грешников» говорит, что коммунистические учения распространял союз ессеян и Христос в своих собственных идеях, быть может, не возвышался значительно над идеями своих товарищей по союзу. Те самые причины, которые толкнули Вейтлинга назад к религиозному утопизму, оказали в большей или меньшей степени то же действие на его приверженцев; удаление Вейтлинга оказалось роковым лишь в том отношении, что на место честного и в своем роде гениального главы секты стали всякого рода сомнительные главари.

Заместителями Вейтлинга были на первых порах добродушные лентяи вроде Августа Беккера, который был проникнут честными намерениями и под руководством человека с твердым характером был отличным работником, но поставленный на собственные ноги, шатался во все стороны; сбитый с толку воплем ревнителей правоверия, изображавших своему духовному стаду всякое уклонение от единоспасающего учения, как гибельный коммунизм, Беккер хотел даже связаться с немецко-католическими путаными головами. Затем — безобидные сумасшедшие, как «пророк» Альбрехт, старый демагог из Альтенбурга, впавший в религиозное помешательство

после 6-летнего заключения в тюрьме, где он вынужден был ограничиваться чтением одной библии. Наконец, явные обманщики и бродяги, вроде лжедоктора Кульмана из Голштинии, возвестившего пресловутое учение, что в новом мире распределение потребительных благ будет регулировать мудрейший, и потому апостолы должны уже теперь, в старом мире, полными мерами подносить мудрейшему потребительные блага, довольствуясь сами крохами. Тот факт, что Кульман обманул этим доходным мошенничеством не только коммунистических подмастерьев, но вырвал даже у такого образованного человека, как Август Беккер, восторженное заявление, что в лице Кульмана выступил человек времени, «человек, в устах которого нашло себе выражение все наше страдание, все наши надежды и упования,— одним словом, все, чем волнуется наше время».— этот факт красноречивее длинных описаний доказывает, как быстро и неудержимо коммунизм ремесленных подмастерьев шел к гибели по наклонной плоскости религиозного утопизма.

Его упадок обусловил собою новый подъем младо-немецкой агитации. Мятежно настроенным пролетариям плоский атеизм этой последней должен был все-таки прийтись больше по вкусу, чем религиозная путаница Альбрехта или Кульмана. Во главе младо-немецкой агитации стоял теперь Вильгельм Марр, молодой приказчик из Гамбурга, который примкнул в Цюрихе к Вейтлингу и был выслан после его ареста. Марр был немного знаком с сочинениями Фейербаха и Прудона и внес некоторую систему в младо-немецкую агитацию: он изложил популярно «Религию будущего» Фридриха Фейербаха, где уже было раз популяризовано учение Людвига Фейербаха. В прочих отношениях недозрелый хвастун, Марр умел все-таки агитировать с энергией грубого себялюбца; он искусился в мелких уловках демагогии, вплоть до страшного маскарада при приеме новых членов в младо-немецкий тайный союз. Марр хвастал своим цинизмом и издевался над неудавшимся жречеством Вейтлинга; тем более отталкивающим казалось его сластолюбие рядом со здоровой чувственностью Вейтлинга. Его борьба против коммунизма ограничивалась старыми общими местами; когда он говорил, что можно упразднить собственность, как вещь, но нельзя уничтожить внутреннее вожделение к собственности, то он

просто описательно передавал вздыхания по богатой невесте, которыми наполнял свои письма.

После цюрихского разгрома коммунистическая агитация перенесла свой центр опять на берега Женевского озера, где младо-немецкая агитация уже много лет как свила себе гнездо.

В кантоне Ваадт политический поворот привел к власти в феврале 1845 г. радикальную партию. Друзья Вейтлинга попали в Большой Совет. Они попытались организовать в проекте новой конституции право на труд,— попытка, потерпевшая, конечно, неудачу, но давшая низвергнутым консерваторам желанный повод к упреку, что новое правительство сочувствует коммунистическим стремлениям. Одновременно с этим правительство кантона Невшатель, находившегося еще тогда под прусским суверенитетом, напало на следы младо-немецкого и коммунистического тайного союза. Во время предварительного следствия взаимная враждебность обоих союзов привела, повидимому, к недостойному обилию взаимных доносов; во всяком случае обнаружилось, что оба тайных союза имеют главные свои разветвления в кантоне Ваадт. Тогда ваадтские консерваторы напали с еще большим ожесточением на радикальное правительство. Они сваливали при этом в кучу младо-немцев и коммунистов и делали социалистических членов Большого Совета ответственными за циничные писания Марра. Правительство пошло в умышленно или неумышленно поставленную ловушку, выслало Марра, закрыло его газету, распустило младо-немецкие ферейны. Напротив, коммунистические общества оно хотело укрыть, назначив для видимости следствие, в результате которого радикальный префект Лозанны представил донесение в том смысле, что если бы эти общества не существовали, то он выступил бы с предложением основать их. Так легко нельзя было, однако, отделаться от консервативной оппозиции. Если правительство хотело удержаться у власти, то ему не оставалось иного выбора, как принять относительно коммунистической агитации те же меры, какие были приняты по отношению к младо-немецкой. Таким образом Беккер был изгнан, его газета запрещена и коммунистическим обществам так же положен конец, как младо-немецким. Кульман покинул кантон Ваадт еще раньше.

Младо-немецкая агитация умерла навсегда. Марр проделал еще после того разнообразнейшие превращения, другие исчезли с горизонта, поселившись как колонисты в Алжире Напротив, Беккер попытался еще раз возобновить коммунистическую агитацию, и именно в Цюрихе, где радикалы стали тем временем у власти благодаря выборам 1845 г. Беккер привлек на свою сторону бывшего школьного учителя Трейхлера, издателя одного демократического еженедельника. Коммунизм, который стал затем проповедываться в этом журнальчике, оказался весьма туманным: не к уничтожению, а к восстановлению частной собственности, не к перевороту, а к усовершенствованию государства, не к разложению, а к исполнению религии направлены его стремления,— так с большим жаром уверял Трейхлер. Его тактика заключалась в том, чтобы возможно больше отодвинуть на второй план коммунистическую теорию, но тем сильнее обрушиться на «новое либеральное барство», на «мнимых свободомыслящих» в правительстве. Каковы бы ни были, впрочем, намерения, которые он преследовал этой тактикой, во всяком случае он основательно ошибался, когда думал оправдать его в письме к Вейтлингу соображениями осторожности и предусмотрительности.

Буржуазный радикализм всегда остается верен себе. С коммунистической агитацией цюрихские радикалы, быть может, примирились бы так же, как ваадтские, но подобно этим последним они пожертвовали коммунистами и своими собственными принципами в придачу, как только опасность стала угрожать их материальной власти. Чем резче против них выступал Трейхлер и чем громче Блунчли и его присные кричали, что теперь обнаруживается истинный характер радикальных идей, как «цветков» коммунизма,— тем большую готовность они обнаружили к изданию исключительного закона, воспрещавшего не только оправдывать воровство или родственные ему преступления, но и возбуждать ненависть одного класса граждан против другого из-за имущественного неравенства или злонамеренно подвергать опасности государственное спокойствие и благосостояние путем нападок на неприкосновенность собственности. Этим каучуковым законом они убили коммунистическую агитацию. Трейхлер был достаточно благоразумен, чтобы мало-по-малу превратиться в либерального профессора; Беккер покинул Швейцарию и после долгих странствий умер в 1872 г. в Цинциннати.

Однако, коммунистическая агитация отнюдь не умерла навсегда. Коммунизм ремесленных подмастерьев потерпел в конечном счете крушение вследствие неразвитого состояния промышленности, которое одинаково мешало ему вербовать все новых сторонников и найти истинный путь к победе. Но если его теневой стороной было преследование целей, для осуществления которых отсутствовали еще в то время фактические предпосылки, то в этом заключалась и его светлая сторона; его недостатки коренились во внешних условиях, его достоинства—в людях. Вейтлинг и его товарищи боролись не напрасно: пожар, который они хотели зажечь, был затушен, но под пеплом продолжали тлеть уголья, и из них Фердинанд Лассаль 20 лет спустя зажег очаг германской социал-демократии. Его «открытое письмо» было обращено к последователям Вейтлинга.

Немецкий массовый пролетариат.

В самой Германии «Союз Справедливых» имел не мало разветвлений, но здесь он не мог, конечно развернуть такой обширной агитационной деятельности, какую временами развивал в Швейцарии. Германская полиция держала в ежовых рукавицах те ферейны для самообразования и развлечений, которые она разрешала ремесленным подмастерьям. Однажды или дважды ей удалось выследить в этих ферейнах нити, ведшие к «Союзу Справедливых», напр., заговор Ментеля в Берлине, но эти нити оборвались в ее руках. Портняжный подмастерье Ментель и его товарищи были частью оправданы, частью же отделались удивительно мягким для прусских условий наказанием.

Но экономическое развитие Германии усердно работало над созданием массового пролетариата и, следовательно, фактических предпосылок коммунизма. Переворот в условиях производства и способах сообщения, начавшийся вместе с основанием таможенного союза и постройкой железных дорог, все больше разрастался в ширину и в глубину. Крупная промышленность и крупная торговля начали создавать современные большие города, уничтожать ремесло, вводить незначительное меньшенство в лоно богатства и сытой, платежеспособной добродетели, а подавляющее большинство низвергать в бездну нищеты и преступления; таким образом все больше

разрушались формы жизни мелко-буржуазного общества, в которых прозябало до сих пор городское население. В деревне феодальное землевладение принимало буржуазный характер: оно все сильнее набрасывалось на картофельное винокурение и свекловичное хозяйство, экспроприировало массами мелких землевладельцев, не защищенных законами о выкупе и регулировании, приковывало феодальными цепями к земле те рабочие силы, какие ему нужны были, создавало пролетариат, столь же несчастный, сколько безпомощный. При всем своем крайнем разложении феодализм судорожно не хотел сойти в могилу, столь же судорожно рвался на свет индустриализм, и в этой борьбе самым безжалостным образом рабочее население растаптывалось так, как если бы над ним мчались апокалиптические всадники.

Оффициальный отчет, специально опубликованный для того, чтобы опровергнуть преувеличения, якобы распространяемые печатью, был все-таки вынужден сам повторять однообразный припев о положении сельско-хозяйственных рабочих в латифундиях Ост-Эльбии: этот класс живет в величайшей нищете; положение этих рабочих во всяком случае самое необеспеченное; они стоят большей частью на очень низкой ступени умственной и нравственной культуры; большей частью люди этого класса не доживают до старости, и причина этого явления заключается, конечно, в плохом образе жизни, чрезмерном труде и недостаточном питании. В других отчетах того времени, не имевших оснований говорить обиняками, мы находим ужасающие подробности о том, как холод и голод истребляли население целых церковных приходов Деревенский пролетариат жил в избах, походивших больше на звериные пещеры, чем на жилища для людей; его пища состояла обыкновенно из картофеля, соли и водки; каждый неурожай картофеля вызывал голодный тиф и другие губительные эпидемии. После троекратного недорода картофеля над верхней Силезией разразилась ужасающая катастрофа: в уездах Плес, Рыбник и Ратибор нужно было призревать 4.000 беспомощных сирот; в уезде Плес умерло в одном 1847 г. 6.800 человек, почти втрое больше обыкновенной годовой цифры, и среди них, — сухо прибавляет к этой статистической заметке один прусский историк, — около 900 человек погибли от голода

В городах, где начала сосредоточиваться крупная промышленность, за нею следовала по пятам массовая нужда

с сопровождающими ее ужасными явлениями. За первые 9 лет царствования Фридриха Вильгельма IV число паровых машин в берлинских фабриках увеличилось с 29 (392 лошад. силы) до 193 (1.265 лошадиных сил); за тот же период число проституток возросло на 10 тысяч, преступников — на 12 тысяч, непрописанных в полиции бродяг — на 12 тысяч, получающих пособие на дому на 6 тысяч, нищих — на 4 тысячи, обитателей каторжных тюрем и работных домов — на 3 тысячи. Зато число зажиточных бюргеров определялось только в 20 тыс. Ремесло было сдавлено с двух сторон — машинами в промышленности и магазинами в торговле. Из 4 тысяч самостоятельных портных в Берлине две трети не имели достаточно занятия; зато было 206 торговцев платьем, которые за гроши эксплоатировали незанятых мастеров. Таково же было положение трех тысяч самостоятельных сапожников и двух тысяч самостоятельных столяров. Вместе с ремеслом было расшатано бюргерское домашнее хозяйство, покоившееся на ремесленном способе производства. Дешевые массовые изделия машин отнимали у хозяйки большую часть ее экономической деятельности; реакционное законодательство тщетно пыталось противодействовать ослаблению бюргерского брака, затруднив развод.

Рабочие крупной промышленности страдали от самых вопиющих зол. Правила внутреннего распорядка на фабриках не только деспотически давили их личность, но и стремились путем разных хитрых ловушек урвать последний грош из их скудного заработка. Система расплаты товарами процветала в очень многих фабричных округах; в ее старом гнезде Золингене было выяснено во время одного судебного процесса, что рабочим часто в течение нескольких лет не выдавали деньгами ни пфеннига заработной платы; что они получали вместо денег товары, которые частью превосходили в 10 раз их потребность, частью были совершенно не нужны им, частью зачитывались по крайне преувеличенным ценам. Женский и детский труд применялся во все больших размерах. Пролетарский брак испытал переворот в противоположном направлении, чем буржуазный: в то время, как жена там становилась предметом роскошной обстановки, она здесь превращалась в главу семьи. В Эльберфельде уже раздавались жалобы, что жены вынуждены итти на фабрики, а мужчины оставаться

дома и вязать чулки, а то и кормить грудных детей. Из детей школьного возроста посещали школу в Эльберфельде только 79%, в Берлине лишь немногим больше 50%, а в Ахене даже только 37%.

Промышленный пролетариат и падающее ремесло одинаково страдали от растущей жилищной нужды: эта нужда выступала не так сильно там, где крупная промышленность создала себе новые центры, как там, где она сосредоточилась в старых городах. Примерами могут служить Берлин, Кельн, Бреславль. Широкой и незавидной славой пользовались «семейные дома» у Гамбурских ворот в Берлине: здесь в 400 комнатах — и каких комнатах! — помещались 2.500 человек; часто в одной дыре жили две семьи, и границею служила тогда проведенная мелом черта или веревка. Из Кельна, где было 30 тыс. человек, получающих милостыню, рабочие отправили королю петицию, в которой они яркими красками описывали, как недоступные квартирные цены вытесняют их из достойных человека квартир в помещения, недостойные человека, и теперь им начинает уже грозить опасность остаться совершенно без крова. По свидетельству врачей для бедных, помещения бреславльских рабочих походили скорее на свиные хлевы, чем на жилища. Все там настолько ветхо, что при каждом твердом шаге здание дрожит сверху донизу. Расположенные во дворе, рабочие жилища загрязняются от отхожих мест и конюшен испарениями, которые часто в виде целых ручьев стекают со стен и вызывают вредную плесень. Суставный ревматизм, золотуха, бледная немочь, должны разрушать здоровье обитателей таких домов.

Но бедственное положение пролетариата в крупной промышленности могло еще казаться почти сносным в сравнении с нищетою кустарных рабочих, особенно в текстильной промышленности. Они образовали главные кадры для капиталистического производства и первые дали основание для той печальной мировой славы германской промышленности, что она держится на всемирном рынке благодаря голодной плате своих рабочих. Теперь, однако, блеск этой славы потускнел перед сокрушающими ударами английской конкурренции. Механическое прядение льна так энергично развилось в Англии, что она могла посылать значительные количества хорошей машинной пряжи и в область германского таможенного союза;

в течение одинакового промежутка времени английский машинный прядильщик производит в 500 раз больше немецкого ручного прядильщика. В своих показаниях пред берлинским министерством торговли относительно положения вестфальских прядильщиков, билефельдские промышленники заявили: «Так итти дальше дело не может. Около двух третей прядильщиков, число которых определяют в сто тысяч, работали в последние годы совсем задаром... Хороший прядильщик тонких сортов зарабатывает теперь в день только 2 зильбергрошена, а прядильщик для пряжи второго сорта — всего 7 пфеннигов». Действительно в таком положении дело никак не могло остаться. Узел был распутан тем, что многие тысячи прядильщиков погибли от голодного тифа.

Те же билефельдские промышленники заявили в берлинском министерстве торговли: «Положение ткачей несколько лучше, чем положение прядильщиков, но все же очень плохое». Одна буржуазная газета опубликовала статью сведущего лица о ткачах-кустарях в долине р. Вуппер, где говорилось: «Ткач вынужден вставать утром с петухами и работать до полуночи и позже. Его силы быстро изнашиваются, его чувства притупляются раньше времени. Его грудь не может выдержать непрерывного согнутого положения, легкие заболевают, появляется кровохаркание. Другие органы его тела тоже становятся слабыми и отказываются служить Таким образом, он становится преждевременно кладбищенским цветком». Никто из вуппертальских фабрикантов, на глазах которых это описание было напечатано, не отважился возразить против него.

В этом аду силезские кустари, прядильщики и ткачи занимали опять-таки самое выдающееся место по своим мучениям. Они вязли еще и обеими ногами в феодальном болоте, тогда как туловище их было захвачено сильнейшим вихрем борьбы, обусловливаемой капиталистическою конкурренциею. Вдобавок торговая политика правительства закрыла пред силезским полотном последние уголки, куда оно могло спастись от победного шествия английских тканей. Из возвышенного отвращения к революции правительство не заключало торговых договоров с Испанией и Португалией, с средне и южно-американскими республиками; трудолюбивые сыны отечества могли умирать, как мухи, лишь бы были удовлетворены

легитимистские предрассудки праздного отца отечества. Что касается герметического заграждения польско-русского рынка, то оно было для прусского сатрапа, несомненно, еще мягким ударом бича от русского сюзерена. Большие, основанные на применении машин прядильные и ткацкие фабрики, которые компания «Seehandlung» («Морская торговля») построила в силезских горах, имели первым своим последствием то, что масса рабочих рук лишилась занятия. Труд неудержимо хирел, тогда как могущество капитала, все быстрее концентрировавшегося благодаря промышленной свободе, как исполин, вырастало над ним. Маленькие купцы исчезали, а их место занимали крупные капиталисты, попрежнему старавшиеся удержаться на мировом рынке при помощи бессовестных приемов и эксплоатировавшие пролетариат со все возрастающей жестокостью. Там, где полотно не годилось для этой цели, они прибегали к хлопку, и кустарные рабочие попадали из огня да в полымя.

Годовой доход силезского ткача полотна, жившего в собственном доме и владевшего двумя-тремя моргенами земли, составлял при изнурительной работе мужа, жены и детей максимум 60 талеров. Из этой суммы почти треть уходила на феодальные и казенные подати, на земельный и ткацкий чинш, охотничий и прядильный сбор, общинные налоги и школьный сбор, поземельный и промысловый налог. На дневной заработок и в каких-нибудь 4 зильбергрошена нужно было покрыть расходы на хлеб, картофель соль, дрова, освещение, крахмал, мыло, одежду ремонт дома и т. д. Но это были еще крезы среди силезских ткачей. В воззвании, опубликованном одним пастором, одним полицейским надзирателем и одним секретарем суда, о положении ткачей в хлопчатобумажном производстве говорилось следующее: «Каким легким ни кажется иногда физическое напряжение при работе ткача, однако, при здоровье, силе и самом выдержаном трудолюбии, не останавливающемся пред работою по вечерам, вплоть до полуночи, ткань в 140 локтей невозможно изготовить быстрее, чем в 6 рабочих дней, за что фабрикант отпускает милостыню в 14 зильбергрошенов. Жизнь любого арестанта, любого военного в разряде штрафованных, представляется по своей беззаботности, порядку и человечности несравненно более завидной, чем жизнь такого ткача. Во все дома с непреодолимой

силой врывается нужда». Ткачи, не имевшие собственной избы, прозябали, по словам одного современного писателя, «в помещениях, по сравнению с которыми конюшня какого-нибудь помещика могла называться роскошной залой». Правда, они не должны были платить поземельного налога и поземельного чинша, зато им приходилось вносить помещику ежегодно один или два талера, чтобы гарантировать ему расходы по их содержанию в каторжной тюрьме на тот случай. если бы духовная и физическая одичалость привела их к преступлению. Лишь весьма немногие из силезских помещиков отказывались великодушно от того, чтобы не отжилить у самой последней бедноты этих кровавых, потом добытых, денег.

Правда, дикий крик отчаяния и голода разнесся, наконец, из силезских гор по всей Германии. Потекли пожертвования, но это была капля воды на раскаленную песчанную пустыню, и в довершение всего они часто растрачивались без толку вследствие неспособности бюрократии. Так, напр., когда для всех бедных села Зальцбрун, тянувшегося на милю в длину, были доставлены из полицейского управления 38 мер картофеля, то он оказался совершенно промерзлым и негодным к употреблению даже для скота.

Голодные бунты. Силезские ткачи.

У нового массового пролетариата не было никакого законного оружия для самозащиты. Капиталу разрешалось, смотря по своей выгоде или даже капризу, толпами выбрасывать на мостовую рабочие руки, но груду не было дозволено отвечать ударом на удар. Везде, где рабочие пробовали бастовать, чтобы повысить свой уровень жизни, — как это сделали, напр., раз ситце-печатники в Берлине или железнодорожные рабочие в Бранденбурге, — на них тотчас обрушивалась полицейская палка. Полнейшее бесправие пролетариата было одним из юридических титулов христианского государства. над осуществлением которого немецкие отцы отечества и, в особенности, король прусский работали с беззаветным усердием.

Вместо хлеба голодающие массы кормили добрыми советами. Чахоточным и рахитичным ткачам рекомендовали переходить на железнодорожные, шоссейные и прочие работы, требовавшие геркулесовского телосложения. Качали головой

по поводу болезненного тупоумия, с которым обираемые с детства кустари цепляются за унаследованные от отцов, давно устаревшие приемы производства, не понимая благодетельности машины,—машины, начавшей с того, что вырвала у них из рук последний кусок хлеба. Привязанным к земле сельским пролетариям советовали эмигрировать и при этом считали себя необыкновенно умными, хотя совет был столь же глуп, сколько излишен, ибо кто среди угнетенных классов был сколько-нибудь в состоянии отряхнуть прах отечества с ног своих, тот более чем охотно сделал это уже по собственной инициативе. В 40-х г. г. число немецких эмигрантов дошло до 434.626 человек.

В самом молодом пролетариате не могло еще пробудиться ясное классовое сознание. Он представлял собою весьма неоднородную массу и, оглушенный падением в бездну вообще еще не был в состоянии разобрать, что его нужда искусственно создана в интересах правящих классов и может быть устранена только в борьбе с этими интересами. Свою мрачную долю, казавшуюся ему неотвратимой, он старался забыть в хмелю. Одно преимущество новый порядок вещей имел, впрочем, и для бедняка: картофельную водку он поставлял баснословно дешево. Язва водочного алкоголизма свирепствовала в рядах пролетариата, начиная с верхней Силезии, где она была особенно сильна, и кончая рейнскими промышленными округами, где она превращала прежних безобидно-веселых любителей бутылки виноградного вина в буйных забияк. Какой, однако, результат божьего промысла, что это последнее средство обратить человека в животное стало также первым средством для укрепления феодальных опор престола и алтаря!

И все же последняя ступень упадка стала первой ступенью подъема. Современный пролетарий не дает себе насильственно лишить человеческих прав, и там, где этот ужасный процесс грозит завершиться навсегда, даже самый слабый находит еще жало против своего мучителя. Около середины 40-х г. г. и все больше усиливаясь вместе с голодными годами, стали показываться предвестники революции в форме беспорядков, сопровождавшихся насилиями. Это были голодные бунты, вспыхивавшие без плана и цели, акты дикого отчаяния, которые ни к чему не могли привести и фактически ни

к чему не привели, кроме как к гибели их зачинщиков и участников. Ибо христианское государство могло противопоставить крику о хлебе дважды-три убедительных довода: во-первых, пехоту, кавалерию и артилерию, во вторых — принудительные земляные работы, каторжную тюрьму и плети. Но эти беспорядки распространились по всей Германии, от Бреславля до Майнца, от Регенсбурга до Штеттина и даже отдаленной задней Померании: их повсеместное возникновение было знаменательным признаком того, что пролетарские массы начинают сознавать свое право на достойное человека существование.

Самое большое из этих голодных восстаний разыгралось в июне 1844 г. в силезских ткацких деревнях Петерсвальдау и Лангенбилау, у подножия Эйленгебирге. В Петерсвальдау особенно навлекли на себя общую ненависть братья Цванцигер. За 160 локтей плиса, требовавших 8 полных дней напряженного труда, они платили $12^1/_2$ и 12 зильбергрошенов Недовольные еще этим кровопийством, они объявили, что готовы принять на работу новых 300 ткачей, если те согласятся вырабатывать столько же локтей за 10 зильбергрошенов. Нашлись рабочие руки, готовые и на эти условия. На жалобу несчастных, что они теперь не в состоянии будут даже существовать, не в состоянии даже покупать больше картофель, Цванцигер, как говорят, ответил, что ткачи могут. если у них ничего нет другого, жрать траву она-де отлично уродилась в этом году. Притом эти безжалостные эксплоататоры еще выставляли свое богатство напоказ: они насмехались над своими жертвами, дерзко хвастая тем самым золотом, которое выжали из крови и пота кустарей.

Из души этих измученных людей вырвалась песня, простые и беспритязательные стихи которой захватывающим образом показывают как среди бесконечных страданий в них пробудилось дикое чувство возмущения. Масса сама создала песню, она приставляла слово к слову. предложение к предложению, пока текст не оборвался затем сразу,—совершенно так, как восстание ткачей сразу было подавлено ружейными залпами солдат. Эта песня звучала, раздирая душу, в двадцати с чем-то строфах стихотворения:

И суд у нас, и суд у нас!
Не нужно приговора:
Возьмут, да и казнят сейчас,
Казнят сейчас, как вора.

Здесь век живешь, забыв про свет,
Застенок здесь для пыток,
Здесь тяжким вздохам счета нет,
Здесь горьких бед избыток.

Здесь Цванцигеры—палачи,
Их слуги—им подмога,
Теснят—терпи, дерут—молчи,
Умри, одна дорога!

Вы плуты, всех вас нужно в ров...
Все плуты без изъятья,
Все жрете пищу бедняков,
Но к вам придет проклятье.

Здесь и слезами не помочь,—
Проймешь ли духов мрака.
Не нравится? Ага! Так прочь!
Издохни, как собака.

Вот, значит, доля бедняка:
Он бьется, бьется, бьется,
А в доме хлеба ни куска,—
И сердце не сожмется?.

Да разве сердце есть у вас?
Вы звери, людоеды,
Вам только б грабить каждый час,
Вам радость наши беды *).

Ткачи из Петерсвальдау, села в 5 тыс. жителей, несколько раз пропели эту песню перед домом Цванцигеров. Один из них был схвачен, взят в дом, избит и отдан в руки местной полиции. Тогда, в полдень, 4 июня, поток выступил из берегов. Толпа ткачей отправилась из Петерсвальдау на лежащий вблизи Капелленберг, построились в ряды и двинулись на великолепный дом своих мучителей. Они потребовали более высокой заработной платы и подарка. Требование было с насмешками и издевательствами отвергнуто. Тогда масса взяла приступом дом, взломала все кладовые, подвалы, чердаки и погреба, разбила вдребезги дорогую мебель, зеркала, фарфор, разорвала книги, векселя и бумаги, выбросила все запасы и товары из пакгауза, сушильни и каретных сараев за окно, где их рвали в куски, топтали ногами или раздавали стоящим кругом. Цванцигер в смертельном страхе бежал со своей семьей из одного города в другой, при чем ни один из них не хотел приютить неприятного гостя, пока он не нашел, наконец, убежища в Бреславле.

В своем безграничном гневе ткачи сохранили свое безграничное добродушие. Фабриканта Вагенкнехта, который жил рядом с Цванцигером, но не был таким живодером, как этот последний, они не только пощадили, но даже прокричали в его честь «Hoch!» за маленький денежный подарок, который он сделал им. Даже фабрикант Фельман, который «дерзко, без всяких стеснений» понижал плату, как поется в песне ткачей, успокоил их тем, что заплатил каждому по 5 зильбергрошенов и приказал раздать им хлеб, масло, сало. Напротив,

*) Перевод Л. Гулевич. См. драму «Ткачи» Гауптмана, где фамилия Цванцигер заменена фамилией Дрейсигер. Собрание соч. Гауптмана, т. II М. 1902. Прим. пер.

у Цванцигера все, что еще осталось целым, было окончательно разгромлено вечером 4-го и утром 5 июня. Но масса ткачей отклонила сделанное некоторыми предложение поджечь постройки Цванцигеров, с той характерной мотивировкой, что тогда пострадавшие получат страховую премию, а ведь в данном случае требуется, чтобы и они стали когда-нибудь бедняками и знали, как больно от голода.

5 июня масса ткачей, возросшая до 3 тысяч человек, перекатилась в Лангенбилау, село с 3.000 жителей. Здесь навлекли на себя особую ненависть братья Дириг, владевшие двумя большими предприятиями. Свой верхний дом, подвергшийся первым нападению, они защищали при помощи своих приказчиков и фабричной прислуги, которым удалось в жестокой свалке отбить атаку ткачей. Последние двинулись против второго дома братьев Дириг, где к ним присоединились ткачи, эксплоатируемые фирмой. Тогда Дириг обещал каждому ткачу, который будет отстаивать его имущество, подарок в 5 грошенов и приказал наклеить на своем доме объявление с этим обещанием. Тотчас же ткачи образовали две шеренги, готовые опять успокоиться на этой ничтожной подачке. Но в это время прибыло вызванное из Швейдница войско. Ткачи стали заговаривать с солдатами, и командовавший ими майор фон-Розенбергер, который с полным основанием мог увидеть в этом опасность, двинулся назад, чтобы освободить себе побольше места и занять выгодную позицию позади дома и с боков его. С прибытием войска уплата обещанного подарка несколько задержалась; ткачи стали терять терпение и начали все больше наступать на солдат. Тогда майор приказал дать по безоружной толпе троекратный залп.

Действие было ужасно. На месте легло 11 убитых и 24 смертельно раненых. Мозг и кровь были разбрызганы на большом пространстве. Вид крови, стоны и хрип умирающих, крики раненых побудили ужаснувшихся ткачей к отчаянному сопротивлению. С топорами, дубинами и камнями они бросились на солдат и прогнали их из деревни. Затем они разрушили дом бр. Дириг.

Торжество было кратковременное. Утром, 6 июня, в Лангенбилау вступил майор фон-Шлихтинг с тремя ротами пехоты и батареей из 4 орудий, при которых шли артиллеристы с зажженными фитилями; позже прибыла еще кавалерия. Всякое

сопротивление было безнадежно. Часть взбунтовавшихся ткачей ушла в Фридрихсгрунд при Лейтмансдорфе и уничтожила товары, найденные у тамошнего раздатчика Цванцигеров, но воздержалась от всяких других насилий. Вообще в течение трехдневных безпорядков эксплоататоры-купцы не подверглись нигде личным насилиям или избиению и нигде им не пустили по крыше красного петуха; пекарни, против которых среди ткачей господствовало крайне озлобленное настроение, также были все пощажены.

Против несчастных ткачей, бежавших частью в горы и леса, началась свирепая травля. 83 из их числа были преданы суду и приговорены к тяжким карам, доходившим до 10-тилетних каторжных работ и 24 ударов плетьми. Что же касается бедственного положения ткачей, то оно не было устранено, а его только ухудшили. Значение паллиативных мер, принятых правительством, было ничтожно, зато для рабочих имели тяжкие последствия королевский приказ, зажавший рот силезским газетам относительно положения дел в ткацких округах, и неразумие прусской дипломатии, которая два года спустя закрыла последний рынок сбыта для силезской текстильной промышленности, приняв участие в насилии Священного Союза против польской Краковской республики и допустив включение последней в австрийскую таможенную линию.

Даже зоркому глазу прусской полиции не удалось открыть в голодном бунте силезских ткачей какие-либо коммунистические тенденции. Она поспешила восполнить этот пробел шумным открытием коммунистического заговора в Гиршбергской долине. Весною 1845 г. там появился под именем пейзажиста Эммануэля Шмидта докладчик берлинского каммергерихта Штибер и открыл, что столяр Вурм в Вармбрунне стоит во главе тайного союза из 6 или 8 рабочих, ставящего себе задачей истребление богатых. Современники тотчас же возымели подозрение, что этот заговор «сфабрикован», и действительно — страшный устав страшного тайного союза имеет такой вид, точно при его составлении рукою какого-то путаника водил полицейский провокатор. Против искусственной фабрикации заговора нельзя приводить, конечно, в качестве доказательства тот факт, что Вурм, приговоренный каммергерихтом к смертной казни за государственную измену,

был «помилован», с заменою казни бессрочной каторгой, а его товарищи приговорены к лишению свободы на многие годы,—наказания, которые действительно отбывались осужденными, пока их не освободила амнистия 1848 г. Тем не менее, вряд ли возможно установить в настоящее время с полною ясностью, что такое в сущности были этот «государственный изменник» Вурм и его соучастники, да оно и не представляет большого интереса.

ГЛАВА III.

Разложение классической философии.

Классическая философия.

Основной вопрос всякой философии, спор между идеализмом и материализмом, отношение субъекта к объекту, вопрос о том, что есть первичное — мышление или бытие, дух или природа, был ли мир создан богом или он существует от века,— все это занимало уже мыслителей древности и не вполне заглохло даже в церковной вере средних веков. Этот основной вопрос встал с новою силой, когда началась буржуазная эра, и экономическое развитие, а вслед за ним и развитие естественных наук пошло все более быстрым темпом. Родиной новейшего материализма была поэтому Англия, и первый путь проложил ему Бекон.

Будучи произведением буржуазного духа, материализм явился, однако, на первых порах оружием против буржуазии, которая стремилась подняться вверх революционным путем и дала еще первые свои сражения в Англии XVII века под религиозным знаменем. Гоббс, первый последовательный материалист, был прямолинейным абсолютистом, хотя и абсолютистом буржуазного покроя. Его исходной точкой не были божественный порядок сословий, священная королевская власть и тому подобные феодальные бредни; он отрицал даже, что человек есть животное политическое, образующее государства. Первобытное состояние человечества Гоббс объявил войной всех против всех,— формула, вошедшая потом в поговорку и как характеристика той борьбы, которую представляет буржуазная конкурренция. Государство он выводил из договора, который был заключен для подавления человеческого себялюбия и потому должен иметь безусловную силу. В наследственной монархии Гоббс видел наилучшую, но отнюдь не единственную форму абсолютной государственной

власти. Государству должна быть, по его мнению, безусловно подчинена и всякая церковь; к прерогативам абсолютной государственной власти относится право издавать предписания, касающиеся религии и всего образа мыслей подданных. Гоббс заходил в этом отношении так далеко, что даже суеверный страх пред невидимыми силами,— составляют ли они плод вымысла или предания,— он признавал религией, раз этот страх предписан государством.

Английская революция XVII века кончилась компромиссом между аристократией и буржуазией, создавшими себе общую королевскую власть. Тогда и английский материализм перешел от самодержавной к конституционной форме правления. По учению Локка в интеллекте не может быть ничего, чего не было раньше в ощущениях; он обосновал философию здравого смысла, говоря этим, что нет философии, отличной от здравых человеческих чувств и покоящегося на них разума. Разделяя политику и религию, он, в противоположность Гоббсу, не признавал за государственной властью права предписывать или искоренять мнения людей и проповедывал гражданскую веротерпимость. Точно так же он отделял законодательную власть от исполнительной Законодательная власть должна находиться в руках народа, выбирающего законодательное собрание. Король стоит не над законом, а под ним, и когда он злоупотребляет своей властью, то лишается своего достоинства.

Несмотря на это, английский материализм остался эзотерическим учением, тайной верхних слоев и еще больше — аристократии, чем буржуазии. Ибо с тех пор, как английская буржуазия добилась, хотя и очень скромного вначале, участия во власти, она стала набожной, весьма набожной, и почти за 200 лет до императора Вильгельма I она уже открыла глубокую истину, что для народа нужно сохранить религию. В XVIII веке дело дошло до того, что английские материалисты, напр., Гартли, в одной и той же книге объясняли сначала человеческое мышление и ощущения мозговыми колебаниями, следовательно, материалистически, а затем доказывали богословскими доводами несомненность библейских чудес и загробной жизни. Главою неверующих считался тогда не какой-либо материалист, а философ Юм, отвергавший одинаково и церковную веру и материализм,

так как он оспаривал за человеческими чувствами способность исчерпывающего познания мира. Как ни богата была всегда Англия великими естествоиспытателями, в качестве первой в мире промышленной страны, однако, начиная с Бойля и Ньютона и кончая Дарвином и Фарадэем, они либо верили в сверхестественную творческую силу, либо признавали господа бога, по крайней мере, хорошим человеком.

Локк был духовным отцом французского материализма, а Юм — немецкого идеализма. У континентальных европейских философов XVII века, бывших, подобно Декарту, Спинозе и Лейбницу, большей частью видными математиками и физиками, идеалистическое и материалистическое мировоззрения уравновешивали до известной степени друг друга: так, Декарт объяснял земные вещи материалистически, а небесные представления идеалистически; Спиноза, обожествляя субстанцию, признавал единосущность духа и природы, а Лейбниц утверждал предустановленную от века гармонию мысли и бытия. Только в начале XVIII столетия французский материализм развился как самостоятельное явление. Он продолжал работу, начатую Локком, и был сначала также аристократическим учением, но буржуазия, находившаяся в состоянии революционного брожения, скоро сообразила, какую службу может сослужить ей это учение в ее борьбе против королевской власти, дворянства и духовенства

Французский материализм XVIII века упразднил не одну только религию,— при чем не особенно важно было, объявляли ли его приверженцы человека машиною, как это делали атеисты, или же они, как деисты оставляли господу богу где-нибудь во вселенной безобидную старческую долю: он оказал также глубокое влияние на политическую и общественную жизнь Франции. Раз человек формулировал всякое свое ощущение и знание из чувственного мира и из опыта в чувственном мире, то ему следовало только в этом мире искать своего счастья и своей судьбы. Совершенство человеческого общества заключалось в его полном согласии с природою человека; все, что противоречило человеческой природе, следовало устранить из человеческого общества. Гельвеций, настоящий основатель французского материализма, объявил в своей книге «О человеке» основами морали чувственные качества и эгоизм, наслаждение и правильно понятый личный интерес. Главными пунктами его системы являются естественное равенство человеческих интеллектов, единство между прогрессом разума и прогрессом промышленности, естественная доброта человека, всемогущество воспитания.

То, что французские материалисты считали природою человека, было в действительности политической и социальной потребностью тогдашнего третьего сословия; в эмансипации буржуазного общества они видели установление совершенного общества. Французский материализм явился могучим оружием против самодержавной, феодальной, клерикальной Франции.

Свое высшее литературное выражение он нашел в знаменитой «Энциклопедии», свое политическое выражение — в «Декларации прав человека», а заключением его был утопический социализм. Легко видеть, как много этот социализм мог почерпнуть и действительно почерпнул из учения французского материализма о первобытной доброте и одинаковой умственной одаренности людей, о всемогуществе опыта, привычки, воспитания, о влиянии внешних условий на человека, о высоком значении промышленности, о праве каждого на наслаждение. Фурье и Оуэн исходили из материализма, Дезами обратился к нему, как к логическому основанию социализма.

Однако, несмотря на все свои блестящие успехи, французский материализм покоился еще на очень шаткой почве. Естественные науки сделали большие завоевания, но из них только одна механика достигла известной законченности. Химия и биология находились еще на первых ступенях своего развития. Об эволюции в природе ничего не знали, и соответственно с этим не знали ничего и об эволюции в истории. Природа двигалась в вечном круговороте, и человеческий дух был всегда один и тот же; после временного затмения в средние века, он теперь снова стремился вернуть себе свои естественные права Внутренней связи мировой загадки материализм еще не трогал, и потому разрешение этой загадки еще раз взял на себя идеализм. Произошло это в стране, где буржуазный класс достаточно созрел, чтобы дать изобилие проницательных и даже гениальных умов, но не был еще достаточно зрел, чтобы приступом сломить обветшалые твердыни абсолютизма и феодализма.

Немецкая философия была продолжением немецкой литературы, поскольку в последней воплотилась освободительная борьба буржуазии. «Критика чистого разума» Канта появилась в год смерти Лессинга и стала известной в широких кругах в год рождения французской революции. Глубокое духовное единство с этим могучим переворотом было обще нашим великим философам. Кант, Фихте и Гегель всегда говорили о нем с живейшим уважением, не смущаясь даже террором, вдохновившим Гёте к его жалкому «Генералу Национальной гвардии» а Шиллера к разным плохим виршам о благословенной дщери небес — священном порядке мещанства. Немецкий идеализм был направлен против англо-французского материализма, но отнюдь не попятным шагом в сравнении с ним. Кант победоносно разбил материализм в его собственной области, введя в природу принцип развития. Он отверг извечное существование солнечной системы, объяснив возникновение солнца и всех планет из вращающихся туманностей. Мало того, в своих популярных лекциях он говорил уже о происхождении человека из животного царства, как о чем-то бесспорном. Он прямо отвергал учение старого идеализма о том, будто всякое познание путем опыта и чувств представляет собою один мираж, истина же заключается только в идеях чистого рассудка; он говорил наоборот: всякое познание вещей, почерпнутое из одного чистого рассудка, есть не более как мираж, и только в опыте заключается истина.

Действительная заслуга Канта состояла в том, что, отправляясь от Юма, он подверг исследованию познавательную способность человека и в «Критике чистого разума» перевернул вверх дном весь опыт, со всеми историческими и точными науками, выставив простое положение, что не наши понятия сообразуются с предметами, а предметы с нашими понятиями, что предметы, находящиеся вне нас, мы видим не такими, как они суть, а какими они представляются нашим несовершенным чувствам; что весь мир явлений, вплоть до чувственной интуиции пространства и времени, существует для человека только в человеческом представлении, между тем как за ним скрывается в непроницаемом мраке абсолютная сущность вещей, вещь в себе. Этим путем мышление и бытие были, с одной стороны, примирены, но зато с другой — они тем дальше разошлись друг с другом. Кант не разрешил

мировой загадки, а объявил лишь ее неразрешимой. В вещах не может быть никаких противоречий, ибо все, что содержит противоречие, невозможно. Напротив, мышление запутывает нас в неизбежные противоречия — знаменитые антиномии Канта, каковы ограниченность и беспредельность мира, делимость и неделимость материи, свобода воли и необходимость.

Если Кант как-бы разбил в куски предметный мир, разрешив его бытие в деятельность человеческого сознания, то Фихте, развивая дальше учение Канта и в то же время революционируя его, из человеческого сознания вновь построил мир. Фихте стоял далеко от естественных наук. Действительной вещью в себе было для него Я, т.-е. человек не как индивид, а как род; человеческое самосознание было в его глазах не зеркалом, а создателем предметного мира: не бытие последнего объясняется чистыми формами мышления, а напротив — формы его бытия создаются чистым мышлением. Из последнего Фихте выводил пространство и время, количество и качество, возможность, действительность, необходимость. Мышление есть самостоятельный процесс, совершающийся с внутренней необходимостью. Вместе с каждым предложением дано противоположное ему предложение, и, постоянно преодолевая это постоянное противоречие при помощи высшего единства, мысль движется вперед. Таким образом Фихте вновь вернулся к диалектическому методу древне-греческой философии. Но раз, по его мнению, объект создавался в самой глубине субъекта, то дух и природа были тождественны, и действительно, Фихте объявлял Я субъектом-объектом. Напротив, Шеллинг и Гегель, продолжая и в то же время революционируя его учение, говорили: если субъект и объект одно и то же, то ни один из них не есть сама вещь, ни субъект, ни объект, ни мышление, ни бытие, ни дух, ни природа, а каждый из них есть только одна сторона вещи, вся же вещь есть не что иное, как процесс, который проходит через тот и другой и достигает в человеческом духе до самосознания.

Для Шеллинга «тождество субъекта с объектом» осталось простой выдумкой, которая завела его в фантастическую натурфилософию и всякую романтическую чепуху, пока он не очутился, наконец, в давно обмелевшей пристани религии откровения. Напротив, Гегель, хотя также не умел ничего

сказать относительно абсолютной идеи, которую провозглашал животворящей душой вселенной,— по своему философскому происхождению она была лишь высшим синтезом субстанции Спиноза и самосознания Фихте,— понимал ее, по крайней мере, как логический и исторический процесс. Дух, т.-е. Я, существующее «само по себе», становится на различных ступенях развития сначала сознанием, затем самосознанием, затем созерцательным и действенным разумом, наконец, постигающим себя самого, просвещенным и религиозным духом. В природе он действует, как слепая необходимость, но в истории он постепенно пробивает себе дорогу вверх из своего грубого состояния, пока не начинает постигать самого себя. Исторический процесс, таким образом, только копия логического процесса, неизвестно когда и где совершившегося. Как бы темно это представление ни было, но пионерской заслугой Гегеля было то, что он изобразил исторический процесс, как логический. Если Кант ввел эволюцию в природу, то Гегель ввел ее в историю. Если Фихте примкнул к диалектическому методу, то Гегель сделал его источником всякой жизни. С понятием бытия дано также понятие небытия, и из борьбы обоих возникает высшее понятие становления. Все существует и в то же время не существует, ибо все течет, находится в процессе непрерывного изменения, постоянно становится и проходит. Диалектическое развитие немецкой философии совершилось таким образом, что положение Канта: «все, что содержит противоречие, невозможно» превратилось в положение Гегеля: «миром вообще движет противоречие».

Таким путем была достигнута цель, которой не мог достигнуть англо-французский материализм, ибо его знание природы стояло еще на сравнительно низкой ступени. Доказать диалектическое движение в самой природе стало возможным лишь благодаря огромным успехам естественных наук во 2-й половине XIX столетия. Свое завершение толчок, данный Кантом, нашел лишь в доказанном Дарвином положении, что вся органическая природа, растения и животные, а следовательно, и человек, составляют продукт процесса развития, тянущегося миллионы лет. В этом вопросе и Гегель не был в состоянии выйти за те границы, которые ставило ему недостаточное знание природы в его время. Он разделял

еще воззрение французских материалистов, что природа есть всегда равное себе целое, движущееся в одинаковых круговоротах, с вечными мировыми телами и неизменными видами органических существ. Но он пробил брешь в этом воззрении, особенно поскольку оно переносилось английскими материалистами на историю. Гегель смотрел на историю, как на процесс беспрерывного движения, изменения и преобразования, процесс восхождения от низшего к высшему, и с затратою громадной работы ума пытался проследить в самых разнообразных отраслях исторической науки внутреннюю связь, постепенный ход этого процесса через все его видимые отклонения и случайности. Считая вещи отражением понятий, Гегель пришел, конечно, к весьма произвольным историческим построениям, но так как исторические факты упрямы и не так легко дают себя запречь в ярмо понятий, то мы видим подчас у Гегеля гениальное проникновение во внутреннюю связь человеческой истории.

Своеобразное величие, как и своеобразная слабость немецкой философии объясняются своеобразием экономических и политических условий Германии. С одной стороны, эти условия позволяли развивать гражданские идеалы, не смущаясь суровой действительностью, до самых смелых и логических последствий их. Кантовский высший принцип нравственности: «поступай так, чтобы пользоваться человечеством,— и в твоем лице, и в лице всякого другого,— не как средством только, а всегда еще как целью» был возможен только в стране, где буржуазный класс был слабо развит, а пролетариат еще совсем не развился. Только в такой стране Фихте мог сказать, что ни один человек не в праве тратить для себя силы другого, мог писать: «человек должен работать, только не как вьючное животное, которое засыпает под своей ношей, чтобы после самого скудного отдыха быть поднятым на ноги и вновь тащить ту же ношу. Он должен работать без страха, весело и радостно, должен располагать досугом, чтобы возносить свой дух и глаза к небу, для созерцания которого он создан». Фихте, пролетарское происхождение которого можно проследить через всю его жизнь по огненной нити его революционных мыслей, клеймил эксплоататорское феодальное дворянство, как глупое и невежественное, трусливое, ленивое и низменное сословие. Его тезис: «право должно осуществляться во что бы то ни

стало, и кто не понимает этого сам, того следует принудить» дышал терроризмом французской революции. Именно из жалкой истории Германии, которая в глазах Фихте вообще не была историей, он выводил призвание немцев дать истинное царство права, какого никогда еще не видел свет, со всем тем энтузиазмом к гражданской свободе, которую мы наблюдаем в древнем мире, но без принесения большинства людей в жертву, рабству, составлявшему необходимое условие существования для древних государств,— к свободе, основанной на равенстве всего, что имеет человеческий образ. Если, наконец, Гегель одной игрою мыслей диалектического метода вырвал с корнем все авторитеты, небесные и земные, то это процедура столь же основательная, сколько воздушная, была возможна лишь среди народа без больших, тесно соприкасающихся в пространстве классовых столкновений.

Но, с другой стороны, наши классические философы жили *в облаках только мыслями. Их идеализм испытывал весьма* чувствительное ограничение вследствие того, что мысли их не могли отделиться от их плоти, дышавшей под палкой деспотов и бичом религиозной ортодоксии. При помощи чистого разума Кант изгонял бога из вселенной, но через заднюю дверь практического разума он контрабандой снова вводил его. В процессе, возбужденном против Фихте за безбожный образ мыслей и приведшем к его удалению из Иены, он обнаружил странное для такого сильного человека колебание между несвоевременным упрямством и несвоевременной уступчивостью; в позднейшие годы он наложил на ясную логику, с которой уничтожил некогда представление о личном боге, тусклый налет мистицизма. Гегель справился даже с триединым богом, введя его в свою собственную систему.

Политическая область была еще тернистее религиозной. Немецким философам недоставало той архимедовой точки, опираясь на которую французские материалисты сдвинули с места самодержавно-феодально-клерикальное государство: понятия гражданского общества. Понятия же недоставало им потому, что самая вещь отсутствовала в Германии, или же она существовала только в жалком зачаточном состоянии. Они знали лишь государство, как хранителя моральной культуры. В своем знаменитом плане вечного мира Кант начал положением: «Государство не имущество, как земля, на которой

оно существует: это — общество людей, которыми никто не в праве повелевать и распоряжаться, кроме них самих». Отсюда он последовательно заключал, что государственное устройство должно быть республиканским. Но как превратить в республику государство, составлявшее имущество деспотов? Путем нравственного прогресса человеческого рода,— отвечал Кант: путем национального воспитания,— отвечал Фихте. Сколько бы величия и глубины ни было в их идеологиях, они создали ими скучное поколение нравственных проповедников и школьных учителей, но не расшатали еще этим ни одного кампя в деспотическом государстве, представители которого тем подозрительнее стали относиться ко всем их словам и действиям.

Даже трактат Фихте «О замкнутом торговом государстве», который он сам назвал раз своим лучшим, наиболее продуманным сочинением, рисует нам только идеал Фридрихова государства — так, как это историческое государство следовало бы устроить согласно строгим требованиям бюргерского разума. Прусский министр финансов Струэнзе, человек из школы Фридриха, благосклонно принял в 1800 г. посвящение этого труда. Он находил, что Фихте выставил идеал государства, стремиться к которому должно быть обязанностью всякого чиновника, участвующего в управлении, хотя сомнительно, будет ли этот идеал когда-либо достигнут. Может быть, Струэнзе вспоминал при этом о своем брате, который 30-ю годами раньше заплатил своей жизнью за попытку устроить самодержавно-феодальное государство согласно буржуазному, основанному на разуме, праву. Фихте не понимает *буржуазного общества: в свободе торговли* он видит несостоятельную традицию, сохранившуюся от «мировоззрения наших предков»; для современных наций не годится больше то, что подходило средневековому единству христианской Европы. Когда Фихте возлагает на государство задачу предписывать отдельным слоям населения определенные роды деятельности, как земледелие, ремесла, торговлю; когда он видит в отливе денег за-границу обеднение народа,— то все это вполне фридриховские идеи. Можно подумать, что слушаешь рассуждения самого старого Фрица, когда Фихте требует запрещения путешествий за-границу на том основании, что не следует больше дозволять праздному

любопытству и жажде развлечений разъезжать без дела по чужим странам.

Правда, Фихте хотел основательно преобразовать Фридрихово государство, превратив его в гармоническое общежитие, отдельным членам которого должно быть обеспечено их естественное право на счастливое и довольное существование. Но в известном отношении он еще перещеголял его своим рациональным государством: последнее совершенно замыкается от зарубежных стран, создает себе особые деньги,— в монархических государствах состав их должен быть тайною царствующей фамилии,— не имеет с остальным миром ничего общего, кроме науки. Мы видим, таким образом, в национальной области тот же трагический конфликт между средствами и целью, который в области международной обратил последние годы Фихте в потрясающую драму. Он, страстно призывавший некогда французские штыки, как спасителей свободной мысли, которую хотели насильственно задушить немецкие деспоты, призывал потом в своих пламенных «Речах к немецкой нации» к борьбе против этих самых штыков и умер среди победного шума, без надежд, без самообмана, предсказывая с потрясающей ясностью все бедствия, надвинувшиеся на Германию после Ватерлоо.

Гегель также испытал, что означает победа европейской реакции. Он назвал когда-то свою философию предтечею того времени, когда будет существовать свободный народ: после поражения французов он объявил естественным призванием немцев, главным выигрышем их от завоеванной обратно независимости, то, что они могут впредь беспрепятственно хранить священный огонь философии. Когда, приглашенный в Берлин, он написал свою философию права, чтобы изобразить последнее как разумный, из себя самого развивающийся организм, то он исходным пунктом взял положение: действительное разумно, а разумное действительно. Его идеал правового государства так же отражал Прусское государство 1821 г., как замкнутое торговое государство Фихте было отражением Прусского государства 1800 г.,— с тем понятным различием, что Гегель, под давлением карлсбадских постановлений гораздо меньше идеализировал свой прообраз, чем это сделал относительно своего образца Фихте, который писал под воодушевляющим влиянием французской революции.

Наконец, Гегель знает гражданское общество, но он очень невысоко ценит его: это уже государство, но еще только внешнее государство, государство нужды и рассудка, арена излишества и нищеты, физической и нравственной гибели. Напротив, совершенное государство есть осуществление нравственной идеи, абсолютно разумное и абсолютная самоцель, а потому оно есть высшее право против отдельных лиц, высшая обязанность которых — быть членами государства. Это воззрение как нельзя лучше подходило к гонениям на «демагогов».

По гегелевской философии права государство есть всегда монархия. Республика не может выдержать критики развитой идеи; народ без монарха, это — бесформенная, нерасчлененная масса. Но в монархии словом «народ» обозначают тех членов государства, которые не знают, чего они хотят. Над этой большой массой возвышаются сословия, как законодательная власть, которая должна определять то, что общеобязательно,— но и с ними далеко не уйдешь. Наилучшее могут выполнить без них чиновники, и в сословных собраниях последние принуждены делать все как можно лучше. Они носители второй, правительственной власти, и как таковые — настоящие государственные персоны, наилучше понимающие все. Третья власть, это — власть государя: она принимает окончательное решение и ставит точку над i, она, как целое, содержит в себе идеальность всех трех властей. Тождественная с субстанциальной волей и идеальностью целого, она является подлинной действительностью, в противоположность жалкой субъективности дурной прессы, стремящейся к общему разложению. Печать является представительницей общественного мнения, по Гегелю — наличного противоречия; она кормится теми, которые иным путем не умеют доставить себе влияния. Совершенно в духе карлсбадских постановлений Гегель хочет подчинить прессу частью предупредительным, частью карательным полицейским распоряжениям. Превосходство его философии права пред Пруссией 20 гг. сводится почти к одному требованию суда присяжных и гласности судопроизводства.

Тем не менее в непонятных словах ее бился духовный пульс тогдашнего времени. Полемика, которую Гегель вел в этом же сочинении против исторической школы и

романтической науки о государстве, с избытком доказывала, что целью его было не безыдейное возвеличение существующих порядков или возврат к средним векам. К его мучительным усилиям открыть разум в тогдашней действительности были вполне применимы его собственные слова: «в наше рассуждающее и богатое рефлексией время недалеко ушел тот, кто не умеет представить хорошего основания для всего, даже для самого дурного». Это не мешало ему признавать действительность разума.

Разум, это — историческая необходимость, вечный поток исторического процесса развития. Все создаваемое этим процессом действительно и разумно, потому что необходимо; как только оно перестает быть необходимым, оно становится недействительным и неразумным. Прусская монархия была действительна и разумна, ибо по данным историческим условиям она не могла быть иной, чем была, ибо народ не знал, чего он хочет, и, следовательно, был весьма неразумен. Как только он стал бы разумным, прусская монархия так же должна была бы стать действительным государством, т.-е. согласно гегелевскому определению действительного государства, монарх должен был бы мыслиться только идеально и претвориться в идею общественного блага.

Сам Гегель хорошо сознавал революционный характер своей диалектики и опасался даже, что его «Философия права» будет запрещена. При всем заключающемся здесь возвеличении Прусского государства, этому последнему было не совсем по себе. Гордо опираясь на свою полицейскую дубину, оно не хотело, чтобы его действительность находила свое оправдание только в его разумности. Даже тупой король видел змею, притаившуюся под розами; когда до него дошел смутный слух об учениях его статс-философа, то он недоверчиво спросил: «а что, если я не поставлю точки над i?» Прусская бюрократия была, однако, благодарна за сплетенный ей пышный лавровый венок, особенно, когда ловкие гегелианцы разъяснили простому рассудку подданных темные слова учителя, и один из них написал историю прусского права и государства, в которой Прусское государство было изображено как гигантская арфа, настроенная в вертограде господнем, чтобы управлять мировым хором. Несмотря на свои жуткие тайны, философия Гегеля была провозглашена

прусской государственной философией,— среди многих ироний всемирной истории, несомненно, одна из самых забавных. Гегель резюмировал богатое образование немецкого идеализма в величественной системе, он отвел все источники и потоки нашего классического века в одно русло, где они замерзли затем в ледяной атмосфере реакции. Но опрометчивые глупцы, которые мнили себя в полной безопасности за этими ледяными массами и ликовали, когда нападающие смельчаки срывались вниз с их гладких и крутых склонов,— эти глупцы не подозревали, что с наступлением весенних бурь скованные воды растают и устремятся опустошительным потоком на них самих.

До первого дуновения этих бурь дожил еще сам Гегель. Он отнесся отрицательно к июльской революции, а первый проект английского билля об избирательной реформе назвал раной «в благородные внутренности» английской конституции. Тогда масса слушателей покинула Гегеля и ушла к его ученику Эдуарду Гансу, который читал лекции о философии права своего учителя, но при этом выдвигал вперед ее революционную сторону и резко полемизировал против исторической школы права. В Берлине говорили в то время, что великий мыслитель умер от огорчения по этому случаю, а не от холеры.

Разложение классической философии.

Молодая буржуазия, развившаяся в Германии в общем отнюдь не составляла цвета нации.

Способ ее возникновения и условия ее бытия внушали ей мелочной, торгашеский образ мысли. Грубая в своих отношениях к мелкому бюргерству и пролетариату, она держалась смиренно по отношению к абсолютизму и феодализму. Отличный знаток прусской промышленности, статский советник Кунт, объявил ее худшим недостатком поразительно скудное образование большинства фабрикантов; среди первых фабрикантов Берлина было много таких, которые едва умели написать правильно свое имя. Не из нарождавшейся средней и крупной буржуазии, а из мещанских слоев, из ремесленников, из мелких должностных лиц в церкви, школе и государстве выросла в XVIII столетии литература и философия, которые в умственном, по крайней мере, отношении подняли

экономически и политически отсталую Германию на равную высоту с западными культурными народами.

От этого великого наследия нации осталось немногое в 20-х г.г. прошлого века. Романтическая школа, сменившая классическую, подобно тому, как феодальная реакция Востока сменила буржуазное прогрессивное движение Запада, все больше впадала после Ватерлоо в самое плоское ничтожество. Бессодержательные, плодовитые писатели, колебавшиеся между сантиментальной слезой и похотливой непристойностью, стали любимцами большой публики. На горизонте появились уже первые предвестники нового времени, но все же — Иммерман и Платен, Берне и Гейне скорее боролись еще сами с романтикой, чем победоносно придавили ее стопой.

Научные плоды романтика принесла только в области языковедения, подобно тому как триста лет тому назад усовершенствование языка было самой светлой стороной лютеровской реакции. В области же хозяйственной, политической, религиозной она гналась за восстановлением средневекового строя, которое после исторического упадка средневековых общественных формаций должно было свестись к фантастическому прикрашиванию феодальных способов эксплоатации. При этом представители романтической науки о государстве— Адам Мюллер, Галлер и прочие — были плохими подражателями более гениальных французов — Бональда и де-Местра. Правда, когда под наполеоновской ферулой пришлось несколько вымести феодально-цеховый мусор, то классическая экономия буржуазных классов нашла известный отголосок в Германии, но и ее представители остались несамостоятельными учениками Адама Смита и Рикардо. Им недоставало живой почвы современного буржуазного общества, и, таким образом, теоретическое выражение чужой действительности превращалось под их руками в собрание учений, которые неправильно истолковывались ими в духе окружавшего их мелко-буржуазного мира. Хозяйственная отсталость германских условий ни в чем, может быть, не выразилась так ясно, как в том, что единственный в своем роде оригинальный экономист Германии Фридрих Лист напал на теорию Адама Смита не с фронта, как это было сделано в Англии и Франции, а с тыла, не с социалистической, а с меркантилистической точки зрения. Однако Лист,— который не был крупной научной величиной,

но обладал практическим умом,— понял, что прежде всего нужно немецкому капитализму, и потому он стал страстно агитировать за германский таможенный союз и германскую железнодорожную сеть. Но партикуляристские правительства преследовали национального демагога, а буржуазия спокойно дала своему красноречивому борцу голодать, пока он не пустил себе пулю в лоб.

Среди немецких учеников Адама Смита имел собственные мысли только Генрих фон-Тюнен. В 1826 г. он написал «Сон серьезного содержания: об участи рабочего», но запер его затем на десятки лет в своем молчаливом письменном столе. Тюнен был практическим сельским хозяином с научным образованием; родом из Фрисландии, он вырос среди свободных крестьян Ieверланда и поселился затем в качестве помещика в Мекленбурге, где феодальное товарное производство привело сельский пролетариат в страшное расстройство. Этот антагонизм изощрил глаз Тюнена по отношению к страданиям «самого многочисленного класса граждан в государстве, обыкновенных рабочих», которые даже в государствах с конституционным образом правления не имеют представительства своих интересов и получают слишком низкую плату, сравнительно с доходом фабриканта и арендатора. Раньше кого бы то ни было в Германии Тюнен распознал в июльской революции сигнал к классовой борьбе между буржуазией и пролетариатом. Он задал вопрос: так как капитал есть произведение человеческого труда, то каким образом создание могло поработить себе создателя, каким образом рабочий мог стать из хозяина капитала его рабом? Разрешение этой загадки Тюнен нашел в математической формуле «естественной заработной платы», которую считал настолько непогрешимой, что приказал вырезать ее на своем надгробном памятнике. Формула эта была, однако, не более как схоластическим измышлением, а свою идею предоставления сельско-хозяйственным рабочим участия в прибылях предприятия Тунен сумел осуществить незадолго до своей смерти, последовавшей в 1850 г, лишь в такой форме, что, несмотря на его благожелательные намерения, она оказалась на практике новым преимуществом для собственника и новой цепью для рабочих.

Более оригинальной, чем в области политической экономии, немецкая романтика оказалась в юриспруденции. Историческая

школа права была ее специфическим детищем. Она хотела явиться протестом против якобы фривольного духа XVIII столетия, но фактически была протестом против его революционного духа. Пусть естественное, основанное на разуме право, с проповедью которого выступали просветители XVIII века, было только правом буржуазного разума, но, как таковое, оно означало известный исторический прогресс, между тем как историческая школа права отрезывала путь всякому историческому развитию, признавая все исторически сложившееся основой права только потому, что оно сложилось исторически. Так, Гуго защищал рабство, помещичьи права, майораты. Когда гейдельбергский юрист Тибо, потрясенный видом густых полчищ вооруженной немецкой молодежи, уходивших во Францию, потребовал в 1814 году общего гражданского уложения для немецкого народа, то Савиньи ответил ему, что их эпохе недостает призвания к законодательной работе. Работа Савиньи стала программой исторической школы: закрывая себе глаза на гражданское право Франции, где эпоха только что блестяще доказала свое призвание к законодательству, эта школа старалась осмеять исторически слагающееся право буржуазного класса, и знаменитый криминалист Фейербах уподоблял его рожденному в облаках от разума и мечты божественному младенцу, который вычеркивает прошедшее из книги истории и отважно прыгает через настоящее в несотворенные еще века. По выражению Гегеля, историческая школа была величайшим оскорблением, какое только могло быть брошено в лицо нации. И скоро должен был восстать юный борец, навсегда заклеймивший историческую школу права, как школу, которая оправдывает низость сегодняшнего дня низостью вчерашнего и объявляет мятежным всякий крик крепостного против кнута, раз это старый, наследственный, исторический кнут.

Этот же юный борец, Карл Маркс, сказал о 20-х гг., что единственная литературная область, в которой бился еще тогда живой дух,—философия—перестала говорить по-немецки, ибо немецкий язык перестал быть языком мысли. Дух говорил таинственными словами, так как понятные слова не смели больше быть разумными. Чтобы происхождение научного коммунизма не осталось, однако, само тайной, необходимо несколько глубже проникнуть в смысл этих таинственных слов.

Борьба философии с романтикой.

Под гнетом немецкой цензуры свободное и смелое слово было невозможно. Но около середины описываемого 10-летия, вместе с экономическим поворотом, стали и в самой Германии пробиваться из под ледяного покрова, сковывавшего литературу, разные большие и маленькие ключи. В том же году, как проведена была первая в Германии железная дорога, появился целый ряд значительных литературных произведений: «История германской поэзии» Гервинуса, которая стремилась выковать из нашей классической литературы оружие для политической освободительной борьбы немецкого бюргерства; «Эпигоны» Иммермана, рисовавшие классовую борьбу между феодализмом и промышленным строем; первые стихотворения Фрейлиграта, которые в ярких красках развертывали пред читателем область всемирной торговли: «Мадонна» Мундта и «Валли» Гуцкова, которые окольным путем философии и религии стремились к лаврам Берне и Гейне; наконец — «Жизнь Христа» Штрауса.

Но революционное действие оказало только это ученое сочинение швабского теолога, лежавшее, казалось, особенно в стороне от борьбы настоящего.

Давид Штраус был швабским магистром и теологом, еще больше мещанином, чем мелким буржуа, озабоченной натурой, с течением времени проникавшейся все большим сочувствием к растущей жажде прибыли у растущего капитала, но постоянно боровшейся против революции в ее буржуазных формах и осыпавшей бранью ее пролетарские формы. Полу-поэт и полу-философ, он блуждал сначала в мистической натурфилософии Шеллинга, затем — в лабиринте магнетизма и сомнамбулизма, пока разлад между сердцем и головой не нашел себе у него примирения в гегелевском даре диалектического мышления. Вооруженный им, он написал свою критику евангельской истории умышленно-темным языком школы для того, чтобы его поняла только оффициальная ученость.

Тем не менее книга его была подвигом, открывшим новую эпоху. Библейская критика, с ее точными доказательствами и плоскими выводами, толкнула некогда философский дух Лессинга к исследованию значения религий в жизни человечества. После ряда глубокомысленных работ немецкая

философия религии нашла затем свое завершение у Гегеля: бог был воспринят в историю, а история в бога. Своей критикой библии Штраус нанес первый удар этому гордому сооружению духа. В том пункте, где немецкое просвещение XVIII века перестало быть практичным, там немецкая философия XIX столетия начала опять становиться практичною. Что выиграли, однако, общественные интересы от «Жизни Христа» Штрауса? Сам Штраус никогда не умел ответить на этот вопрос, и эта мучительная загадка омрачала всю его жизнь. Но она отнюдь не неразрешима.

Июльская революция показала, как при свете яркой молнии, что мост, переброшенный Гегелем от вечного разума к прусской действительности, был в действительности соткан из паутины. Враждебное положение, занятое Гансом против исторической школы, было лишь прелюдией к еще более серьезным вещам. Если не кто-либо другой, то это поняла все-таки единственная действительная партия, уже существовавшая тогда: феодальная. Тем с большею дерзостью она подняла знамя романтической науки о государстве. Ее католически окрашенное направление было результатом ее средневековых идеалов и определяющего влияния французской романтики. Ясно было, что романтическая реакция начнет наступление прежде всего в религиозной области. Она сделала религию делом королей и юнкеров и завязала ссору скорее с гегелевской философией религии, чем с его философией права.

Для нашей классической литературы и философии истина евангельской истории была вопросом решенным. Сам Гегель объявил, что в отношении чисто исторического, конечного, внешнего священные повествования должны быть рассматриваемы, как светские. Но на действительность этих повествований опиралась романтическая реакция, вместе с нею она держалась и падала. Поэтому здесь должно было последовать первое столкновение между философией и романтикой. Штраус выставил положение, что разбор евангельского повествования должен быть всецело предоставлен исторической критике. Он выполнил эту критику с основательностью, которая раз навсегда невозможной добросовестную веру в историческую истину евангелий. Но если он, как гегельянец, мог применять совершенно другие орудия критики, чем Реймарус применял в свое

время, то он приходил и к совершенно иным результатам. За одно с Гегелем он утверждал гармонию между божественной и человеческой природой. Соответственно с этим евангелия были для него хотя и не историей, но и не вымыслом также, а мифом, народным сказанием, продуктом бессознательного творчества христианской общины. Этим ничего в сущности не объяснялось, но абсолютная идея Гегеля была поколеблена. Из двух противоположностей, высший синтез которых она составляла, субстанции и самосознания, Штраус выхватил таинственную субстанцию, как создательницу христианского мифа. Следовало ожидать, что самосознание не даст себя так легко выпроводить.

С этих двух точек зрения объясняется громадное действие, которое произвела при своем появлении в свет «Жизнь Христа» Штрауса. Она нанесла уничтожающий удар «делу королей» и завела абсолютную идею Гегеля, в которой всемирная история нашла свое завершение, дальше самой себя. В то время как старшие гегельянцы продолжали читать тетрадки учителя по их буквальному тексту, младшие ученики Гегеля вспомнили, что внутреннюю сущность его философии составляет не покой, а беспокойное состояние, не неподвижность, а развитие, не система, а метод. Они сгруппировались вокруг «Галльского Ежегодника», издававшегося с 1838 года двумя молодыми учеными, Теодором Эхтермейером и Арнольдом Руге. Душою предприятия был собственно Арнольд Руге, померанец с острова Рюгена, который в качестве старого члена буршеншафства сделался жертвой безумной травли «демагогов» и отсидел 6 лет в тюрьмах Кепника и Кольберга. Он обладал многими качествами хорошего публициста — философским образованием, трудолюбием, деятельным, боевым темпераментом — и был в достаточной мере тем грубым клином, который подходил к грубой колоде реакции. Но за ослами, быками и лошадиными головами, которые сыпались из его уст, скрывался больше шумливый и придирчивый филистер, чем истинный революционер. Удачными браками Руге создал себе обеспеченное положение и, в качестве домовладельца, думского гласного, мирового судьи и санитарного комиссара города Галле, даже в качестве подвергшегося преследованию демагога — на основании «разных неприятных юридических историй» своих, как он выражался,— объявлял в пику «вислоухим

брюзгам» прусский государственный строй свободным и справедливым. Своим «Гальским Ежегодником» он хотел лишь освежить застоявшееся болото старых «Литературных Газет»; он хотел снова установить связь между наукой и жизнью, в противоположность «Берлинскому Ежегоднику», в котором старшие гегельянцы создали себе необыкновенно сухой орган. Во время поездки для вербовки сотрудников он собрал в германских университетах много молодого, но разношерстного народа. Как заявлял сам Руге, случилось «весьма против его желания», что его журнал так скоро сцепился с романтикой.

Реакция истинктивно почувствовала, что почва колеблется у нее под ногами, но неловкими ударами она сама вызвала сопротивление, которого боялась. Те самые геттингенские профессора, которые осенью 1837 г. свысока отнеслись к вербовавшему сотрудников Руге, были еще в том же году прогнаны из страны своим наследственным королем за то, что честь была им дороже должности. «Свободная и справедливая» Пруссия поддержала, однако, насильственный акт гвельфа, и министр ф.-Рохов изобрел тогда крылатое слово об «ограниченном разуме» подданных, чтобы сделать смешным одобрение, которое возбудил в прусских городах мужественный поступок семи геттингенцев. В то же время прусский деспотизм ужасно осрамился, вступив, несмотря на свои средневеково-романтические симпатии в распрю с римской курией по вопросу о смешанных браках и обратив, благодаря своей жандармской политике против католических епископов, дело ультрамонтанства в первый, если и не в последний раз, в дело гражданской свободы. Прусские романтики попали вследствие этого в несколько трудное положение. Когда Лео узнал об аресте кельнского архиепископа, он готов был подстрелить как зайца всякого гегельянца, но затем ему волей-неволей пришлось писать против «гвельфа» Герреса, который с ультрамонтанской точки зрения осыпал едкой насмешкой прусское государство Этим моментом воспользовался Руге, чтобы раскритиковать своего друга Лео с философской точки зрения и окончательно разбить его бредни. С своей стороны Лео, который вполне мог померяться с Руге умом, знаниями и, в неменьшей степени, грубостью, обрушился на гегельянцев, как на опасную для государства секту, так как она отрицает всякого личного бога, объявляет евангелие мифом, отрицает бессмертие

и учит одной только посюсторонней религии, придавая себе, несмотря на все это, вид христианской партии. С этого момента борьба между философией и романтикой возгорелась открыто.

Победа романтики.

В то время, как в Швейцарии немецкий коммунизм становился понемногу совершеннолетним, в самой Германии романтика одержала еще раз полную победу. Это была Пиррова победа, за которую ей предстояло скоро заплатить своей полной гибелью, но тем не менее, это была победа, одержанная над первым приступом буржуазной оппозиции.

Смена престола в Пруссии, а затем опасность войны в 1840 г. развязали силы буржуазии, с середины 30-х г.г. испытавшие новый подъем. Из области мечтаний мысль о национальном единстве перешла в осязательную действительность.

Угрожающая опасность войны направила внимание на то, до какой степени Германский Союз запустил военное дело и пути сообщения, как плохо он представлял за-границей немецкие торговые и другие экономические интересы. Требования, вроде назначения консулов таможенного союза или устройства таможенного парламента из промышленников и торговцев рядом с таможенными конгрессами правительств, начинали делаться популярными. Чем сильнее развивалась торговля, тем убедительнее пропагандировали необходимость единой империи тогдашние 5 различных монетных единиц, 10 различных мер длины, 11 различных мер весов и бесчисленные почтовые тарифы таможенного союза.

Этот вопрос связался теперь самым тесным образом с вопросом о прусской конституции. Пруссия была руководящим государством таможенного союза, а между тем почти ни в одном государстве этого союза буржуазные классы не имели так мало голоса, как здесь. Давид Ганземан, руководитель рейнской буржуазии, основавший большое Общество страхования от огня в Аахене, уже в 1830 г. сделал прусскому королю скромное предложение образовать две палаты, при чем первая должна была составиться из владельцев майоратных имений и доверенных лиц короля, а вторая — из буржуа, платящих высшую сумму налога. Когда на его предложение не было обращено внимания, он года

два спустя опубликовал книгу, в которой показал прусскому деспотизму хозяйство французской буржуазии, как светлый образец. Он требовал бережного отношения к капиталу, как главной цели государства, и соответственно с этим сокращения бюджета, особенно — непроизводительных расходов на армию. Он горько жаловался на тяжкие помехи, которые цензура ставит растущей буржуазии, препятствуя обсуждению не только политических, но и экономических вопросов, даже в самой приличной и умеренной форме. За старыми требованиями бюргерской идеологии — требованиями свободы печати и истинного народного представительства — стал теперь капитал с его возрастающим могуществом.

В вопросе о народном представительстве прусский деспотизм нес клеймо преступления на лбу. Он нарушил торжественное обещание, данное в минуту нужды, но закон 22 мая 1815 г., обещавший «представительство народа», стоял как грозное привидение в глубине сцены и никакой королевский приказ не мог прогнать его. В деловом мире прусский деспотизм по основательным причинам не пользовался никаким кредитом. Чтобы хоть как-нибудь держаться на ногах в финансовом отношении, король объявил в 1820 г. бюджет государственных долгов закрытым навсегда и обязался пред своими кредиторами не заключать новых займов без добавочной гарантии имперских чинов. Но своих кредиторов он не мог надуть так, как своих любезных подданных.

По отношению к этим последним он отделался от обещания 1815 г. посредством провинциальных ландтагов, призрачного представительства для отдельных провинций, которое в среднем состояло наполовину из представителей крупного землевладения, на одну треть — из представителей городов и на $^1/_6$ — из крестьян. Провинциальные чины созывались короной, когда ей было угодно, они заседали при закрытых дверях и под руководством назначенного правительством предводителя дворянства, который вправе был не допускать обсуждения всякого неприятного вопроса. О правительственных предложениях они могли лишь высказывать свое мнение, не имевшее решающего значения; право решать — под условием, однако, королевского утверждения — принадлежало им только в коммунальных делах, напр , устройстве исправительных и каторжных тюрем, страховых от огня учреждений,

домов для умалишенных, приютов для глухонемых и т. п. Эти презираемые корпорации не представляли для кредиторов прусского деспотизма никакой гарантии, и таким образом его финансы, тащились кое-как, с трудом поддерживаемые всякими мелкими ухищрениями и доведенные до крайности податным гнетом, но не способные выдержать никакого чрезвычайного требования и, в особенности, войны. Одни вооружения против польского восстания нанесли им удар, опустошительные действия которого вынудили даже у прусского милитаризма сокращение срока военной службы до двух лет. Чем больше Германия пробуждалась теперь от своей экономической отсталости, тем невозможнее становились финансовые порядки Пруссии. В особенности не терпело отлагательства, и по военным, и по экономическим соображениям, развитие железнодорожной сети; для менее доходных ее линий капитал просил государственной помощи в форме гарантии процентов, по существу дела сводившейся к новому займу и потому требовавшей согласия имперских чинов.

При таком положении вещей на прусский престол вступил Фридрих-Вильгельм IV. Истый романтик по тем впечатлениям, под определяющим влиянием которых сложилась его духовная личность, он все же был слишком неглупым человеком, чтобы не замечать веяния новых времен. В отличие от своего предшественника и преемника он не всегда чувствовал себя приятно в душной казарме и от времени до времени приоткрывал окно, чтобы подышать свежим воздухом. Начало его царствования ознаменовалось многими вполне романтическими и немногими полу-либеральными поступками и речами. Вопрос был в том, какой из борющихся классов сумеет привлечь этот колеблющийся дух на свою сторону.

Партия была с самого начала весьма неравная. Положение представлялось таким, как его определил Краус, самый способный из немецких подражателей Адама Смита: прусское государство отнюдь не было неограниченной монархией, это была несколько замаскированная аристократия. Или как Шамиссо — ясный французский ум которого понимал условия своего второго отечества лучше, чем коренные филистеры — сказал уже в 1826 г. устами французского иезуита, но передавая задушевную мысль восточно-прусских юнкеров

«и король неограничен, пока исполняет нашу волю». Феодализм держал все средства государственной власти в крепких руках, и чтобы вырвать их у него, бюргерская оппозиция должна была обладать большою сплоченностью, очень ясным взглядом на положение дел и очень большими силами. Между тем во всех этих отношениях она, по сравнению с феодальной партией, представляла скорее противоположные качества. Это обнаружилось при первом же ее натиске, когда сословия провинции Пруссии, вызванные в Кенигсберг для принесения присяги новому королю, вместо традиционной просьбы об утверждении их привилегий выразили почтительное желание, чтобы корона исполнила свое обещание 1815 г. относительно конституции.

Маркс анализирует первые шаги Фридриха-Вильгельма IV, как попытку неглупого монарха упразднить филистерское государство на его собственном базисе. Эта попытка потерпела неудачу и должна была потерпеть ее. Филистер есть материал монархии, а монарх всегда только король филистеров; он не может сделать ни себя, ни своих «людей» свободными, действительными людьми, пока оба остаются тем, что они суть. Король хотел править не при помощи мертвого закона, а своим живым сердцем; он хотел привести все сердца в движение за свои сердечные желания, но другие сердца не бились так, как его сердце; управляемые не могли открыть рта без того, чтобы не начать толковать об упразднении старой власти; идеалисты, имевшие бесстыдное желание сделать человека человеком, заговорили, и в то время как король фантазировал по старо-германски, они считали себя вправе философствовать по ново германски. Благодаря этому раздвоению слуги, так легко руководившие прежде ходом дел, и вместе с ними русский царь могли легко убедить вспыльчивого короля, что говорящими людьми нельзя править. Последовало возвращение к старому, окаменелому государству слуг и рабов; молчание сделалось единственным средством осведомления. Таким образом, всему свету наглядно показано, насколько деспотизму необходима грубость и как невозможна для него гуманность.

После этого,— полагает Маркс,— не станут, конечно, делать ему упрека, что он слишком высокого мнения о настоящей эпохе; если он не отчаивается все-таки в ней, то именно ее

отчаянное положение наполняет его надеждой. Он не говорит о неспособности правителей и беспечности слуг и подданных, предоставляющих всему итти по воле божией, хотя того и другого, взятого вместе, достаточно, чтобы привести к катастрофе. Он обращает внимание лишь на то, что враги филистерства, другими словами все мыслящие и страдающие люди пришли к общему соглашению; что даже пассивная система размножения старых подданных вербует каждый день рекрутов для служения новому человечеству. «Но система промысловой деятельности и торговли, собственности и эксплоатации человека еще гораздо скорее, чем увеличение народонаселения, ведет к разрыву внутри теперешнего общества,— разрыву, которого старая система не может уврачевать, ибо она вообще не лечит и не творит, а только существует и наслаждается». Их задача — вытащить старый мир на дневной свет и вместе с тем заняться положительной, созидательной работой для нового мира.

Разложение классической философии.

Борьба за действительное народное представительство слилась с борьбой за свободную печать. К печати король-романтик (Фридрих-Вильгельм IV) обнаружил известное сочувствие. Унылая бесталанность подцензурных газет была противна его живому уму, и с тем самообольщением, которое свойственно было всем романтикам, он вообразил, что может переносить свободное слово. В исходе 1841 г. появилось министерское распоряжение, рекомендовавшее властям более мягкое применение цензуры,— не очень большое, но все же некоторое облегчение для печати.

По обыкновению, эта капля патриархального либерализма потонула в полной бочке истинной романтики. Во главе министерства народного просвещения был поставлен Эйхгорн, пиэтист и реакционер, искоренивший единственную свободу, с грехом пополам еще существовавшую при старом короле: академическую свободу преподавания. На кафедру Ганса, освободившуюся вследствие его смерти, попал Юлиус Шталь, крещеный еврей, пытавшийся перевести христианско-германский принцип с грубо-откровенного языка феодальной романтики на облагораживающий язык современной философии. Затем по приглашению короля явился в Берлин старый

и запутавшийся в мыслях Шеллинг, чтобы своей философией откровения искоренить гегельянство. Министерство юстиции получил Савиньи, глава исторической школы права, бесспорно давший теперь, поскольку дело касалось его персоны, яркое доказательство отсутствия у него всякого призвания к законодательству.

В довершение всего деспот, страстно жаждавший свободы печати, начал притеснять единственный журнал, стоявший на высоте своей задачи: он приказал в мае 1841 г., чтобы «Галльский Ежегодник» перенес место своего печатания из Лейпцига в Галле, т.-е. под прусскую цензуру, иначе он будет запрещен в Пруссии. Вследствие этого приказа Руге переехал в Дрезден и стал издавать свой журнал под другим названием — «Немецкий Ежегодник». Понятно, что тенденция журнала становилась тем более резкой, чем больше раскрывалась ошибочность воззрения его издателя на Пруссию, как на свободное и справедливое государство. Если Руге и Штраус наложили свою печать на первый журнал, то второй журнал находился под духовным влиянием Бруно Бауэра и Людвига Фейербаха. Это был шаг вперед — против романтики, но и шаг вперед в разложении классической философии.

Романтике повезло в том отношении, что та самая экономическая эволюция, которая побудила ее собрать свои силы для дружного сопротивления, уничтожила сама собою и ее опаснейшую противницу.

Бруно Бауэр и Людвиг Фейербах.

В классической философии немецкое бюргерство приобщило свои деяния и мысли, некоторым образом как протокол, к всемирной истории. Как только ему удалось развить свои материальные силы, этот протокол стал ненужным листом бумаги. Заоблачные построения философии рушились тем скорее, чем свободнее промышленность развертывала свое знамя в столбах дыма, поднимавшихся из фабричных труб.

Но буржуазная философия не могла, конечно, отречься, попросту в пользу буржуазной экономии. Она была героическим веком немецкой буржуазии и не могла спустить свое наследство с молотка плоскому духу наживы, банку и бирже, безграмотным фабрикантам, не питавшим даже вожделения к этому наследству. Несмотря на общую борьбу с романтикой,

и именно в этой борьбе, между философией и буржуазией должен был вспыхнуть антагонизм. В течение едва одного десятилетия он проделал три стадии: первую, когда он бессознательно существовал, но еще не был ясно понят; вторую, когда он был уже ясно понят, но еще не мог быть примирен; наконец, третью, когда он был преодолен благодаря тому, что философия разобралась в пролетариате, а пролетариат — в философии.

К первому периоду принадлежали Руге и Штраус. Они боролись против романтики в качестве философов, но в конечном счете оба они, по доброй воле или нехотя, боролись за буржуазию. Они строили ее домик на развалинах философии и в бисмарковской германской национальной империи видели так или иначе осуществление своих идеалов в пределах возможного. Напротив, Бауэр и Фейербах были типичными представителями второго периода. Они никогда не в силах были примкнуть к вере, что мир буржуазии — их мир, или что он вообще — вечный мир. Бауэр дал впоследствии пренебрежительную характеристику Бисмарка как «человека, который делает не историю, а эпизоды», а Фейербах говорил о «прусском кнуте», когда ему случалось говорить о нем, всегда с энергичным проклятием. Оба они, однако, никогда не сумели осесть в политической и социальной области; они беспомощно блуждали среди развалин философии.

При этом между ними обоими существовала большая разница. Они стояли не бок о бок, а спина к спине. Бауэр продолжал прясть нить идеалистической философии, пока она не разорвалась у него под руками; Фейербах же открыто порвал с этой философией и сделал первые шаги к окончательному преодолению ее.

Бруно Бауэр, уроженец одного из маленьких саксонских герцогств, был по всей своей натуре северо-германцем. Он вполне подходил к Берлину, где и провел большую часть своей жизни, — к Берлину, «с его глубоким песком, жиденьким чаем и не в меру остроумными людьми». В этом отношении он составлял полную противоположность Штраусу, для которого северо-германская жизнь была так же неспосна, как личность и деятельность Бауэра. Как Штраус заимствовал из абсолютной идеи Гегеля субстанцию, чтобы сделать ее творческим принципом евангелий, так Бауэр взял оттуда же

и с той же целью самосознание. Критика Штрауса, хотя и покончила раз навсегда с вопросом об исторической истине евангельского рассказа, была еще богословской, ибо в сущности было безразлично, продиктованы ли евангелия святым духом или они составляют плод бессознательного творчества христианской общины. Бауэр разрешил «таинственное» воззрение Штрауса в том смысле, что евангелия суть литературные произведения определенных авторов, которые при составлении своих работ стремились достигнуть определенных целей.

Это представление Бауэра освобождало его от всякого почтительного отношения к евангелиям, и он повел с теологией борьбу не на жизнь, а на смерть. Самосознание создало, правда, евангелия, но как вышедшее из себя, противоречащее себе самому, отчужденное самосознание. В критике евангельского рассказа, опубликованной Бауэром в 1841 г., мы находим уже зародыши, которым предстояло спустя более чем поколение развиться, в его исследованиях по истории возникновения христианства, до результатов, открывающих новые пути в науке. Бауэр заявлял, что римский властелин мира, соединяющий в себе все права и несущий на устах своих жизнь и смерть, имеет хотя и враждебного брата, но все же брата, в лице господа евангельского рассказа, который дыханием своим покоряет природу и повергает ниц своих врагов, который уже на земле возвещает себя господом и судьею мира. В христианской религии умственная абстракция отняла у человечества всю его силу и соки, всю кровь и жизнь его до последней капли. На развалинах погибшего мира осталось, как единственная сила, изможденное Я, но этому всепоглощающему Я стало страшно самого себя. Оно закончило свое отчуждение, противопоставив себе свою собственную всеобщую силу, как чужую, и начало затем в страхе и трепете пред этой силой работать за свое сохранение и блаженство. Но человечество воспиталось в рабском преклонении пред своим отражением, чтобы тем основательнее подготовить свободу и тем глубже обнять ее, когда она будет, наконец, завоевана. Самосознание, пришедшее вновь в себя, само себя понимающее, постигающее свою сущность, располагает властью над созданиями своего самоотчуждения. Таким путем Бауэр покончил беспощадно с теологией, и не одной с ней только.

Бесконечное самосознание не терпело вообще никаких преград. С оружием критики в руках оно низвергло всякую «позитивную определенность, которая сколько-нибудь ограничивала его истинную всеобщность». Оно упразднило все учреждения в обществе и государстве, у которых могло доказать характер преграды, — упразднило, понятно, только в своих представлениях. Ибо философия самосознания в такой же мере жила в области умственной абстракции, как христианская религия. Мало того, она была совершеннейшим выражением христианско-германского принципа; идеалистическое умозрение не могло дойти до более каррикатурных кривляний, чем в «Критической критике», которая сводила все к чистому духу и смотрела на массу с невыразимым презрением. Навлекши на себя, в качестве приват-доцента в Бонне, дисциплинарное взыскание со стороны министра Эйхгорна, Бруно Бауэр переехал в Берлин. Вместе со своим братом Эдгаром и другими левыми гегельянцами он выступил здесь в роли «свободного», который «шел все дальше» по части радикальных фраз и выполнил в философской области то, что берлинское остроумие осмеяло, как «Alles Verungenieren» («сделать все непринужденным»).

Вслед за ним, однако, Людвиг Фейербах вразумительно показал, что гегелевская философия — последнее прибежище, последняя рациональная опора теологии. Кто не отказывается от гегелевской философии, тот не отказывается и от теологии. Учение Гегеля, что природа, что реальность полагается идеей, есть только рациональное выражение богословского учения, по которому природа создана Богом, материальное существо создано нематериальным, т.-е. абстрактным существом. Борьба между Штраусом и Бауэром была борьбой в пределах гегелевской философии. Оба заходили дальше Гегеля, поскольку каждый из них проводил последовательно одну сторону абсолютной идеи. Штраус — субстанцию, природу, отделенную от человека, Бауэр — самосознание, человека, отделенного от природы. Напротив, Фейербах критиковал всего Гегеля с гегелевской точки зрения, разрешая абсолютную идею в действительного человека на основе природы. Он проложил путь переходу от идеализма к материализму.

Фейербах был уроженцем южной Германии, как и Штраус, но в отличие от последнего обладал огненным, страстным

темпераментом, боевой натурой, как бы созданной для горячей сутолоки практической жизни. Во многих отношениях он напоминает Лессинга, полемическими сочинениями которого охотно упивался; к сожалению, он в немалой степени напоминает Лессинга и потому, что жалкие условия Германии никогда не позволили ему вполне развернуться. Как живо напоминает его пытка в Рехенберге мученичество Лессинга в Вольфенбюттеле! Главный подвиг Фейербаха, это — его сочинение «О сущности христианства», снявшее идеалистическую пелену с глаз всех здравомыслящих немцев. Оно имело освободительное действие, которое нужно было, как сказал раз Энгельс, пережить самому, чтобы получить о нем правильное представление. Фейербах восстановил реального человека в его правах. Выросший из почвы природы, существующий независимо от всякой философии, человек является высшим существом для человека. Кроме человека и природы, не существует ничего; небесные существа — только создания религиозной фантазии, фантастические отражения человеческого существа. Подобно тому как человек является для человека высшим существом, так высшим законом является любовь человека к человеку. Эти мысли Фейербах развивал увлекательным языком, стремительная сила которого действовала, как бьющая ключем жизнь после сухого тумана гегельянства.

Фейербах поднял материализм из праха, но что ему не удалось, вследствие отсталых порядков, все еще господствовавших в Германии, это было разрешение задачи — воспринять в материализм вновь добытое содержание идеализма подобно тому как Кант воспринял в идеализм добытое вновь содержание материализма. Бэкон, первый представитель современного материализма, сказал когда-то, что он не желает быть ни грубым эмпириком, наподобие муравьев, которые только собирают и потребляют, ни абстрактным идеалистом, наподобие пауков, которые вытягивают свою ткань из себя самих, а хочет связать одно с другим, как это делают пчелы, высасывающие материал из цветов в садах и полях, но затем перерабатывающие его собственными силами. Фейербах также сравнивал себя с пчелами, только он говорил, что они съедают зимою собранное летом, тогда как он отдает от себя зимою, как человек интеллекта, то, что проглотил летом в качестве человека природы.

Мыслящее созерцание природы было солнцем, вокруг которого обращался этот ум, и при этом он не имел даже возможности следить за возраставшими успехами естествознания, так как пиэтизм немецких правительств закрывал ему доступ к университетской кафедре. Фейербах чувствовал недостаточность естественно-научного материализма, *) о котором характерно выразился, что он соглашается с ним назад, но не вперед. Однако, к ясному пониманию, не говорим уже — к исчерпывающей оценке факта, что человек живет не только в природе, но и в обществе, что материализм, следовательно, не только естественная, но и общественная наука, — к такому пониманию он не пришел. Великий зарубежный мир остался ему чуждым, и даже от маленького мира своей немецкой

*) Бессмертная душа до-мартовского идеализма давно переселилась в исторический материализм, а на могильном холме, под которым были погребены его смертные останки, сидел теперь забавный гном послемартовского материализма. Его последователи и деятельные разносчики Яков Молешотт, Карл Фохт и Людвиг Бюхнер бежали трусцой в обозе естествознания, энергично развивавшегося в 50-е годы, как это бывает во все эпохи промышленного расцвета. Их материализм был столько же похож на материализм XVIII века, сколько прирученная Мантейфелем буржуазия 50-х годов была похожа на тот буржуазный класс, который проделал великую французскую революцию. Он не только пошел назад в сравнении с немецким идеализмом, но опустился даже до относительно ранней ступени французского материализма. Своими энергичными материалистическими фразами он также приятно щекотал за дессертом возвышающуюся буржуазию, сдавшую в архив свои политические идеалы, но необыкновенно радовавшуюся промышленному и естественно-научному прогрессу, как Ламеттри приятно щекотал за дессертом своими фразами старого Фрица. Сколь великолепно должен был чувствовать себя сытый, откормленный буржуа даже в уединенном кабинете, когда Карл Фохт уверял его, что мысли находятся в таком же отношении к мозгу, как моча к почкам!

Строго говоря, даже там, где этот материализм пытался дать кое-что новое, он изрядно опоздал. Политические и социальные вопросы он обходил с опаскою, но зато желал, по крайней мере покончить с грубой религиозной верой и уничтожить «двойную бухгалтерию» веры и значения. Однако, с религией в ее более грубых или более утонченных формах покончил уже немецкий идеализм, и буржуазным материалистам 50-х годов было далеко до фейербаховской «Сущности христианства». Они не умели даже правильно разграничивать философские понятия и выходили из этого затруднения тем, что посылали к чорту всякую философию, которая не могла быть немедленно понята всяким образованным человеком, вернее — всяким буржуа. Но именно потому, что они вообще не понимали идеализма, они не сумели также попасть в наиболее уязвимый пункт религии. Они споткнулись о мышление, как идеализм споткнулся о бытие. Фохт мог бросить свою сильную фразу об отношении между мыслью и мозгом и находить удовлетворение в этой хвастливой нелепости, но Бюхнер, относившийся к вещам серьезнее и вкусивший немного от искрометного вина своего старшего брата Георга, был своими узкими идеями о материи и силе отброшен назад в объятия первых отцов церкви.

родины он замкнулся. Любовь к природе сделала для него глухую деревню, к которой его приковывала почетная бедность, местом добровольного изгнания. Истинно человечным было для него только теоретическое поведение людей; точку зрения теории он называл точкой зрения гармонии между человеком и вселенной.

Общественную практику Фейербах знал лишь в грязной форме еврейского барышничества. В «Сущности христианства» он подверг еврейскую религию анализу, как религию эгоистического интереса. Он писал: «Для грека природа была алмазом: он не мог наглядеться вдоволь на изумительный перелив его цветов, на его правильные формы, на его небесную ясность и прозрачность: он видел отраженным в нем,

Отвергая хвастливые фразы Фохта, он сам говорил, что материя и сила неотделимы друг от друга, но логически очень сильно расходятся, «более того, в известном смысле прямо отрицают друг друга». И далее: «По крайней мере, для нас непонятно, каким образом можно разуметь под духом, силою, что-либо иное, чем нематериальное, что само по себе исключает материю или противоположно ей». Но этим был целиком признан дуализм христианства, как это уже заметил в возражение Бюхнеру Альберт Ланге. Что материя и сила неразрывно связаны друг с другом, достаточно доказано по отношению к видимой и осязаемой природе. Но раз сила по существу своему есть нечто сверхчувственное, то почему бы ей не существовать, самостоятельно или в связи с нематериальными субстанциями, в некоем мире, недоступном нашим чувствам? На вопрос о происхождении и исчезновении религий ответ мог дать исторический материализм, но не материализм абстрактный, естественно-научный, который устранял исторический процесс и тотчас начинал блуждать впотьмах, как только он дерзал выйти за пределы своей специальности, — в области политической и социальной не меньше, чем в религиозной.

Недостаточность этого материализма видел и Фейербах. Он воспользовался лучшей стороной его и осмеивал глупость реакции, которая преследует философские и политические споры, предоставляя в то же время полную свободу естественно-научному исследованию; но Фейербах прибавлял, что считает материализм Молешотта лишь фундаментом для построения здания, охватывающего существо и знание человека, а не самим зданием, как это делает Молешотт. Сам Фейербах искал ощупью входа в это здание, и многие его положения свидетельствуют, что он смутно предугадывал истину; таково, например, положение: «человек есть то, что он есть», — эта «пресловутая бессмыслица», на которой ничтожные эклектики немецкой университетской философии поныне еще изощряют свое патриотическое остроумие. Между тем, по мысли Фейербаха оно должно было означать, что достойное существование масс является необходимой предпосылкой всякого образования и всякой нравственной культуры человечества. До понимания исторического материализма этот благородный мыслитель не дошел, однако, ибо он был совершенно не знаком с внутренним механизмом современного буржуазного общества. Он медленно угас в меланхолическом одиночестве.

После-мартовский материализм был модной игрушкой буржуазии, которая могла ее во всякое время сломать и действительно сломала, как только оказалось, что ханжество прибыльнее вольнодумства.

как в зеркале, свой чистый, не смущенный никаким практическим эгоизмом дух; он различал в природе разум, дух, и потому природа была для него вечной. Коротко говоря, грек смотрел на природу глазами энтузиаста-минералога, еврей-же — глазами торговца минералами, вычисляющего свой барыш. Евреи сохранились в своем своеобразии по нынешний день. Их принципом, их богом является практический принцип мира — эгоизм, притом эгоизм в форме религии. Эгоизм есть бог, не оставляющий своих слуг в несчастьи. Эгоизм по существу своему монотеистичен, ибо он имеет своей целью лишь одно — самого себя. Эгоизм собирает, сосредоточивает человека на себе самом, но он делает его теоретически узким, так как внушает ему равнодушие ко всему, что не относится непосредственно к благополучию его Я. Если еврей прославляет величие природы, то лишь в силу того же интереса, в силу которого победитель преувеличивает мощь своего противника, чтобы таким образом возвысить собственную славу. Ибо величие природы для него — величие Иеговы, которое с наибольшим блеском проявилось в чудесах на благо Израиля.

Эта точка зрения затронула у Бауэра родственную струну. Он говорил, что христианское государство ограничило определенными формами эгоистическую деятельность гражданского общества, но в трещинах и расщелинах последнего вгнездились евреи, чтобы эксплоатировать его ненадежные элементы, подобно богам Эпикура, жившим в промежутках вселенной, где они были избавлены от определенной работы. Для Бауэра еврейство было козлом отпущения, на которого он сваливал материальную массу, для того чтобы абсолютная критика, бесконечное самосознание тем чище могли вращаться в себе самих. Идеолог с головы до ног, он сводил еврейский вопрос к чисто религиозной проблеме. Христиане и евреи одинаково могут добиться свободы, лишь преодолев свою религию. Для христиан это дело сравнительно легкое, благодаря неудержимому саморазложению их религии. Но оно чрезвычайно трудно, если не невозможно, для евреев, исконно противившихся историческому прогрессу и в своей ненависти ко всем народам создавших себе самую причудливую и узкую национальную жизнь; оно трудно для народа, чья религия есть лукавство

и хитрость, при помощи которого удовлетворяется наичувственнейшая потребность. Пока евреи остаются евреями, до тех пор они не могут быть эмансипированы; всего менее может их эмансипировать христианское еще пока государство.

Бауэр и Фейербах знали капитал лишь в самой зародышевой, средневековой форме еврейского ростовщичества. С его бесчеловечной сущностью они справились лишь философски; экономически они не в состоянии были даже понять ее, а тем более преодолеть.

ГЛАВА IV.

Немецкий социализм.

Чтобы проложить западно-европейскому социализму путь в Германию, не было, однако, надобности в росте массового пролетариата. Уже литературное развитие немецкого бюргерства естественно приводило к тому, что такие крупные литературные явления, как Сен-Симон и Фурье, привлекали к себе тотчас живое внимание и по сю сторону Рейна. Но при таких условиях неизбежно было, что в оценке французского утопизма преобладала литературная точка зрения, экономическую же сущность, заключенную в его фантастической оболочке, в Германии не сумели даже разглядеть, а понять и того менее.

На первых порах и больше всего нашли себе отклик среди немецких образованных кругов уродливые стороны сен-симонизма. В начале 30-х г. г. некоторые теологи трактовали сен-симонизм, как новую церковную секту. В то же время «Молодая Германия» и эстетические круги Берлина толковали эмансипацию плоти в грубо-чувственном смысле. Распространяться подробно об этих литературных заигрываниях с социализмом теперь не стоит труда.

Социалистическое кокетничанье 30-х г. г. было в лучшем случае модным времяпрепровождением для сытых людей, эстетический комфорт которых нарушался видом голодных, больных и грязных лиц, и которые загорались минутным огнем от евангелия, обещавшего всем людям образование и благосостояние.

Среди тогдашних немецких социалистов, насколько вообще может быть речь о таковых, был все-таки один, который достоин был стоять до известной степени рядом с великими утопистами западно-европейского социализма по своему глубокому сочувствию к страданиям рабочих классов, по критическому пониманию условий капиталистического процесса

производства, по своему бескорыстному самопожертвованию. Назывался он Людвиг Галль и был мелким чиновником в рейнской области, сначала на французской, а затем на прусской службе. В ряде сменявшихся утопий он стремился устранить бедственное положение пролетариата. Сначала Галль хотел организовать эмиграцию и затратил свое наследственное состояние на этот план, потерпевший печальное крушение. Затем он предлагал, как гласит заглавие его важнейшего сочинения, «обеспечение бумажных денег хлебными запасами.—быстрое, быть может, единственное средство поднять и твердо упрочить упавшее благосостояние Германии и сразу предотвратить всякую нужду, обусловленную недостатком и избытком». Книга имела своим результатом лишь грубый приказ министра Шукмана, в котором Галлю ставилось на вид, что он, повидимому, недостаточно занят и впредь у него не будет недостатка в служебных работах. Наконец, по выходе в отставку Галль был занят планом поселиться в деревне и выгодами артельных учреждений, вроде общественных молотилок, пекарен, прачечных и т. п., возбудить в самих жителях идею и желание обобществления всех хозяйственных благ. Галль был искусным изобретателем и доходом из своих изобретений хотел добыть средства для осуществления этой утопии, до которого дело, однако, не дошло. Точно также попытка литературной пропаганды утопий Сем-Симона, Фурье и Оуэна, предпринятая Галлем в собственном журнале, который он назвал «Дружеские листки» потерпела неудачу уже после выхода в свет первой книжки, так как у журнала не оказалось читателей. Социалистическая деятельность Галля была длинной цепью разочарований.

Он утешался тем, что, в конце-концов, истина все-таки восторжествует, и эта надежда не обманула его. Имя Галля заслуживает почетного упоминания в истории немецкого социализма. Но, с другой стороны, нужно признать тщетным старание доказать путем подбора отдельных слов и фраз, что Галль был теоретиком, проложившим новые пути в науке. Все лучшее в его немногочисленных писаниях представляет собою только энергичный отзвук западно-европейского утопизма, из носителей которого Галль посетил лично Фурье и Оуэна. Особенно у Фурье позаимствовано то, что Галль говорит о нужде среди избытка, о необходимости соединения

капитала, труда и таланта, об иссякающей производительности разрозненного труда и растущей производительности труда обобществленного. В тех случаях, когда его предложения отличаются от идеи великих утопистов, например, когда дело идет об организации эмиграции или о постоянно повторяющихся у него хлебных складах, они исторически обращены назад,— что было, впрочем, не столько его виной, сколько виною отсталости Германии. Вперед Галль не заходит дальше Фурье и Оуэна; в особенности он никогда не обнаруживал какого-нибудь сочувствия к самостоятельному движению рабочего класса, хотя умер лишь в 1863 г.

В 1842 г. появилась «История французского социализма и коммунизма» Лоренца Штейна, составившая в известном смысле пограничную черту, у которой для немецкого социализма кончилось детское или ребяческое баловство и началась серьезная жизнь. Книга открыла для немецкой интеллигенции, так сказать, дверь к подземным ходам, подрывающим буржуазное общество. В общем довольно легковесный товар, с сильным оттенком беллетристики, она чрезмерно подробно останавливалась на причудливых внешностях утопизма, на мечтаниях Фурье о развитии земли в далеком будущем, на иерархическом расчленении общества Анфантена и тому подобных вещах. Но все же она раскрывала, хотя и с большой дозой непонимания и превратного истолкования, экономическо-социальную подпочву французского социализма и коммунизма — классовую борьбу между буржуазией и пролетариатом. Это было кислое и не зрелое, но все же яблоко познания. Рошер изображает вещи в превратном виде, когда говорит, что книга Штейна подействовала на немецкую публику, как сказка из далекого мира; гораздо более метко суждение Гвидо Вейсса, что читая эту книгу, молодая немецкая буржуазия сознала самое себя. Штейн преувеличил значение своей книги, когда объявил ее впоследствии исходным моментом социалистического движения в Германии. В форме легкого заигрывания это движение существовало уже раньше, а в осязательной форме оно выросло не из той или иной книги, а из экономического факта: из растущего обнищания масс. Чтобы понять этот факт, буржуазные круги стали с большим или меньшим трудом разбираться в нем по сочинению Штейна.

Проследить эти идеологические нити в отдельности представляется в настоящее время бесцельным. В Германии не было еще тогда никаких сплоченных партий, и под «социальным» флагом плавал столь же и даже более разнообразный груз, чем под флагом «либеральным». Плодотворнее будет взглянуть вглубь вещей и, насколько отчетливое разделение возможно, отделить различные формы буржуазного социализма друг от друга по тем экономическим интересам, которыми они были сознательно или бессознательно порождены.

Христианско-феодальный социализм.

Подобно «Молодой Англии» и части французских легитимистов, немецкий феодализм уже рано сделал попытку использовать нужду массового пролетариата, как оружие против грозно поднимавшейся власти капитала.

Но ему удалось только грубое подражание этим более остроумным образцам. Все или почти все феодально-социалистические попытки были тесно соединены с плоским пиэтизмом, который заранее значительно ослаблял их опасность. «Орден Лебедя», о котором прусский король возвестил в торжественном указе, как о духовном братстве для христианских подвигов любви по отношению к бедным и несчастным, тотчас же был поднят всеми на смех, и пришлось отказаться от всякой попытки призвать его к жизни. За романтическими причудами короля не скрывалось даже чувство искреннего сострадания. Когда Беттина фон-Арним в посвященной королю книге красноречиво описала бедственное положение столичного пролетариата, то Фридрих-Вильгельм остановился растерянно пред лучом истинной любви к человеку, который некогда упал из светлых очей Гёте на пророчицу романтики и теперь то и дело прорывался из беспорядочного хаоса ее мыслей. Да и как могла эта туманная голова понять человечное слово Беттины. «Ближний короля, это—его голодающий народ» или ее горькое обвинение: «Преступник, это—преступление самого государства!»

Подобно мрачным средневековым крепостям, возвышались в Берлине два единственных христианско-социальных творения, удавшихся королю: в южной части столицы—больница Вифания, на севере ее—одиночная тюрьма Моабит. В этих учреждениях внутренняя миссия должна была врачевать телесные и духовные

немощи народа. В больнице властвовали диакониссы из Кайзерверта и вмешивались со своим высокомерием духовных персон в полномочия врачей; в Моабите братья из «Сурового дома» испытывали свои приемы уврачевания души на узниках, усмиренных жестокой и злобной выдумкой одиночного заключения. Как третья Бастилия христианского социализма, вырос затем работный дом,—работный дом со всеми его ужасами, где безработных нищих заставляли щипать шерсть с 5 ч. утра до 9 час. вечера под плетью, которой смотритель вправе был хлестать по своему усмотрению. Почти в тот самый момент, как король провозгласил себя гросмейстером ордена Лебедя, он утвердил закон о призрении бедных 1842 г., в мотивах которого было установлено в виде основного правила для органов, заведующих этим делом, что бедные не имеют вообще «никакого права на пособие, никакого притязания подлежащего предъявлению в судебном порядке». Призрение бедных должно было «давать им не более того, что необходимо для удовлетворения крайних потребностей, и предупреждать только действительную гибель от нищеты». В довершение всего общее собрание высшего трибунала Пруссии истолковало эту законодательную мудрость в том смысле, что нуждающемуся в помощи рабочему не следует давать умирать с голода, ввиду «угрозы, которую составляют для безопасности и нравственного состояния общества нужда, потребность в пособии и отсутствие пищи». Такова была внутренняя сущность христианско-феодально-социальной мухи, которую при всех усилиях романтической рекламы невозможно было раздуть в слона.

Каков был романтический король (Фридрих Вильгельм IV) таковы были его романтические дворяне. Они были весьма благочестивы, но их христианская любовь к ближнему не шла дальше желания эксплоатировать сельско-хозяйственный пролетариат не на современно-капиталистический лад, а на патриархально-феодальный. Вот, напр., они сидели в главном своем гнезде—задней Померании: патриарх Тадден в Триглаффе, его зять Бланкенбург в Циммергаузене, сорви-голова Клейст-Ретцов в Гросс-Тихове и, наконец, в Книпгофе—задорный юнкер Отто фон-Бисмарк. Последний, будучи весь в долгах и хозяйничая в запущенных имениях без оборотного капитала и кредита, изучал, правда, только прелестный рассказ

о золотом тельце в книге Исхода, 32,8, но зато другие, наставляющие и наставляемые, говорили таким же языком, как все 4 больших и 12 малых пророков ветхого завета. На общем собрании померанского Экономического Общества в Кёслине старый Тадден читал елейный доклад, в котором разболтал все их сердечные тайны: он журил товарищей-дворян, которых приходилось выносить пьяными из уездных съездов, он проклинал еврейское барышничанье рыцарскими имениями, он издевался над «бесстыдными претензиями народов», которые хотели, чтобы государи спрягали глагол «осчастливить» до давнопрошедшего времени, он толковал, как символ, дворянский мундир с его блестящими погонами – «украшения наших плеч, какое другое значение имеют они, как не крыльев, чтобы подняться к сидящему на троне орлу!»—и, наконец, в качестве нравоучения следовали «господские и отеческие отношения между помещиком и сидящими на его земле крестьянами». Противникам феодальных эксплоататорских привилегий Тадден говорил в гневном пророческом тоне: «Они хотят отнять у нас то юрисдикцию, то полицию, то церковный и школьный патронат и всячески ограничить наши сословные права, чтобы, по возможности, оставить нас в обществе одних травоядных животных... Таким образом, не ездить четверкой, а ползать на четвереньках,—вот какую роль хотели предоставить нам наши противники». Да, «травоядными животными, ползающими на четвереньках», были для этих юнкеров их батраки, и попрежнему они хотели кататься по ним четверкою, только не с одним кнутом в руке, а еще с именем господа на устах.

Более дальновидных литературных борцов у христианского социализма было только два: Ф. А. Губер и Герман Вагенер. После вольнодумного воспитания и далеких путешествий по чужим странам на Губера нашло просветление: он стал ярым приверженцем внутренней миссии и королевской власти божьей милостью. В своем роде искренний и благожелательный человек, он научился в Англии и Франции понимать невозможность феодально-цеховой реакции и до известной степени оценивать по достоинству стремления пролетариата к объединению в ассоциации. Но на-ряду с этим правильным взглядом на вещи его сбивала с толку обманчивая надежда, ожидавшая добровольной социальной реформы от

господствующих классов вообще и «социальной монархии»—в частности. По приглашению короля Губер приехал в Берлин, но не сумел создать себе никакого практического круга действий. Навязанный фрондировавшему при Эйхгорне университету против воли последнего, он был оттеснен от кафедры при помощи всех злобных приемов академической коллегиальности, а в прусской бюрократии он наткнулся, по собственному выражению, на «отвратительную породу живых трупов». Его журнал «Янус» имел так мало подписчиков, что королю пришлось покрывать расходы по изданию из собственного кармана.

Совсем другого сорта человек был Герман Вагенер: родом из бранденбургской деревни, угловатая, худая, костлявая фигура с резкими чертами лица, он представлял собою живое воплощение трезвости и в то же время был своего рода Дон-Кихотом, умевшим пускать в ход свое заржавленное копье за невозможные идеалы и поднявшимся в религиозной секте ирвингианцев до сана архидиакона. Не мечтатель и не шарлатан, но неразложимая смесь шарлатана и мечтателя. Первые шаги Вагенера знаменательны для всей его карьеры. Свой курс практического социализма он прошел при мелиорациях в Тухельской равнине, пресловутом опыте «внутренней колонизации», в постыдной неудаче которого король утешался постыдной остротой, что фунт сена с этих осушенных болот обходится стране во столько же, сколько стоит фунт настоящего китайского чая. Затем Вагенер переехал в Магдебург в качестве консисторского заседателя, и здесь несколько старых остроумных романтиков среди его начальников по службе помогли ему окончательно сформироваться духовно. Он всегда питал пристрастие к аферам и спекуляциям, также неизменно сопровождавшимся неудачей. Но эта неудача происходила именно от того, что он не был продувным спекулятором, не был обыкновенным биржевиком, а довольствуясь маленькими прибылями, стремился всегда к более крупной прибыли для того дела, которое, быть может, казалось ему правым. Вагенер ненавидел капитализм, в слабые стороны которого он умел метко попадать, не преуменьшая, однако, значения его сильных сторон; он очень хорошо знал, что при помощи отжившей бюрократии не одолеешь капитализма и что этого невозможно также достигнуть при помощи

феодализма, раз тот не умеет так или иначе столковаться с промышленным пролетариатом. Неразборчивый в средствах, беспощадный в полемике, богатый выдумками, хорошими как и плохими, ловкий агитатор и публицист, он был бы вполне подходящим человеком, чтобы повести феодально-социалистическую массовую агитацию, если бы умственная косность ост-эльбского юнкерства не помешала ему сочинить хотя сколько-нибудь заманчивую мелодию для уловления масс. Он с отчаянием жаловался, что консерваторы на-половину ослы по рождению, на половину ослы по принципу, но при этом он упускал из вида, что в их умственной ограниченности мог все-таки заключаться совершенно правильный классовый инстинкт. Что касается консерваторов, то они с самого начала испытывали страх пред загадочным элементом в личности этого человека и в его политике.

На первых порах Вагенер попробовал свои демагогические фокусы в «Рейнском Наблюдателе», оффициозной газете, издававшейся в Кёльне с целью вырвать плевелы, посеянные «Рейнской Газетой». Молодой либерализм с первых же своих шагов восставал против налога на помол и убой скота, взимавшегося в больших городах вместо промыслового налога, как против несправедливого податного обременения бедных классов. Он делал это, руководясь наполовину идеологическими основаниями, на-половину же исходя, из тех же мотивов, которые делали хлебные пошлины неприятными английским фабрикантам. Он выступил с требованием, чтобы этот косвенный налог на хлеб и мясо был заменен для бедных классов промысловым налогом, а дефицит покрыт путем введения подоходного налога для более зажиточных классов. Правительство внесло соответствующий законопроект в соединенный ландтаг 1847 г.: оно предложило подоходный налог в размере 2% со всех доходов, превышающих 400 талеров, с повышением налога до 3%, если доход получается от имущества; размер дохода должен был объявляться самим плательщиком. Правительство защищало проект очень вяло, так как отнюдь не желало его принятия; оно внесло проект лишь для того, чтобы вероятным отклонением его скомпрометировать соединенный ландтаг в глазах масс, а самому без особых расходов потешить своим дружественным расположением к рабочим. Тонко

задуманный план, однако, не вполне удался. Князья, господа и рыцари соединенного ландтага, за некоторыми исключениями, яростно ополчились против правительственного законопроекта, тогда как значительная часть восточно-прусских и рейнских либералов была настолько честна или хитра, что твердо стояла на позиции. Кампгаузен и Ганземан живо выступили в защиту проектируемого подоходного налога, а Кампгаузен заявил даже, что в самом основании коммунизма и социализма лежит истина,— «та именно истина, что человек, который живет, имеет также право жить, и что это право должно быть признано обществом в более широком объеме». Среди крупного большинства, которым проект был отклонен, были сильнее всего представлены самые верные сторонники правительства.

Однако, другие либералы, и среди них очень видные корифеи рейнской буржуазии, как меноннит Беккерат,— капиталист, вышедший из рабочих и хваставший поэтому, что его колыбель стояла рядом с ткацким станком его отца,— попались в ловушку и говорили против подоходного налога, как притеснительной меры, опасного искушения для нравственности, шага к революции. Тут-то «Рейнский Наблюдатель» и зацепил своим христианско-феодально-социалистическим крючком. Подоходный налог — притеснительная мера? «Как, а разве не притеснение то, что бедный человек, которому с трудом достается хлеб, должен еще платить с него налог? Между тем, этот бедняк, наверно, объявил бы величину своего дохода, если бы последний был хоть сколько-нибудь достаточен». Подоходный налог — опасное испытание для нравственности? «Как, а положение бедняка, которого давят налогами и которому урезывают плату, это не есть искушение?» Подоходный налог ведет к революции? «Бесспорно, к преобразованию социальных отношений, к устранению безграничной нищеты. Он ведет и к коммунизму, который вовсе не изобретен коммунистами, а обещан уже в Общем Земском праве, освящен уже христианством». И с той же грацией дальше — до восхваления союза между престолом и пролетариатом.

Если христианско-феодальный социализм хотел показать подобными статьями, что он умеет не только бичевать противоречия либеральной буржуазии, но и привлекать к себе

сердца рабочего класса, то он не имел удачи. Для такого фокуса-покуса рейнский пролетариат был слишком умен; он выслушал благую весть, но уверовать в нее по основательным причинам воздержался.

Буржуазный социализм.

На свой лад буржуазия также пыталась помочь бедствующему пролетариату. Тогда, как и теперь, она любила изображать свои внутренние раздоры, напр., спор о свободе торговли и протекционизме, как борьбу, в которой она столь же великодушно, сколько геройски, приносит себя в жертву интересам рабочих классов.

Сверх этих ораторских фигур она находила удовольствие в спорте борьбы с пьянством и благотворительности, в учреждении фабричных касс, фондов для выдачи премий и тому подобных убогих реформах, имевших своею конечною целью укрепление господства буржуазии над пролетариатом посредством услуг, которые якобы оказывались рабочим ради них самих, но фактически должны были, по большей части, уменьшить для капитала издержки производства. Буржуазия уже тогда считала превосходным делом обращать пролетариев в довольных людей, под тем условием, чтобы, во-первых, не нести от этого никаких расходов, а если возможно — получать еще прибыль, и, во вторых, чтобы применяемые средства не будили классового сознания рабочих, но, по возможности, еще усыпляли его там, где оно уже проснулось.

Парадной пьесой буржуазного социализма было в 40-х гг. «Центральный Союз для блага трудящихся классов». Он был основан осенью 1844 г., когда голодный бунт силезских ткачей нагнал смертельный страх на возвышающуюся буржуазию, которая только что пред этим самодовольно любовалась своим отражением на берлинской промышленной выставке Союз должен был распространить свои филиальные отделения на всю Германию и взяться в корень за страдания пролетариата. При тогдашнем брожении и большой еще незрелости классовой борьбы, эта мысль принялась довольно хорошо. Воодушевление было велико, начиная от короля, обещавшего дать союзу 15 тыс. талеров (около 25 тыс. руб.), и кончая самой недовольной оппозицией, связывавшей с ферейном всякие прекрасные планы относительно приискания

занятий безработным и организации труда; оно проникло даже в ряды рабочих, из которых сотни заявили о своем желании вступить в союз.

То были прекрасные мечты, но на деле вышло совсем иначе. Хотя фабриканты из Центрального Союза в первом своем воззвании сами объявили необходимым «деятельное сотрудничество рабочих классов», но их убеждение очень скоро изменилось, когда они заметили, что не могут просто заставить плясать на ниточке выдрессированные куклы, а должны считаться с настоящими рабочими. Как только берлинский филиальный ферейн решил установить размер ежегодного членского взноса в 10 зильбегрошенов (около 50 к.) и устраивать еженедельные или месячные собрания, фабриканты заявили, что не следует вводить рабочих в новые денежные расходы, да и нет в наличности такого количества помещений, какое было бы необходимо для проектируемых собраний. К тому же они обладают сами основательнейшим пониманием того, что нужно народу; народ далеко еще не созрел для такого понимания, проектируемые собрания превратятся в якобинские клубы и арены для коммунистических дебатов. Само собою понятно, что эта скорбь нашла вполне сочувственный отклик у христианского государства, и берлинскому филиальному союзу было отказано в разрешении властей.

Еще более поразительные вещи разыгрались при учреждении кёльнского филиального союза. Бюргерс и Юнг, бывшие сотрудники «Рейнской газеты», предложили в учредительном собрании, чтобы ферейн назывался Союзом взаимообразования и взаимопомощи, дабы устранить из его названия всякий оттенок снисходящего патронажа. Едва это предложение было принято, как Лудольф Кампгаузен, наиболее уважаемый вождь рейнской буржуазии и человек со сравнительно еще наиболее широким кругозором, объявил о своем выходе из союза, при чем с похвальной откровенностью высказал в своем письме, что он не может участвовать в стремлениях, «способных побудить рабочие классы к более высоким притязаниям, усилить их недовольство своим положением, уменьшить их охоту к труду и, вместо того, чтобы обещать им удовлетворение существующих уже потребностей, пробудить у них новые потребности». Остальное и в Кельне

доделала полиция; то же повторилось всюду, где союзы для блага трудящихся классов хотели быть чем-нибудь большим, нежели средством для укрепления господства угнетающих классов путем обманывания угнетенных классов относительно причины их страданий. Самый несомненный патриотизм был бессилен оградить от подозрения в «космополитизме и филантропизме», раз он был связан с известной доброжелательностью к пролетариату: в берлинском собрании 1848 г. один из вождей правой, грейфсвальдский профессор Баумштарк, горько упрекал правительство, что оно умышленно затягивало разрешение балтийского филиального союза, который он с Родбертусом хотел основать, до тех пор, пока все дело не заснуло.

В конце-концов и сам Центральный Союз попал в подозрение к христианскому государству и социальной монархии: королевской ленты ему не выплачивали, и точно также не давали оффициального разрешения, сколько усердия он ни проявил в «пересмотре» своего устава. После мартовских дней, когда Союз ощутил в себе усиленное стремление морочить рабочих, он возвестил в пышном воззвании, что «узы смерти, уже державшие его в плену», наконец, спали с него; теперь он хочет показать свою «силу к жизни». Однако, «мощь, вернувшаяся благодаря свободе», так же мало помогла ему, как пожертвование короля, теперь действительно выплаченное. С пробуждением пролетариата социализм буржуа улетучился сам собою. Чем меньшие предвиделись отсюда прибыли, тем охотнее буржуазия отказывалась от бремени и удовольствия этого лицемерия. Правда, «Центральный Союз для блага трудящихся классов» еще и теперь процветает, как фиалка в тиши, оправдывая первоначальные намерения своих основателей: его деятельность исчерпывается тем, что он выпускает против рабочих, проникнутых классовым сознанием, всякие листки и трактатики, написанные с манчестерско-капиталистической точки зрения. Но никто не обращает на них внимания,— даже буржуазия игнорирует их, не говоря уже о пролетариате.

Для характеристики буржуазного социализма, даже в его лучшие дни, может служить его практическая деятельность по призрению бедных, подобно тому, как иллюстрацией христианско-феодального социализма является его принципиальное

законодательство о бедных. Буржуа берлинского попечительства о бедных выражали свою любовь к ближнему весьма странным образом; так, часто случалось, что когда дело шло о молодых матерях семейств, то дирекция перед выдачей пособия наряжала следствие, нет ли еще у этих несчастных молока для кормления грудью.

Социализм философствующих остроумцев.

Третья форма буржуазного социализма была по своим конечным результатам столь же реакционна, хотя совершенно искренно считала себя революционной. Представителями ее были Моисей Гесс, Отто Люнинг, Карл Грюн и некоторые другие писатели из рейнской области, из Силезии и королевства Саксонии; они, по большей части, пришли через Гегеля к Фейербаху и теперь, приведенные в ужас растущей нищетой пролетариата, хотели осуществить «истинного человека» при помощи французского социализма. Ими создан был целый ряд органов: «Общественное Зеркало», выходившее с лета 1845 г. до лета 1846 г., затем «Рейнский Ежегодник» и «Немецкий Справочник», книжки которых имеются за 1845 г. и 1846 г., далее — «Вестфальский Корабль», ежемесячный журнал, также начавший выходить в 1845 г., но просуществовавший до самой немецкой революции, наконец, несколько ежедневных газет, как «Трирская Газета».

Бесспорно, движение это имело свои светлые стороны. Сюда относилось прежде всего раскрытие бедственного положения пролетариата. Их журналы заключали в себе содержательные сообщения по этому предмету, которые и теперь еще можно читать с большой пользой. В «Немецком Справочнике» Вильгельм Вольф написал в смелом революционном духе историю силезских ткачей. «Рейнский Ежегодник» восхвалял Бабёфа и Марата, как истинных друзей голодающих масс. Здесь были осыпаемы едкими сарказмами смехотворные возражения, с которыми выступал против коммунизма буржуа, начиная с упреков в «дележке» и до горестного вопроса о том, кто должен чистить сапоги в «государстве будущего». Все эти темы уже и тогда были в ходу, с той небольшой разницей, однако, что знаменитый вопрос о чистке сапог теперь глубокомысленно обсуждается солидными

вождями свободомыслящей партии, между тем как в то время он служил только коммивояжерам желанным поводом для уничтожения социализма за послеобеденным десертом в гостинице. Гуманизм Фейербаха и анэрхия Прудона были центрами, вокруг которых вращался идейный мир Гесса и Грюна. Этим они как будто становились одновременно на высоту немецкого и французского умственного развития.

Фактически, однако, дело обстояло как раз наоборот. Вследствие быстрого развития индустриализма в Германии, разрешение общественных проблем философским путем стало и здесь служить на пользу реакции, а не революции. Между тем разбить чары философии Гесс и Грюн не были в состоянии. Поскольку они усвоили себе французский социализм, они оскопили его тем, что поняли его, как идеологическое умозрение относительно сущности человека, а не как литературное выражение классовой экономической борьбы, — чем он был в действительности. В существенном они цеплялись за искусственные социальные построения утопизма, которые затем при помощи всяких философских фокусов «снимались» и «преодолевались» в возвышенной пустоте гегелевских категорий; что же касается глубокой критики, которой утопизм подверг буржуазное общество, то они проходили мимо нее без внимания. Даже в Прудоне их интересовали гораздо больше его философские промахи, чем его меткие политико-экономические рассуждения.

Немецкая философия испортилась, впрочем, в их руках не меньше, чем французский социализм. Если Фейербах разоблачил христианского бога, как отчужденное существо человека, которому стоит только познать самого себя, чтобы избавиться от бога, то Гесс говорил, что деньги играют в экономической области ту же роль, какую бог играет в философской: стоит только человеку познать себя самого, как деятельного члена человеческого общества, как творческое, всемогущее существо, и он избавится от денег, а, следовательно, и от всего хлама бесчеловечной действительности. Этому удивительному социализму Гесс старался придать правдоподобие тем, что переводил без дальнейших околичностей экономические понятия в философские. Но когда он возвещал курсивом, что «материальная собственность, это — обратившееся в навязчивую идею для-себя-бытие духа», то это оракульское

изречение не могло померяться даже с самой причудливой картиной будущего, рисуемой утопизмом. В свою очередь, Грюн претворял фейербахово восхваление любви в несносную любовную высокопарность, при помощи которой он разрешал все виды борьбы, происходящей среди человечества, в розовую гармонию, — вплоть до очевидной фантазии, что все производство будет некогда осуществляться в играх детей.

При всем том было бы несправедливо судить об этой разновидности немецкого социализма исключительно на основании резких критических замечаний, которые Маркс и Энгельс посвятили ей в Коммунистическом Манифесте. В особенности может быть лишь условно поддерживаем худший упрек, который делался ей — что она играла в руку до-мартовской реакции. Правда, высокомерное пренебрежение, с которым социализм философствующих остроумцев любил отзываться о либеральных стремлениях буржуазии, косвенно облегчал положение абсолютизма. Оппозиция буржуазии на бессильных провинциальных сеймах была, при всей своей робости, все же гораздо более неудобна берлинскому правительству, чем перевод французского утопизма на испорченный гегелевско-немецкий язык. Но намерение послужить реакции «в качестве желанного пугала против грозно поднимающейся вверх буржуазии» было очень далеко от «истинного социализма», как окрестил его Грюн. В своем роде он действительно хотел быть революционным; он упускал только из виду, что революционное на почве современного буржуазного общества должно было стать реакционным там, где этой почвы еще не было и где ее еще только приходилось завоевывать.

Если бы Маркс и Энгельс видели когда-нибудь в «истинном социализме» лже-брата, то они не сотрудничали бы сами в его журналах. Что касается их, то они никогда не были «истинными социалистами»; когда «истинный социализм» начал в 1845 г. распространяться по Германии, они уже давно ушли от него вперед. Но они не сделали того, в чем их так часто и всегда несправедливо упрекали: они не отнеслись с высокомерным самомнением к неразвитой еще форме движения, а старались толкать эту форму дальше в своем развитии. Так, Энгельс основал вместе с Гессом «Общественное Зеркало», для которого Маркс также дал статью, несмотря на то, что Гесс заявил в программной статье

названного журнала: «Мы не только равнодушны ко всем политическо-либеральным стремлениям, они внушают нам прямое отвращение». Если, таким образом, Маркс и Энгельс пошли навстречу «истинному социализму», в лояльном предположении, что плохие музыканты вполне могут быть хорошими людьми, то они поступили не менее лояльно, когда выступили против него в его собственных периодических изданиях, как только обнаружилось, что эти хорошие люди не думают отказываться от своей плохой музыки.

Спустя год после основания «Общественного Зеркала» Энгельс писал в «Немецком Справочнике» за 1846 г.: «Немцы решительно начинают портить также коммунистическое движение. Будучи и здесь, как всегда, последними и самыми инертными, они думают скрыть свою сонливость презрением к своим предшественникам и философским бахвальством. Коммунизм еще едва существует в Германии, а уж он монополизирован целой армией спекулятивных*) голов, которые полагают, что делают удивительно много, если переводят на язык гегелевской логики положения, ставшие уже избитыми во Франции и Англии, и возвещают миру эту новую мудрость, как нечто никогда еще небывалое, как «истинно-немецкую теорию», чтобы иметь затем возможность во все свое удовольствие бросать грязью в «плохую практику», в «возбуждающие улыбку» социальные системы ограниченных французов и англичан». Энгельс изложил «этим мудрым господам» маленькую главу Фурье о торговле для того, чтобы они могли поучиться из нее. «Правда, Фурье не исходил из гегелевской теории и потому не мог, к сожалению, притти к познанию абсолютной истины, не мог притти даже к абсолютному социализму. Правда, Фурье из-за этого недостатка был введен в соблазн и поставил метод серий на место абсолютного метода, так что, в конце-концов, конструировал превращение моря в лимонад, антильва и совокупление планет. Но если уж дело на то пошло, я все же предпочитаю верить вместе с жизнерадостным Фурье во все эти россказни, чем в абсолютное царство духов, где нет никакого лимонада, или в тожественность бытия и небытия и совокупление вечных категорий. Французская бессмыслица,

*) Отвлеченно мыслящие.

по крайней мере, веселая, тогда как немецкая бессмыслица уныла и глубокомысленна».

Сообщив затем отрывок из Фурье, Энгель продолжал: «Право же, немцы должны бы, наконец, перестать так носиться со своей основательностью. Имея в руках две с половиною тощих даты, они в состоянии не только связать вам сотое и тысячное, но и привести их в связь с мировой историей. На основании первого попавшегося факта, который дошел до них из третьих рук и относительно которого они не знают даже, произошел ли он так или иначе, — на основании такого факта они доказывают вам, что он должен был произойти именно так, а не иначе... Вот почему немецкий «абсолютный социализм» так страшно беден. Немножко «человечности», как стали последнее время титуловать эту вещь, немножко «реализирования» этой человечности или скорее чудовища, кое-что относительно собственности по Прудону — из третьих или четвертых рук, немножко о бедственном положении пролетариата, об организации труда, об убожестве союзов для улучшения быта низших классов народа, вместе с безграничным невежеством относительно политической экономии и действительного общества, — вот и вся история, которая теряет к тому же последнюю каплю крови, последний след энергии и силы, благодаря теоретическому беспристрастию, благодаря «абсолютному спокойствию мысли». И этой-то скукой хотят революционировать Германию, привести в движение пролетариат, заставить массы думать и действовать?» В заключение Энгельс советовал «абсолютным» и «истинным» социалистам сначала осведомиться, как следует, относительно того, что было сделано до них, и затем показать, что они могут сделать. Понятно, однако, что ни своей серьезностью, ни своим юмором он не поколебал неподвижного самосознания философствующих, державших весь видимый и невидимый мир плененным в сетях своих гегелевских понятий.

Результатом внутренней неясности социализма философствующих остроумцев было то, что, отнюдь не представляя собою чего-либо сплоченного, он все же в продолжение нескольких лет имел большое распространение в Германии. Самым значительным умственным представителем его был Моисей Гесс, который еще раньше Маркса и Энгельса сделал

поворот к социализму, но никогда не отваживался порвать с философией, во всяком случае делал это лишь скрепя сердце. Скорее о нем, чем о Марксе, можно было бы утверждать, что это была схоластическая голова, находившая полное самоудовлетворение в рассекании и расщипывании понятий. Однако даже к Гессу этой характеристики нельзя прилагать безусловно, ибо несколько узкий и сухой ум его, более склонный к тонким мудрствованиям, нежели острый, никогда не мог настолько сбить его с толку, чтобы его благородное сердце не привело его опять туда, где лежали действительные интересы рабочего класса. Гесс посвятил полную лишений жизнь эмансипации пролетариата и, будучи уже стариком, боролся в рядах германской социал-демократии, шедшей совершенно иными путями, чем те, которые он хотел предуказать в свои молодые годы. Как раз в брюссельский период Маркса и Энгельса он часто встречался и работал с ними: он старался проникнуться их миросозерцанием и охотно подчинялся умственному превосходству Маркса, которое хорошо сознавал. Однако он не сумел освободиться вполне от идеализма, который вызывал затем каждый раз новые трения и взаимные неудовольствия.

Не столько философом, сколько политиком был Отто Люнинг. В своем «Вестфальском Корабле» он стремился к лаврам Луи Блана и соответственно с этим меньше всего грешил вылазками против либеральной оппозиции, но зато, подобно своему французскому прообразу, отступал тем беспомощнее в буржуазную сторону, чем больше обострялась классовая борьба между буржуазией и пролетариатом. Что касается bel esprit (остроумца) этого социализма, то он нашел своего классического выразителя в Карле Грюне. Это был чистейшей воды журналист, в неприятном значении слова, лишенный всякой глубины и даже всякой серьезности, столь же решительный в приговорах, сколько поверхностный, с печатью пошлости, которую случайные, остроумно-звучащие фразы могли скорее выставить в ярком свете, чем замаскировать; Маркс и Энгельс справедливо видели в нем несноснейшего из «истинных социалистов», особенно, когда он отправился в 1844 г. в Париж и написал там свою книгу о социальном движении во Франции и Бельгии. Здесь Грюн изобразил великих утопистов путаными головами; в то же

время он усердно старался — к сожалению, не без успеха — путем прививки своей дурно понятой гегельянщины сделать из остроумного Прудона скучного педанта.

При всей своей туманности социализм философствующих остроумцев не явился, однако, на сцену, как пустая фантазия отдельных кабинетных людей. В нем отразился страх немецкого мелкого буржуа пред призраком классовой борьбы, которая угрожала надвинуться на его летаргическое существование. Именно этому мещанину «истинный социализм» внушал приятное сознание, что он стоит на недостигнутой еще доселе высоте человечества и, словно новый спаситель мира, ходит по морю революции, не замачивая себе даже подошвы башмаков. Этим объясняется эпидемическое распространение социализма философствующих остроумцев пред мартовскими днями, также как бесследное исчезновение его после них.

Макс Штирнер.

Иным путем, чем Гесс и Грюн, пытался превратить в живую действительность абсолютную идею Гегеля, самосознание Бауэра, гуманизм Фейербаха и анархию Прудона уроженец Франконии Каспар Шмидт. Он принадлежал к берлинским «свободным», и на его счет приходится немалая доля в их мании гениальности, хвастовстве и одичалом филистерстве. Но так как на-ряду с этим в нем были черты философа и революционера, то он сумел завоевать себе место в истории, в известном смысле даже рядом с Марксом и Энгельсом. Философские размышления об «Единственном и его достоянии», которые он опубликовал под псевдонимом Макса Штирнера, обозначают границы идеалистической философии в одном направлении, подобно тому, как появившееся тотчас после этого «Святое семейство» Маркса и Энгельса обозначило эти границы в другом направлении. Как и «Святое семейство», книга Штирнера представляет с внешней стороны полемику с «Всеобщей литературной газетой» Бауэров.

Один профессор философии несправедливо хотел видеть в книге Штирнера не более, как сатиру на Фейербаха. Штирнер вполне серьезно хотел по-своему совлечь на землю фейербаховского человека, все еще восседавшего на престоле в заоблачном мире. Разница была лишь та, что «единственный»,

которого он мог сделать живым, не был человек вообще, а известный человек, самый передовой сорт человека, какой был знаком в до-мартовском Берлине полуголодному школьному учителю Каспару Шмидту: это был буржуа, с его собственностью и капиталом, который не хотел больше составлять предмет нежной опеки деспотизма, а стал достаточно сильным, чтобы жить сам по себе, среди безграничной конкурренции и всецело наслаждаясь своим бытием. Штирнер был слишком философом и революционером, чтобы не чувствовать резкого противоречия между своим философским идеалом человека и этим смешным порождением из навоза и огня; это чувство и было источником тех искр отчаянного юмора, которые навлекли на его книгу подозрение, что она простая забава ума и остроумия.

Одного лишь Штирнер не мог сделать живым: своего философского идеала, человека вообще, того «Я», для которого нет ничего выше себя, которое для сохранения своей особенности сбрасывает с себя все узы, налагаемые на него совестью, правом, нравами, законом, семьей, обществом, государством. Это «Я» было таким же абстрактным понятием, как человек Фейербаха; мало того, благодаря тому, что оно хотело доказать свою действительность, абстрактность его становилась еще более очевидной. Человек — общественное существо: как человек он может жить только в человеческом обществе и через него; как одинокое «Я» он дичает до степени животного. С этим соглашался и Штирнер, но он старался обойти этот неопровержимый факт своими «союзами эгоистов», добровольными соединениями, в которые каждое «Я» вступает, как только этого требуют его эгоистические интересы, и в которых оно остается лишь до тех пор, пока это отвечает указанным интересам. Такие союзы заключали в себе, однако, внутреннее противоречие, ибо предпосылкой всякого союза, желающего действовать и созидать как таковой, является то, что отдельные члены жертвуют своими личными целями настолько, насколько этого требуют общие цели. Во всяком союзе «Я» именно и перестает быть «единственным».

Характер системы Штирнера был таков, что она должна была основательно разоблачить буржуазное и христианское лицемерие, умевшее столь красноречиво рассказывать о

самоотверженных добродетелях господствующих классов, об их преданной любви и нежности к классам подчиненным. Штирнер осмеивает эту иллюзию больше, чем какую-либо другую. Он говорит господствующим классам: «От вас я не требую ничего, ибо чего бы я ни потребовал, вы все-таки останетесь властными законодателями и должны быть ими, так как ворон не может петь и разбойник не может жить без грабежа». Он издевается над разговорами о «вековой несправедливости» богатых по отношению к бедным. Богатые поступают так, как должны поступать, и были бы глупцами, если бы поступали иначе. В действительности неправильно поступают бедные. «Юридическою или правомерною собственностью другого будет лишь то, что ты готов считать его собственностью. Раз она перестает признаваться тобою, она теряет для тебя правомерность, и абсолютное право на нее ты поднимаешь на-смех... Зачем сваливать на других вину, утверждая, что они грабят нас когда мы сами виноваты, оставляя других неограбленными. Бедные виноваты в том, что существуют богатые... Прудон мог бы сберечь свой велеречивый пафос, если бы сказал: существуют некоторые вещи, принадлежащие лишь немногим, и отныне мы, прочие, желаем предъявить притязание или... начать охоту на них. Давайте, возьмем их, ибо собственность добывают тем, что ее берут, и та собственность, которой мы пока еще лишены, также попала этим путем к своим собственникам. Ее можно будет лучше использовать, когда она будет находиться в руках у нас всех, чем когда ею распоряжаются немногие. Соединимтесь поэтому в целях этого грабежа». Но эта ассоциация тотчас же уничтожает «особность» единственного; каждая стачка показывает, как быстро эгоистический интерес сталкивается в этом случае с общим. Штирнер по-своему проповедует классовую борьбу, но согласно его же теории единственный и его собственность являются в этой борьбе лишь в роли нарушителя стачки и его грехом добытой платы.

Желая облечь в плоть и кровь туманный образ философского человека, Штирнер против своего желания разрешил его в пустое ничто. В полную противоположность Штирнеру Маркс и Энгельс добровольно бросили все туманные образы и стали искать действительного человека там, где его только

и можно найти: в историческом развитии человеческого общества. Они искали его не в философии, а в экономии.

Но история идей отражает лишь историю действительности. В Западной Европе уже началась пролетарская классовая борьба, когда в восточной Германии еще только начиналась капиталистическая борьба конкурренции. Первая оказала влияние на взгляды Маркса и Энгельса, как вторая повлияла на воззрения Штирнера. Никто не разглядел этого так скоро и отчетливо, как буржуа, сидевший в идеологе Руге. Руге стал тотчас же расхваливать Штирнера, как противоядие против Маркса и Энгельса. Он неоднократно называл сочинение Штирнера «освободительным подвигом» и писал: «Книгу следовало бы поддержать и пропагандировать. Она представляет собою освобождение от глупейшей из всех глупостей, от социальной догматики ремесленников, этого нового христианства, которое проповедуют нищие духом и осуществление которого привело бы нас к низменной жизни овчарни». Правда, революционный дух, веющий от книги Штирнера, бил сильно в нос филистеру Руге, но он сумел вывернуться из этого затруднения. Он заявлял, что одну «глупость» Штирнер бесспорно заимствовал у Маркса и Энгельса, ту именно, что он «хочет выскочить из действительного мира». «Как общее состояние, это — безрассудство, лишь в отдельном случае оно истинно», или в другой формулировке Руге: «открытый эгоизм у Штирнера есть истина, эгоизм же в виде тайного учения, как у Маркса есть лицемерие», или переводя эти положения на настоящий язык капиталистов: «для пролетариата — безрассудство, для буржуазии — истина; для буржуазии — эгоизм, для пролетариата — самоотречение». Но Руге не забывал сути из-за внешней оболочки; квинт-эссенцией Штирнера являются для него энергичные слова: «полагайся на себя самого; кто полагается на других, тот уже достаточно покинут»*). Это была та же песенка, которою 20 лет спустя чистые фритредеры**) пытались морочить вновь ожившее рабочее движение.

*) Игра слов в немецком подлиннике: «Wer sich auf andere verlässt, der ist chon verlassen genuq».—Кто полагается на других, тот уже достаточно покинут.

**) Сторонники свободной торговли.

Действительно, с безошибочным классовым инстинктом Руге тотчас нашел простой способ извлечь сладкое ядро из жесткой скорлупы. Решимость не выходить из действительного мира, трезвое понимание того, что «нам нет надобности еще только стремиться к лучшему из миров, ибо мы уже имеем его», были вполне достаточны, чтобы из штирнеровского революционного разложения всего существующего сделать плоское евангелие свободной торговли. Если не считать спора о таможенном тарифе, то фритредерское евангелие было впервые возвещено в своей принципиальной красоте переселившимся в Германию англичанином, бравым Джоном Принс-Смитом, доказывавшим на свой ограниченно-упрямый манер, что Пруссия уже более чем созрела «для легализации фактической власти денег путем конституционных законов». Для немецкой идеологии это было еще пока неудобоваримое блюдо, и Юлиус Фаухер уселся сначала как благоговейный ученик у ног Штирнера, чтобы у него научиться громким формулам, при помощи которых можно было бы потом всеобщее гешефтмахерство разукрасить в тысячелетнее царство человечества. В своем первом органе, берлинской «Вечерней Почте» молодая школа немецких фритредеров проповедывала упразднение морали и государства, в вольном подражании Штирнеру и вполне в интересах сладостной коммерции.

В других отношениях сочинение Штирнера не оставило осязательных следов в немецкой жизни. Положить основание философской школе оно не могло, так как именно словом и делом возвещало банкротство философии; как благая весть анархизма, оно было приветствовано лишь десятилетие спустя за-границей, и не потому, чтобы Штирнер был или хотел быть анархистом в смысле какой-нибудь школы, а потому, что он нарисовал картину анархического состояния общества с парадоксальной основательностью немецкого школьного учителя и с последовательностью логика, прошедшего школу Гегеля.

Государственный социализм Родбертуса.

Немецкие фритредеры были любители наживы и деятельные люди. Их практическая цель гласила — снести все преграды, мешающие капиталистической конкурренции, их пароль — предоставить все собственному течению, так как свет движется

сам собою. Они говорили, что инстинкт приобретения одинаково властвует над человеком при всех обстоятельствах и во все время; стремление к возможно большей прибыли само собою вызывает наибольшую гармонию в человеческом обществе. Они примыкали к английской манчестерской школе, и Фаухер сделался даже впоследствии секретарем Кобдена; из классической экономии они взяли не больше, чем им нужно было, т.-е. довольно немногое: несколько понятий и слов, которые они вырвали из общей связи и приспособили к своим деловым целям.

Как застрельщики капитализма, фритредеры стояли в более или менее резкой оппозиции к до-мартовским правительствам, которые все еще не могли оторваться от чудесных феодально-цеховых порядков. Их не приглашали на университетские кафедры, и так как они умели находить гораздо более прибыльные занятия, то они отнюдь не добивались академических почестей. Тем позволительнее было ожидать, что патентованные представители экономической науки, из года в год разжевывавшие Адама Смита и Давида Рикардо, хотя бы только в искаженной мелко буржуазной форме,— что они выступят против неправильной ссылки капиталистических фритредеров. Этого, однако, не случилось, или же оно произошло весьма странным образом. Профессорская мудрость говорила манчестерской предприимчивости: твоя ссылка на классическую экономию не так плоха, но классическая экономия несколько заблуждалась. В 40-х г.г. в немецких университетах возник «исторический метод» народного хозяйства, и это светило засияло скоро могучим блеском.

Если бы приверженцы этого метода хотели доказать, что воззрения классической экономии не были непогрешимыми истинами, а исторически возникшими учениями, и потому, хотя имеют историческое оправдание, но исторически преходящи,— то они вступили бы на путь действительного прогресса. Теории Адама Смита и Рикардо представляли собою, употребляя гегелевское выражение, способ производства их времени, выраженный в идеях; эти писатели были теоретиками мануфактурного периода и, пожалуй, также начинавшейся крупной фабрично-заводской промышленности. Конечно, они при этом не могли видеть дальше своего времени, тем более не могли, чем яснее они разбирались в нем; они

принимали экономические порядки своего времени за осуществление вечных законов природы, которые после продолжительного и полного ошибок доисторического периода пробились, наконец, наружу и отныне не могут быть ничем поколеблены. Но когда они думали так, то это была их особая историческая ограниченность, тень к тому свету, который они проливали на законы народного хозяйства. Если бы немецкие преподаватели науки о народном хозяйстве хотели быть не простыми только подражателями, а самостоятельно развивать ее дальше, то их дело было бы устранить эту историческую ограниченность, чему уже было положено много-обещающее начало в английском и французском социализме.

Не это, однако, понимали немецкие профессора под своим «историческим методом», и чем больше обострялись на практике экономические противоречия в Германии, тем больше их боязливые души содрогались пред перспективой быть вырванными из своих тихих аудиторий на арену столь ожесточенной борьбы. Учения Адама Смита и Рикардо именно потому, что они были истинно историческими продуктами, а не выдуманы из головы, нанесли последний удар феодальному миросозерцанию и заключали уже в себе первое смутное начало социалистического мировоззрения. То и другое было одинаково неприятно верным слугам романтически-настроенных государей. При таких обстоятельствах для этих верноподданных патриотов вышло весьма удобно, что радикальные фритредеры отшлифовали учение классической экономии в несколько абстрактных и тощих понятий, на фоне которых тем ярче могли выделяться полнота и блеск «исторического метода». Этот метод был не чем иным, как весьма неисторической попыткой уклониться от логических следствий исторической эволюции, или в лучшем случае, примирить непримиримое. Под покровом «историчности» можно было защищать отсталые формы производства, занимавшие еще так много места в Германии, защищать то против капиталистической, то против социалистической аргументации; укрываясь за мощными нагромождениями исторических замечаний и замечаньиц, можно было обмениваться, смотря по обстоятельствам, любовными или гневными взглядами то с феодализмом, то с капитализмом, то с социализмом.

Главою этого направления был Вильгельм Рошер в Геттингене. Руководимый правильным инстинктом, он начал с того, что назвал свой метод подражанием тому методу, при помощи которого историческая школа права пыталась повернуть назад колесо истории. Отказавших от критического исследования современного процесса производства и недвусмысленного формулирования его результатов, он сравнивал, напротив, всевозможные народы и времена, чтобы из большой массы исторических явлений извлечь закономерное и существенное. Он хотел не уяснить, а затушевать отличительные особенности капиталистического способа производства. Вместо того, чтобы проследить типическое развитие английских и французских условий, он изучал «в особенности» древние народы, при чем из бесспорного факта, что «их эволюции во всяком случае совершенно закончены», выводил сомнительное заключение, будто античное народное хозяйство в тех случаях, когда оно имеет известное сходство с современным, дает «неоценимую руководящую нить» для суждения. При помощи этого замечательного метода Рошер перебивался в течение полувека в роли «маститого учителя политической экономии», благополучно отвечая невнятным да и нет на все экономические вопросы, которые в течение этого продолжительного периода времени настойчиво требовали ясного да или нет. Впрочем, он был человеком большой учености, и известное почтение к классическим представителям буржуазной экономии мешало ему все-таки третировать их как «мертвых собак»,— в такой мере, как это стало скоро модным при его гораздо менее ученых и гораздо менее добросовестных подражателях. «Исторический метод» выродился в совершенно беспринципную политику оппортунизма, которая умела раздувать всякую мелочь феодально-цехового строя в замечательное историческое явление и даже в лучших своих произведениях лишь переживала, якобы как замечательные открытия, то, что отнюдь не было упущено из вида Смитом и Рикардо, а, напротив, было прямо указано ими.

В сороковых годах был только один немецкий ученый, действительно стоявший на высоте классической экономии и сумевший до известной степени развить ее дальше, но он не принадлежал к патентованному цеху. Карл Родбертус происходил из академических кругов. Его отец был профессором

права в Грейфсвальдском университете, его дедом с материнской стороны был известный в XVIII столетии физиократ Шлеттвейн, который практически помогал маркграфу Карлу-Фридриху баденскому при устройстве сельских общин согласно физиократическим началам, затем читал лекции в Базеле и Гиссене и, наконец, закончил свое жизненное поприще, как сельский хозяин в мекленбургском поместье, принесенном ему в приданное женою. Умственное развитие Родбертуса нельзя выводить непосредственно от этого деда, умершего еще до его рождения, но все-таки унаследованное соединение ученого занятия с практическим опытом и экономической независимостью крупного сельского хозяина подействовало весьма благоприятно на развитие его природных дарований. Родбертус усвоил в немецких университетах юридическое и философское образование того времени, затем прошел первые ступени прусской бюрократии, научился оценивать социальные проблемы в силезских окружных управлениях в Бреславле и Оппельне, по выходе в отставку путешествовал долго по Англии и Франции, затем изучал опять историю и экономию в Гейдельберге и Дрездене и наконец, уже в 30 лет приобрел рыцарское поместье Ягецов в передней Померанции, где мог жить, пользуясь приятным досугом и согласно своим склонностям, не заботясь о расположении или немилости окружающего мира, но, понятно, оторванный также от жизни и деятельности последнего.

Первая же статья о требованиях рабочих классов, которую Родбертус хотел поместить в 1839 г. в «Аугсбургской Всеобщей Газете», но которую он получил обратно от этого профессорского органа, как несвоевременную фантазию, показывает нам его на такой высоте экономического понимания, какой тогда не достиг еще ни один немецкий исследователь. Когда Родбертус лет 30 спустя издал эти пожелтевшие листы, то вправе был сказать, что они содержали уже целую систему, в правильности которой он с течением времени все больше убеждался. Это была несколько двусмысленная похвала самому себе, ибо она могла означать и действительно означала лишь то, что Родбертус в существенных чертах продолжал оставаться на той же самой точке, до которой дошел около 1840 г. Тем не менее он всегда стоял значительно выше всего, что дали в области экономической науки оффициальные

и буржуазные сферы. Как в 40-х г.г. он далеко возвышался над Рошерами и Листами, так он в 50-х и 60-х г.г. блестяще побил мелких разносчиков свободной торговли, в 70-х — критиковал катедер-социализм, как безнадежную половинчатость, и, умирая, предсказал,—бесспорно социальный ясновидец в этом отношении,—что в социальном вопросе слава Бисмарка найдет свой «русский поход». В этих пределах Родбертус выказал себя величайшим немецким политико-экономом, как его назвал раз Лассаль.

Родбертус никогда не соглашался пойти вспять в сравнении с классической экономией. «Историческому методу» немецких университетских экономистов он противопоставил истинно-исторический принцип, сказав: «социальной реакцией, как вообще реакцией, для меня является всякий институт, который существовал и разложился, но который нам предлагают, тем не менее, ввести на будущее время, несмотря на то, что условия его существования несовместимы с исторической жизненной ступенью этой будущей эпохи». Родбертус всегда высказывался в пользу свободы передвижения и свободы промыслов; он осмеивал попытки восстановления цехов, как «миражи, туманные образы, оптические обманы»; он отвергал протекционизм и объявлял свободу торговли лучшей частью системы Ад. Смита; он клеймил реакционных «политиков», которые хотят выбросить рабочим кусок, чтобы заручиться поддержкой пролетариата для своих эгоистических целей: он доказывал, что страхование на случай старости, инвалидности и болезни не затрогивает сути рабочего вопроса; он издевался над представлением, что можно подавить справедливые притязания рабочих при помощи полиции и пушек или при помощи нравственных проповедей и даже одного только школьного обучения. Для него не существовало никакого «назад», как он заявлял с самого начала, а одно только «вперед», ибо общество сожгло за собой корабли.

Соответственно с этим Родбертус старался сделать из теории ценности Рикардо социалистические выводы. Такую попытку заключает в себе уже первая его статья и затем—в том же направлении, но более подробно—его первая книга, которую он выпустил в свет в 1842 г. под заглавием «К познанию состояния нашего государственного хозяйства». Для Германии это был весьма значительный шаг вперед, но только

для Германии, ибо то, что сказал Родбертус, было — за исключением одного пункта—давно сказано так же хорошо, если не лучше, в Англии или во Франции; Родбертус был очень хорошо знаком с литературой по политической экономии и социализму, появившейся в этих странах до 1840 г. Впоследствии он заявлял, что, кто не знает литературы по социальному вопросу с 1818 г., когда никто еще не думал о Лассале и Марксе, тот не знает лучшего, что в ней есть, а 8 лет спустя после основания Интернационала и 5 лет спустя после появления «Капитала» Маркса он способен был написать изумительное суждение, что ни в науке, ни в рабочих собраниях обсуждение социального вопроса не поднималось вновь на ту высоту, с которой он трактовался в 20-х и 30-х г.г.

В какой мере Родбертус черпал непосредственно из английской и французской литературы или в какой мере, получив от нее первоначальный толчок, он самостоятельно сделал свои выводы из Рикардо, трудно установить в деталях, потому что сам Родбертус был столь же ленив насчет цитирования, насколько он ревниво оберегал от посягательств третьих лиц свои мнимые или действительные авторские права на социалистические идеи. Он направо и налево бросал упреки в плагиате, даже против людей, которые, подобно Марксу, были представителями мировоззрения, диаметрально противоположного его собственному во всех основных пунктах. Вопрос этот имеет, однако, для историка социализма гораздо меньший интерес, чем для биографа Родбертуса. Первый из них должен удовлетвориться тем фактом, что социалист Родбертус, все равно, как и откуда к нему пришла его наука, не сказал ничего такого, что не было бы столь же хорошо или даже лучше сказано уже в литературе английско-французского социализма, за исключением одного пункта—государственного социализма, означавшего не прогресс, а огромный попятный шаг, как в сравнении с крупно-буржуазным утопизмом, так и в сравнении с мелко-буржуазным социализмом Западной Европы.

В самых ранних своих произведениях Родбертус сравнительно часто цитирует Сисмонди. Уже в первой своей статье он, не называя прямо Сисмонди, ссылается, однако, на него, как «на экономиста, имя которого вызывает представление не только о знаменитости, но и гуманности», в подкрепление

закона, связываемого обыкновенно с именем Рикардо,—закона согласно которому заработная плата тяготеет в капиталистическом обществе к необходимым средствам существования, требующимся рабочему для поддержания своей рабочей силы, и продолжения рода. Но как раз против Рикардо Сисмонди отстаивал объяснение торговых кризисов фактом недостаточного потребления рабочих классов, и это объяснение было основной мыслью теории Родбертуса, к которой все остальное относится, по его собственному признанию лишь как придаток в видах разъяснения и обоснования. Отсюда не следует, однако, прямо заключать, что Родбертус заимствовал у Сисмонди свою основную мысль, на которую он заявлял авторские права, как на совершенно новую. Еще до Сисмоди мы встречаем подобное же объяснение торговых кризисов у Оуэна, и именно следы Оуэна очень ясно видны в первой статье Родбертуса, хотя Оуэн не упоминается здесь даже в форме намека.

В своей первой статье Родбертус следующим образом рисует общественную организацию, при помощи которой каждому были бы наиболее обеспечены плоды его труда: «Нужно упразднить собственность, приносящую владельцу ренту без труда с его стороны, но тем прочнее утвердить собственность на продукт труда. Земля и капитал должны стать общественной собственностью, но то, что создается при помощи этих орудий труда сверх воспроизведения капитала, должно быть собственностью рабочих соразмерно произведенной ими работе. Такой порядок признал бы юридическое начало, что труд есть не только конститутивный, но и распределительный принцип собственности. С сен-симонистским порядком он имел бы ту общую черту, что отсутствовала бы всякая собственность, приносящая ренту, но он значительно различался бы от него в том отношении, что смотрел бы на собственность, приведенную к указанной сейчас естественной мере, как на составную, интегрирующую часть правового порядка; то, что там оставалось бы произволом высших, здесь получило бы свое обоснование и свою меру в собственном праве индивидуума. Если проследить трудовой хозяйственный принцип в работах рикардовской школы, если разобрать тщательно рикардовское вычисление реальной ценности, по которому последняя—не исключая части переходящей в продукт

из постоянного капитала—разлагается в рабочее время; если принять затем в соображение, что основание, на котором покоилось бы в предполагаемом нами строе притязание рабочего на собственность, есть также только затраченное рабочее время, и что таким образом дано мерило и для принадлежащего рабочему права и для равноценного количества хозяйственных благ; если сделать еще шаг дальше и основать на этом общем мериле указанного права и ценности благ новые деньги,—*такого* рода деньги и *таким* способом введенные в обращение, чтобы они в различной форме того же рабочего времени составляли для рабочего удостоверение о хозяйственном благе, которое он в течение определенного промежутка времени внес в экономический оборот, и следовательно, являлись вместе с тем чеком на столько же других благ любого рода; если подумать, что никакие деньги не давали бы больших гарантий, чем эти деньги, которые всегда можно было бы реализовать по одинаковой ценности,—если основательно взвесить все эти указания, то нужно будет сознаться, что такой порядок не заключал бы в себе ничего невозможного или вредного для производства». То, что Родбертус рисует в этих непомерно длинных предложениях, есть не что иное, как специальная утопия оуэновского социализма. Этот факт не может быть поколеблен ни тем обстоятельством, что Родбертус развивает идею так, как если бы она исходила от него, в чем он мог бы сам ошибаться, ни тем, что несколько десятилетий спустя он уверял, будто при составлении первых своих работ не знал о практических попытках, сделанных Оуэном уже в 30-х г.г. для осуществления своей утопии, и о неудаче, постигшей их.

Утопия Оуэна была идеалом Родбертуса, превосходно изобразившего не только возможность общей собственности на землю и орудия производства, но и громадный прогресс, какой получился бы отсюда для человечества. Все это было, однако, для него только надзвездным идеалом: человечество должно было кочевать «в пустыне» приблизительно еще пол-тысячелетия, пока оно достигнет «обетованной земли освобождения от собственности на землю и капитал». Так решил Родбертус,—ибо экономических и вообще осязательных доводов в пользу необходимости такой, несколько длинноватой переходной стадии он никогда не представил. В своей

первой статье он один раз говорит, что настоящее слишком далеко от осуществления идеала, чтобы стоило подробнее останавливаться на последнем, другой раз — что все хотели бы достижения рабочими большей имущественной обеспеченности, только не насчет землевладения или капитала. Позже он заявлял, что в течение упомянутого полутысячелетия человечество не может обойтись без того принуждения к труду, которое обусловливается фактом существования собственности, приносящей ренту. Все это и тому подобные вещи было в лучшем случае выражением искреннего убеждения, не смущаемого, однако, никакими объективными точками зрения.

Тем не менее, Родбертус открыл выход, который должен был сделать сносной полутысячелетнюю подготовительную ступень к общей собственности. Последовательно проводя положение Смита-Рикардо, что все блага в хозяйственном отношении только продукты труда и ничего, кроме труда, не стоят, он хотел создать бумажные «рабочие деньги» на манер Оуэна, но не с целью обеспечить каждому плоды его труда или уменьшить поземельную ренту и прибыль на капитал, даже не с целью помешать возвышению последних, а исходя из гораздо более скромного намерения — гарантировать при помощи этих рабочих денег средство, которое дало бы государству возможность при возрастающей производительности труда повышать заработную плату в пропорции, соответствующей росту поземельной ренты и прибыли на капитал. Если, напр., из всего продукта, созданного трудом, одна треть приходилась до сих пор на поземельную ренту, одна треть — на прибыль, и только последняя треть — на заработную плату, то указанное отношение следовало сохранить и в будущем, так чтобы заработная плата участвовала на одну треть в возрастающем продукте труда, наравне с поземельной рентой и прибылью на капитал. Эта утопия лишь тем отличалась от прочих утопий «рабочих денег», идею которых защищали Оуэн и даже Грей, а впоследствии Прудон, что по своим средствам и целям она была еще более тщедушной, еще более невозможной, если существуют степени невозможности. Каким образом государство должно было выполнить возлагаемый на него кунстштюк, это Родбертус открыл лишь в туманных намеках на нормальный рабочий

день, а затем он всегда ссылался на непогрешимые рецепты, имеющиеся у него в кармане,— рецепты, которые не увидели, однако, света ни до, ни после его смерти. Впрочем, осуществлением утопии Родбертуса отнюдь не было достигнуто то, чего он хотел достигнуть при ее помощи. Недостаточное потребление рабочих масс играет известную роль в торговых кризисах, но не решающую роль: оно не есть причина той социальной нужды, которая характерна для века крупной промышленности, и это явствует уже из того, что оно всегда существовало среди эксплоатируемых классов, пока существовало классовое господство.

Обусловлено было указываемое худосочие родбертусовской утопии тем обстоятельством, что социальному исследователю Родбертусу, выступившему с многообещающей попыткой развить классическую экономию в социалистическом направлении, стал поперек пути Родбертус-утопист, немецкий философ и прусский крупный землевладелец.

Подобно всем утопистам, Родбертус относился отрицательно к пролетарской классовой борьбе. Он не хотел давать никаких надписей для знамен рабочего класса. Он чувствовал искреннее сострадание к этому классу, но столь же искренний страх пред ним. Он метко бичевал бессмысленную брань немецких буржуазных газет по адресу Парижской Коммуны, он способен был рвать и метать по поводу «христианской морали», которою хотели пособить рабочим, он видел, что пролетарии начинают умственно и нравственно превосходить имущие классы, но всякое самостоятельное движение рабочего класса было в его глазах не более, как предостерегающим «мене текел» для господствующих классов. От Парижской Коммуны он также отделывался если не бранным, то громким словечком, фразой о варварах, которых современная цивилизация воспитывает в собственных недрах, выражением, впервые пущенным в ход во время великой французской революции роялистом Малле дю Паном и с тех пор вошедшим в число запыленных доспехов феодального социализма. Родбертус даже порядочно гордился этим, когда, откопав впоследствии свою первую статью, открыл, что он тем же выражением отделал чартистские волнения 30-х г.г.. Даже к классовой борьбе пролетариата в ее чисто легальных формах он не чувствовал никакой симпатии. Он предсказывал, что через сто лет свобода

рабочих коалиций будет объявлена безумием, и как отрицательно он ни относился к карлсбадским постановлениям против рабочих, все же он не прочь был пустить в ход полицейскую палку против «стачечной бессмыслицы». В тех весьма немногих случаях, когда он непосредственно обращался или хотел обратиться к рабочим, он предостерегал их против политической борьбы, советывал им вести мирные переговоры с господствующими классами.

Английские и французские утописты «рабочих денег» также отвергали пролетарскую классовую борьбу; но они стояли в самом водовороте современного буржуазного общества, и потому искали с большей или меньшей логичностью, хотя и с одинаковым всегда неуспехом, социальных учреждений, при помощи которых могли бы быть осуществлены их утопии, другими словами — они хотели разрешить экономический вопрос экономическим путем. Тем естественнее был для немецкого философа и прусского помещика Родбертуса призыв к государству.

На Родбертусе сильно отразилось влияние немецкой философии. Он знал все ее государственные теории, от замкнутого торгового государства Фихте до философии права Шталя, и как это ни странно, но уверял, что из всех произведений указанного рода ему дал всего больше этот неудачный последыш классической философии. Странно, но, пожалуй, и не странно! Делая такое признание, Родбертус характеризовал метод Шталя следующими словами: Шталь заимствовал свои социальные идеи от средневековых порядков, одел ими престол всевышнего и затем снова взял себе взаймы пару таких божественных лучей, чтобы при их помощи сообщить приличный вид новой сословной монархии. В другом месте он против требования Шталя, чтобы наука вернулась назад, возражает: совершенно верно, что общественную науку следует повернуть назад от ее индивидуалистического взгляда на вещи, но она не может вернуться вспять в ею же созданную пустыню, а должна пробиться вперед; никакое столетие истории нельзя сделать несуществовавшим. При всем том нетрудно понять, почему Родбертус чувствовал влечение именно к произведению Шталя и, к сожалению, почерпнул из него, повидимому, слишком много. Так как государство по своему историческому существу покоится на противоположности классов,

так как оно одновременно организует и маскирует господство одних классов над другими, то культ безусловной государственности имеет властные и мистические черты, которые тем резче выступают у его безусловных приверженцев, чем больше их иллюзиям грозит опасность от растущего возмущения подчиненных классов. Но именно так и обстояло дело с Родбертусом: чем более угрожающим ему казалось революционное рабочее движение, тем больше он делал своим божеством или идолом государство.

Все это было наполовину мистической игрой именами и числами, но наполовину также действительным религиозным поклонением. Родбертус укладывал историю человечества в Прокрустово ложе государственных типов, различая античноязыческий тип с собственностью на человека, католическо-германский — с собственностью на землю и капитал, христианско-социальный — с трудовой собственностью. Каждый из этих государственных типов он делил на несколько видов: католическо-германский, например, на церковное, сословное, бюрократическое и представительное государства. В этом последнем виде католическо-германского государственного типа мы живем теперь, а за ним последует первый вид христианско-социального типа, который будет носить ярко религиозный отпечаток. Родбертус был вполне последователен, когда ставил представительное государство, сколь несовершенным он ни считал его, выше государства сословного; в 40-х и 50-х г.г. он примыкал к демократическо-либеральной оппозиции против сословного государства с христианской окраской, защищаемого Шталем. К тому же он обладал слишком ясным и трезвым умом, чтобы питать естественное расположение к какому-нибудь ханжеству; в социальном вопросе он имел «зуб против черных», и когда при посещении Сурового Дома открыл в библиотеках братьев разные географические, исторические и естественно-исторические трактатики, написанные «с христианской точки зрения», то на уста его просился злой вопрос, не занимаются ли они также и математикой «с христианской точки зрения?» Но если это так, то почему, спрашивается, его «государство будущего», т.-е. государственный тип с трудовой собственностью, должно быть христианско-социальным, а первый вид этого типа носит даже ярко религиозный характер?

Да просто потому, что этого требовала схема, начертанная Родбертусом для хода мировой истории. Первым видом католическо-германского государственного типа было церковное государство средних веков, следовательно, и первым видом древне-языческого государственного типа должно было быть какое-нибудь церковное государство. С этой целью Родбертус поместил в начале египетского государства ту теократию, которая в действительности составляла его конец, как самостоятельного политического союза. Но если даже такое исправление всемирно-исторического хода вещей не затрудняло Родбертуса, то тем менее это могло сделать пророчество, что по аналогии и «государство будущего» начнется с оживления религиозного принципа. Поистине поразительно, в какой формальный схематизм культ государства загнал этого толкового человека, обладавшего, несомненно, богатыми историческими познаниями. Тот неудобный факт, что нынешние государства, хотя и принадлежат к одному виду, представляют, однако, крупные различия между собою, Родбертус обходил следующим образом: человеку дана, мол, «свобода выбора разновидностей», и потому он может по своему усмотрению украсить представительное государство немножко большей или немножко меньшей дозой «конституционализма», но в прочих отношениях ему приходится «слушаться властвующего в истории божества» и беспрекословно переживать государственные типы и их виды в том порядке, как это предписал ему, согласно воле божества, Родбертус. Чтобы еще больше укрепить свою позицию в этом отношении, Родбертус открыл закон триединства, который он неутомимо прослеживал через все фазы не только человеческой, но и божественной жизни... согласно надежному методу — всегда выставлять заранее, в качестве предпосылки, то, что ему хотелось найти.

С несравненно более практичной стороны, чем немецкий философ, ухватился за государственный социализм прусский помещик Родбертус. Этого не надо понимать в каком-нибудь оскорбительном смысле: Родбертус был человеком чистого характера, привлекательным и любезным в самых своих причудах, вполне джентльменом, которого «глубоко трогал» дружеский привет собрания социал-демократических рабочих,— глубже, чем должности и чины, получаемые от любезного его сердцу государства. Но нельзя безнаказанно прожить

сорок лет крупным помещиком в Ост-Эльбии. Общественно-классовое положение Родбертуса бессознательно сказывается уже в первых и самых свежих его произведениях. Узость и скромность его утопии, его недоверие к зрелости рабочего класса его удивительное предположение, что найдется пролетариат, который в течение 500 лет будет мирно сидеть, когда ему ежедневно будут показывать черным по белому, что большая часть затрачиваемой им рабочей силы высасывается тунеядствующими классами,— все это объясняется у даровитого и разносторонне образованного социального политика лишь тем, что из германского пролетариата, вообще весьма еще неразвитого, Родбертус знал по практическому опыту только самый, быть может, неразвитый слой — померанский земледельческий пролетариат.

Чем больше развивалась германская промышленность и вместе с нею классовая борьба между буржуазией и пролетариатом, тем больше Родбертус,— который по всему своему взгляду на вещи мог ждать только бедственных результатов как от победы буржуазии, так и от победы пролетариата,— должен был приходить к мысли, что для восстановления равновесия в классовом государстве, без которого еще долго нельзя будет обходиться, нужно вновь укрепить и поддержать третий большой класс буржуазного общества — представителей земельной собственности, которую местами уже захватил в свои когти капитал и под которую в других местах уже подкапывается мятежный труд. Таким-то образом стал возможным факт, что тот самый Родбертус, который некогда мужественно выступил по-своему в пользу «требований рабочих классов», способен был 30 лет спустя обратиться к своим товарищам по классу с призывом: «сплотимся вокруг нашей ренты!»; что он требовал государственной помощи для задолженных прусских юнкеров еще настойчивее, чем государственной помощи для голодающих немецких рабочих. Он поступал так не в силу безнравственной классовой морали, ибо он прямо говорил, что социальный вопрос гигант в сравнении с рентным принципом — новой, предложенной им формой поземельного кредита. Он поступал так, делая логический вывод из известного мировоззрения,— мировоззрения, определявшегося, впрочем, в конечном счете его классовым сознанием.

С первой своей книгой Родбертус имел несколько больше удачи, чем с первой своей статьей. Он мог, по крайней мере, выпустить ее в свет при посредстве одного захолустного книгоиздательства в Мекленбурге. Но она осталась совершенно неизвестной и не оставила никаких заметных следов в умственном и социальном движении 40-х г.г. Лишь в последующие десятилетия тень Родбертуса широко легла на историю германской социал-демократии. Или точнее говоря: тень его тени. Ибо в сущности он только после своей смерти был объявлен правоверным папою в противоположность великим еретикам революционного социализма, объявлен из самых сомнительных мотивов и в той странной форме, что поклонники видели в нем незрелого мечтателя и на этом основании умаляли его значение там, где он действительно кое-что дал, там же, где он не дал ничего, они раздули его в гения, будто бы открывшего собою новую эпоху.

Он заслужил лучшей участи, ибо во всем существенном всегда оставался верным себе. Старого Родбертуса нельзя понять, не зная молодого, как и молодого Родбертуса без старого. Поэтому, нам казалось уместным нарисовать его образ именно в истории до-мартовского социализма, в ту пору, когда его духовная физиономия приобрела определенные черты, которые с дальнейшими годами врезывались только резче и глубже.

ГЛАВА V.

Карл Маркс и Фридрих Энгельс.

Карл Маркс родился 5 мая 1818 г. в Трире. Его отец—адвокат, а затем юстицрат, Генрих Маркс—перешел в 1824 г. вместе со своей семьей из еврейства в христианство. Подрастающий мальчик скоро возбудил в родителях самые большие надежды, которым не суждено было, впрочем, сбыться в их смысле. Мать, происходившая из голландских евреев и объяснявшаяся в течение всей своей жизни на ломанном немецком языке, была сердечной и всегда озабоченной женщиной, хотя в умственном отношении не представляла, повидимому, ничего значительного. Отец, прекрасно образованный человек, хорошо знавший Локка, Лейбница и Лессинга, но отнюдь не революционер, а скорее немецкий и даже прусский патриот, был мягкой и нежной натурой и с тревожной заботой взирал на первые движения «демона» в любимце-сыне. Он умер, когда Карлу Марксу минуло 20 лет, более счастливый, чем мать, скончавшаяся в 1863 г. и пережившая как раз самые тяжелые десятилетия могучей борьбы ее гениального сына с непризнававшим его миром. Этим родителям Карл Маркс был обязан счастливым детством и свободной от забот юностью. Он обязан им также вполне свободным отношением, которое обнаруживал с самого начала к еврейству,—свободным отношением, которого мы в такой мере не встречаем ни у одного исторически-значительного немецкого еврея. Его не достигли даже такие родственные натуры, как Гейне и Лассаль, или такие умные люди, как Берне и Иоган Якоби из которых последний заступался за евреев при помощи кривых доводов религиозной терпимости, когда Маркс давно уже понял социальное значение еврейского вопроса.

Еврейство стояло в Восточной и Западной Европе на существенно различных ступенях культуры. В Португалии,

Испании, на юге Франции, в Англии и в Голландии также оно жило преданиями великой в своем роде истории, оно плавало в потоке гражданской культуры, и даже преследования, которым оно подвергалось еще временами, закаляли его в стойкой борьбе. Иначе обстояло дело в Восточной Европе, в придунайских странах, в Богемии и Польше, в Германии—вплоть до Эльзаса и северной Франции. Живя среди населения из расточительных деспотов и порабощенных масс, необходимое обоим, но обоими презираемое и презирая обоих, еврейство было здесь еще насквозь пропитано паразитарным барышничеством и ростовщичеством. Эта социальная противоположность шла дальше общности крови и веры. Так, в Гамбурге существовали рядом высоко-образованная португальско-испанская и совершенно необразованная немецко-польская еврейские общины, не поддерживавшие друг с другом никаких отношений. Так, законодательство французской революции проводило в начале различие между «евреями юга» и «евреями севера»: в первую очередь оно эмансипировало политически лишь первых, а вторых оно уравняло в правах с христианами лишь впоследствии. Наполеоновский Кодекс сохранил это равноправие, но в позднейшей Рейнской Пруссии уже в 1808 г. вышел императорский декрет, подчинивший еврейское ростовщичество суровым ограничениям. Прирейнские области были и в этом отношении связующим звеном между буржуазным Западом и феодальным Востоком Европы. В то время, как в рейнских городах жило то образованное еврейство, еврейский характер которого одновременно консервировался и впитывался окружающей общегражданской культурой, в деревне, в особенности как раз в Трирской местности свирепствовало еврейское ростовщичество и душило здесь мелкое крестьянство при помощи тех утонченных приемов, которые развились у него в феодальном процессе гнилостного разложения восточной Европы.

Именно с теми чиновничьими кругами, отчеты которых рисовали в ярких красках эксплоатацию мелкого землевладения еврейским ростовщичеством, поддерживал отношения—деловые и общественные—адвокат Маркс. Особенно одно из этих знакомств имело определяющее значение для личной жизни Карла Маркса: это была соседская дружба, связывавшая его семью с семьею регирунгсрата Вестфалена.

В семье этого свободомыслящего бюрократа молодой Карл нашел свой второй дом. У старого Вестфалена он научился читать Гомера и Шекспира, на всю жизнь оставшихся его любимыми поэтами. Дети Вестфалена стали товарищами его игр, а Женни фон-Вестфален, родившаяся в 1814 г. в Зальцведеле, следовательно, бывшая несколько годами старше его, сделалась подругой его жизни,—благородной и мужественной подругой, какую редко находил, быть может, другой революционный борец. Уже в 1836 г. они были помолвлены, а в 1843 г., после закрытия «Рейнской газеты», состоялась в Крейцнахе их свадьба. С тех пор Женни Маркс не только делила труды, борьбу и судьбы своего супруга, но и принимала в них участие с величайшей сознательностью и самой пылкой страстью.

Жизненное поприще Карла Маркса началось при самых благоприятных условиях. Богатые дарования, обнаруженные им уже в раннем возрасте, ему не пришлось растрачивать в борьбе с внешними препятствиями, они развивались, напротив, гармонически поощряемые всей социальной обстановкой, в которой Маркс вырос. Ничто в его детстве и юности не могло сделать его той каррикатурой, которой все еще хотели бы изобразить его нам смертельные враги пролетариата: тем холодным, как лед, желчным, недовольным собою и миром демагогом, у которого в жилах текла вместо крови азотная кислота. Крупица истины, заключающаяся в этой легенде,—тот факт, именно, что Маркс стал революционером не под влиянием возмущенной страсти, а в силу глубокого понимания внутренней связи вещей,—свидетельствует как раз о счастливом равновесии его развития. Молодой Маркс был свежим, здоровым, полным сил человеком, который всеми своими фибрами жаждал полноты действительной жизни. Первыми его литературными произведениями были стихи. Он вряд ли напечатал когда-либо хотя одно стихотворение по той основательной причине, что стихотворная форма речи не была дана ему, но несравненная выпуклость изображения, которую мы видим у него даже при обработке самых сухих тем, свидетельствует о том, что в Марксе были некоторые черты истинного поэта. На революционных стихотворениях Гейне, Фрейлиграта, Верта заметны глубокие следы его влияния; всякий раз, когда он произносит эстетические суждения,

они отличаются столько же тонкостью, сколько глубиною чувства.

В 16 лет Карл Маркс поступил в боннский университет, чтобы согласно желанию отца изучать юриспруденцию, но первый год студенчества не дал, повидимому, особых результатов. Тем с большим жаром набросился на работу жаждущий знания юноша, когда он осенью 1836 г., тотчас после помолвки, переехал в Берлин. Аккуратным студентом он, правда, не был и здесь; в течение 9 семестров он записался только на 12 курсов, и еще сомнительно, сколько он прослушал из них, если это вообще имеет какое-либо значение. Насколько можно судить по сочинениям Маркса, из университетских преподавателей на него оказал влияние только Ганс, который постоянно воевал тогда с исторической школой права и ее главою Савиньи. Гораздо большее значение для студента Маркса имело то обстоятельство, что устав от первой безнадежной попытки одолеть массу научного материала, он попал из своей уединенной кельи в круг берлинских левых гегельянцев, которые как раз в это время были заняты ликвидацией духовного наследия, оставшегося от учителя, но в более критическом духе, чем это сделал Штраус в своей «Жизни Христа». В этом кругу Карл Маркс близко сошелся с Бруно Бауэром и Фридрихом Кёппеном; будучи лет на десять старше его, они уже приобрели себе видное положение в республике умов, но тем не менее обращались с юным студентом на товарищески-равную ногу, руководимые верным чувством, что в его лице выступает на арену борьбы могучая и несравненная сила. Бруно Бауэр не желал себе лучшего товарища в работе и борьбе, и точно так же Фридрих Кёппен посвятил другу из Трира свой задорнейший боевой памфлет.

Лишь после упорного сопротивления Маркс сдался гегелевской философии, но зато никто из ее бесчисленных апостолов не изучил ее так основательно и не понял ее так глубоко, как он. Не то, чтобы справедлива была другая ходячая сказка о Марксе, будто его острый раввинский или крючкотворный ум не мог достаточно насытиться рассеканием понятий. Могущественно привлекал его к гегелевской философии ее диалектический метод, революционное острие которого было только закутано игрою туманных понятий. Маркс разделался, напротив, с этими понятиями, ринувшись в массу

исторического материала. Он рано обнаружил черту, отличающую царей науки от ее чернорабочих: ненасытную жажду знания и неукротимую самокритику. Уже в молодости друзья его сетовали на то, что он проводит ночи напролет в занятиях, и эти бессонные ночи значительно подорвали его железное здоровье. Но Маркс не тратил своего неутомимого прилежания на то, чтобы, по немецкому выражению, еще раз «расщепить уже расщепленные волосы». Бесспорно, что в свои молодые годы он находил иной раз невинное удовольствие уже в одном звоне своего острого и тяжелого оружия, как оно и подобает энергичному и пылкому юноше; однако, видеть в этом отталкивающее манерничанье или умничающую погоню за парадоксами может только бессильная зависть.

Более метко судил о Марксе Руге в первых стадиях их ссоры, когда глаз его был изощрен ненавистью, но еще не ослеплен ею. Руге писал тогда Фейербаху: «Маркс очень много читает; он работает с необычайной интенсивностью и обладает критическим талантом, вырождающимся подчас в высокомерную диалектику, но он ничего не доводит до конца, он все обрывает и каждый раз кидается снова в беспредельное книжное море. По своим ученым склонностям он всецело принадлежал немецкому миру, но по своему революционному способу мышления он исключен из него». Этот портрет молодого Маркса не прикрашен лестью, но он и не искажен. Маркс соединил в себе все фаустовские стремления немецкой учености, чтобы навсегда преодолеть их. Он внес жизнь в науку, как внес науку в жизнь. Это был тот прогресс, который немецкое образование только и могло еще сделать, который оно во всяком случае должно было сделать, если не хотело из двигателя исторического развития обратиться в топчак для тупоумных филистеров. Ученый мир, исключивший из своей среды Маркса за его революционный образ мыслей, исключил себя также из своего прошлого и будущего, сделал себя сам послушным холопом минутных интересов правящих классов.

В 1841 г. Маркс окончил университетский курс и получил степень доктора за диссертацию о различии между натурфилософией Демокрита и Эпикура. Эта ученая работа должна была составить только начало обширного труда, общего

изложения эпикурейской, стоической и скептической философий,—тех греческих философий самосознания, которые некогда последовали за философией понятий Платона и Аристотеля, как теперь философское самосознание Бруно Бауэра и его кружка пришло вслед за абсолютной идеей Гегеля. До этого обширного труда дело не дошло, не дошло даже до опубликования докторской диссертации, которою Маркс думал приобрести право чтения лекций в Бонне в качестве доцента философии. После того как Бруно Бауэр подвергся со стороны Эйхгорна дисциплинарной каре в качестве доцента богословия в Бонне, Марксу нечего было делать больше в прусских университетах. Дальновидная, по обыкновению, реакция толкнула этого прирожденного борца в борьбу, и по первым литературным опытам Маркса можно со всевозрастающею ясностью проследить, как эта борьба шаг за шагом толкала его дальше по пути познания, как она разрывала пред его глазами одну идеологическую оболочку вещей за другой, как она все глубже кидала его в высоко вздымающиеся волны действительной жизни.

1844 год, проведенный Марксом в Париже, несомненно был самым плодотворным годом его жизни. Великая революция со своими потрясшими мир последствиями; значительные исторические произведения, позволявшие проникнуть взором до самых сокровенных глубин ее и проследить классовую борьбу третьего сословия вплоть до средних веков; богатая литература, развивавшая социалистическую идею до самых легких ее оттенков и как раз в это время начавшая проникать в рабочий класс через утопию Кабе, через социально-политическую агитацию Луи Блана и манифест Прудона,—все это доставляло обилие сменяющихся впечатлений, которое могло сбить с толку даже способную голову, но гениальную силу должно было тем более побудить собрать в один фокус все рассеянные в них лучи нового света. Руге совершенно растерялся в Париже, между тем как Маркс подхватил здесь первые нити исторического материализма.

Неправда, будто он в часы журнального легкомыслия выдумал мысль, что экономическая структура общества обусловливает его идеологическую надстройку,—как уверяет идеология, принимающая на себя тем более глубокомысленный вид, чем более она поверхностна. Первоначально область материальных

интересов была для него так же далека, как для всякого истинного гегельянца, но его толкнула туда неумолимая необходимость борьбы, которую он так же мало мог вызвать к жизни, как и всякий другой, но которую он понял глубже, чем кто-либо. Он не закрывал себе упорно глаз пред тем фактом, что идеалистические точки зрения классической философии не могут быть для него надежными проводниками в исторической области; он искал и нашел действительную почву, на которой движется человеческое общество. В этом состояла его вина, заслуга же Штрауса, Руге и Бауэра заключалась в том, что они на своих заоблачных путях не спотыкались ни о какой экономический камень преткновения, что именно потому они никогда не умели разбираться в практическом мире и умерли, наконец, как жертвы жалких немецких условий.

Мастерство, с которым Маркс применял диалектический метод немецкой философии, позволило ему быстро и верно ориентироваться в области материальных интересов. Мы замечаем огромный прогресс между весною 1842 г., когда Маркс, идеолог с головы до ног, вступил в практическую борьбу, и осенью 1844 г., когда он опередил по ясному пониманию социальных отношений не только буржуазную экономию, но и западно-европейский социализм в лице самых передовых его представителей. Правда, переход Маркса от идеализма к материализму не вполне еще закончен, и экономические категории представляются ему в философском одеянии. Мы видим это, например, когда он свой удивительно острый прогноз, подтвержденный вот уже 60-летней историей,—что в политической жизни Германии буржуазный класс не свершит ничего, а пролетариат достигнет тем большего значения,—облекает в слова о возможности в Германии только человеческой, а не политической эмансипации. Мы имеем здесь перед собой философски вышколенный глаз, которым Маркс видел насквозь буржуазное общество. Маркс видел, что последнее должно умереть, родив более высоко развитое общество, органы которого уже смутно двигались в его недрах, но свои доказательства он брал из философского, а не из экономического арсенала.

В этом направлении Фридрих Энгельс дополнял его столь же значительным, сколько решающим образом. Энгельс был,

подобно Марксу, прирожденным диалектиком, укрепившим свои дарования в классической философии. Он не обладал строго-философским образованием Маркса, но своим светлым и ясным умом он твердо схватил то, что было бессмертного в творениях Гегеля. С раннего возраста он стоял в водовороте практической жизни, и это преимущество с избытком уравновешивало пробелы его систематического образования.

Фридрих Энгельс родился 28 ноября 1820 г. в Бармене и был сыном фабриканта. Фирма Эрмен и Энгельс приобрела себе почетное имя в истории рейнской промышленности той решительностью, с которой она выступила против исконных злоупотреблений относительно меры и веса фабричных изделий. Семья Энгельсов принадлежала к числу первых в городе Бармене; Фридриха Энгельса, как и Маркса, толкнула на революционный путь не нужда, а высокая интеллигентность. Вследствие этого он совершенно порвал с духом своих высоко-консервативных и правоверных родителей; еще будучи мальчиком, он охотно отказался от чиновничьей карьеры, к которой предназначался. Пройдя курс в маленьком реальном училище Бармена, где наглядное преподавание физики и химии дало ему прекрасный фундамент для последующего естественно-научного образования, Энгельс поступил в эльберфельдскую гимназию и за год до выпускного экзамена окончательно решил сделаться купцом. Он прошел свое ученичество сначала в одном барменском, затем в бременском торговом доме, с октября же 1841 г. до октября 1842 г. служил в качестве вольноопределяющегося при гвардейской артиллерии в Берлине. Ни один прирейнский уроженец не смотрел тогда на «королевский мундир», как на почетное платье, и рейнская буржуазия организовала широко разветвленную систему подкупа, чтобы избавить своих сыновей от ненавистной службы. Тем больше свидетельствует о практическом смысле Энгельса в его отношениях к действительной жизни—даже к менее привлекательным ее сторонам—тот факт, что он глубоко заинтересовался военными науками и сохранил потом этот интерес навсегда.

Он не запускал, однако, из-за этого своих филофских занятий. «Сущность христианства» Фейербаха произвела на него глубокое впечатление, с Бауэрами он находился в приятельских отношениях, а от времени до времени он

корреспондировал и в Рейнской газете. В ее редакции он впервые познакомился с Марксом, когда проезжал в конце ноября 1842 г. через Кельн в Манчестер, чтобы поступить там в конторщики на фабрике, пайщиком которой был его отец. Первая личная встреча между Марксом и Энгельсом была, однако, очень холодной. Маркс как раз тогда выступил против берлинских «свободных», товарищем которых слыл Энгельс, а Энгельс, в свою очередь, был восстановлен против Маркса Бауэрами, с которыми состоял в переписке.

В Манчестере Энгельс прожил 21 месяц, с декабря 1842 г. до сентября 1844 г. Здесь он прошел свою высшую школу: среди крупной промышленности, разлагающей буржуазное общество, чтобы положить основы для общества социалистического. Он изучал и то и другое, бесчеловечную, как и человеческую сторону этого всемирно-исторического процесса, и его философское образование дало ему возможность познать ту внутреннюю связь между ними обеими, которой не в состоянии еще были понять английский социализм и английский пролетариат. Энгельс сотрудничал как в «Северной звезде», органе чартистов, так и в «Новой нравственности», органе Роберта Оуэна. В лице Бауэра, Молля и Шаппера, руководивших тогда Союзом Справедливых, он познакомился с первыми революционными пролетариями и никогда не забывал потом импонирующего впечатления, которое эти три сложившихся человека произвели на него, еще только складывавшегося человека. В то время, как Маркс из изучения французской революции почерпнул вывод, что не государством сдерживается вместе буржуазное общество, а наоборот, Энгельс узнал из английской промышленности, что экономические факты, не игравшие до сих пор в историографии никакой роли или встречавшие презрительное отношение со стороны историков, представляют собою, по крайней мере, в современном мире, решающую историческую силу; что они образовали основу для возникновения нынешних классовых противоположностей; что в странах, где эти противоположности достигли полного развития благодаря крупной промышленности, следовательно, особенно в Англии, они, в свою очередь, являются основой для образования политических партий, для борьбы партий и, таким образом, для всей политической истории.

Различными путями оба пришли к одинаковой цели. У Маркса преобладали еще философские, у Энгельса—экономические точки зрения. Маркс дал добытому результату исследования более общую формулировку, между тем как Энгельс выдвинул ту сторону, которая имела решающее значение для настоящего и для будущности человечества. Маркс назвал тогда-то «Критические очерки политической экономии», помещенные Энгельсом в «Немецко-французском Ежегоднике», «гениальным эскизом», и это суждение метко определяет их характер. Энгельс не подверг здесь буржуазной экономии систематической критике; его суд над нею несколько суммарный, да и вообще он знал тогда ее значительнейшего представителя Рикардо только из вторых рук. Тем не менее, эта молодая, горячая голова правильно определила неисцелимые недуги буржуазной экономии; он победоносно изобличил ее внутреннее неразумие и верно указал раны, от которых она должна истечь кровью. Энгельс впервые наметил план для экономических оснований научного социализма; эта заслуга не умаляется его собственным замечанием, что найденное им Маркс нашел бы и самостоятельно, ибо для исторического суждения важно то, что было, а не то, что могло быть.

Не столь глубокой по существу, как критические очерки политической экономии, но почти еще более характерной для личности Энгельса, была его критика Карлейля. В Энгельсе, как и в Марксе, сочеталось с острым критическим умом истинно поэтическое чутье, о чем красноречиво свидетельствуют его отличные переводы английских рабочих и народных песен. Карлейль импонировал Энгельсу, но он не дал себя пленить обворожительным чарам мистического пророка. Энгельс сумел понять этот одинокий ум во всей его оригинальной глубине, но он видел также границы, за которые Карлейль не в состоянии был выйти.

Когда Маркс и Энгельс осенью 1844 г. вторично встретились в Париже, то обнаружилось их полное согласие по всем теоретическим вопросам. На этом покоилось сначала их братство по оружию, которое затем было еще скреплено, конечно, тем обстоятельством, что они стояли высоко не только как мыслители и борцы, но и как люди. Их сочувствие страждущим и угнетенным не было менее глубоким оттого, что они вели борьбу против угнетателей только при

помощи самого острого оружия, что они сознавали невозможность достигнуть в суровой классовой борьбе каких-либо результатов при помощи того жиденького и бесплодного настроения, которое филистер называет своим человеческим состраданием и своим нравственным возмущением. В них не было следа сантиментальности, не было следа того унылого и сонливого, мягкого и сердобольного существа, каким жалкая 300-летняя история сделала немецкого бюргера. Но они не были и мрачными фанатиками, не напускали на себя сугубой важности; их мужественное и потому скромное самосознание презирало все те позы, которые так любят принимать «благороднейшие и лучшие», оффициальные вожди буржуазных классов. На службе у своего дела они могли быть безжалостными, потому что необходимо было быть такими, но в прочих отношениях им не было чуждо ничто человеческое. Они были добрыми людьми, готовыми притти на помощь и снисходительными; энергичные натуры, полные неистощимой жизнерадостности, они умели смеяться от всей души и любили ясный детский смех; ничто не нравилось им так в библейском Христе, как его любовное отношение к детям.

Столковавшись впервые друг с другом, они на время расстались. Энгельс отправился в Бармен, чтобы докончить там свое сочинение о положении рабочих классов в Англии. Маркс остался в Париже. Двери отечества уже тогда были закрыты для него; на основании сочинений Маркса, высшая администрация в Кобленце предписала всем пограничным полицейским властям арестовать его в случае появления на границе. Скоро, однако, наступил конец и его пребыванию в Париже. С заслуживающим благодарности усердием прусское правительство позаботилось о том, чтобы меч его опаснейшего врага не заржавел: оно выгнало Маркса из Франции, как выгнало раньше из Германии. Внешним предлогом к этому послужила случайная статья Маркса для одной газетки, при помощи которой немецкие эмигранты в Париже пытались продолжать свою войну против отечественных деспотов.

Газетка эта была «Вперед», издававшаяся в Париже с начала 1844 года. Она была основана актером Генрихом Борнштейном на деньги композитора Мейербера и служила

на первых порах весьма многосторонним и подчас несколько сомнительным делам своего основателя. Как торговец литературным товаром, притом как весьма изобретательный торговец, Бернштейн после прекращения «Немецко-Французского Ежегодника» сообразил, что он мог бы, пожалуй, сделать хорошее дельце, если бы дал в своей газетке последний приют немецким эмигрантам, тем более, что полная безобидность «Вперед» не спасла его от запрещения немецкими правительствами. Бернштейн вошел по этому предмету в соглашение с Бернайсом, которому предоставил участие в редакции. Приблизительно с середины 1844 г. «Вперед» вступил в политическую борьбу, и само собою понятно, что газета не постеснялась заклеймить многочисленные гнусности немецких правительств, в особенности прусского деспотизма. Бернайс ни мало не церемонился с германской реакцией. Отныне для газеты стали писать от времени до времени, вследствие полного отсутствия другого органа, Гейне, Гервег, Бакунин, Гесс, Руге, независимо от редакции и каждый под своей ответственностью.

Маркс был до известной степени вынужден к сотрудничеству в этой газете. Руге поместил в ней ряд статей, содержавших отчасти плохие остроты насчет прусской королевской четы, отчасти — философско-оракульские изречения насчет прусского короля и социальной реформы. Руге писал, что король прусский и немецкое общество не имеют еще даже предчувствия о своей реформе. В такой неполитической стране, как Германия, невозможно довести частичную нужду фабричных округов до общего сознания, как дело, касающееся всех: на нее смотрят, как на местное пожарное бедствие или наводнение. Король видит в ней нераспорядительность администрации или недостаток благотворительности и, в конце-концов, ждет всего от благонамеренности христианских сердец, которая преодолеет все затруднения. Немецкие бедняки, в свою очередь, не умнее бедных немцев: они не видят ничего дальше своего домашнего очага, своей фабрики, своего округа. Весь вопрос остается еще до сих пор без всепроникающей политической души, а между тем социальная революция без политической души невозможна. Руге подписал эту, как и другие свои статьи, псевдонимом «Пруссак», что дало основание заподозрить в авторстве Маркса,

который действительно был прусским подданным, тогда как Руге, со времени своего переезда в Дрезден, перестал быть им. Пред французскими властями он объявил себя саксонцем и стал под покровительство саксонского посольства в Париже.

Двусмысленное литературное положение Руге побудило Маркса напечатать в газ. «Вперед» «Критические примечания», понятно — не к остротам Руге на счет прусской королевской четы, а к его философским галлюцинациям относительно прусской социальной реформы. Маркс указал на то, что понять социальную нужду, как «дело касающееся всех», неспособна не только неполитическая Пруссия, но и политическая Англия, где, сверх того, пауперизм имеет универсальный характер. Английское законодательство о призрении бедных показывает, что причину пауперизма находили там, во-первых, в законе природы, во-вторых, в неудовлетворительности администрации и, в-третьих, в злой воле рабочих, так что, в конце-концов, в Англии придумали работные дома, — средство, в котором благотворительность остроумно переплетается с местью несчастным, обращающимся к благотворительной помощи буржуазии. Следовательно, и Англия не дошла еще до «предчувствия о своей реформе», как не дошел до него в свое время конвент, представлявший собою максимум политической энергии, политической власти и политического разума. Подобно тому, как Англия искала причину пауперизма в злой воле бедных, а король Пруссии искал ее в нехристианском сердце богатых, — так и конвент искал ее в контр-революционном образе мыслей собственников. Чтобы уничтожить пауперизм, он рубил головы собственникам, как для достижения той же цели Англия наказывает бедных, а король прусский обращается с наставлением к богатым.

Далее Маркс проводит мысль, уже развитую им в «Немецко-Французском Ежегоднике», что государство, какова бы ни была его форма, не может уничтожить противоречия между общими и частными интересами, потому что оно покоится именно на этом противоречии. «Эта рознь, эта низость, это рабство буржуазного общества представляют собою естественный фундамент, на котором покоится современное государство, точно так, как основанное на рабстве гражданское общество было фундаментом государства античного

Существование государства и существование рабства нераздельны друг от друга. Античное государство и античное рабство — откровенный классический антагонизм — не были теснее прикованы друг к другу, чем современное государство и современный торгашеский мир — лицемерный христианский антагонизм. Если бы современное государство захотело уничтожить бессилие своей администрации, то ему пришлось бы упразднить теперешнюю частную жизнь, а если бы оно захотело упразднить последнюю, то ему пришлось бы упразднить самое себя». Чем могущественнее государство, следовательно, чем более страна «политическая», тем менее оно склонно искать причину социальных зол в самом принципе государства, т.-е. в теперешнем устройстве общества, деятельным, самосознательным и оффициальным выражением которого государство является, тем менее оно склонно понимать общий принцип общества. Политический разум потому и есть политический разум, что он мыслит в границах политики. Чем он изощреннее, чем живее, тем менее он способен понимать социальные недуги. Классический период политического разума, это — французская революция. Герои французской революции, весьма далекие от того, чтобы усматривать источник социальных недостатков в принципе государства, видели, напротив, в социальных неустройствах источник политических зол.

Против презрительного отзыва Руге о немецких рабочих Маркс возражает, что социальная революция с политической душой, которой Руге требует от них, либо представляет собою сугубую бессмыслицу, — если под социальной революцией понимать таковую в противоположность политической и требовать тем не менее, чтобы ей была дана политическая душа, — либо же она не более, как парафраза того, что принято называть политической революцией, или революцией вообще. Каждая революция разлагает старое общество и постольку она социальна. Каждая революция свергает старую власть и постольку она политическая. «Насколько социальная революция с политической душой является парафразой или лишенною смысла, настолько разумна политическая революция с социальной душой. Революция вообще, т.-е. низвержение существующей власти и разложение старых отношений, есть политический акт. Без революции социализм не может,

однако, осуществить себя; он нуждается в этом политическом акте, поскольку он нуждается в разрушении и разложении. Там, где начинается, однако, его организующая деятельность, где выступает его самоцель, его душа, — там социализм сбрасывает с себя политическую оболочку». В заключение Маркс советовал «Пруссаку» отказаться на время от всякого писательства по политическим и социальным вопросам так же, как от декламаций по поводу состояния дел в Германии, и начать с того, чтобы добросовестно выяснить себе свое собственное состояние.

Понятно, Руге был проникнут слишком большим самомнением, чтобы последовать доброму совету. Неспособный возразить на острую диалектику, с которой Маркс критически разобрал его туманные рассуждения, он обругал своего противника разлагающей софистической натурой, в образовании которой скрыт червь, а по адресу «Вперед» исчерпал все регистры померанской грубости.

Между тем расчет Бернштейна оказался верным. Благодаря сотрудникам, пользовавшимся газ. «Вперед», как единственным еще доступным для них оружием против гонителей свободного слова, газета сильно пошла в ход и, несмотря на все запрещения, распространялась все больше в Германии. Тогда «законный» король в Берлине обратился к «незаконному» королю-буржуа в Париже с слезной мольбой, чтобы тот оказал ему дружеско-соседскую полицейскую услугу. Гизо, который при всем своем реакционном образе мыслей, был литературно-образованный человек, повидимому не сразу внял этому исторгнутому болью крику. Сверх того, дело и вообще представляло известные затруднения: добиться от французских присяжных обвинительного вердикта за мнимые или действительные оскорбления прусского короля было невозможно, а несколько месяцев тюрьмы, к которым суд исправительной полиции приговорил редактора Бернайса за формальные нарушения французских законов о печати, были еще далеко не достаточны, чтобы убить «Вперед». Только некрасивому вмешательству Александра фон-Гумбольдта удалось уломать Гизо, так что в средине января 1845 г. он предписал сотрудникам «Вперед», приблизительно десятку немецких писателей, покинуть в 24 часа Париж и возможно скорее выехать из пределов Франции.

Однако, ангел, поразивший сначала Гизо глухотою, имел, повидимому, верное предчувствие. Французская цивилизация возмутилась против прусского варварства; она ценила национальное гостеприимство выше, чем страхи нечистой совести, поднявшие шум в Берлине. Независимая печать выступила с негодующим протестом против роли палача, которую взяло на себя министерство Гизо. С другой стороны, Бернштейн был глубоко проникнут истиной, что глиняный горшок должен уступить, когда он сталкивается с железным. «Остроумцы» встретились: Бернштейн отказался добровольно от дальнейшего издания «Вперед», а правительство в обмен за это взяло обратно свой приказ об его высылке. Сотрудниками своими Бернштейн пожертвовал, но и из них некоторые спаслись: после долгого обивания порогов и долгих ходатайств Руге получил разрешение остаться в Париже под условием, что он будет впредь хорошо вести себя.

Маркс, в которого прежде всего метило прусское правительство, не мог, конечно, пойти на что-нибудь подобное. Он переехал в Брюссель, где прожил 3 года, большею частью работая сообща с Энгельсом. Это время можно назвать второй половиной их годов ученичества и странствования.

Статьи Маркса.

Маркс и Энгельс написали для «Нем.-Франц. Ежегодника» по две статьи. Работы Маркса — «К критике гегелевской философии права» и «К еврейскому вопросу» находятся друг с другом в известной внутренней связи; то же самое относится к работам Энгельса — «Критические очерки политической экономии» и «Положение Англии». Но независимо от этого все четыре статьи связаны как-бы одной красной нитью, а именно — Фейербахом, из которого они исходят и дальше которого подвигаются ощупью вперед.

В письме из Крейцнаха от 30 октября 1843 г. Маркс обратился к Фейербаху с просьбой дать для первой же книжки журнала критику Шеллинга. Он называет Фейербаха «Шеллингом наизнанку»: в Фейербахе искренняя юношеская мысль Шеллинга развилась в истину, в действительность — в серьезное убеждение возмужалого человека, тогда как у Шеллинга она так и осталась фантастической мечтой юности.

«Я считаю вас поэтому необходимым, естественным, следовательно, призванным Их Величествами природой и историей противником Шеллинга». Немногие строки, бойкие, любезные и набросанные как-бы на скорую руку, настолько взволновали Фейербаха, что он тотчас вынул лекции Шеллинга с целью исполнить «необходимый долг», на который ему указал Маркс. Но, в конце-концов, он все-таки отказался, мотивируя свое решение тем, что самое необходимое он уже изложил вкратце, а вновь пережевывать сказанное для общего понимания он не желал бы. Маркс всегда отзывался о Фейербахе с высоким уважением, как и Фейербах о Марксе, но то, что отделяло их друг от друга — пол-поколения промышленного и политического развития, — ясно выступило при первом же их соприкосновении: 40-летний муж желал бы все-таки явиться чувственному миру только в важной тоге философа, а 25-летний юноша хочет завоевать этот мир острием меча.

В «Критике гегелевской философии права» Маркс исходит из фундамента иррелигиозной критики, как он был заложен Фейербахом: человек делает религию, религия не делает человека. Но он тотчас идет на один шаг дальше: «Человек это — не абстрактное, притаившееся вне мира существо. Человек это — мир людей, государство, общество». Задача истории, задача философии, состоящей на службе у истории, заключается в установлении истины земной стороны жизни, после того как потусторонняя сторона истины исчезла. Критика неба превращается, таким образом, в критику земли, критика религии — в критику права, критика богословия — в критику политики*).

*) «Преимуществом нового направления — говорит Маркс — является именно то, что мы не предвосхищаем догматически мира, а хотим лишь из критики старого мира найти новый. До сих пор философы хранили разрешение всех загадок в своем письменном столе, а глупому, непосвященному миру оставалось только раскрыть рот, чтобы в него падали жареные рябчики абсолютной науки. Теперь философия приняла светский характер, и самым убедительным доказательством этого служит то, что философское сознание само вовлечено в мучительную борьбу не только внешним, но и внутренним образом. Если конструировать будущее и приготовиться на все грядущие времена — не наше дело, то тем бесспорнее задача, которую мы должны выполнить теперь: я говорю о беспощадной критике всего существующего, беспощадной и в том смысле, что критика не боится собственных результатов, и в том, что она не отступает пред столкновениями с предержащими властями». Маркс не желает поднимать никакого догматического знамени, и коммунизм Кабе, Дезами и

Чтобы решить эту задачу, Маркс берет не оригинал, а копию — немецкую философию государства и права, по той простой причине, что его критика приурочивается к Германии. Если бы он вздумал приурочить свою работу к существующим немецким порядкам, то это привело бы к анахронизму. «Когда я высказываюсь отрицательно насчет немецких порядков 1843 г., то я по французскому летоисчислению едва дошел до 1789 г., и тем менее стою в фокусе современности». Далее следует яркая картина немецких условий, «картина взаимного тупого гнета всех социальных сфер друг на друга, всеобщего бездеятельного недовольства, ограниченности, столь же высоко ценящей себя, сколько ошибающейся на свой счет,— все это, оправленное в рамку правительственной системы, которая живет консервированием всяких ничтожеств и потому сама является не чем иным, как ничтожеством во власти». Если критика хочет понять современную социальную действительность, если она хочет возвыситься до истинно человеческих проблем, то ей нужно стать вне немецких порядков, иначе она трактовала бы свой предмет ниже, чем он заслуживает.

Маркс приводит для иллюстрации пример. «Отношение промышленности, вообще мира богатств к политическому миру, есть главная проблема современной эпохи. В какой форме вопрос этот начинает занимать немцев? В форме покровительственных пошлин, запретительной системы, национальной

Вейтлинга для него также только догматическая абстракция. Главный интерес теперешней Германии составляет, во-первых, религия, затем политика; не противопоставлять им какую-либо систему нужно, вроде «Путешествия в Икарию», а скорее брать их отправным моментом, каковы бы они ни были.

Маркс отвергает мнение «грубых социалистов», что политические вопросы стоят ниже их достоинства. Из конфликта политического государства с самим собою, из противоречия между его идеальным назначением и его реальными предпосылками повсюду можно извлечь социальную истину. Он ссылается на разницу между сословным и представительным строем (в свое время разобранную им в «Рейнской газете»): этот вопрос выражает лишь в политической форме разницу между господством человека и господством частной собственности. «Ничто не мешает нам, таким образом, приурочить нашу критику к критике политики, к занятию той или иной позиции в политике, следовательно, к действительной борьбе. Мы не выступаем тогда доктринерски пред миром с новым принципом: «Здесь истина, здесь преклони колена!» Мы из принципов мира развиваем для мира новые принципы. Мы не говорим ему: брось свою борьбу, все это глупости; мы крикнем тебе истинный пароль борьбы. Мы показываем ему только, за что он собственно борется, а сознание есть вещь, которую он *принужден* себе усвоить, если даже не хочет этого».

экономии. Тевтонофильство перешло из человека в материю и, таким образом, наши хлопчатобумажные рыцари и герои чугуна увидели себя в одно прекрасное утро превращенными в патриотов». Маркс уже тогда разорвал патриотический плащ, в который рядилась капиталистическо-меркантилистская агитация Листа, чествуемого и теперь еще, как национальный герой. Тогда как во Франции и Англии проблема гласит: «Политическая экономия или господство общественности над богатством», она гласит в Германии: «Национальная экономия или господство частной собственности над национальностью». Там дело идет о развязке, а здесь еще только о завязке узла: достаточный пример немецкой формы современных проблем, пример того, в какой степени немецкая история, подобно необученному новобранцу, имела до сих пор своей задачей только проделывание вновь старых историй.

Но немецкая история имеет свое идеальное продолжение в немецкой философии; немцы — философские современники настоящего, не будучи его историческими современниками. Немецкая философия права и государства есть единственная история, стоящая на равной ноге с оффициальной современностью. Ее критика вводит в самую суть вопросов, о практическом разрешении которых идет дело. Практическая политическая партия — под ней Маркс разумеет, очевидно, либеральную буржуазию — справедливо требует отрицания философии; она неправа лишь в том, что не выполняет и не может выполнить этого требования: философию не отрицают тем, что к ней поворачиваются спиной и, отвернувши голову, бормочут о ней несколько сердитых и банальных фраз. Эта партия хочет приурочить свою работу к действительным жизненным зародышам, но она забывает, что действительный жизненный зародыш немецкой нации до сих пор сидел только под его черепом. Она не может упразднить философию, не превратив ее раньше в действительность. Обратную ошибку делает теоретическая политическая партия, ведущая свое начало от философии,— Маркс имеет в виду берлинских «свободных». Она не критикует философии, а исходит из ее предпосылок и не идет дальше ее результатов, или же выдает добытые иным путем требования и результаты за непосредственные требования и результаты философии. Основной недостаток этой

партии заключается в вере, что она может превратить философию в действительность, не упразднив ее. Вопрос заключается, напротив, в следующем: может ли Германия достигнуть практики, стоящей на высоте принципов, т.-е. достигнуть революции, которая подняла бы ее не только на оффициальный уровень современных народов, но и на человеческую высоту, долженствующую явиться ближайшим будущим этих народов?

Маркс отвечает на это: «Оружие критики не может, конечно, заменить критику оружия. Материальная сила должна быть свергнута материальной же силой, но и теория становится материальной силой, когда она охватывает массы. Теория способна охватить массы, как только она аргументирует ad hominem, а аргументирует она ad hominem, как только она становится радикальной. Быть радикальным значит схватывать вещи в их корне, а корнем для человека является сам человек». Однако, радикальной немецкой революции препятствует, повидимому, одна главная трудность. Революции нуждаются в пассивном элементе, в материальной основе. Теория осуществляется всегда в каждом народе лишь настолько, насколько она представляет собою осуществление его потребностей. Каким же образом Германия может перескочить посредством сальтомортале не только через свои собственные преграды, но в то же время и через преграды современных народов, т.-е. через такие преграды, которые в действительности должны рисоваться ей, как освобождение от ее действительных преград и потому составлять предмет ее стремлений? Разрешая этот вопрос, Маркс говорит, что немецкие правительства сумели сочетать культурные недостатки современного государственного мира, выгодами которого немецкий народ не пользуется, с варварскими недостатками старого государственного мира, которыми немцы наслаждаются в полной мере; что Германия разделила все страдания современного развития без его наслаждений; что в один прекрасный день она окажется на уровне европейского упадка, не стояв никогда на уровне европейской эмансипации. «Не радикальная революция — утопическая мечта для Германии, не общечеловеческая эмансипация, а, напротив, частичная, исключительно политическая революция, революция, оставляющая нетронутыми устои здания».

Политическая революция основана на том, что часть гражданского общества эмансипируется и достигает общего господства, что определенный класс, исходя из своего особенного положения, предпринимает освобождение всего общества. Этот класс освобождает все общество, но только в том предположении, что все общество находится в положении этого класса, напр., располагает деньгами и образованием или может по желанию приобрести их. «Ни один класс гражданского общества не может играть этой роли, не вызывая на время энтузиазма в себе и в массе. В течение этого момента он братается и сливается со всем обществом, он смешивается с ним, признается за его всеобщего представителя и, как таковой, пользуется сочувствием; его права и требования поистине являются тогда правами и требованиями общества, а сам он — головой общества и его сердцем». Наоборот, для того, чтобы революция какого-нибудь народа и эмансипация особого класса совпадали, все недостатки общества должны быть сосредоточены в другом классе, одно определенное сословие должно быть предметом всеобщего возмущения, одна особая социальная сфера должна считаться явным преступлением всей общественности, так, чтобы избавление от этой сферы казалось всеобщим самоосвобождением. Обще-отрицательное значение французского дворянства и духовенства обусловило обще-положительное значение французской буржуазии.

Далее Маркс указывает, что в Германии ни у одного класса нет той последовательности, резкости, мужества, беспощадности, которые могли бы сделать его отрицательным представителем общества, а с другой стороны, ни у одного класса нет того душевного размаха, который хотя на мгновение сливается с народной душой, той гениальности, которая воодушевляет материальную силу до степени политической силы, той революционной отваги, которая бросает противнику вызывающий пароль: «я ничто, но должен бы быть всем». Сферы немецкого общества относятся друг к другу не драматически, а эпически: каждая располагается рядом с другими со своими особыми притязаниями; даже нравственное самочувствие немецкого среднего класса покоится только на сознании, что он общий представитель филистерской посредственности всех прочих классов. Каждый класс вовлечен

уже в борьбу с классом, стоящим ниже его, когда он только еще начинает борьбу с классом, стоящим выше его. Средний класс еще едва только отваживается задаться со своей точки зрения мыслью об освобождении, а уже развитие общественных условий и процесс политической теории объявляют эту самую точку зрения устарелой или, по меньшей мере, проблематичной.

В чем же искать положительной возможности немецкого освобождения? «Ответ: в образовании класса с радикальными цепями, класса гражданского общества, который не есть класс гражданского общества; сферы, имеющей универсальный характер благодаря своим универсальным страданиям и не заявляющей притязания ни на какое особое право, потому что над ним совершается не специальная какая-либо несправедливость, а несправедливость вообще; сферы, которая не может больше ссылаться на исторический титул, а только лишь на человеческий, которая стоит не в одностороннем противоречии к следствиям немецкого государственного строя, а во всестороннем противоречии к его предпосылкам; наконец, сферы, которая не может освободить себя, не освободившись от всех прочих сфер общества и не освободив, таким образом, все эти сферы, которая представляет, одним словом, полную потерю человека и, следовательно, может вновь обрести себя только путем полного возрождения человека. Это разложившееся общество, как особое сословие, есть пролетариат».

Пролетариат еще только нарождается в Германии благодаря начинающемуся промышленному развитию, ибо пролетариат образует не возникшая естественным образом бедность, а бедность, искусственно созданная; не механически, тяжестью общества придавленная к низу человеческая масса, а масса, получившаяся вследствие его острого разложения, преимущественно вследствие разложения среднего сословия, хотя постепенно в ряды пролетариата вступают так же, как это само собою понятно, бедность, возникшая естественным путем и христианско-германское крепостное сословие. Когда пролетариат возвещает разложение прежнего мирового порядка, то лишь громко высказывает тайну своего собственного бытия, ибо он есть фактическое разложение этого мирового порядка. Если он требует отрицания частной собственности, то возводит лишь в принцип общества то, что общество возвело в его принцип, что помимо его содействия уже воплощено

в нем, как отрицательный результат общества. Подобно тому, как философия находит в пролетариате свое материальное оружие, так пролетариат находит в философии свое духовное оружие; пусть молния мысли основательно ударит в эту наивную народную почву, и свершится эмансипация немцев в людей. «Голова этой эмансипации — философия, ее сердце — пролетариат. Философия не может быть осуществлена без упразднения пролетариата, а пролетариат не может упразднить себя без осуществления философии. Когда все внутренние условия исполнятся, тогда немецкий день восстания из мертвых будет возвещен криком галльского петуха».

Доказывая, что в Германии возможна не политическая, а человеческая эмансипация, Маркс исследует различие между ними в статье «По поводу Еврейского вопроса», критикующей работы Бруно Бауэра по еврейскому вопросу.

Еврейский вопрос был, так сказать, тем концом, с которого немецкий идеализм подошел к экономической эволюции. Христианско-германское государство угнетало, преследовало евреев, но в то же время оно их терпело, покровительствовало им и даже ласкало их. В XVIII веке старый Фриц превратил евреев, в совершенно бесправных людей, но в то же время взял их под свою усиленную защиту, «главным образом, в видах содействия успехам коммерции, мануфактур и фабрик». Король-философ предоставил «вольности христианских банкиров» денежным евреям, помогавшим ему в его подделках монеты и прочих финансовых операциях сомнительного свойства, но философа Моисея Мендельсона он только терпел в своих владениях, и не потому, что тот был философом, а лишь в качестве бухгалтера одного из еврейских богачей. В 40-х г.г. прошлого века Фридрих Вильгельм IV донимал евреев всевозможными придирками, что не мешало, однако, еврейскому капиталу усиливаться благодаря экономической эволюции. Капитал этот начал подчинять себе правящие классы и занес свой бич над классами управляемыми, над пролетариатом — в форме промышленного капитала, но в гораздо большей степени — над мелким крестьянством и мещанством, в форме ростовщического капитала.

Против этого странного противоречия, против этого «лживого положения» возмутился Бауэр. В этом пункте он

заметил капиталистическую эволюцию, но только как средневековый эмбрион (зародыш), как нарост на христианско-германском государстве. Он не мог поэтому вырваться из рамок противоположности между христианством и еврейством. При всей резкости, с которою он критиковал богословие, он все же смотрел на вещи сквозь богословские очки. Он нападал на христианско-германское государство, которое по своему религиозному существу не могло эмансипировать евреев, но в то же время он нападал на евреев, которые по своему религиозному существу не могли быть эмансипированы. Религиозная точка зрения имеет для него решающее значение. Христиане и евреи должны перестать быть христианами и евреями, если они хотят быть свободными. Но христианство, как религия, опередило еврейство, как религию; поэтому, перед евреем лежит более далекий и трудный путь к свободе, нежели перед христианином. По Бруно Бауэру, евреи, чтобы получить возможность быть эмансипированными, должны некоторым образом проделать раньше христианство и гегелевскую философию. Разрешение еврейского вопроса, эмансипация евреев сводится у него к идеалистической причуде.

Против этого Маркс выдвигает практические результаты, к которым привело его изучение французской революции. Он говорит, что отнюдь не достаточно исследовать вопрос, кто должен эмансипировать, кого надо эмансипировать. Перед критикой стоит еще третья задача, она должна спросить: о какого рода эмансипации идет речь? Нужно исследовать отношение политической эмансипации к человеческой. Бауэр спрашивает евреев: имеете ли вы с вашей точки зрения право желать политической эмансипации? Между тем скорее следует задать вопрос: вправе ли точка зрения политической эмансипации требовать от еврея упразднения еврейства, вообще, требовать от человека упразднения религии?

Маркс отвечает на этот вопрос отрицательно, доказывая, что христианско-германское государство, государство привилегий, представляет собою еще несовершенное, еще теологическое лишь государство, не развившееся во всей своей политической чистоте. Политически законченное, современное государство, не знающее больше никаких религиозных привилегий — вот законченное христианское государство. Оно

не только может эмансипировать евреев: оно их эмансипировало и по своему существу должно эмансипировать. Там, где государство существует в высшей форме своего развития; там, где государственная конституция прямо объявляет осуществление политических прав независимым от религиозной веры, как, напр., в некоторых северо-американских штатах,— там человека без религии все же не считают приличным человеком. Существование религии не противоречит, таким образом, законченности государства. Политическая эмансипация еврея, христианина, вообще, религиозного человека, есть эмансипация государства от еврейства, от христианства, вообще от религии. Государство может освободить себя от известного ограничения, а человек в то же время фактически не будет от него свободен; в этом сказывается ограниченность политической эмансипации.

Государство, как государство, уничтожает, например, частную собственность. Человек объявляет частную собственность упраздненной в политическом смысле, как только он упраздняет имущественный ценз для активного и пассивного избирательного права,— что мы видим, например, во многих северо-американских штатах. Государство упраздняет по-своему различия по рождению, сословию, образованию, занятию, когда оно объявляет происхождение, сословие, образование, занятие не-политическими различиями, когда оно, не обращая внимания на эти различия, провозглашает всякого члена народа равномерным участником в народном суверенитете. Тем не менее, государство позволяет частной собственности, образованию, занятию действовать по-своему, т.-е. как частная собственность, образование, занятие, и проявлять на практике свое особое существо. Не только не упраздняя этих фактических различий, государство существует, наоборот, лишь в их предположении, оно ощущает себя политическим государством и осуществляет свой всеобщий характер лишь в противоположении к этим своим элементам. Законченное политическое государство является по своему существу видовой жизнью человека, в противоположность к его материальной жизни. Все предпосылки этой эгоистической жизни продолжают существовать в гражданском обществе, вне государственной сферы, но как свойства гражданского общества. Отношение политического государства к его

предпосылкам, будут ли то материальные элементы, как частная собственность, или элементы духовные, как религия, это — столкновение между общим и частным интересом. Конфликт, в котором человек, как приверженец известной религии, находится со своим государственным гражданством, с другими людьми, как членами общежития, сводится к расколу между политическим государством и гражданским обществом.

Но если человек, хотя и будучи евреем, может быть политически эмансипирован, получить права гражданина, то может ли еврей притязать на права человека и получить их? Бауэр решает вопрос отрицательно. На это Маркс отвечает: несовместимость религии с правами человека не только не содержится в понятии этих прав, но, напротив, право быть религиозным, и притом на какой угодно лад прямо перечисляется среди прав человека. Привилегия веры есть всеобщее право человека. Права человека отличаются от прав гражданина. Кто же этот человек, отличаемый от гражданина? Не кто иной, как член гражданского общества. Маркс подробно доказывает это на определении прав человека (равенства, свободы, безопасности, собственности) в самой радикальной из конституций, именно — во французской конституции 1793 г. Политическая революция была революцией гражданского общества. При феодальном строе общество носило, с одной стороны, непосредственно политический характер, так как элементы гражданской жизни, например, собственность и семья, род и способ работы, были возведены в элементы государственной жизни, в форме поместной системы, сословия, корпорации. Но, с другой стороны, оно именно потому распадалось на несколько отдельных обществ и исключало индивидуума из государственного целого. Необходимым последствием такой организации было то, что общая государственная власть стала особым делом отделенного от народа правителя и его слуг. Политическая революция, низвергнувшая эту власть правителя, сделавшая государственные дела народными делами, конституировавшая политическое государство, как общее дело, как действительное государство,— политическая революция разбила все сословия, корпорации, цехи, привилегии и уничтожила, таким образом, политический характер гражданского общества. «Политическая эмансипация есть сведение человека, с одной стороны, на члена

гражданского общества, на эгоистического, независимого индивида, с другой, на гражданина государства, на моральное лицо. Человеческая эмансипация свершится лишь тогда, когда действительный, индивидуальный человек вновь воспримет в себя абстрактного гражданина государства и станет всечеловеком в своей эмпирической жизни, в своей индивидуальной работе, в своих индивидуальных отношениях; когда человек сознает и организует свои собственные силы, как общественные силы, и, следовательно, не будет больше отделять от себя общественную силу в образе особой политической силы».

Наконец, Маркс исследует воззрение Бауэра, будто христианин более способен к эмансипации, чем еврей. Он и здесь разбивает богословские рамки вопроса, за которые Бауэр не выходит, при всем своем критическом отношении к богословию. Маркс хочет рассмотреть не субботнего, а будничного еврея. Бесспорно, еврейский вопрос есть также вопрос религиозный, но он имеет под собою реальную, светскую основу. Действительный еврей должен быть объясняем не из еврейской религии, а напротив, объяснения еврейской религии следует искать в действительном еврее. Таким образом, вопрос о способности еврея к эмансипации превращается для Маркса в другой вопрос: какой особый общественный элемент необходимо побороть, для того, чтобы упразднить еврейство? Что составляет светскую основу еврейства? Практическая потребность, эгоизм. В чем заключается светский культ еврея? В барышничестве. Кто его светский бог? Деньги. «Так вот, эмансипация от барышничества и от денег, следовательно, от практического, реального еврейства, была бы авто-эмансипацией нашего времени. Общественная организация, которая упразднила бы предпосылки барышничества, следовательно, возможность последнего, сделала бы невозможным и еврея. Его религиозное сознание расплылось бы, как туман, в реальной жизненной атмосфере общества. С другой стороны, если еврей убеждается в ничтожестве этого практического существа своего и работает над его упразднением, то он, идя дальше в своей эволюции, работает над человеческим освобождением вообще и борется против высшего практического выражения самоотчуждения». Маркс признает в еврействе вездесущий антиобщественный элемент; историческое развитие, в котором

евреи принимали с этой дурной стороны деятельное участие, довело этот элемент до его нынешней высоты, когда он неизбежно должен исчезнуть.

Еврейство эмансипировалось на еврейский лад, захватив власть денег; оно эмансипировалось благодаря тому, что деньги стали мировой силой, а практический еврейский дух стал практическим духом христианских народов. «Евреи эмансипировались постольку, поскольку христиане стали евреями». Если Бауэр называет лживым то положение вещей, при котором еврею в теории не дают гражданских прав, тогда как на практике он располагает огромной властью, то указанное противоречие есть вообще противоречие между политикой и властью денег. Тогда как в идее политика стоит над властью денег, она на самом деле стала крепостным слугою последней. Еврейство сохранилось не вопреки истории, а благодаря ей; гражданское общество беспрерывно создает еврея из собственных недр своих. Деньги — бог ревнитель израиля, пред лицом которого нет места никакому другому богу. Деньги принижают всех богов человека и превращают их в товар. Деньги — всеобщая, автономно конституированная ценность всех вещей; они лишили поэтому весь мир, мир человеческий, как и природу, их своеобразной ценности. Деньги представляют собою отчужденное от человека существо его работы и его бытия; это чужое существо властвует над ним, ему он поклоняется. Химерическая национальность еврея есть национальность купца, вообще, денежного человека. И так как реальное существо еврея находит себе всеобщее осуществление в гражданском обществе, то гражданское общество не может убедить еврея в нереальности его религиозного существа. Общественная эмансипация еврея означает эмансипацию общества от еврейства.

Другими словами, Маркс говорит: религиозные вопросы дня имеют ныне общественное значение; о религиозных вопросах, как таковых, нет больше речи. На историческое развитие еврейства он смотрит не глазами теолога, а светского человека. Он прослеживает это развитие не в религиозной теории, а в промышленной и торговой практике, получающей свое фантастическое отражение в еврейской религии. Практическое еврейство получило свою законченность лишь в законченном христианском мире; мало того: оно в сущности есть законченная

практика самого христианского мира. Так как гражданское общество носит вполне коммерческий, еврейский характер и, следовательно, еврей является необходимым членом его, то он имеет тем большее право на политическую эмансипацию, на пользование общечеловеческими правами.

Признание прав человека есть не что иное, как признание эгоистического гражданского индивидуума и ничем не стесняемого движения духовных и материальных элементов, образующих содержание его жизненного положения, содержание нынешней гражданской жизни. Права человека не освобождают его от религии, но дают ему религиозную свободу, они не освобождают его от собственности, но доставляют ему свободу собственности, они не освобождают его от грязи промысла, но даруют ему промысловую свободу. Признание прав человека современным государством имеет совершенно такой же смысл, как признание рабства античным государством. Подобно тому, как античное государство имело своим естественным фундаментом рабство, так современное государство зиждется на гражданском обществе. Путем собственного развития гражданское общество разорвало старые политические связи и создало современное государство, а это государство провозглашением прав человека признало свой источник и фундамент. Развитая современная государственность имеет своей необходимой основой развитое гражданское общество, другими словами — всеобщую борьбу человека с человеком, индивида с индивидом; взаимную войну всех индивидов, отделенных друг от друга только своей индивидуальностью; всеобщее разнузданное движение стихийных жизненных сил, освобожденных от пут привилегий; фактическое рабство индивида при кажущейся свободе и независимости его, ибо индивид принимает ничем не стесняемую свободу отчужденных элементов его жизни, напр., собственности, промышленности, религии за свою собственную свободу, между тем как в ней выражаются его полнейшее рабство и бесчеловечность.

Анархия есть закон гражданского общества, освободившегося от расчленяющих его привилегий, и анархия гражданского общества есть основа современного политического порядка, как, в свою очередь, политический порядок является гарантией этой анархии. При всей своей противоположности, они оба взаимно обусловливают друг друга.

Этой критикой еврейского вопроса Маркс делает значительный шаг вперед в критике гегелевской философии права. Если Гегель поставил государство над обществом, то Маркс находит, что фактически общество стоит над государством. Маркс доказывает это положение на развитом буржуазном обществе и развитом современном государстве. Он указывает на то, что в античном и феодальном мире общество было так же, как в современном, необходимой основой государства, а не наоборот. Однако, лишь современный мир настолько упростил и усилил противоположность между обществом и государством, что она должна разрешиться в сознательную организацию общественных сил, которая уничтожит в высшем синтезе противоречие между общественной анархией и государственным принуждением, которая эмансипирует человека, сделав его господином над источниками своей жизни. Статьи Маркса в «Немецко-Франц. Ежегоднике» содержат плодотворные зародыши материалистического понимания истории.

К самому еврейскому вопросу Маркс никогда больше не возвращался. То, что можно было сказать по этому поводу, он сказал исчерпывающим образом. Необозримая литература, возникшая с тех пор по еврейскому вопросу, ни в одной своей мысли не идет дальше Маркса, а, напротив, сплошь остается позади его статьи. Маркс не имеет ничего общего с антисемитизмом: он не только утверждает *что*, но и доказывает, *почему* еврей имеет неоспоримое право на политическую эмансипацию, на пользование общечеловеческими правами. Мало того, он говорит, что политическая эмансипация есть, конечно, большой шаг вперед, и если не вообще, то во всяком случае в пределах существующего до сих пор мирового порядка она является последней формой человеческой эмансипации. Но, с другой стороны, Маркс не имеет также ничего общего с филосемитизмом, который хотел бы всякую критику, направленную против денежного еврейства, сразить несколькими красивыми стихами из «Натана Мудрого» Лессинга. Он смотрит, напротив, на еврейство, как на общественный продукт, который возник в своей определенной исторической форме из определенных исторических условий и вместе с ними исчезнет. Историческая эволюция сделала еврейство, без его вины, а отчасти и по его вине, носителем власти денег и потому самому — антиобщественным элементом, который неизбежно должен разложиться. Но разложится он в социалистическом обществе, которое не будет больше вращаться вокруг бога денег, а вокруг солнца труда.

Если бы мы захотели резюмировать на современном языке то, что Маркс сказал по еврейскому вопросу, то результат его исследования гласил бы: подобно человеческой эмансипации рабочего, подобно человеческой эмансипации женщины, так и человеческая эмансипация еврея возможна лишь в социалистическом обществе.

Статьи Энгельса.

Во французской революции Маркс искал и нашел разрешение своим сомнениям относительно борьбы и задач нашего времени; Энгельс искал и нашел ответ на те же вопросы, изучая английскую промышленность. Он видел, как ничем не сдерживаемое движение собственности, отчужденной от человека, повергает этого последнего в нищету, унижение, рабство, бесчеловечность, но он видел также, что собственность, действуя разлагающим образом на все сепаратные интересы, прокладывает путь к великому перевороту нашего столетия — к примирению человека с природою и с самим собою.

В своих «Критических очерках политической экономии» Энгельс называет буржуазную экономию, систему свободы торговли, основанную на «Богатстве народов» Адама Смита, тем же лицемерием и безнравственностью, с которыми свободная человечность сталкивается теперь во всех областях. Будучи шагом вперед в сравнении с меркантилизмом, так как она развивает законы частной собственности, буржуазная экономия пугается, однако, последнего шага и не задается вопросом, какое оправдание имеет частная собственность. Поэтому она не может успешно преодолеть систему меркантилизма; непоследовательность либеральной экономии должна неизбежно сказаться в ее составных частях. За лицемерной гуманностью новых политико-экономов скрывается варварство, о котором не имели представления старые; путаница понятий у стариков представляется образцом простоты и последовательности в сравнении с двуязычной логикой новых; защитники свободы торговли — еще худшие монополисты, чем даже старые меркантилисты. Если они не в состоянии постигнуть возрождения меркантилизма Листом, то связь

все-таки очень проста. «Подобно тому, как богословие должно итти либо назад к слепой вере, либо вперед к свободной философии, так и свобода торговли должна вызывать, с одной стороны, возрождение монополий, с другой — упразднение частной собственности». Во всех чисто-экономических спорах, где речь идет о кратчайшем пути к обогащению, защитники свободы торговли правы, поскольку они критикуют меркантилистов; в ином положении они находятся относительно противников частной собственности, умеющих экономические вопросы разрещать также и экономически более правильно, как это давно доказали в теории и на практике английские социалисты.

С этой общей точки зрения Энгельс исследует отдельные экономические категории: торговлю, ценность, цену, поземельную ренту, капитал, труд, конкурренцию. Вскрывая их непримиримые противоречия, он не смотрит на них, однако, подобно Прудону, как на предпосылки, исходя из которых можно оспаривать политико-экономов; напротив, он доказывает, что они являются логическими проявлениями частной собственности. Подобно тому, как Бруно Бауэр при самой резкой критике теологии не выходил все-таки никогда из области богословских предпосылок, так и Прудон, критикуя самым резким образом частную собственность, был опутан экономическими понятиями, вытекающими из частной собственности. Как там Маркс разбил богословские рамки вопроса, так Энгельс разбил здесь политико-экономические его рамки и привел его назад ко всеобщей, чисто человеческой основе.

При системе меркантилизма торговля открыто обнаруживала свою низменную алчность. Либеральная экономия сделала ее более гуманной. Почему? Потому, что в интересах торговца быть в хороших отношениях и с тем, у кого он дешево покупает, и с тем, кому он дорого продает. Чем дружественнее отношения, тем дело выгоднее. «Разве мы не низвергли варварства монополий, — кричат лицемеры, — разве мы не сделали народов братьями и не уменьшили войн? — Да, все это вы сделали, но как вы это сделали! Вы уничтожили маленькие монополии, чтобы предоставить тем более неограниченную свободу действий великой основной монополии — собственности. Вы цивилизовали самые отдаленные края света только затем, чтобы завоевать новое поприще,

где могла бы развернуться ваша низкая жадность. Вы побратали народы, но в братство воров, вы уменьшили войны, чтобы тем больше наживать в мирное время, чтобы довести до крайних пределов вражду между отдельными лицами, бесчестную войну конкурренции!» Но этого мало! После того, как либеральная экономия употребила все свои усилия, чтобы путем разложения национальностей сделать вражду всеобщей, превратить человечество в стадо хищных зверей (а чем отличаются от них конкурренты?), пожирающих друг друга именно потому, что каждый имеет однородный интерес со всеми другими, — после этой подготовительной работы ей остался только один шаг для достижения цели: разложение семьи. Его она выполнила при помощи прекрасного собственного изобретения: фабричной системы. При посредстве этой системы она разложила последний остаток общих интересов, общность имущества в семье. Энгельс указывает на общераспространенное уже тогда явление, по крайней мере — в Англии, что дети, едва достигнув 9-летнего возраста, следовательно, работоспособности, тратят свой заработок на себя, рассматривая родительский дом, как пансион, и платя родителям известную сумму за стол и квартиру.

Энгельс находит, впрочем, что и землевладелец не лучше купца. «Он грабит, монополизируя землю. Он грабит, эксплоатируя в свою пользу рост народонаселения, увеличивающий конкурренцию и, следовательно, ценность его земельного участка; он грабит, делая источником своей личной выгоды то, что не было создано его личным трудом, что для него чистая случайность... Сделать предметом барышничества землю, составляющую для нас все, первое условие нашего существования, это значило сделать последний шаг к торговле самим собою; это было и остается поныне безнравственностью, которую превосходит только безнравственность самоотчуждения». Энгельс говорит, что не он выставил аксиомы, согласно которым способ получения дохода землевладельцем должен быть квалифицирован как грабеж, — аксиомы, что каждый имеет право на продукт своего труда и что никто не должен пожинать того, чего он не сеял. Первая аксиома исключает обязанность прокормления детей, вторая отнимает у каждого поколения право на существование, ибо каждое поколение вступает во владение наследием предшествующего. Эти аксиомы

суть, напротив, логические выводы из частной собственности; нужно либо осуществить ее выводы, либо отказаться от нее, как от логической посылки.

Частная собственность разъединяет землю, мертвую и бесплодную без оплодотворяющей работы человека, и человеческую деятельность, для которой первым условием является именно земля. Она разлагает человеческую деятельность снова на труд и капитал и ставит их во враждебные отношения друг к другу. Но этой борьбы между землей, капиталом и трудом еще недостаточно: частная собственность разбивает и дробит каждый из этих элементов еще внутри себя самого. Один земельный участок противопоставляется другому земельному участку, один капитал — другому капиталу, одна рабочая сила — другой рабочей силе. Иными словами: так как частная собственность обособляет каждого на его грубом «я», и каждый имеет все-таки однородный интерес со своим соседом, то создается враждебное отношение одного землевладельца к другому землевладельцу, одного капиталиста — к другому капиталисту, одного рабочего — к другому рабочему. В этой вражде одинаковых интересов, обусловленной именно их одинаковостью, получает свое завершение безнравственное состояние, в котором поныне пребывает человечество; это завершение есть конкурренция, «Она — главная категория экономиста, его любимейшая дщерь, которую он не перестает ласкать и лелеять, и посмотрите, что за лицо Медузы получится отсюда».

Энгельс доказывает прежде всего, что конкурренция заключает в себе такое же противоречие, как частная собственность, а именно, резкое противоречие между общим и индивидуальным интересом. В интересах каждого отдельного человека владеть всем, но общество заинтересовано в том, чтобы у каждого было одинаково много имущества. Таким образом, каждый должен желать себе монополии, между тем общество, как таковое, должно терять из-за монополии и потому прилагать усилия к ее устранению. Конкурренция предполагает уже монополию, а именно, монополию собственности, и покуда существует монополия собственности, до тех пор собственность на монополию имеет такое же оправдание, ибо однажды предоставленная кому-либо монополия тоже есть собственность. Какую жалкую половинчатость обнаруживают, поэтому,

люди, нападающие на маленькие монополии и оставляющие спокойно существовать основную монополию, частную собственность!

Закон конкурренции состоит в том, что спрос и снабжение всегда стремятся уравновесить друг друга и именно потому никогда не достигают вполне этой цели. Если спрос больше предложения, то цены поднимаются и поощряется предложение. Как только это последнее показывается на рынке, цены падают, и при большом перевесе предложения над спросом, падение цен бывает настолько значительно, что этим снова возбуждается спрос. «Так постоянно идет дело: никогда нет здорового состояния, а есть постоянная смена возбуждения и упадка сил, исключающая всякий прогресс, есть вечное колебание, при котором никогда не приходишь к цели. Этот закон, с его постоянным уравниванием, — закон, где потерянное здесь снова выигрывается там, всякий экономист находит удивительно прекрасным; это главный предмет его гордости, он не может наглядеться на него досыта и рассматривает его при всех возможных и невозможных условиях. А между тем ясно, что это — чисто-стихийный закон, а не закон духа. Закон порождающий революцию. Экономист приходит к вам *с своей прекрасной теорией спроса и предложения*, доказывает вам, что перепроизводства никогда не может быть, а практика отвечает торговыми кризисами, повторяющимися с такой же правильностью, как кометы, и возвращающимися теперь в среднем через каждые 5 — 7 лет. Торговые кризисы появлялись в последние 80 лет так же правильно, как когда-то большие эпидемии, а нужды и нравственного растления они приносили больше, чем эпидемии. Естественно, что эти торговые революции подтверждают закон спроса и предложения, они подтверждают его в полной мере, но иным образом, чем хотел бы уверить нас экономист. Что подумать о законе, который может осуществляться только путем периодических переворотов? Это и есть закон природы, покоящийся на бессознательности участвующих. Если бы производители, как таковые, знали, сколько нужно потребителям; если бы они организовали производство; если бы они распределили его между собою, — то колебания конкурренции и ее наклонность к кризису были бы невозможны. Производите сознательно, как люди, а не как раздробленные атомы, лишенные сознания о своем роде, — и вы вырвались из всех этих искусственных

и безвыходных противоречий. Но покуда вы продолжаете производить теперешним способом, бессознательным, бессмысленным, отданным во власть случая, до тех пор торговые кризисы останутся. Мало того: каждый последующий кризис должен носить более всеобщий характер, следовательно, быть хуже предшествующего. Он должен доводить до нищеты все большее количество мелких капиталистов и в возрастающей пропорции увеличивать численность класса, живущего наемным трудом; он должен, следовательно, увеличивать массу рабочих, которым приходится дать занятие, эту главную проблему наших экономистов, и, в конце-концов, привести к такой социальной революции, какая и во сне не снится школьной мудрости политико-экономов».

Конкурренция, борьба капитала против капитала, труда против труда, земли против земли, доводит производство до лихорадочного состояния, при котором оно перевертывает вверх дном все естественные и разумные отношения. Всякий, кто вступает в борьбу конкурренции, не может выдержать ее без высшего напряжения своих сил, без отказа от всех истинно-человеческих целей. «Последствием этого черзмерного напряжения сил на одной стороне является неизбежный упадок их на другой. Когда колебания конкурренции незначительны, когда спрос и предложение, потребление и производство приблизительно равны друг другу, то в развитии производства должна наступить стадия, на которой имеется столько лишней производительной силы, что массе народа нечем жить, что люди начинают голодать от одного избытка. В этом безумном состоянии, в положении этого воплощенного абсурда уже порядочное время находится Англия. Если производство колеблется сильнее, как это неизбежно при таком состоянии, то наступает смена процветания и кризиса, перепроизводства и застоя. Политико-эконом никогда не умел объяснить себе этого сумасшедшего положения; для объяснения его он изобрел теорию народонаселения, столь же и даже более бессмысленную, нежели указанное противоречие одновременного существования богатства и нищеты». Раньше чем перейти, однако, к критическому разбору теории народонаселения, приобревшей типическую известность в формулировке Мальтуса и составляющей догмат либеральной экономии, Энгельс предлагает собственное

объяснение «удивительного факта, более удивительного, чем чудеса всех религий вместе взятые»,— что нация должна умирать с голоду от одного богатства и избытка.

Он говорит, что производительная сила, находящаяся в распоряжении человечества, неизмерима. Производительность почвы можно повысить до бесконечности путем применения капитала, труда и научного знания. По вычислениям лучших экономистов и статистиков, «перенаселенная» Великобритания может быть доведена в течение 10 лет до того, чтобы производить хлеб в количестве, достаточном для населения, в 6 раз превышающего число ее жителей. Капитал растет ежедневно, рабочая сила растет вместе с населением, а наука все больше подчиняет человеку силы природы. «Эта неизмеримая производительная способность, применяемая сознательно в интересах всех, уменьшила бы скоро труд, выпадающий на долю человечества, до минимума; предоставленная конкурренции, она делает то же, но в пределах противоположности. Одна часть страны возделывается наилучшим образом, тогда как другая — в Великобритании и Ирландии, например, 30 милл. акров хорошей земли — лежит втуне. Часть капитала обращается с огромной скоростью, другая лежит, напротив, без движения в сундуке. Часть рабочих трудится по 14 и 16 часов в день, между тем как другая проводит время без дела и умирает с голоду. Случается и и так, что распределение выступает из этой одновременности: сегодня торговля идет хорошо, спрос весьма значителен, все работает, и капитал оборачивается с поразительной, быстро той, земледелие процветает, рабочие надрываются над трудом, — завтра наступает застой, сельское хозяйство не окупается, обширные пространства земли остаются невозделанными, движение капитала останавливается, рабочие не находят занятия, и вся страна больна от избытка богатства и избытка населения». Как ни просто объяснение этого явления, но его никогда не осмелится признать либеральная экономия, которой пришлось бы в таком случае отречься от всего великолепия системы конкурренции.

Вместо этого либеральная экономия пыталась выйти из затруднения при помощи теории народонаселения. Мальтус утверждал, что население оказывает всегда давление на пищевые средства, что человеческому роду свойственна неизменная

тенденция размножаться быстрее существующих в каждый данный момент пищевых средств; по его гипотезе народонаселение растет в геометрической прогрессии (1 : 2 : 4 : 8 : 16 : 32 и т. д.), а производительная сила почвы только в арифметической (1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 и т. д.). В постоянной перенаселенности либеральная экономия усмотрела причину всякой нищеты и порока. Из нее она сделала следующие милые выводы: подача милостыни есть преступление, так как она поддерживает прирост избыточного населения; напротив, очень выгодно провозгласить бедность преступлением, обратить работные дома в каторжные тюрьмы и т. п. Правда, эта теория плохо совмещалась с библейским учением о совершенстве бога и его творения, но набожная английская буржуазия считала плохим опровержением — выдвигать Библию против фактов.

Против этого «позорного, низменного учения, этой отвратительной кощунственной клеветы на природу и человечество» с негодованием вооружается Энгельс. Он задает вопрос, где же это доказано, что производительность почвы растет в арифметической прогрессии? В противоположность этому голословному утверждению Энгельс обращает внимание на успехи, которыми земледелие нашего века обязано одной химии, даже двум только лицам — сэру Гэмфри Деви и Юстусу Либиху. Смешно говорить о перенаселении, пока обработанной может считаться только одна треть земного шара, и самое производство этой трети можно увеличить в 6 и более раз путем применения уже теперь известных улучшений. Мальтус делает две ошибки. Он упускает из вида, что избыточное население всегда связано с избыточным богатством, избыточным капиталом и избыточным землевладением,—факт, рассмотрение которого должно привести к правильному пониманию дела. Затем Мальтус смешивает средства к существованию со средствами для предоставления занятия другим. Что Мальтус действительно доказал и доказательство чего составляет его заслугу, это — нечто иное: он доказал, что народонаселение давит всегда на средства для предоставления занятий другим, что производство рабочей силы регулировалось до сих пор законом конкурренции и потому было также подвержено периодическим кризисам и колебаниям.

При всей несостоятельности либеральной теории народонаселения Энгельс признает исторический прогресс, который она представляет собою. Она обратила внимание на производительную силу земли и человечества, она дает сильнейшие экономические аргументы в пользу социального преобразования. «Благодаря ей мы познакомились с глубочайшим унижением человечества, с его зависимостью от системы конкурренции. Она показала нам, что частная собственность в конечном счете обратила человека в товар, производство и уничтожение которого также зависит от спроса; она показала, что вследствие этого система конкурренции убила и продолжает ежедневно убивать миллионы людей. Все это мы увидели, и все это толкает нас к тому, чтобы путем упразднения частной собственности, конкурренции и противоположных интересов положить также конец изображенному унижению человечества».

К тому же результату Энгельс приходит, когда рассматривает вопрос, каким образом конкурренция изменяет соотношение сил труда, капитала и земельной собственности. «Прежде всего землевладение и капитал, взятые каждый в отдельности, сильнее труда, ибо рабочий вынужден работать, чтобы жить, тогда как землевладелец может жить своей рентой, а капиталист своими процентами, или в крайнем случае они могут жить своим капиталом и обращенной в капитал землей. Результат получается тот, что труду достается лишь до зареза необходимое, достаются лишь голые средства существования, тогда как большая часть продуктов распределяется между капиталом и землевладением. Далее, слабейший рабочий вытесняется с рынка более сильным, меньший капитал — большим, менее крупное землевладение — более крупным. Практика подтверждает это заключение: всем известны преимущества, которые крупный фабрикант и купец имеют пред мелким, крупный землевладелец — пред владельцем одного моргена (около $1^1/_2$ десятины). В результате мы видим, что уже при обычных условиях крупный капитал и крупное землевладение по праву сильного поглощают мелкий капитал и мелкое землевладение, т.-е. видим концентрацию собственности. Во время торговых и сельско-хозяйственных кризисов эта концентрация происходит гораздо быстрее. Вообще крупная собственность растет значительно быстрее мелкой, так как из приносимого ею дохода вычитывается гораздо меньшая

доля на траты собственника. Эта концентрация есть столь же имманентный (находящийся в пределах опыта) закон частной собственности, как и все другие ее законы; средние классы должны все больше исчезать, пока мир не будет разделен на миллионеров и пауперов, на крупных землевладельцев и бедных батраков. Всякие законодательные мероприятия, всякие разделы земельной собственности, всякие случайные дробления капитала — все это не может помочь делу». Свободная конкурренция создает монополию так точно, как монополия создает конкурренцию; из этой дилеммы есть только один выход: упразднение принципа, создающего ту и другую, т.-е. упразднение частной собственности.

Конкурренция проникла во все жизненные отношения людей; она регулирует не только численный прогресс человечества, но и нравственный его прогресс. «Кто несколько знаком со статистикой преступлений, тому должна была броситься в глаза характерная правильность, с которою ежегодно возрастает преступность, с которою известные причины порождают известные преступления. Эта правильность доказывает, что и преступность управляется конкурренцией, что общество создает спрос на преступление, покрываемый соответственным предложением». Насколько справедливо при таких обстоятельствах — независимо от всех прочих соображений — наказывать преступления, об этом Энгельс предоставляет судить самому читателю. Своим указанием на область нравственности он хочет только подчеркнуть, до какого глубокого унижения частная собственность довела человека.

Энгельс указывает, наконец, что при теперешних условиях землевладение и капитал имеют в своей борьбе против труда еще одного могущественного союзника: помощь науки. «Почти все механические изобретения были вызваны недостатком в рабочих руках; таково, напр., происхождение бумагопрядильных машин Харгревса, Кромптона и Аркрайта. Всякий раз, когда на труд появлялся большой спрос, это давало толчок к какому-нибудь изобретению, которое значительно увеличивало количество механической рабочей силы и уменьшало, поэтому, спрос на человеческий труд. История Англии с 1770 г. и по настоящий день является непрерывным подтверждением этой мысли. Последнее крупное

изобретение в бумагопрядильном деле, сельфактор, было вызвано исключительно спросом на труд и ростом заработной платы. Сельфактор удвоил машинную работу и тем наполовину сократил ручной труд, он лишил занятия половину рабочих и тем понизил заработную плату другой половины, он уничтожил заговор рабочих против фабрикантов и разрушил последний остаток сил, с которым труд выдерживал еще неравную борьбу против капитала». Энгельс восстает против утверждения экономистов, что в конечном результате машины выгодны, дескать, для рабочих, ибо, удешевляя производство, они создают новый, большой рынок для его продуктов и таким образом дают вновь занятие оставшимся без дела рабочим. В доказательство он ссылается на установленный экономистами же закон, по которому рабочая сила оказывает всегда давление на средства для найма рабочих. Следовательно, если бы указанные выгоды и должны были наступить, они оказались бы призрачными по той причине, что избыток конкуррентов на работу опять стоит наготове в ожидании занятия; между тем ущерб — внезапное отнятие средств к существованию у одной половины рабочих и падение заработной платы у другой половины — весьма реален.

В тесной связи с этими афоризмами, содержащими критику буржуазной экономии, находится другая статья Энгельса в «Немецко-Французском Ежегоднике»: критическое извлечение из памфлета Карлейля «Прошедшее и настоящее». Энгельс начинает с того, что резкими штрихами рисует картину духовного обнищания английской аристократии и буржуазии; он называет образованного англичанина, по которому на континенте судят об английском национальном характере, презреннейшим рабом в подлунном мире, — рабом, задыхающимся в предрассудках, особенно в предрассудках религиозных. «Только неизвестная на континенте часть английской нации, только рабочие, парии Англии, бедняки, действительно достойны уважения, несмотря на всю их грубость и на всю их деморализацию. От них придет спасение Англии, в них заключен еще пластический материал; они лишены образования, но зато не имеют и предрассудков, в них сохранилась еще сила, необходимая для великого национального подвига, у них есть еще будущность». Энгельс рассказывает, что когда «Жизнь Христа» Штрауса пришла

по ту сторону Ламанша, то ни один приличный человек не отважился перевести книгу, ни один видный книгопродавец — напечатать ее. «Наконец, ее перевел социалистический лектор, т.-е. человек, занимающий одно из самых нефешенебельных положений в обществе; затем нашелся мелкий типограф-социалист, который напечатал ее выпусками по 1 пенни каждый, и рабочие Манчестера, Бирмингема и Лондона составили единственную публику для Штрауса в Англии». Из двух партий, на которые делится образованная Англия, Энгельс находит сравнительно более беспристрастный взгляд на вещи уториев: они видят в промышленности, в лучшем случае, необходимое зло, так как она сломила их могущество и безраздельное господство, между тем виги находят, что в промышленности, дающей им силу и деньги, все безупречно, и в ее расширении усматривают единственную цель всякого законодательства. Человеколюбивые тори, как лорд Эшли, Ферранд, Вальтер, Остлер и другие, считали своей обязанностью заступаться за фабричных рабочих против фабрикантов. Томас Карлейль также принадлежал сначала к ториям и все еще стоит ближе к этой партии, чем к вигам. Виг никогда не мог бы написать книгу, хотя бы наполовину столь гуманную, как «Прошлое и настоящее», — единственную достойную чтения книгу в английской литературе за 1843 г., единственную, затрагивающую человеческие струны, говорящую о человеческих отношениях и обнаруживающую след гуманного образа мыслей.

Книга Карлейля есть сопоставление между Англией XII и Англией XIX века. Она самым мрачным образом смотрит на настоящее и рисует его красками, горящими от жгучего стыда; она гневно грозит ему пророческим языком потрясающей силы. Праздная поземельная аристократия, не научившаяся даже сидеть тихо и, по крайней мере, не творить зла; работающая аристократия, погрязшая в служении маммоне и представляющая собою банду промышленных пиратов, вместо того, чтобы быть собранием руководителей труда, «полководцев промышленности»; парламент, выбираемый при помощи подкупа; философия жизни, заключающаяся в ничегонеделанье и пассивном созерцании того, что происходит кругом; изношенная, разваливающаяся религия;

полное разложение всех общественных интересов; всеобщее отчаивание в истине и человечестве; хаотическая запутанность всех жизненных отношений; война всех против всех; несоразмерно многочисленный рабочий класс, живущий под невыносимым гнетом и в нищете, в состоянии дикого недовольства и бунта против старого социального порядка, и вследствие этого — угрожающая, неудержимо надвигающаяся демократия; повсюду хаос, беспорядок, анархия, разложение старых общественных связей, повсюду духовная пустота, безыдейность и упадок сил, таково было, по Карлейлю, положение Англии в 40-х г.г. Он сознается, что не располагает панацеей для лечения социальных зол, не имеет «пилюль Моррисона», как он выражается на своем оригинальном языке.

До этого пункта Энгельс соглашается с Карлейлем, хотя не без оговорок. Он пишет: «Всякая социальная философия остается весьма несовершенной, покуда она выставляет, как свой конечный результат, каких-нибудь два, три положения, покуда она прописывает пилюли Моррисона. Мы особенно нуждаемся не столько в голых результатах, сколько в изучении: результаты — ничто без развития, которое привело к ним, это мы знаем уже со времен Гегеля; результаты более чем бесполезны, если они неподвижно установлены, как нечто самодовлеющее, а не обращаются опять в посылки для дальнейшего развития. Но результаты должны также временно принимать определенную форму, они должны путем развития перейти из туманной неопределенности в ясные мысли и, конечно, не могут тогда избежать у такой чисто эмпирической нации, как англичане, формы Моррисоновых пилюль». Энгельс дает затем объяснение английского скептицизма. Результат всей английской философской мысли, это — признанное бессилие разрешить противоречия, на которые она наталкивается в последнем счете; отсюда, с одной стороны, возвращение к вере, с другой — приверженность к чистой практике, равнодушие к метафизике и проч. Английские социалисты, о которых Карлейль не упоминает ни звуком во всех своих рапсодиях, чисто практические люди и потому предлагают также меры, несколько напоминающие «пилюли Моррисона», вроде колонизации отечества и т. д. Их философия истинно-английская, скептическая, т.-е. они отчаялись

в теории, а для практической деятельности придерживаются материализма, на котором основана вся их социальная система. Они односторонни, но односторонен также и Карлейль. Оба преодолели противоречие только в пределах противоречия, социалисты — в пределах практики, Карлейль — в пределах теории; чего не хватает обоим, это — знания немецкой философии. Энгельс надеется, что английские социалисты сами придут к ней; навязывать им немецкую философию — не такое спешное дело, да она на первых порах и не может принести им особенно большой пользы. Но Энгельс думает также, что Карлейлю остается сделать еще только один шаг, хотя, как показывает весь опыт Германии, тяжелый шаг, чтобы вырваться из противоречия, в пределах которого он движется.

Карлейль заявляет, что все бесполезно и бесплодно, пока человечество пребывает в безбожии, пока оно не обрело вновь своей «души». Под атеизмом он понимает не неверие в личного бога, а неверие в разум, неверие в бесконечность вселенной; его борьба направлена не против неверия в откровение Библии, а «против самого страшного неверия, неверия в библию всемирной истории». Он пантеист в духе Спинозы, Гёте, молодого Шеллинга. Его религия будущего имеет своего пророка в лице Гёте и свой культ—в труде. Пантеизм Карлейля—последняя форма религии, но это все еще религия: он все еще не может вырваться из дуализма, все еще признает нечто высшее, чем человек, как таковой. Соответственно с этим Карлейль верит только во временную, но не в прочную победу демократии. В своей жажде жизни,—говорит он,—миллионы трудовых людей отбросят ложное руководительство и будут в течение некоторого времени надеяться, что не-руководительства достаточно для них. Но это будет продолжаться только один момент. Великая задача останется еще неразрешенной: задача руководительства человечеством через посредство его истинных вождей, через посредство «полководцев промышленности», героев, лучших людей, лидерство которых сумело бы совместить неизбежную демократию с необходимым суверенитетом.

Против этого воззрения Карлейля Энгельс выдвигает результаты, добытые Бруно Бауэром и Фейербахом. Сетования Карлейля,—говорит он,—справедливы, но одними сетованиями

ничего не сделаешь; чтобы помочь злу, нужно вскрыть его причины. Если бы Карлейль сделал это, то нашел бы, что атеизм и бездушие, против которых он выступает с обвинительным актом, имеют свое основание в самой религии. Религия по существу своему есть извлечение из человека и природы всего их содержания, перенесение этого содержания на фантом потустороннего, внеземного бога, который затем милостиво дарит человеку и природе кое-что от своего избытка. «Мы также нападаем на лицемерие теперешнего христианского мира; борьба против этого лицемерия, наше освобождение от него и освобождение мира от него есть, в конце-концов наша единственная очередная задача, но так как мы пришли к его пониманию благодаря развитию философии, так как мы ведем эту борьбу научно, то сущность этого лицемерия нам не так чужда и непонятна, какой она несомненно, еще представляется Карлейлю. Это лицемерие мы также сводим к религии, первое слово которой есть ложь: разве не начинает религия с того, что, показав нам нечто человеческое, она утверждает, будто мы имеем дело с чем-то сверхчеловеческим, божественным? Но так как мы знаем, что вся эта ложь и безнравственность вытекает из религии, что религиозное лицемерие есть прообраз всякой другой лжи и лицемерия, то мы вправе распространить название теологии на всю неправду и лицемерие нашего времени, как это было впервые сделано Фейербахом и Бруно Бауэром. Пусть Карлейль прочитает их сочинения, если он хочет знать, откуда берется безнравственность, заражающая все наши отношения». Энгельс прибавляет, что все возможности религии исчерпаны; невозможно основать новую религию, вроде пантеистического культа героев или культа труда, и возлагать на нее свои надежды. После христианства ни одна религия не представляется больше возможной; невозможен и пантеизм, который сам еще представляет собой вывод из христианства, неотделимый от своей предпосылки,—как это опять-таки доказал Фейербах.

Энгельс также хочет уничтожить атеизм, изображаемый Карлейлем, но иным путем: он возвращает человеку содержание, которое тот потерял из-за религии, но возвращает уже как человеческое, а не божественное содержание, и все возвращение ограничивается простым пробуждением самосознания. Претензия человеческого и естественного быть сверхчеловеческим,

сверхъестественным есть причина всякой неправды и лжи. «Вот почему мы раз навсегда объявили войну религии и религиозным представлениям и мало заботимся о том, будут ли нас называть атеистами или как-нибудь иначе. Если бы, однако, пантеистическое определение атеизма, даваемое Карлейлем, было правильно, то истинными атеистами были бы не мы, а наши христианские противники. Нам в голову не приходит нападать на «вечные факты вселенной»; напротив, мы первые настоящим образом обосновали их, доказав их вечность и защитив их от всемогущего произвола противоречивого в себе личного божества... Нам не приходит в голову подвергать сомнению или презирать «откровение истории»; история для нас все, и мы ставили ее выше, чем ставило какое бы то ни было, более раннее философское направление, не исключая Гегеля, который, в конце-концов, пользовался ею только для проверки своей логической задачи. Презрение к истории, игнорирование развития человечества лежат всецело на другой стороне: опять-таки именно христианские теологи, выставляя особую историю «царства божия», отрицают у истинной истории всякую внутреннюю сущность и приписывают характер такой сущности только своей потусторонней, абстрактной и к тому еще выдуманной истории. Утверждая, что в лице их Христа человеческий род дошел до высшего совершенства, они доводят историю до мнимой конечной цели, обрывают ее среди ее течения и затем, уже из последовательности принуждены выставлять дальнейшие 18 веков за сплошную, лишенную содержания бессмыслицу. Мы считаемся с содержанием истории но мы видим в ней не откровение «бога», а исключительно откровение человека, и только человека. Чтобы видеть все великолепие человеческого существа, чтобы понять развитие человеческого рода в истории, его неудержимый прогресс, его всегда обеспеченную победу над неразумием индивида и преодоление всего мнимо-сверхчеловеческого, его суровую, но успешную борьбу с природой, вплоть до конечного достижения свободного человеческого самосознания, до уразумения единства человека с природой и свободного, самодеятельного создания нового мира, основанного на чисто человеческих, нравственных жизненных отношениях,—чтобы понять все его в надлежащем его величии, нам нет нужды призывать сначала абстракцию «бога»

и приписать ей всегда прекрасное, великое, возвышенное и истинно человеческое... Безбожие нашего времени, о котором так скорбит Карлейль, заключается в его преисполненности богом... Вопрос всегда был до сих пор: «что такое бог?»: и немецкая философия дала на них ответ: бог это—человек. Человеку стоит только познать самого себя, взять себя самого мерилом всех жизненных отношений и судить о них согласно своему существу, устроить мир истинно по-человечески, согласно требованиям своей природы,—и он разрешил загадку нашего времени... Все это написано также у Гёте, у «пророка», и у кого открытые глаза, тот может это вычитать. Гёте не любил иметь дело с «богом»; это слово возбуждало в нем чувство неловкости, уютно он чувствовал себя только в человеческом, и эта человечность, это освобождение искусства от оков религии и составляет величие Гёте. Ни древние, ни Шекспир не могут сравняться с ним в указанном отношении. Но эта законченная человечность, это преодоление религиозного дуализма могут быть обняты во всем их историческом значении лишь тем, кому не чужда другая сторона немецкого национального развития—философия. То, что Гете мог высказать только непосредственно, т.-е. в известном смысле «пророчески», было в новейшей немецкой философии развито и обосновано».

Уже из этой критики внутренней, религиозной точки зрения Карлейля ясно, что должен думать Энгельс об его внешней, политическо социальной точке зрения, об его культе героев и всем прочем, сюда же относящемся. «Как будто эти герои,—замечает Энгельс,—могут в лучшем случае быть чем-либо большим, нежели людьми! Если бы Карлейль постиг человека, как человека, во всей его бесконечности, то ему не пришла бы в голову мысль снова делить человечество на две кучи—овец и козлищ, на правящих и управляемых, аристократов и сволочь, господ и болванов; он нашел бы истинное социальное призвание таланта не во властном управлении, а в том, чтобы давать стимул другим и шествовать впереди. Задача таланта—убедить массы в истине своих идей, и тогда ему не будет больше надобности биться над их осуществлением, которое придет само собою». Карлейль прав, конечно, называя демократию переходной стадией, только вопреки его мнению, это не переходная стадия к новой, улучшенной

аристократии, а к действительной человеческой свободе,—точно так, как нерелигиозность нашего времени приведет, в конце-концов, к полному освобождению от всего религиозного, сверхчеловеческого и сверхъестественного, а не к его восстановлению.

Энгельс заканчивает каждую из двух своих статей обещанием заняться вскоре подробнее фабричной системой, положением Англии и самой существенной его стороной—положением рабочих классов. Скорая гибель «Немецко-Французского Ежегодника» не позволила ему исполнить свое обещание в той форме, которую он первоначально имел в виду, но он сделал это впоследствии иным путем.

„Святое семейство".

Раньше чем продолжать, однако, начатую в «Немецко-Французском Ежегоднике» выработку собственного положительного мировоззрения, Маркс и Энгельс соединились для своей первой общей работы, для критического анализа немецкого идеализма, поскольку он находил еще достойных внимания представителей в лице Бруно Бауэра и берлинских «свободных». Благодаря своим статьям в названном журнале Маркс и Энгельс вступили в оживленную переписку, и в сентябре 1844 г. Энгельс приехал на несколько дней в Париж, чтобы посетить Маркса. Тем же месяцем помечено предисловие к книге, появившейся в 1845 г. во Франкфурте под заглавием «Святое семейство или критика критической критики» (против Бруно Бауэра с компанией) соч. Фридриха Энгельса и Карла Маркса. Книга не находится ни в какой внешней связи с «Нем.-Фр. Ежег.», но по своему внутреннему содержанию она всецело относится к тому кругу идей, который очертили в названном журнале Маркс и Энгельс До известной степени оно является первым практическим испытанием прочности и надежности новой точки зрения, к которой они пришли,—испытанием, которое в случае удачи должно было, конечно, обеспечить и этой точке зрения новые опорные пункты.

В предисловии авторы говорят, что цель «Святого семейства»—разъяснить публике иллюзии умозрительной философии. «Истинный гуманизм,—пишут они,—не имеет в Германии более опасного врага, чем спиритуализм или спекулятивный

идеализм, который ставит на место действительного индивидуального человека «самосознание» или «дух» и вместе с евангелистом учит: дух животворит, плоть не пользует ни мало. Само собою разумеется, что этот бесплодный дух существует лишь в его воображении. В бауэровской критике мы боремся именно с каррикатурно воспроизводящим себя умозрением. Мы видим в нем законченнейшее выражение христианско-германского принципа, который делает свое последнее усилие, превращая самую «критику» в трансцендентную силу». Изложение Маркса и Энгельса приурочено к первым восьми выпускам «Всеобщей литературной газеты», которую Бруно Бауэр издавал с декабря 1843 г. в Шарлоттенбурге, вместе со своим братом Эдгаром, Фаухером, Юнгницем, Шелигою и другими.

В этом журнале берлинские «свободные» сделали попытку обосновать свое мировоззрение, определить историческое значение всех важных явлений, оказывающих влияние на современную жизнь—религии и философии, христианства и еврейства, пауперизма и социализма, английской промышленности и французской революции, судить их всех пред судейским троном абсолютного самосознания и критической критики. Программа журнала заключалась до известной степени в положении Бруно Бауэра: «Все великие исторические деяния были до сих пор заранее обречены на неудачу и не имели прочного успеха потому, что масса интересовалась и восторгалась ими, или же причиною их плачевного исхода было то обстоятельство, что идея, лежавшая в их основе, по своему характеру должна была довольствоваться поверхностным пониманием, следовательно, рассчитывать на одобрение массы». Противоположность между «духом» и «массой» проходит красною нитью через всю «Всеобщую литерат. газету»; газета заявляет, что дух знает теперь, где ему нужно искать единственного своего супостата: в самообмане и внутренней пустоте массы.

В известном отношении эта точка зрения была схожа с точкой зрения, из которой исходили великие утописты. Массовые движения, вроде французской революции, на первый взгляд перевернувшие мир вверх дном, потерпели неудачу и окончились весьма пошлым деспотизмом торгашей. Все успехи духа оказывались до сих пор успехами вопреки массе человечества,

которая загонялась во все более недостойные человека положения. Фурье и Оуэн также выступили в известном смысле как активный дух, в противоположность пассивной массе. Разница была лишь та, что они имели пред собою развитое буржуазное общество, тогда как Бауэры и их приверженцы жили в феодально-отсталом и мещанском обществе; что первые были практическими деловыми людьми, а вторые—немецкими философами; что те опирались на французский материализм, а эти—на немецкий идеализм; что те исследовали основы действительного общества, отношения человека к промышленности и природе, а эти делали воображаемый дух руководителем воображаемой истории.

«Всеобщая Литературная Газета» судила столь же отрицательно, сколько нелепо обо всех «массовых» движениях своей эпохи. Она относилась к английской промышленности так же немилостиво, как к французской революции; жизнь и труды западно-европейских культурных народов были для нее в большей или меньшей степени предметом отвращения. Но даже для германских условий она представлялась жестоким регрессом. Она не только поступилась тем, что было завоевано Фейербахом, но сделала также из гегелевской философии печальную карикатуру. Предоставляя абсолютному духу, как творческому мировому духу, всегда лишь задним числом восходить в философе до сознания, Гегель в сущности говорил лишь то, что абсолютный дух для видимости делает историю в спекулятивном воображении; при этом он весьма настойчиво протестовал против неправильного толкования, будто философский индивид и есть сам абсолютный дух. Напротив, Бауэр и его последователи смотрели на себя как на личные воплощения критики и абсолютного духа, который через них сознательно играет роль мирового духа в противоположность к остальному человечеству. Если гегелевская философия была умозрительным выражением христианско-германской догмы о господстве бога над миром, духа над материей, то «Всеобщ. Литератур. Газета» была критической карикатурой, в которой гегелевская философия сама доводила себя до абсурда. Ее точка зрения настолько была лишена опоры и висела в воздухе, что даже в философской атмосфере Германии она очень скоро улетучилась. «Всеобщ. Литератур. Газета» не пошла дальше 12-ти месячных выпусков, и в

заключительном слове к «Святому Семейству» Маркс и Энгельс имели возможность еще сами сообщить об ее кончине.

В связи с этим находится упрек, который был сделан «Св. Семейству» тотчас по его выходе в свет: что оно ломится в открытые двери. Руге писал одному приятелю авторов: «Жаль, что «Литературная Газета» не была Гибралтаром»; затем он говорил еще о злобном и подлом кипятке, которым авторы обваривали прежнего интимнейшего друга. В действительности книга не была ни злобной, ни подлой, ни изменой дружбе, связывавшей прежде Энгельса и Маркса с Бруно Бауэром. Ничего лично оскорбительного для Бауэров она не содержит; она констатирует лишь на примере их публичной писательской деятельности окончательное банкротство идеалистической философии. Авторы ее имели на это тем большее право, что «Всеобщ. Литер. Газета» вела постоянную полемику против поворота к практической жизни, сделанного Марксом в «Рейнской Газете» и «Франц.-Немец. Ежегоднике», и что она в своем диком самомнении всячески помогала до-мартовской реакции и даже выказывала дружеское расположение к цензуре и цеховому строю.

Для Маркса и Энгельса объяснение с Бауэрами было подготовительной работой разрушения: они предпослали эту полемику самостоятельным сочинениям, в которых они хотели — каждый за себя — изложить свои положительные воззрения и, следовательно, свое положительное отношение к новейшим политическим и социальным доктринам. Теперешнему читателю эта полемика может часто казаться слишком мелочной; особенно в тех частях, где речь идет об Юнгнице, Шелиге и других забытых ныне величинах критической критики, у читателя нередко получается впечатление утомительного многословия. То мастерство эпиграмматической критики, которое так часто обнаруживали потом Маркс и Энгельс, не всюду еще заметно в их первой общей работе. Возможно, что необходимость разогнать книгу до 20-ти печатных листов для избавления ее от немецкой цензуры побудила авторов войти во многие подробности, которые они при иных условиях охотно обошли бы. В книге нередко звучит, конечно, нотка юношеской самонадеянности, но нигде нет и звука низкой или не-низкой злобности. Когда более чем поколение спустя Бруно Бауэр умер, одинокий и забытый, то Энгельс

был единственный человек, указавший в прекрасном некрологе на прочные заслуги покойного.

Неверно, однако, и то, что «Святое Семейство» ломилось в открытые двери. Доказательство распущенного состояния, в которое пришла идеалистическая философия, вплоть до языка и стиля, было самой малой заслугой книги. В ней уже блестяще выступает другая отличительная особенность полемики Маркса и Энгельса: тот плодотворный дух, который бьет идеологическую фантазию положительным фактом, который разрушая, в то же время творит и, ломая — созидает. Так, нескольким критическим фразам Бруно Бауэра Маркс противопоставил «не-священную массовую историю» французского материализма, изложив ее в сжато и сильно написанном очерке. В полемике против Юлия Фаухера Энгельс осветил с надлежащей исторической точки зрения классовую борьбу, бушевавшую в Англии между крупным землевладением, капиталом и трудом; он так мало ломился этим в открытые двери, что ему не удалось даже разбудить немецкую интеллигенцию. То же относится к рассуждениям о французской революции, с которыми Маркс выступил против высокомерных разговоров Бруно Бауэра об «эксперименте XVIII века».

В этих отделах «Святого Семейства» так же, как в отделах, снова полемизирующих с Бруно Бауэром по еврейскому вопросу, Маркс расширил и углубил мысли, уже изложенные им в «Немец.-Франц. Ежегоднике». Против приведенного выше главного положения Бауэра, согласно которому все великие деяния истории были до сих пор потому обречены заранее на неудачу или не имели решительного успеха, что масса интересовалась и восторгалась ими, или что идея, лежавшая в их основе, должна была рассчитывать на одобрение масс,— против этого положения Маркс возражает: «Идея всегда оказывалась посрамленной, поскольку она отличалась от интереса. С другой стороны, легко понять, что каждый массовый «интерес», пробивающий себе путь в истории, при своем выступлении на мировую арену выходит в «идее» или «представлении» далеко за свои действительные границы и смешивает себя с человеческим интересом вообще. Эта иллюзия образует то, что Фурье называет тоном всякой исторической эпохи. Интерес буржуазии в революции 1789 года не только не был «заранее обречен на неудачу», но, напротив, «выиграл»

все и имел самый «решительный» успех, как ни улетучился «пафос» и ни завяли цветы «энтузиазма», которыми этот интерес украсил свою колыбель. Интерес этот был настолько могуществен, что он победил перо Марата, гильотину террористов, меч Наполеона так же, как распятие и расовую чистокровность Бурбонов. «Неудачна» революция лишь для той массы, для которой политическая «идея» не была идеей ее действительного «интереса», следовательно, — истинный жизненный принцип которой не совпадал с жизненным принципом революции; она была неудачна для нее потому, что реальные условия ее эмансипации были существенно отличны от условий, в пределах которых буржуазия могла эмансипировать себя и общество». Революция была обречена на неудачу, ибо масса, за пределы жизненных условий которой она в существенных чертах не вышла, была массой ограниченной и исключительной, не обнимавшей всего народа; что самая многочисленная, отличная от буржуазии часть массы имела в принципе революции не действительный интерес, а только идею.

Иллюзия террористов заключалась в том, что современное государство, покоящееся на буржуазном обществе, они хотели создать по образцу античного государства, покоившегося на рабстве. «Какое колоссальное заблуждение быть вынужденным признать и санкционировать в правах человека и гражданина современное буржуазное общество, с его промышленностью, его всеобщей конкурренцией, его свободно преследующими свои цели частными интересами, его анархией, его отчужденной от самой себя естественной и духовной индивидуальностью,—и наряду с таким признанием стремиться уничтожить затем на отдельных индивидах жизненные проявления этого общества, стремиться придать политической голове этого общества античную форму». Иллюзия Наполеона заключалась в том, что он смотрел на государство, как на самодовлеющую цель, а на гражданскую жизнь — как на его казначея и подчиненное лицо, которое не смеет своевольничать. И террористы и Наполеон потерпели крушение из-за своих иллюзий. Затем против буржуазии снова выступила конр-революция. «Наконец, буржуазия осуществила в 1830 году свои желания 1789 года с той лишь разницей, что ее политическое образование было теперь закончено, что в своем стремлении

к конституционному представительному государству она перестала видеть стремление к идеалу государства, к спасению мира и общечеловеческим целям, а признала в нем, напротив, оффициальное выражение ее исключительной власти и политическое признание ее особых интересов». Но французская революция, начавшаяся в 1789 году, еще не сказала этим своего последнего слова,— этим энергичным указанием Маркс заканчивает отдел о французской революции.

В более общей форме вывод Маркса из этих и из других исторических экскурсов «Св. Семейства» гласит: «Естественная необходимость, свойства человеческого существа, в какой бы отчужденной от него форме они ни проявлялись, интересы,— вот что сдерживает вместе членов гражданского общества; их реальная связь—гражданская, а не политическая жизнь. Не государство сдерживает вместе атомы гражданского общества (как утверждал Бруно Бауэр), а то обстоятельство, что они атомы только в представлении, в небе своего воображения, в действительности же они существа, неизмеримо отличные от атомов: они не божественные эгоисты, эгоистические люди. Только политическое суеверие может еще воображать в настоящее время, что гражданская жизнь должна держаться государством, тогда как, наоборот, в действительности государство держится гражданской жизнью». На презрительные замечания Бруно Бауэра о природе и промышленности Маркс отвечает: «Неужели критическая критика полагает, что она дошла хотя бы до азов в познании исторической действительности, пока она исключает из исторического движения теоретическое и практическое отношение человека к природе, естествознание и промышленность? Или она думает, что в самом деле поняла какой-нибудь период, раз она не поняла, напр., раньше промышленности этого периода, непосредственного способа производства жизни? Несомненно, спиритуалистическая, богословская критическая критика знает — по крайней мере, в своем воображении—только политические, литературные и богословские деяния истории. Подобно тому, как она отделяет мысль от внешних чувств, душу от тела и себя самое от мира, так она отделяет историю от естествознания и промышленности, так она видит источник истории не в грубо-материальном производстве на земле, а в туманном заоблачном мире». В этих положениях пред нами уже

поднимаются молодые ростки материалистического понимания истории.

Маркс и Энгельс еще стоят в духовной зависимости, с одной стороны, от Фейербаха, с другой — от английско-французского социализма; но эту зависимость менее всего можно назвать рабской. Они, безусловно, признают гениальные работы Фейербаха, признают заслугу, которую он приобрел, дав великие и мастерские «Основы для критики всякой метафизики» и поставив человека на место старого хлама, куда относится и бесконечное самосознание. Но через гуманизм Фейербаха они идут дальше к социализму, через абстрактного человека — к историческому. С достойной удивления проницательностью они разбираются в хаотическом еще мире западно-европейского социализма. Они разоблачают секрет социалистических игрушек, в которых находила удовольствие сытая буржуазия. Они указывают, что самая нужда человеческая и бесконечное падение, заставляющее брать милостыню, служат аристократии денег и образования для развлечения, для удовлетворения ее себялюбия, для щекотания ее высокомерия: таков единственный смысл многочисленных благотворительных ферейнов в Германии, многочисленных благотворительных обществ во Франции, многочисленных благотворительных дон-кихотств в Англии, концертов, балов, театральных представлений и обедов в пользу бедных, даже — общественных подписок в пользу пострадавших от катастроф.

Из великих утопистов всего больше внес в идейное содержание «Святого семейства» Фурье. Энгельс проводит, однако, различие между Фурье и фурьеризмом; он говорит, что жиденький фурьеризм, проповедуемый «Мирной Демократией», есть не что иное, как социальное учение известной части филантропической буржуазии. Маркс указывает, что «организация труда» представляет собою не лозунг социалистов, а лозунг политически-радикальной партии, которая пытается создать во Франции компромисс между политикой и социализмом. Оба автора не перестают подчеркивать тот факт, которого никогда не сумели разобрать великие утописты: историческое развитие, самодеятельное движение рабочего класса. На хитроумное замечание Эдгара Бауэра, что рабочий ничего не создает и потому ничего не имеет, а ничего не создает он потому, что его работа всегда стоит особняком,

рассчитана на потребность его одного, что она однодневная, Энгельс возражает: «Критическая критика ничего не создает, рабочий создает все,— в такой степени все, что даже в своих духовных произведениях он посрамляет всю критику; английские и французские рабочие могут служить этому свидетельством». Бауэровскую противоположность между «духом» и «массой», якобы исключающими друг друга, Маркс иллюстрирует, между прочим, замечанием, что на коммунистическую критику утопистов явилось тотчас практическим ответом движение народной массы; нужно видеть,— говорит он,— как учится французский и английский рабочий, нужно быть знакомым с его жаждой знания, нравственной энергией, неутомимым стремлением развиваться, чтобы составить себе представление о человеческом благородстве этого движения.

Французский пролетариат нашел самого выдающегося своего представителя в лице Прудона, книга которого о собственности явилась в известном смысле самым передовым постом западно-европейского социализма. Соответственно с этим Прудону особенно сильно досталось в «Всеобщей литературной газете», где он не был даже правильно переведен, а не то что правильно оценен. Вот почему этот пролетарий среди французских социалистов составляет предмет особенно подробного критического разбора в «Святом Семействе»; посвященные ему главы принадлежат, как и большая часть книги, перу Маркса. Он живо заступается за Прудона против «разноса» Эдгара Бауэра, и отсюда возникла академическая сказка, будто Маркс был раньше приверженцем и почитателем Прудона, на которого впоследствии так резко нападал.

На самом деле Маркс не только не отожествляет себя в «Святом Семействе» с Прудоном, но сравнивает его, напротив, с Бруно Бауэром. Эдгар Бауэр поднял Прудона на смех за то, что он находит в принципе равенства последнее разумное основание всех доказательств в пользу собственности, а между тем хочет вывести из того же принципа невозможность собственности. На это Маркс возражает, что то же самое делает Бруно Бауэр, когда он кладет в основание всех своих построений бесконечное самосознание и понимает так же этот принцип, как творческое начало евангелий, которые своей бесконечной бессознательностью как будто диаметрально противоречат бесконечному самосознанию. Затем

Маркс остроумно показывает, что для практического француза принцип равенства играет ту же роль, какую для теоретического немца играет принцип самосознания: в Германии разрушительная критика, раньше чем дойти в лице Фейербаха до созерцания действительного человека, старалась разложить все определенное и существующее при посредстве начала самосознания, во Франции разрушительная критика стремилась достигнуть этой цели при помощи начала равенства.

Бруно Бауэр критически разложил теологию, не сходя, однако, все время с ее же почвы; таким же образом Прудон подверг разлагающей критике политическую экономию, не сходя с ее почвы. Крупный шаг вперед, сделанный Прудоном, Маркс видит в том, что он впервые подверг решительному, беспощадному и в то же время научному испытанию основную предпосылку политической экономии — частную собственность, которую представители этой науки рассматривали, как непреложенный, не подлежащий дальнейшему обсуждению факт. Правда, уже раньше экономисты замечали иной раз противоречие между человечной видимостью таких политико-экономических предпосылок, как заработная плата, ценность и т. д., и бесчеловечной действительностью частной собственности, но когда они нападали на какую-нибудь частную форму этого института, как на фальсификацию разумной в сущности — т.-е. в их представлении — заработной платы или ценности; такой характер носят некоторые нападки Адама Смита на капиталистов, Сисмонди — на фабричную систему, Рикардо — на земельную собственность. Этой бессознательности Прудон раз навсегда положил конец, отнесясь серьезно к человечной видимости политико-экономических отношений и резко противопоставив им их бесчеловечную действительность. Он изобразил частную собственность вообще, как фальсификацию политико-экономических понятий и дал, таким образом, все, что критика политической экономии могла дать, оставаясь на политико-экономической точке зрения. Но Прудон не покидает этой точки зрения,— говорит Маркс,— он борется с политической экономией при помощи ее собственных предпосылок и потому не умеет представить себе присвоение человеком вновь предметного мира иначе, как в политико-экономической форме владения, которую

объявляет «общественной функцией», не будучи, однако, в состоянии надлежащим образом развить эту мысль.

Но, противясь тому, чтобы сделанный Прудоном шаг вперед был сведен на нет туманными разговорами Бауэров, Маркс разлагает политико-экономическую ограниченность Прудона столь же решительно, как он разложил теоретическую ограниченность Бауэров. Эдгар Бауэр усмотрел «односторонность» Прудона в том, что последний заимствует свое оружие у факта нужды и бедности, что он признает абсолютное оправдание этого факта, а факт собственности признает лишенным оправдания: критика соединяет, напротив, оба факта — бедности и собственности — в один, она признает связь обоих и делает из них одно целое, к которому обращается, как к таковому, с вопросом о предпосылках его существования. Маркс разбивает эти поверхностные идеологические рассуждения простым замечанием, что предпосылка для существования целого есть природа обеих его сторон. Пролетариат и богатство суть противоположности. Как таковые, они образуют одно целое. Оба они — проявления мира частной собственности. Недостаточно объявить их двумя сторонами одного целого, речь идет о том, какое именно положение каждый из них занимает в данной противоположности. «Частная собственность, как частная собственность, как богатство, принуждена поддерживать свое существование, а потому и существование своей противоположности — пролетариата. Это положительная сторона противоположности, удовлетворенная в себе самой частная собственность. Наоборот, пролетариат вынужден, в качестве пролетариата, упразднить самого себя, а следовательно и противоположность, обусловливающую его, делающую его пролетариатом, т.-е. частную собственность. Это отрицательная сторона противоположности, ее внутреннее беспокойство, разложившаяся и разлагающаяся частная собственность. В пределах противоположности частный собственник является, таким образом, консервативной партией, а пролетарий — разрушительной. От первого исходит действие сохранения противоположности, от второго — действие ее уничтожения. Конечно, в своем народно-хозяйственном движении частная собственность гонит себя самое к разложению, но лишь путем развития, от нее независимого, бессознательного, происходящего вопреки ее воле, обусловленного

природою вещей: лишь благодаря тому, что она порождает пролетариат, как пролетариат, что она создает нищету, обладающую сознанием своей духовной и физической нищеты, создает массу, лишенную человеческого облика, сознающую это состояние и потому упраздняющую себя самое. Пролетариат приводит в исполнение приговор, который частная собственность сама выносит себе тем, что порождает пролетариат,— точно так, как он приводит в исполнение приговор, который произносит над собою наемный труд тем, что порождает чужое богатство и собственную нищету. Когда пролетариат победит, то он отнюдь еще не станет абсолютной стороной общества, ибо он победит, лишь упразднив себя самого и свою противоположность. Тогда исчезнут и пролетариат, и обусловливающая его противоположность — частная собственность».

Маркс настойчиво протестует против возражения, выставленного уже «Критической критикой» и часто повторявшегося с тех пор,— что приписывать пролетариям такую всемирно-историческую роль — значит объявлять их богами. Он говорит: «Скорее наоборот! Так как отвлечение от всего человеческого, даже от видимости человеческого, доведено в развитом пролетариате до практической законченности; так как в жизненных условиях пролетариата собраны, как в фокусе, все жизненные условия теперешнего общества в самой бесчеловечной своей крайности; так как человек потерял в нем самого себя и в то же время не только приобрел теоретическое сознание этой потери, но и непосредственно вынужден к возмущению против этой бесчеловечности неотвратимою и не допускающею прикрас нуждою, этим практическим выражением необходимости,— в силу всех перечисленных причин пролетариат может и должен освободить себя сам. Он не может, однако, освободить себя самого, не упразднив всех бесчеловечных жизненных условий теперешнего общества, резюмирующихся в его положении. Он не напрасно проходит суровую, но закаляющую школу труда. Речь идет о том, что в данный момент рисует себе в качестве цели тот или иной пролетарий, или даже весь пролетариат. Речь идет о том, что пролетариат представляет собою, и что он сообразно этому бытию исторически вынужден будет сделать. Его цель и его историческая роль осязательно и непреложно предначертаны в его собственном

жизненном положении, как и во всей организации теперешнего буржуазного общества». И Маркс опять-таки подчеркивает, что значительная часть английского и французского пролетариата уже обладает сознанием своей исторической задачи и постоянно работает над развитием этого сознания до степени полной ясности.

Пред современниками «Святое Семейство» прошло, повидимому, довольно бесследно Энгельс сам высказал при получении книги, что вещь слишком велика и значительнейшая часть ее останется непонятною для большой публики; неумеренно хвалебный, но далеко не с таким же знанием дела написанный критический отзыв в «Вестфальском Корабле» всего менее понравился авторам. Теперешнему читателю книга легко может показаться кучкой потухших угольев, но если у него хоть сколько-нибудь зоркие глаза, то из пепла ему будет светиться не один драгоценный камень непреходящего блеска. Со «Святого Семейства» началась совместная работа Маркса и Энгельса, продолжавшаяся почти 40 лет и имевшая определяющее влияние на историческое развитие международной, а в особенности — немецкой социал-демократии. Обоих связывала такая прочная и истинная дружба, какой мы не знаем у другой исторической дружеской четы. Она была совершенно свободна от трений и взаимных неудовольствий, которые почти неизбежно должны были возникать между двумя резко выраженными индивидуальностями среди бесчисленных превратностей жаркой борьбы, столь же богатой поражениями, сколько победами. Она была словно защищена броней против всех искушений, с которыми внешний мир умышленно или неумышленно желал бы подступить к ней. Невозможно определить теперь,— и, быть может, это никогда не удастся,— что принадлежит тому или другому в общей работе. Правда, после смерти Маркса Энгельс часто приписывал своему покойному другу большую значительно большую долю, и несомненно, Маркс был более гениальным и глубоким умом из них двух. Но если Энгельс, как он справедливо заявлял сам, без Маркса не дал бы того, что им дано, то это положение следовало бы дополнить в отношении его умершего соратника, сказав, что и Маркс без Энгельса не стал бы тем, чем он был.

ГЛАВА VI.

Исторический материализм.

Весною 1845 г. Энгельс переехал из Бармена в Брюссель. До известной степени тут могли сыграть роль мотивы личного свойства. Образ мыслей Энгельса находился в самом резком противоречии с политическими и религиозными воззрениями его семьи, и некоторые лекции о коммунизме, читанные им перед бюргерской публикой родного города, были, несмотря на свой академически-мирный характер, насильственно прерваны полицией.

Но сильнее всего гнало Энгельса в Брюссель желание сообща с Марксом выяснить себе вполне свою новую точку зрения. Для этой цели Энгельс привез с собою ценную подготовительную работу: свою книгу «О положении рабочих классов в Англии», которую он обработал зимою. Предисловие помечено Барменом, 15-м марта 1845 г.

Энгельс о положении английских рабочих.

В предисловии Энгельс говорит, что цель его книги — дать твердую почву социалистическим теориям и суждениям об их обоснованности, положить конец всем фантазиям и мечтаниям за и против них. В особенности он считал необходимым познакомить с действительными условиями жизни пролетариата немецких теоретиков, которые почти все пришли к коммунизму только через фейербаховское разложение гегелевской умозрительной философии. Но в своей классической форме, в законченном виде пролетарские условия существовали лишь в Англии; поэтому Энгельс изобразил положение английских рабочих.

Совершенно верно, что Энгельс не был первым взявшимся описать быт английского пролетариата, и он несомненно последний стал бы сколько-нибудь умалять заслугу своих предшественников, работы которых явились фундаментом для него самого. Но его книга была первой работой этого рода

в немецкой литературе и, что еще важнее, вообще первой в своем специальном роде. При этом, опять-таки, наименее важным обстоятельством было то, что до Энгельса никто еще не сумел набросать такой потрясающе-верной картины страданий пролетариата: гораздо выше стояла удивительная проницательность, с которой 24-летний автор понял дух капиталистического способа производства и сумел вывести из него не только подъем, но и упадок буржуазии, не только бедственное положение пролетариата, но и его спасение.

Только благодаря этой книге получали надлежащее освещение «Критические очерки политической экономии», напечатанные Энгельсом в «Нем.-Франц. Ежегоднике». Если там он занимался принципом, свободной конкурренцией, то здесь он занялся практикой, крупной промышленностью. Между обеими работами нет никакого различия, как это иногда утверждали, никакого различия в том смысле, будто Энгельс там этически осуждал и только здесь впервые экономически судил. Обе работы покоятся на экономической основе, и в позднейшей из них Энгельс так же мало, как в более ранней, стесняется резко освещать вопиющее противоречие между человеческими идеалами буржуазного разума и бесчеловечной действительностью фабрикующей буржуазии. Но что в самом деле составляет прогресс позднейшей работы в сравнении с более ранней, это — все большее освобождение автора от радикального крыла немецкой философии. Он не ссылается больше на Бруно Бауэра и Фейербаха, а «друга Штирнера» он цитирует лишь раза два, и то с целью сказать ему, что его идеал Я, которое не видит в других Я ничего, кроме годных для использования субъектов, великолепно осуществлен капиталистическим обществом. В том-то и дело, что между обеими работами лежит «Святое Семейство». Правда, всюду еще заметно, что Энгельс приходит от немецкой философии, но заметно также, что он начал сортировать ее наследство. Кое-где он стоит еще на «общей, чисто человеческой основе», напр., когда в заключительных словах объявляет коммунизм делом человечества, а не одних только рабочих, — что теоретически было весьма правильно, но практически совершенно бесплодно, покуда господствующие классы знать не хотели коммунизма. Однако, во всем изложении выступает уже резко, в качестве решающего факта, классовая

борьба между буржуазией и пролетариатом, и к правильной оценке его Энгельс приходит благодаря все более сознательному применению гегелевского диалектического метода, как ключа к пониманию всемирно-исторического периода, начавшегося вместе с крупной промышленностью.

С наступлением этого периода начинается, по Энгельсу, история современного рабочего класса. «Разделение труда, пользование водяной силой и особенно силой пара, применение машин, — вот три великих рычага, при помощи которых промышленность с середины прошлого века работает над тем, чтобы перевернуть мир. Мелкая промышленность создала средний класс, крупная создала рабочий класс и возвела на трон немногих избранников из среднего класса, но лишь для того, чтобы вернее свергнуть их». Суть книги заключалась в попытке показать, каким образом крупная промышленность создает современный рабочий класс, и как последний развивается и должен развиваться для ниспровержения своего творца, в силу исторической диалектики, законы которой вскрываются автором в отдельности.

Пролетарии конкуррируют между собою, и то же делают буржуа. Конкурренция пролетариев определяет минимум заработной платы, конкурренция буржуа — ее максимум. Пролетарий, чтобы иметь вообще возможность существовать, нуждается в буржуазии, присвоившей себе монополию средств существования в самом обширном смысле; буржуазии, которая может жить своим капиталом, пролетарий нужен, как вьючное животное или предмет торговли, — чтобы обогащаться. Если число наличных рабочих больше, чем требуется буржуазии для ее целей, то рабочие, чтобы не остаться без занятий и не умереть с голоду, сбивают плату до минимума, которого в обрез хватает только на предохранение себя от голодной смерти. Если рабочих меньше, чем требуется буржуазии, то отдельные буржуа перебивают рабочих друг у друга путем повышения заработной платы. При средних условиях, когда рабочих как раз столько, сколько нужно для изготовления требующихся в данный момент товаров, заработная плата стоит несколько выше минимума. Насколько выше, это зависит от средних потребностей рабочих. Если рабочие привыкли есть несколько раз в неделю мясо, то капиталисты вынуждены будут давать рабочим такую плату, чтобы указанная пища

была для них доступна: не меньшую плату, ибо рабочие не конкуррируют друг с другом, следовательно не имеют причин довольствоваться меньшим; не большую, потому что отсутствие конкурренции среди капиталистов не побуждает их привлекать к себе рабочих путем предоставления им чрезвычайных выгод.

Отсюда вытекает заключение, сделанное уже Адамом Смитом: что спрос на рабочих, подобно спросу на всякий другой предмет торговли, регулирует производство рабочих, количество производимых людей, ускоряя это производство, когда оно идет слишком медленно, и сдерживая его, когда оно идет черезчур быстро. Если рабочих слишком мало, то цена их, т.-е. заработная плата, поднимается, рабочим живется лучше, число браков увеличивается, производится больше людей, подрастает больше детей, пока не будет произведено достаточное количество рабочих. Если рабочих слишком много, то цены на них падают, наступают безработица, нужда, голод и, вследствие них, эпидемии, уносящие «избыточное население». Рабочий юридически и фактически раб буржуазии, в такой степени ее раб, что продается, как товар, и как товар поднимается и падает в цене. Вся разница против старого откровенного рабства лишь та, что теперешний рабочий *кажется* свободным, так как он продается не в один прием, а по частям, на день, на неделю, на год, и что продает его не один собственник другому, а он вынужден сам себя продавать, как раб не отдельного лица, а всего имущего класса. Если видимая свобода дает ему даже некоторую действительную свободу, то ни один человек не гарантирует ему средств к жизни, и он может быть выброшен на мостовую в любой момент, как только буржуазия перестает быть заинтересованной в его существовании. Зато буржуазия чувствует себя при таком порядке гораздо лучше, чем при старом рабстве: она не теряет в выбрасываемом рабочем затраченного капитала и может производить гораздо дешевле,—как это уже высчитал, к ее утешению, Адам Смит.

Но положение пролетариата существенно ухудшается еще вследствие того, что почти всегда имеется «избыточное население», что конкурренция *между* рабочими почти всегда больше, чем конкурренция *из-за* рабочих, что заработная плата, *таким образом*, стремится почти всегда к своему

минимуму. Увеличение выработки каждого отдельного рабочего, которая доводится до максимума взаимной конкурренцией рабочих, разделение труда, введение машин, использование сил природы, все большее применение труда, женщин и детей,—все это непрерывно лишает занятия множество рабочих. Освободившиеся рабочие не могут больше потреблять, и вследствие этого остаются без хлеба новые рабочие. Этот круговорот прерывается, однако, возрастающим расширением промышленности и завоеванием внешних рынков. В течение предшествующих 60 лет спрос на мануфактурные товары, а вместе с ним и спрос на рабочих непрерывно и быстро возрастал, и число жителей Британской империи увеличилось со сремительной быстротою. Тем не менее существует избыточное население. Откуда же возникает это противоречие?

Энгельс отвечает: «Из существа промышленности и конкурренции и коренящихся в нем торговых кризисов. При теперешнем беспорядочном производстве и распределении средств к жизни, предпринимаемом не ради непосредственного удовлетворения потребностей, а ради денежной наживы, при системе, когда каждый работает и обогащается на собственный риск и страх, должна каждый момент наступать заминка. Англия снабжает, напр., множество стран самыми разнообразными товарами. Если фабрикант знает даже, допустим, сколько каждого товара требуется ежегодно в каждой отдельной стране, то он еще не знает, как велики там запасы во всякий данный момент, и еще гораздо менее, сколько посылают туда его конкурренты. Он может лишь по вечно колеблющимся ценам делать ненадежное заключение о состоянии запасов и потребностей, он вынужден отправлять свои товары наугад; все происходит на авось, более или менее только под эгидою случая. На основании малейших благоприятных известий всякий посылает, что может, и не проходит много времени, как рынок переполнен товарами, продажа останавливается, обратного притока средств нет, цены падают, и английская промышленность не имеет больше занятия для своих рабочих». Постепенно и по мере того, как накопившиеся товарные запасы потребляются, в положении вещей происходит улучшение; получаемые отовсюду благоприятные известия и поднимающиеся цены восстанавливают деятельность.

Что следует затем, мы опять предоставим изобразить самому Энгельсу: «Рынки большей частью отдалены; пока туда могут дойти первые свежие партии, спрос беспрерывно растет, а вместе с ним растут цены; за первые прибывшие товары дерутся, первые продажи еще больше оживляют оборот, ожидаемые партии обещают еще более высокие цены, в расчете на дальнейший подъем начинают покупать для спекуляции и, таким образом, как раз в самое нужное время отвлекают от потребления предназначенные для него товары; спекуляция еще больше поднимает цены, так как она поощряет других к покупкам и перехватывает новые партии товаров. Обо всем этом сообщается в Англию, фабриканты снова начинают бойко работать, строятся новые фабрики, пускаются в ход все средства, чтобы использовать благоприятное время. Спекуляция наступает и здесь, с теми же совершенно результатами, как на внешних рынках, т.-е. повышая цены, отнимая товары у потребления, подгоняя тем и другим промышленное производство до высшего напряжения сил; затем являются «несолидные» спекуляторы, работающие при помощи фиктивного капитала, живущие кредитом,— спекуляторы, которые разорены, если они не могут тотчас же бойко продавать, и они очертя голову бросаются в эту общую беспорядочную гонку, имеющую целью денежную наживу, увеличивают беспорядок и спешку собственной необузданной страстью, безумно поднимающей цены и производство,— происходит, одним словом, нечто безумное, захватывающее даже самого спокойного и опытного, всюду куют, ткут, прядут, как если бы требовалось заново экипировать все человечество или на луне открыты были миллиарда два новых потребителей». Естественно, что рынки вследствие этого снова переполняются, и наступает новый кризис. «Так дело идет без конца: расцвет, кризис, расцвет, кризис, и этот вечный круговорот, в котором движется промышленность, завершается обыкновенно в 5—6 лет». Отсутствие всякого плана в производстве и необузданная конкуренция, связанные с крупно-капиталистическим способом производства, являются, по мнению Энгельса, причинами торговым кризисов; в сравнении с ними он признает за недостаточным потреблением рабочих классов лишь второстепенное значение.

В результате такого положения вещей английская промышленность вынуждена всегда — за исключением периодов

высшего расцвета — иметь незанятый резерв рабочих, чтобы в наиболее оживленные месяцы производить требуемые на рынке массы товаров. В одной Англии и Уэльсе, не считая Шотландии и Ирландии, считают $1^1/_2$ миллиона оффициальных пауперов. Энгельс рассматривает затем детально, какие последствия проистекают отсюда для положения английских рабочих. Он показывает, в каких помещениях они живут, как они одеваются и питаются, как они гибнут умственно, нравственно и физически; он во всех ужасающих подробностях рисует социальное убийство, которое совершает относительно них общество. Он исследует, чем отличается бедность пролетариата от бедности трудящихся классов в прежние века. Тут мы видим прежде всего необеспеченность положения, необходимость жить заработной платой только из рук да в рот. «Пролетарий, у которого нет ничего, кроме обеих его рук, съедающий сегодня то, что вчера заработал, зависящий от всевозможных случайностей, не располагающий ни малейшей гарантией, что он в состоянии будет приобрести себе необходимейшие средства к существованию, ибо каждый кризис, каждый каприз его мастера может лишить его хлеба,— пролетарий поставлен в самое возмутительное, самое бесчеловечное положение, какое только может представить себе человек. Рабу существование обеспечено, по крайней мере, эгоизмом его господина, крепостной имеет все-таки клочок земли, которым он живет, у них есть, по крайней мере, гарантия, что они не умрут с голода,— между тем пролетарий должен полагаться на себя одного и в то же время поставлен в невозможность прилагать свои силы так, чтобы он мог рассчитывать на них. Все, что пролетарий может сам сделать для улучшения своего положения, исчезает, как капля в море, против той массы случайностей, которым он подвержен и над которыми он не имеет ни малейшей власти». Далее мы видим принижающую муку подневольного труда, оскотинивающие действия которого бесконечно умножаются разделением труда, силой пара и машинами. «В большинстве отраслей труда деятельность рабочего ограничена одной мелкой, чисто механической манипуляцией, которая повторяется ежеминутно и остается из года в год одной и той же. Если кто с детства ежедневно в течение 12-ти часов и более делал булавочные головки или оттачивал зубчатые колеса и, сверх того, жил

в условиях английского пролетария, то сколько человеческих чувств и способностей он может спасти к 30-му году своей жизни?» Наконец, идет полное порабощение рабочих правилами внутреннего распорядка на фабриках, бесчеловечная продолжительность рабочего времени, женский и детский труд, ночная работа, которая разлагает все семейные связи и губит не только живущее, но и нарождающееся поколение, система truck (выдача заработной платы товарами вместо денег) и сдачи (небольших домов) в наем рабочим и прочие бесчисленные злоупотребления фабричной системы, рисуемые Энгельсом с самым точным знанием предмета.

Энгельс не скрывает того, что крупная промышленность, создавшая современный пролетариат, сделала из него расу, лишенную человеческого облика, низведенную умственно и морально до животного состояния, физически расшатанную. Если среди английских рабочих все больше распространяются пьянство, половая распущенность, грубость нравов и преступления против собственности, то при данных обстоятельствах оно иначе и быть не может. Но в сегодняшней нищете Энгельс видит также надежду завтрашнего дня. Для рабочего существует лишь одна возможность остаться человеком и чувствовать себя как человека, и эта возможность есть страстное возмущение против буржуазии. Непрерывно растущая опасность низведения до скотского состояния толкает пролетариат к борьбе против буржуазии, — борьбе, не знающей перемирия и долженствующей кончиться победой пролетариата над буржуазией. Как раз те средства, при помощи которых буржуазия лишает пролетариат человеческого облика, становятся в руках пролетариата оружием против буржуазии.

Ирландская иммиграция много способствовала ухудшению положения английских рабочих, но зато живой ирландский темперамент подействовал революционирующим образом на английский пролетариат. Сосредоточение населения в крупных центрах доводит до крайней степени деморализацию рабочих, но оно же пробуждает в них классовое сознание, понимание того, что хотя и будучи слабыми каждый в отдельности, они все вместе образуют, однако, силу; оно разрушает последние следы патриархальных отношений между рабочими и хозяевами-«кормильцами»; большие города становятся очагами самостоятельного рабочего движения. Суровая доля рабочего делает

его более гуманным, обходительным, миролюбивым, он видит в каждом человеке человека, и тогда как человек денег, буржуа, смотрящий на все через очки своего эгоизма и не знающий другой цели в жизни, кроме накопления мешков с деньгами, видит в рабочем нечто меньшее, чем человека. Таким образом, рабочий становится гораздо более свободным от предрассудков, его глаза делаются гораздо более открытыми для фактов, чем у буржуа. Но благодаря этому уравновешивается искусственное невежество, в котором буржуазия держит пролетариат. Практическое образование пролетария заменяет ему не только школьную мудрость, но и обезвреживает спутанные религиозные представления, связанные с этой последней. «Нужда научает молиться и, что гораздо важнее, мыслить и действовать. Английский рабочий, едва умеющий читать и еще менее — писать, очень хорошо знает, однако, в чем заключается его собственный интерес и интерес всей нации; он знает также, каков специальный интерес буржуазии и чего он может ждать от нее. Если он не умеет писать, то он умеет все таки говорить, публично говорить; если он не умеет считать, то он умеет все-таки настолько производить расчеты при помощи политико-экономических понятий, насколько это необходимо, чтобы насквозь разглядеть и опровергнуть буржуа, агитирующего в пользу отмены хлебных законов. Если, несмотря на все усилия попов, для него остаются весьма неясными небесные вопросы, то он тем лучше разбирается в вопросах земных, политических и социальных». Английский пролетариат становится постепенно совсем иным народом, чем английская буржуазия. Рабочие говорят на других диалектах, у них другие идеи и представления, другие нравы и принципы нравственности, другая политика и другая религия, чем у буржуазии. Одновременно с Дизраэли, Энгельс употребил выражение о двух нациях, но в отличие от Дизраэли он прибавил, что рабочий становится во главе исторического развития, на место буржуа, опутанного классовыми предрассудками и умершего для всякого исторического движения.

Исследуя различные формы английского рабочего движения, Энгельс приходит к следующим результатам. Тред-юнионы (профессиональные рабочие союзы) могущественны против отдельных, менее значительных зол капиталистического способа производства, но при всех своих усилиях они не могут

изменить экономического закона, по которому заработная плата определяется отношением спроса к предложению на рынке труда. «История этих союзов представляет собою длинный ряд поражений рабочих, прерываемый немногими единичными победами». Ради чего, однако, рабочие принимают на себя эти поражения? Причина простая: «они должны протестовать против понижения заработной платы и даже против необходимости этого понижения, они должны заявить, что не им, людям, подобает приспособляться к условиям, а напротив — условия должны приспособляться к ним. Их молчание явилось бы признанием этих условий, признанием права буржуазии эксплоатировать рабочих в периоды торгового оживления и давать им умирать с голода в периоды хозяйственного застоя». Доводы, при помощи которых фабриканты проповедуют рабочим бесполезность стачек, совершенно правильны с точки зрения политической экономии, но именно потому они отчасти ложны и не оказывают никакого действия на рассудок рабочего. Тред-юнионы предполагают понимание того, что господство буржуазии основано только на конкурренции рабочих между собою, т.-е. на раздроблении пролетариата, на противопоставлении отдельных рабочих друг другу. Будучи первой попыткой рабочих уничтожить свою взаимную конкурренцию, тред-юнионы атакуют капиталистическое общество в самом больном его месте. И именно потому, что эта первая попытка никогда не может устранить надолго законов заработной платы, она толкает вперед к дальнейшим шагам.

Забастовки, устраиваемые тред-юнионами, представляют собою только аванпостные стычки, подчас также—более значительные сражения; они ничего не решают окончательно, но являются надежнейшим доказательством того, что близится решительная битва между пролетариатом и буржуазией. Они—военная школа рабочих и, как таковая, имеют бесподобное действие. Энгельс подробно описывает большую забастовку, которую весною 1844 г. с геройским мужеством поддерживали 19 недель горнорабочие Нортумберленда и Доргема. Вообще, так как рабочему не оставили ни единого поприща для проявления своей человеческой личности, кроме оппозиции против всего своего положения в жизни, то рабочие выказывают себя именно в этой оппозиции с самой благородной, с самой милой, самой человечной стороны. Правда, при

ежедневных почти забастовках не бывает недостатка в актах грубости и жестокости, но ведь не следует забывать, что в Англии происходит социальная война. Если в интересах буржуазии вести эту войну лицемерно, под покровом мира и даже любви к ближним, то пролетариату может быть полезно только уничтожение этого лицемерия, раскрытие истинных отношений; самые насильственные неприятельские действия рабочих против буржуазии и ее слуг, представляют собою лишь откровенное выражение того, что буржуазия делает рабочим коварно и тайком. Для буржуа закон свят, потому что это его творение и он служит его выгоде. Напротив, рабочий лишь слишком хорошо знает, ему слишком часто приходится испытывать на практике, что закон есть розга, которую связал для него буржуа, и без крайней нужды он не обращается к закону. В то же время, однако, он стремится заменить закон буржуазии законом пролетариата: этот закон—народная хартия.

Шесть пунктов хартии, как ни безобидны они на первый взгляд, достаточны, однако, чтобы разбить вдребезги английскую конституцию вместе с королевской властью и верхней палатой. Чартизм есть сжатая форма пролетарской оппозиции против буржуазии; в чартизме весь рабочий класс восстает против буржуазии и стремится вырвать из ее рук политическую власть. Но значение чартизма не исчерпывается этим. По своему существу он имеет социальный характер, и чартистские рабочие с удвоенным рвением принимают участие во всякой борьбе пролетариата против буржуазии. Билль о 10-часовом рабочем дне, защита рабочего против капиталистов, хорошая заработная плата, обеспеченное положение, отмена нового закона о призрении бедных составляют, по меньшей мере, такую же существенную принадлежность чартизма, как шесть пунктов хартии. Правда, социализм чартистов еще очень мало развит, а их главное средство против нищеты, раздробление земельной собственности на мелкие участки, вообще потеряло значение с развитием промышленности, но ближайший кризис,—который, по мнению Энгельса, наступит не позже 1847 г. и, вероятно, превзойдет по силе и опустошительному действию все прежние кризисы,—бросит чартистов в объятия социализма.

Если теоретически чартисты еще сильно отстали, но зато, являются подлинными пролетариями, то социалисты видят

дальше, но они приходят от буржуазии, они миролюбивы, смирны, отвлеченны. Хотя социализм по существу выходит за пределы противоположности между буржуазией и пролетариатом, однако, он по своим формам обходится весьма снисходительно с буржуазией и относится весьма несправедливо к пролетариату. Социалисты хотят не бороться, а привлечь общественное мнение на сторону своих принципов. «При этом они не перестают жаловаться на деморализацию низших классов, они слепы к прогрессивному элементу, заключающемуся в этом разложении общественного порядка, и упускают из вида, что среди имущих классов деморализация, обусловливаемая частным интересом и лицемерием, еще гораздо хуже. Они не признают никакого исторического развития и хотят привести нацию прямо в коммунистическое состояние, не доводя политики до того конечного пункта, где она сама себя упраздняет. Они понимают, конечно, почему рабочий негодует против буржуа, но считают это озлобление, являющееся единственным средством двигать рабочих вперед, бесплодным и проповедуют филантропию и общую любовь, еще гораздо более бесплодные для теперешней английской действительности. Они признают лишь психологическое развитие, развитие абстрактного человека, стоящего вне всякой связи с прошлым, тогда как на этом прошлом покоится, ведь, весь мир и отдельный человек вместе с ним. Поэтому, они слишком учены, слишком метафизичны и достигают незначительных практических результатов». Энгельс говорит, что в этой форме английский социализм никогда не сделается общим достоянием рабочего класса, он должен воспринять в себя революционное содержание чартизма, точно так, как чартизм нуждается в более ясном и широком кругозоре социализма; слияние социализма с чартизмом сделает рабочий класс действительным властелином Англии. Однако и теперь уже отдельные категории рабочих—и Энгельс показывает это подробно—сделали бесконечно много для просвещения пролетариата, составляющего особый класс, с особыми интересами и принципами, с особым против всех имущих воззрением на вещи, заключающем в себе всю силу нации и способность ее к развитию.

В заключительных словах своей книги Энгельс предсказывает социальную революцию в Англии в близком будущем,

и за это ложное пророчество буржуазная критика хватается уже полвека, чтобы на свой манер «опровергнуть» произведение, составившее целую эпоху в науке. Фактически, однако, возвещенная революция наступила, хотя и не в той форме, как полагал Энгельс: английский рабочий класс, поднявшись вверх из отчаянной нищеты, вырос в могучую армию и шаг за шагом завоевывает политическую власть. С справедливой гордостью Энгельс мог сказать незадолго до своей смерти: не то удивительно, что из пророчеств, внушенных ему юношеской пылкостью, столь многие не оправдались, а то, что столь многие сбылись. Ошибку относительно насильственной революции, уже стучащейся в двери, Энгельс разделял с лучшими знатоками английских условий, с м с Гаскелл, Карлейлем и даже с «Временем», главным печатным органом английской буржуазии; но все что было нового и оригинального в его книге, что составляло его духовную собственность, то оказалось истиной и приложило новые пути в науке.

При этом отнюдь нет надобности скрывать, что Энгельс и Маркс, особенно в молодые свои годы, нередко переоценивали темп революционного рабочего движения. Но в то время, как вся пустоголовая кампания полагала и полагает, что доказала этим несостоятельность их понимания истории, такой человек, как Альберт Ланге, сделал наоборот, заключение, что они «удивительно верно» судили о своем времени. Ланге писал: «В общем мы всегда склонны представлять себе то, что мы ясно предвидим, более близким, чем оно есть в действительности». Этой склонности заплатили также свою дань Маркс и Энгельс, последний —даже в преклонном возрасте, до которого сохранил свое молодое сердце. Отсюда не следует однако, что они блуждали ощупью в тумане, а наоборот что они, говоря словами Ланге, были «проницательными мыслителями»: они обманывались насчет длины пути потому, что ясно видели его конечный пункт.

Книга Энгельса имела при первом своем появлении большой успех. Она стала наиболее читаемым произведением до-мартовского социализма, но читателей в буржуазных кругах привлекало в сущности только захватывающее изображение мрачного сюжета. Метод, примененный Энгельсом, результаты, добытые им, остались непонятыми, как это доказал скоро в ученом сочинении глава «исторической школы» проф. Бруно

Гильдебранд. Гильдебранд пытался при помощи густого, пыльного облака исторических замечаньиц снова затемнить тот свет, который был пролит на историческое развитие Энгельсом. Он привлек к делу груду дат и чисел, из которых должно было следовать, что трудящиеся классы Англии, в прежние века были поставлены еще хуже, чем в XIX веке; что английские ремесленники, матросы и прислуга поставлены лучше, чем фабричные, сельско-хозяйственные и горные рабочие, которыми ограничивает свое изображение Энгельс; что в кургессенской провинции Обер-Гессен ремесленному пролетариату приходится страдать еще больше, чем крупнопромышленному пролетариату в Англии и т. д. Допустим даже, что Гильдебранд действительно показал то, что он усиливался показать; что же он доказал бы этим против Энгельса? Вполне ясно: ровно ничего. Гильдебранд обошел все основные вопросы, поднятые Энгельсом, оставаясь совершенно верным «историческому методу» исторической школы». Энгельс должен быть признан фантазером, так как не нашел на всемирном рынке того, что Гильдебранд находит в кургессенской провинции Обер-Гессен.

Нужно признать, впрочем, что Гильдебранд принадлежит к числу более проницательных представителей «исторической школы». Лет 30 спустя Рошер издал свою «Историю экономической науки в Германии» и не нашел сказать в ней ничего больше об Энгельсе, кроме нескольких фраз, списанных у Гильдебранда. Он не назвал даже источника своей мудрости, что, впрочем, составляет также, быть может, принадлежность «исторического метода».

Маркс о Фейербахе.

Когда Энгельс весною 1845 г. переехал в Брюссель к Марксу, то оба они принялись разрабатывать во всех направлениях противоположность своих взглядов к идеологическому воззрению немецкой философии, чтобы, таким образом, покончить счеты со своей прежней философской совестью. План этот они выполнили в двухтомной критике после-гегелевской философии. Сочинению не суждено было, однако, увидеть свет: издатель, которого они раздобыли в Вестфалии, заупрямился по получении рукописи, так как «изменившиеся обстоятельства не позволяли печатания». Это было первое начало подлого положения вещей, от которого долго суждено

было страдать Марксу и Энгельсу: даже такой человек, как Руге, не постеснялся решительно потребовать от своего компаньона Фребеля, чтобы тот не печатал ничего из марксовских работ в «Литературной Конторе», хотя Руге сам признавал, что Маркс вряд ли напишет что нибудь плохое

Маркс и Энгельс тем охотнее предоставили свою рукопись «грызущей критике мышей», что они достигли своей главной цели: уяснения собственных взглядов. Однако, от этого же периода сохранились некоторые тезисы, где Маркс сводит свои счеты с Фейербахом. Здесь Маркс называет главным недостатком всех предшествующих материалистических теорий то, что предмет, действительность, чувственный мир рассматриваются только в форме объекта или воззрения, а не как человеческая чувственная деятельность, не как практика, не субъективно. Материалистическое учение о том, — говорит он, — что люди продукт обстоятельств и воспитания, что, следовательно, измененные люди суть продукты других обстоятельств и изменившегося воспитания, — это учение забывает, что внешние условия именно людьми изменяются, и что воспитатель должен сам быть воспитан. Оно неизбежно приводить поэтому, как у Оуэна, к разделению общества на две части, из которых одна возвышается над обществом. Между тем, на самом деле изменение обстоятельств человеческой деятельностью может быть рационально понято только как революционирующая практика.

Фейербах разрешает религиозную сущность в человеческую; земная семья есть тайна святого семейства. Но он упускает из вида, что после этого остается еще сделать главное. Если мир удваивается в мир религиозный или представляемый и мир действительный, если земная семья фиксируется, как самостоятельное царство в небесах, то факт этот объясняется внутренней раздвоенностью и внутренней противоречивостью светской основы. Это противоречие должно быть понято и затем устранено путем практического революционирования земной основы. Лишь тогда религиозная сущность будет действительно разрешена в человеческую.

Человеческое существо не есть абстракция, заключенная в отдельном индивиде: в своей действительности это совокупность общественных отношений. Отказываясь от критики этого действительного существа, Фейербах вынужден оставлять

без внимания исторический ход вещей и фиксировать религиозное чувство, как нечто самостоятельное, предполагать обстрактно-изолированное человеческое существо.

Фейербах не видит следующего: «религиозное чувство» само есть общественный продукт; абстрактный индивид, которого он анализирует, принадлежит в действительности к определенной общественной форме. Общественная жизнь имеет по существу практический характер. Все таинства, увлекающие теорию в область мистицизма, находят свое рациональное разрешение в человеческой практике и в понимании этой практики.

Маркс заканчивает свою критику Фейербаха следующими лапидарными (кратко-выразительными) предложениями: «Высшее, до чего может подняться созерцательный материализм, т.-е. материализм, постигающий чувственный мир не как практическую деятельность, это — до созерцания отдельных индивидов в «гражданском обществе». Точка зрения старого материализма есть гражданское общество, точка зрения нового — человеческое общество или обобществленное человечество. Философы лишь различным образом истолковывали общество, задача же состоит в том, чтобы изменить его».

Не трудно понять, какой результат был достигнут этим способом понимания. Порывая совершенно с идеализмом, чтобы вернуться к материализму, с которым он никогда, однако, не мог вполне сдружиться, Фейербах пожертвовал тем прогрессом, который был сделан немецким идеализмом по сравнению с англійско-французским материализмом: он пожертвовал диалектическим методом, рассматривавшим историю человечества как непрерывный поток становления и прехождения, в противоположность к метафизическому — по терминологии Гегеля — методу материализма, видевшему в мире комплекс готовых вещей, твердых, неизменных, раз навсегда данных предметов исследования. Как необходим и полезен ни был в свое время этот метафизический метод, однако, он при помощи своих микроскопов и анатомических ножей исследовал до известной степени только трупы, ибо он вырывал вещи из связи, в которой они живут и развертывают свое особенное существование. Напротив, диалектический метод охватывал весь комплекс процессов, в которых вещи

возникают и умирают, он видел в человеке не абстрактное, раз навсегда данное, а историческое, беспрерывно меняющееся существо.

Заодно с Фейербахом Маркс пожертвовал всеми идеалистическими причудами, но в противоположность ему он сохранил крупное завоевание, сделанное немецким идеализмом. Он выполнил в положительном направлении то, что Фейербах сумел выполнить только отрицательно. Он воспринял в материализм непреходящее содержание идеализма, подобно тому как Кант некогда воспринял в идеализм непреходящее содержание материализма. Но если историю человечества не направлял никакой бог и никакая абсолютная идея, и если, с другой стороны, эта история развивалась путем непрерывного диалектического процесса, то чем же определялся ход исторического развития? Маркс подводил итог своим предшествующим исследованиям о государстве и обществе, когда усматривал действительное существо человека в совокупности общественных отношений. Развитие человеческого общества есть развитие исторического человека. Историческое развитие определяется в последней инстанции экономическим способом производства, который своими переворотами вызывает перевороты и в расчленении общества. Маркс не заимствовал без критики ни диалектического метода Гегеля, ни абстрактно-изолированного материализма Фейербаха: первый он опрокинул, доказав, что не мысли воплощаются в вещах, а вещи отражаются в мыслях; второй он расширил в исторический материализм, показав, как в нем действует непрекращающийся поток диалектического процесса.

Буржуазной ученостью были выставлены против материалистического понимания истории два возражения: во-первых, оно де менее всего может быть названо новым; во-вторых, оно очень далеко от истины. Но ни Маркс, ни Энгельс никогда не утверждали, что они без всякой посторонней помощи открыли закон развития человеческой истории. Подобным утверждением они сами отрицали бы исторический материализм, который по всему своему смыслу мог быть открыт только на определенной ступени всемирно-исторического развития. Для того, чтобы представилась возможность исследовать буржуазное общество, оно должно ведь существовать, и мы действительно видим, что с первых же начал его, с тех

пор, как оно выбилось из феодальной общественной формации средневековья, мыслящим людям приходили в голову разного рода идеи на тот счет, не формирует ли это общество государства, которое, на первый взгляд, стоит над ним, не следует ли, поэтому, скорее выводить политическую и всякую иную идеологию из экономического способа производства, чем наоборот.

Чем шире развертывалось буржуазное общество, чем резче сталкивались друг с другом его экономические противоречия, чем больше раздробленные обломки феодальных сословий сплачивались в большие классы, тем резче выступал также факт, что политическая борьба есть не что иное, как борьба этих классов. Великая французская революция и в не меньшей степени крупная английская промышленность разительно доказали, как бесследно разлетается вся идеология буржуазного общества при столкновении с его экономическим развитием. Июльская революция и билль о реформе поставили уже открыто на арену политической борьбы три великих класса современного гражданского общества: аристократию, буржуазию, пролетариат. С тех пор английская и, в особенности, французская историческая наука отдавали себе совершенно ясный отчет в том, что в борьбе этих классов и в столкновении их интересов заключается движущая сила современной истории. Мало того, даже в отсталой Германии зародилось смутное предчувствие этой истины. Романтические реакционеры мудрствовали на тот счет, что хозяйственные формы являются основой всех общественных и государственных организаций, а либералы, вроде Ганземана, выставляли против цензуры то возражение, что, мешая обсуждению политических вопросов, она вместе с тем препятствует обсуждению вопросов экономических, ибо экономия почти всегда переходит в политику. Наконец, само собою понятно, что утопический и всякий иной социализм, порожденный противоречием между буржуазными идеалами и экономической действительностью буржуазного общества, был логически наталкиваем на материалистическое понимание истории, в пользу чего можно привести многочисленные доказательства из сочинений Сен Симона, Фурье и Луи Блана.

Как всякое новое открытие и изобретение имеет за собой длинную историю, так и всякая новая научная истина. Никто

резче Маркса не выдвигал положения, что человечество ставит себе только те задачи, которые оно может разрешить, что самая задача возникает лишь там, где условия ее разрешения имеются уже налицо или, по крайней мере, находятся в процессе своего созидания. Маркс и Энгельс никогда не отрекались от своих предшественников; напротив, они восстановили в исторических почестях и даже впервые утвердили в них таких людей, как Сен-Симон и Фурье, Гегель и Фейербах. Они поступили так из справедливости, но и по расчету они не могли бы поступить иначе. То, что они дали сами, не затмевается, а выступает, напротив, в полном свете, когда заслуга их предшественников остается неумаленной. Альберт Ланге говорит в одном месте, что именно лучшие свои мысли мы почти всегда разделяем с другими современниками, и только законченное проведение какого-нибудь принципа обеспечивает нам справедливое уважение наших ближних. Действительно, законченное проведение принципа, вот чем обусловлено великое значение теории исторического материализма, развитой Марксом и Энгельсом. Они нашли дорогу из тупика, в который зашли английско-французский социализм и немецкая философия. Они направили различные ручейки, на которые современная культура грозила разбиться вследствие своих противоречий, в один революционный поток, устраняющий все противоречия.

Нет ничего более неосновательного, как утверждение, будто Маркс и Энгельс своим материалистическим пониманием истории исповедывали тупой фатализм и изгоняли из исторического развития человечества все идеальные движущие силы. Из их диалектического метода само собою вытекало, что если общество имеет определяющее влияние на государство, то и государство действует все-таки обратно на общество; что если экономические факты решают в последней инстанции, то на них могут все-таки влиять и идеологические представления; что если идеология не в состоянии производить самостоятельного действия, то отсюда отнюдь не следует, будто она не производит вообще никакого действия. В тезисах о Фейербахе, где Маркс развил гениальные основные черты нового мировоззрения, он прямо высказал, что хочет спасти именно деятельную сторону идеализма от инертности созерцательного материализма, что исторический

материализм для него не только теоретическая истина, но и практическое оружие, которое он намерен пустить в ход, как революционное орудие, для превращения буржуазного общества в обобществленное человечество.

Испытать правильность этого совершенно нового воззрения можно было, однако, лишь на практике. Прежде всего нужно было разгадать экономический секрет современного буржуазного общества: нельзя было удовольствоваться осуждением капиталистического способа производства, а требовалось понять его и доказать необходимость его исчезновения из необходимости его возникновения. Среди западно-европейских социалистов Прудон подвинулся дальше других в попытке уразуметь настоящую внутреннюю связь явления, а не только вскрыть его дурные последствия. Вслед за критикой Фейербаха Маркс занялся критикой Прудона.

Маркс против Прудона.

Во время своего пребывания в Париже Маркс поддерживал личные отношения с Прудоном. Целые ночи напролет они спорили об экономических вопросах; Маркс ввел Прудона в идейный мир Гегеля, которым тот, при своем незнании немецкого языка, никогда не сумел, однако, вполне овладеть. После того как Маркс был выслан из Парижа, Прудон избрал своим учителем Карла Грюна, у которого всего менее можно было научиться философскому методу.

Действительно, Прудон настолько же уходил назад, насколько Маркс двигался вперед. Как далеки они уже были друг от друга, спустя какой-нибудь год после того, как они расстались, это видно из письма, которое Прудон послал Марксу из Лиона 17 мая 1846 года. К сожалению, письмо Маркса вызвавшее этот ответ Прудона, не сохранилось или не опубликовано. Каково бы, однако, ни было его содержание, ясно одно,—что Прудон, должно быть, трагикомическим образом не понял воззрений Маркса. Он читает нотацию своему «милому философу», как второму Лютеру, швыряющему вокруг себя церковными проклятиями, как человеку насильственных переворотов, который хочет вызвать варфоломеевскую ночь против собственников и кровью утолить жажду знания пролетариата. Откуда Продон почерпнул такие удивительные сведения, об этом можно до известной степени

догадываться по хвалебному гимну Карлу Грюну, наполняющему последнюю часть письма. То, что Прудон объявляет своим намерением — открыть законы общества и способ их осуществления, совпадало с самоуяснением, которого искал Маркс. Дело было лишь в том, кто из них двух лучше понимал толк в этой работе. Прудон писал Марксу, что его решение задачи появится в сочинении, половина которого уже отпечатана; он просил Маркса подвергнуть книгу строгой критике и обещал охотно подчиниться ей в ожидании собственного реванша. Однако, когда Маркс исполнил эту просьбу, то реванш Прудона свелся к нескольким случайным замечаниям о «пасквиле некоего доктора Маркса», составляющем «сплетение грубостей, клевет, подлогов и плагиатов».

Возвещенное Прудоном сочинение, «Система экономических противоречий или философия нищеты» попыталось ответить на вопрос о сущности собственности уже не резкой филиппикой, как его первое литературное детище, а анализом политической экономии: Вместо неразрешимых антиномий Канта Прудон оперировал теперь гегелевским противоречием, которое он нашел также во всех категориях политической экономии и которое затем пытался разрешить. Прежде всего он занялся основным учением о ценности, противоречием между потребительной и меновой ценностью; последнее он хотел устранить путем того утопического истолкования рикардовской теории ценности, к которому уже пробовали прибегнуть в Англии и даже в Германии. Однако, Прудон подошел к задаче с мелко-буржуазной стороны, как Грей, а не с крупно-буржуазной, как Оуэн и его ученики, и не с точки зрения государственного социализма, как Родбертус. Своей «конституированной ценностью» Прудон хотел сказать последнее слово человечества, тогда как Оуэн и, по-своему, Родбертус видели в ней лишь переход к коммунистическому обществу.

При этом Прудон обнаружил грубое непонимание диалектического метода Гегеля Он крепко держался за ту, ставшую уже реакционной, сторону его, согласно которой мир действительности выводится из мира идеи, и отрекся от его революционной стороны: самодеятельности идеи, полагающей и противополагающей себя, чтобы развернуть в этой борьбе то высшее единство, которое сохраняет предметное содержание

обеих сторон, разлагая их противоречивую форму. Прудон различал, напротив, в каждой экономической категории хорошую и дурную сторону, чтобы искать затем синтеза, научной формулы, которая сохранила бы хорошую сторону и уничтожила дурную. Он видел, что хорошая сторона выдвигается буржуазными экономистами, а на дурную обрушиваются со своими обвинениями социалисты; своими формулами и синтезами он думал возвыситься одинаково как над экономистами, так и над социалистами.

Маркс разрушил эту иллюзию словами: «Г. Прудон льстит себя мыслью, что он дал и критику политической экономии и критику коммунизма; он стоит далеко ниже обоих. Ниже экономистов потому, что в качестве философа, имеющего под рукой магическую формулу, он счел возможным освободить себя от обязанности войти в чисто-экономические детали; ниже социалистов потому, что у него нет ни достаточной смелости, ни достаточных знаний, чтобы возвыситься хотя бы только умозрительно над буржуазным горизонтом. Он хочет быть синтезом, а представляет собою сложную ошибку. Он хочет витать, в качестве человека науки, над буржуа и пролетариями, а в действительности он только мелкий буржуа, постоянно перебрасываемый, как мячик, между капиталом и трудом, между политической экономией и коммунизмом». Как сурово ни звучит этот приговор, но Маркс имел тем не менее право произнести его. В «Нищете философии», ответе на «Философию нищеты», написанном по французски и появившемся в июне 1847 г., Маркс не только показал, почему и обо что разбилась попытка Прудона, но и разрешил сам задачу, которую Прудон поставил себе. Маркс открыл законы общества, он развил политическую экономию и утопический социализм дальше их собственных границ, чтобы органически связать их в научном коммунизме, притом также посредством диалектического метода, только не в идеалистически-мистификаторской, а в материалистически-революционирующей его форме.

Из двух глав книги первая занимается «конституированной или синтетической ценностью» Прудона. Маркс показывает, что обмен товаров соразмерно заключенному в них рабочему времени, выдаваемый Прудоном за «революционную теорию будущего», есть именно то, что Рикардо доказал, как теорию

буржуазного общества. Ценность труда определяется рабочим временем, необходимым для производства всего того, что требуется рабочему для существования и для продолжения своего рода. Рикардо писал: «Уменьшите стоимость содержания людей путем уменьшения естественной цены пищи и одежды, необходимых для человека, и вы увидите, как заработная плата, в конце-концов, упадет, хотя бы спрос на рабочие руки сильно возрос». Естественная цена труда есть не что иное, как минимум заработной платы. Таким образом, ценность, измеряемая рабочим временем, необходимо является формулой для современного рабства рабочих, тогда как Прудон объявил ее «революционной теорией» для эмансипации пролетариата.

Чтобы подкрепить свою утопию, Прудон предположил, что спрос и предложение непременно уравнивались бы, если бы ценность продукта определялась заключающимся в нем рабочим временем. В пользу этого утверждения он привел якобы историческое доказательство, что самые полезные вещи требовали наименьшего времени производства, что общество всегда начинает с самых легких отраслей промышленности и только постепенно переходит к производству вещей, требующих более продолжительного труда и отвечающих более высоким потребностям. Маркс иллюстрировал эту удивительную философию истории гипотетическим утверждением, что если при римских императорах откармливали мурен в искусственных прудах, то, значит, можно было в избытке кормить все римское население; между тем, у римского народа, как раз, наоборот, не было самого необходимого, чтобы купить хлеба, в то время, как римские аристократы не испытывали недостатка в рабах, чтобы бросать их в корм муренам. Не довольствуясь этим, Маркс поставил снова на ноги историческую эволюцию, которую Прудон перевернул головой вниз; «Вещи происходят совсем иначе, чем думает г. Прудон,— писал он.—С того момента, как начинается цивилизация, производство начинает строиться на антагонизме профессий, сословий, классов, наконец — на антагонизме между накопленным и непосредственным трудом. Без антагонизма нет прогресса: вот закон которому следовала до сих пор цивилизация. До сих пор производительные силы развивались благодаря этому господству классового антагонизма». Но история показывает

также, что способ, которым продукты обмениваются, сообразуется в общем со способом их производства. Индивидуальный обмен соответствует определенному способу производства, покоящемуся на классовой противоположности. Употребление продуктов определяется социальными условиями, в которых находятся потребители, а эти условия, в свою очередь, покоятся на противоположности классов. Почему хлопок, картофель и водка — оси, на которых вертится буржуазное общество, почему они являются предметом самого широкого потребления? Потому ли, что они самые полезные в общественном смысле продукты, или потому, что, будучи самыми жалкими продуктами, они в обществе, основанном на нищете, имеют роковое преимущество служить для употребления масс? Только в будущем обществе, где антагонизм классов исчезнет, где не будет больше классов, потребление не будет больше определяться минимумом времени производства, а напротив, время общественного производства, посвящаемое различным предметам, будет определяться степенью их общественной полезности.

В буржуазном обществе правильное отношение спроса к предложению не регулируется меновой ценностью продуктов, определяющеюся заключенным в них рабочим временем, а колебательное движение спроса и предложения делает из рабочего времени меру ценности. Каждое новое изобретение, позволяющее производить в один час то, что производилось до сих пор в два часа, обесценивает все однородные продукты, находящиеся на рынке. Конкурренция заставляет производителя продавать продукт двух часов так же дешево, как продукт одного часа. Конкурренция осуществляет закон, согласно которому относительная ценность продукта определяется временем труда, необходимым для его производства. Не то время, в течение которого вещь была произведена, а минимум времени, в течение которого она может быть произведена,— вот что определяет ее ценность, и этот минимум констатируется конкурренцией. То обстоятельство, что рабочее время служит мерою меновой ценности, становится, таким образом, законом постоянного обесценения труда, идущего рука об руку с перепроизводством и промышленной анархией.

Маркс называет утопию Прудона желанием доброго буржуа, которому хотелось бы, чтобы товары производились как раз

в пропорциях, обеспечивающих сбыт по доброй буржуазной цене. Он показывает, что буржуазной иллюзией искони было воображать себе индивидуальный обмен без классового антагонизма, чтобы видеть в буржуазном обществе состояние гармонии и вечной справедливости, не позволяющее никому обогащаться насчет другого. Но «надлежащая пропорция между спросом и предложением» была возможна лишь в те времена, когда средства производства были ограничены, когда обмен происходил в чрезвычайно тесных пределах, когда спрос господствовал над предложением, и потребление управляло производством. Она стала невозможной с возникновением крупной промышленности, которая уже своими орудиями вынуждается производить в беспрерывно возрастающем масштабе, которая не может ждать спроса, которая фатально вынуждена проходить в непрерывной последовательности через смены процветания, угнетенного состояния, кризиса, застоя, нового расцвета и т. д. «В теперешнем обществе, в промышленности, основанной на индивидуальном обмене, анархия производства, являющаяся источником стольких бедствий, есть в то же время источник всякого прогресса. В таком случае, одно из двух: либо вы хотите надлежащих пропорций прежних веков со средствами производства нашего времени, и тогда вы одновременно реакционер и утопист; либо вы хотите прогресса без анархии, и тогда для сохранения производительных сил откажитесь от индивидуального обмена».

Маркс указывает затем, что Прудон отнюдь не первый попытался дать «эгалитарное» (уравнительное) применение рикардовской теории ценности. Он перечисляет ряд английских предшественников его и при этом останавливается подробнее на утопии Брея, которую опровергает ясным, как день, аргументом, что если предположить всех членов общества самостоятельными работниками, то обмен равных количеств рабочих часов возможен только под условием предварительного соглашения о числе часов, необходимом для материального производства, а подобное соглашение исключает индивидуальный обмен. К тому же выводу мы придем, если возьмем исходной точкой не распределение созданных продуктов, а акт производства. В крупной промышленности Петр не волен назначать сам свое рабочее время, ибо труд Петра ничто без содействия всех Петров и всех Павлов, соединенных

в мастерской. Этим объясняется упорное сопротивление английских фабрикантов законодательному ограничению женского и детского труда, которого нельзя провести на практике, не ограничив также труда взрослых мужчин. По самому характеру крупной промышленности рабочее время должно быть в ней равным для всех. «То, что сегодня обусловливается капиталом и конкурренцией рабочих между собою, то явится завтра, с уничтожением отношения труда к капиталу, результатом соглашения, основанного на отношении суммы производительных сил к сумме существующих потребностей. Но подобное соглашение означает осуждение индивидуального обмена».

Затем Маркс разбирает несколько особых практических приложений, сделанных Прудоном из своего открытия. По Прудону, золото и серебро суть первые товары, ценность которых достигла «констатуированного» состояния и стала деньгами после верховного освящения, сообщенного ей печатью суверенов. Против этого Маркс возражает: деньги не вещь, а общественное отношение, отдельное звено во всей цепи общественных отношений, и, как таковое, тесно связаны с ней; подобно индивидуальному обмену, это отношение соответствует определенному способу производства. Деньги не созданы произвольным желанием суверенов. «В самом деле, нужно быть лишенным всякого исторического знания, чтобы не знать, что суверены принуждены были во все времена подчиняться экономическим условиям, но никогда не диктовали им своей воли. Политическое законодательство так же, как гражданское, только провозглашает, протоколирует волю экономических отношений... Право есть только оффициальное признание факта». Печать суверенов, наложенная на золото, определяет не его ценность, а его вес; напротив, именно в качестве монеты, как знаки ценности, золото и серебро, единственные из всех товаров, не определяются издержками производства, и мы действительно видим, что они могут быть заменены в обращении бумажками,— обстоятельство, опять-таки давным-давно выясненное Давидом Рикардо. Таким образом, деньги оказались более, чем неудачной практической пробой для «конституированной ценности» Прудона.

Не лучше обстояло дело с ее применением к избытку, который общественный труд дает над трудом изолированным.

Чтобы объяснить, почему общество все больше богатеет, а рабочий все больше беднеет, Прудон олицетворял общество в виде Прометея, жизненная деятельность которого следует иным законам, чем жизненная деятельность индивидов. «Конституированная ценность» должна обеспечить каждому рабочему все больший продукт, производимый им в течение рабочего дня благодаря прогрессу совместного труда. Против этого Маркс возражает: «В английском обществе рабочий день приобрел за 70 лет излишек производительности в 2.700 процентов, т.-е. в 1840 г. он производил в 27 раз больше, чем в 1770 г. Согласно г. Прудону, нужно было бы поставить следующий вопрос: почему английский рабочий 1840 г. не был в 27 раз богаче рабочего 1770 г.? Постановка подобного вопроса предполагает, конечно, что англичане могли бы произвести эти богатства без тех исторических условий, в которых они были произведены, т.-е. без частного накопления капиталов, без современного разделения труда, применения машин, анархической конкурренции, системы наемного труда, одним словом — всего что покоится на антагонизме классов. Но это именно и были непременные условия для развития производительных сил и избытка труда. Следовательно, для достижения этого развития производительных сил и этого избытка труда требовалось, чтобы существовали одни классы, которые наживаются, и другие классы, которые приходят в упадок. Что же, в таком случае, представляет собою в конечном счете Прометей, воскрешаемый г-ном Прудоном? Это — общество, это — общественные отношения, основанные на классовом антагонизме. Это не отношения индивида к индивиду, а рабочего к капиталисту, арендатора к земельному собственнику и т. д. Сотрите эти отношения, и вы уничтожите все общество, и ваш Прометей окажется не более как фонтомом без рук и ног, т.-е. без машинного производства, без разделения труда, — которому недостает, одним словом, всего, чем мы его первоначально наделили, чтобы он мог достигнуть этого избытка труда». Маркс прибавляет, что, согласно теории Прудона, было бы на практике достаточно произвести среди рабочих равный раздел всех приобретенных в настоящее время богатств, не меняя ничего в нынешних условиях производства Маркс уже тогда признавал то, чем капиталистические мыслители

побивают теперь ежедневно коммунизм, т.-е., что подобный раздел наверно не обеспечил бы особенно большого благосостояния каждому из участников дележа.

Критика Прудона в первой главе излагаемой книги содержала уже косвенно критику буржуазной экономии. Эта наука в лице своих классических представителей поняла внутренее строение буржуазного общества гораздо правильнее, чем это сумел Прудон, но ее категории — ценность, деньги, обмен — имели силу также лишь для буржуазного общества. Они коренились в антагонизме между капиталом и трудом, в антагонизме классов; они падали вместе с этим антагонизмом. Категории политической экономии не были, как она сама воображала, вечными и естественными: они были историческими и общественными. Если Рикардо изобразил формы экономических категорий в состоянии покоя, то Маркс представил их функции в состоянии движения. Этим он занялся преимущественно во второй главе своей книги, исследующей удивительный метод Прудона.

Маркс говорит здесь: «Экономические категории суть только теоретические выражения, абстракции общественных отношений производства... Общественные отношения тесно связаны с производительными силами. Приобретая новые производительные силы, люди меняют свой способ производства, а меняя свой способ производства, способ приобретения средств к жизни, они меняют также все свои общественные отношения. Ручная мельница дает общество с феодальным сюзереном, паровая мельница — общество с промышленным капиталистом. Те самые люди, которые устанавливают общественные отношения сообразно своему материальному способу производства, производят также принципы, идеи и категории сообразно своим общественным отношениям. Таким образом, эти идеи, эти категории так же мало могут быть признаны вечными, как отношения, ими выражаемые». Маркс сравнивает буржуазных экономистов с ортодоксальными богословами, для которых собственная религия есть божие откровение, а все прочие религии — человеческие измышления: таким же образом история существовала для экономистов, покуда существовали «искусственные» учреждения феодализма, но для них нет больше истории, с тех пор как существуют «вечные и естественные» учреждения буржуазии.

Для Марса представлялось легкой задачей вскрыть несостоятельность метода, которому следовал Прудон. Если диалектический процесс разрезывают на хорошую и дурную сторону и прописывают одну категорию, как противоядие против другой, то в идее нет больше жизни; она не функционирует больше, она не полагает и не разлагает себя в категориях. Как настоящий ученик Гегеля, Маркс очень хорошо знал, что именно дурная сторона, которую Прудон хотел всюду искоренить, что она-то и делает историю, обусловливая борьбу. «Если бы во времена феодализма экономисты, под влиянием восторга, возбуждаемого в них рыцарскими добродетелями, доброй гармонией между правами и обязанностями, патриархальной жизнью городов, цветущим состоянием домашней промышленности в деревнях, развитием промышленности, организованной в корпорации и цехи, — одним словом, всем, что составляет прекрасную сторону феодализма, — если бы, повторяем, экономисты поставили себе задачей устранить все, что бросает тень на эту картину, т.-е. устранить крепостное состояние, привилегии, анархию, то чего они достигли бы? Они уничтожили бы все элементы, вызывавшие борьбу, и задушили бы в зародыше развитие буржуазии. Они поставили бы себе нелепую проблему: вычеркнуть историю».

Маркс правильно ставит затем задачу следующим образом: «если хотят верно судить о феодальном производстве, то нужно рассматривать его как способ производства, основанный на антагонизме. Нужно показать, как богатство производилось в пределах этого антагонизма, как производительные силы развивались одновременно с антагонизмом классов, как один из этих классов, дурная сторона, общественное зло, постоянно рос, пока материальные условия его эмансипации не дошли до состояния зрелости». Отношения производства всего менее представляют собою вечные законы, а отвечают определенной ступени развития людей и их производительных сил. Вместе с производительными силами меняются по необходимости и отношения производства. Так как для общества всего важнее не лишиться плодов цивилизации, приобретенных производительных сил, то ему приходится разбить традиционные формы, в которых они создавались. С этого момента революционный класс становится консервативным.

Относительно буржуазии Маркс вскрывает тот же исторический процесс развития, как относительно феодализма. «Буржуазия начинается пролетариатом, который в свою очередь является остатком пролетариата феодальных времен. В течение своего исторического развития буржуазия необходимым образом развивает свой антагонистический характер, который при первом выступлении ее на арену более или менее замаскирован, существует только в скрытом состоянии. По мере того как буржуазия развивается, внутри ее развивается новый современный пролетариат, развивается борьба между пролетарским классом и буржуазным классом,—борьба, которая, раньше чем быть почувствованной обеими сторонами, замеченной, оцененной, понятой, признанной и громко провозглашенной, обнаруживается сначала только частичными и преходящими конфликтами и разрушительными актами. С другой стороны, если члены современной буржуазии имеют тождественный интерес, поскольку они образуют один класс в отношении к другому классу, то они имеют противоположные, антагонистические интересы, поскольку они стоят друг против друга. Эта противоположность интересов вытекает из экономических условий их буржуазной жизни. Со дня на день становится, следовательно, все яснее, что отношения производства, в которых движется буржуазия, не имеет единого, простого характера, а двойственный; что при тех самых отношениях, при которых производится богатство, производится также нищета; что при тех самых отношениях, при которых происходит развитие производительных сил, развивается славливающая сила; что эти отношения производят буржуазное богатство, т.-е. богатство буржуазного класса, только уничтожая постоянное богатство отдельных членов этого класса и создавая все более многочисленный пролетариат». Чем больше выступает антагонистический характер буржуазного способа производства, у которого экономисты заимствуют свои вечные и естественные законы, тем больше запутываются их теории и образуются различные школы.

Немногими штрихами Маркс обрисовывает классиков буржуазной экономии столь исчерпывающим образом, как это никогда не удавалось «исторической школе» немецкой университетской экономии с ее изобилием исторических замечаньиц.

«Адам Смит и Рикардо представляют ту буржуазию, которая, в борьбе с остатками феодального общества, работает только над тем, чтобы очистить экономические отношения от феодальных пятен, увеличить производительные силы и сообщить новый толчок развитию промышленности и торговли. Пролетариат, участвующий в этой борьбе, поглощенный этим лихорадочным трудом, испытывает только преходящие, случайные страдания и сам смотрит на них таким образом. Экономисты, как Адам Смит и Рикардо, являющиеся историками этой эпохи, имеют лишь одну миссию: показать, как богатство приобретается при отношениях буржуазного производства, формулировать эти отношения в виде категорий, в виде законов, и показать, насколько эти законы и категорий превосходят, с точки зрения производства богатств, законы и категории феодального общества. Нищета в их глазах только боль, которой сопровождаются всякие роды в природе так же, как в промышленности». Как только антагонизм между буржуазией и пролетариатом разоблачается и исчезает всякая возможность скрыть от себя факт, что нищета растет в таких же размерах, как богатство, экономисты начинают разыгрывать из себя либо пресыщенных фаталистов, которые с высоты своей точки зрения бросают гордый взгляд презрения на людей-машин, производящих богатство,—либо гуманитариев и филантропов, которые хотят упразднить антагонизм буржуазных отношений производства путем уничтожения дурной стороны их, путем бесконечных различений между теорией и практикой, между правом и фактом, путем увещаний по адресу буржуа и пролетариев, путем превращения всех людей в буржуа.

Если экономисты являются научными представителями буржуазии, то социалисты и коммунисты—теоретики пролетариата. «Пока пролетариат недостаточно еще развит, чтобы сформироваться в класс, пока, следовательно, самая борьба пролетариата с буржуазией не имеет еще политического характера и производительные силы еще недостаточно развиты в недрах самой буржуазии, чтобы явилась возможность разглядеть материальные условия, необходимые для освобождения пролетариата и для образования нового общества,—до тех пор эти теоретики только утописты, которые для удовлетворения нужд угнетенных классов, измышляют системы и ищут

возрождающей науки. Но по мере того, как история двигается вперед, и вместе с нею отчетливее вырисовывается борьба пролетариата, им нет больше надобности искать науку у себя в голове: им достаточно отдать себе отчет в том, что происходит пред их глазами, и сделаться его выразителями. Покуда они ищут науку и строят только системы, покуда они находятся в начале борьбы, они видят в нищете только нищету, не замечая в ней революционной стороны, которая опрокинет старое общество. Начиная с этого момента, наука становится сознательным продуктом исторического движения; она перестала быть доктринерской, она стала революционной». В этих предложениях Маркса с классической сжатостью охарактеризован переход социализма от утопии к науке.

Далее Маркс разбирает частные приложения, которые Прудон делает из своего метода к ряду экономических категорий: разделению труда и машине, конкурренции и монополии, земельной собственности или ренте, забастовкам и рабочим коалициям. Оспаривая мнение Прудона, что разделение труда есть, отвлеченная категория, Маркс доказывает, что разделение труда есть напротив, категория историческая и что в различные периоды истории оно принимало самые разнообразные формы. По Прудону, машины являются «логической антитезой разделения труда», синтезом, восстанавливающем единство раздробленного труда. Маркс возражает, что труд организуется и делится, напротив, сообразно орудиям, находящимся в его распоряжении: нельзя исходить из разделения труда вообще, чтобы притти к машинам в частности. «Машины так же мало могут быть названы экономической категорией, как бык, который тянет плуг. Машины только производительная сила. Современная фабрика, основанная на применении машин, есть общественное отношение производства, экономическая категория». Но разделение труда на фабрике носит совершенно иной характер, чем разделение труда в обществе. «Тогда как внутри современной фабрики разделение труда регулируется до мелочей властью предпринимателя, современное общество не имеет другого правила, другой власти для распределения работ, кроме свободной конкурренции». В общем Маркс устанавливает закон, что власть на фабрике и власть в обществе, поскольку дело идет о разделении труда, находятся в обратном отношении друг к другу.

Фабрика есть основное условие для разделения труда в смысле Адама Смита; на фабрике задача каждого рабочего сведена к очень простой операции, тогда как власть, капитал, группирует и направляет работы. Но фабрика не возникла, как это полагает Прудон, путем приятельских соглашений между товарищами по работе и т. п.; она не зародилась даже внутри старых цехов. «Хозяином современной фабрики стал купец, а не старый цеховой мастер». Современной крупной промышленности с ее машинами предшествовала мануфактура, историческими условиями существования которой были: с одной стороны, накопление капиталов, облегченное открытием Америки и ввозом благородных металлов оттуда, более скорое сообщение с Ост-Индией вокруг мыса Доброй Надежды, колониальная система, морская торговля, с другой—распущение многочисленных дружин феодальных сеньоров, обезземеление множества крестьян вследствие превращения пахотных земель в луга, почти всеобщее бродяжничество в XV и XVI веках.

Машины в собственном значении этого слова ведут свое начало с конца XVIII столетия. Они возникли в Англии из потребности расширяющихся рынков, которым не могли удовлетворить ручные изделия. Но машины представляют собою соединение орудий труда, а отнюдь не сочетание работ для самого рабочего. «Простые инструменты, собрание инструментов, сложные инструменты, приведение в движение сложного инструмента одним ручным мотором, человеком, приведение этих инстументов в движение силами природы, машина, система машин с одним двигателем, система машин с одним автоматическим двигателем,—таково развитие машины». Концентрация орудий производства не уничтожает разделения труда, как полагает Прудон, а, напротив, усиливает его. Каждое новое изобретение в механической технике сопровождается большим разделением труда и каждое увеличение в разделении труда влечет за собою новые механические изобретения. Столь же несостоятельно утверждение Прудона, что рабочий видел для себя в машине своего рода «реставрацию»: напротив, в XVIII веке он очень долго противился розникающему господству силового автомата. Машина парализовала силу рабочего класса, обесценив его профессиональное образование; после каждой сколько-нибудь значительной стачки появлялась новая машина.

Автоматическая фабрика производит переворот в разделении труда не в мелко-буржуазном смысле Прудона, не таким образом, что рабочий перестает изготовлять одну двенадцатую часть булавки и делает последовательно все 12 частей ее. Фабрика революционирует разделение труда не для того, чтобы произвести средневекового цехового мастера, а чтобы произвести всесторонне развитого человека. Разделение труда в современном обществе создает специальности, специалистов и вместе с ними—идиотизм ремесла. Напротив, разделение труда в механической фабрике характеризуется тем, что труд теряет в ней всякий специальный характер. Вместе с тем исчезает идиотизм ремесла, и начинает испытываться стремление к универсальности, ко всестороннему развитию индивида.

Таким же образом Маркс показывает на конкурренции и монополии, что это общественные, а не естественные категории. Вся история,—говорит он,—есть одно непрерывное преобразование человеческой натуры. Прудон думает побить фурьеристов, желавших заменить конкурренцию соревнованием, когда говорит, что соревнование в промышленной области есть не что иное, как конкурренция. Но если бы ремесленнику XIV века сказали, что всю феодальную организацию промышленности следует упразднить, для того, чтобы на ее место поставить промышленное соревнование, называющееся конкурренцией, то он бы ответил, что привилегии различных корпораций и цехов именно и представляют собою организованную конкурренцию. Конкурренция не есть потребность человеческой души, как думает Прудон. Но подобно тому как она возникла из исторических потребностей в XVIII веке, так она может в силу других исторических потребностей исчезнуть в XIX-м. Конкурренция—не промышленное, а торговое соревнование; она борется не ради продукта, а ради прибыли. «Существуют даже фазисы в экономической жизни современных народов, когда все охвачены своего рода манией—наживать, не производя. Эта спекулятивная мания, возвращающаяся периодически, разоблачает истинный характер конкурренции, которая старается уклониться от необходимых условий промышленного соревнования». Дурная сторона конкурренции, которую хочет уничтожить Прудон, толкает общество вперед. Чем лихорадочнее конкурренция создает новые производственные

силы, тем больше она разрушает буржуазные отношения и создает материальные условия нового общества. Прудон справедливо видит в монополии необходимый конечный результат конкурренции, но сама эта конкурренция возникла из феодальной монополии, и если она создает современную монополию, то последняя в свою очередь, держится только путем постоянного вступления в борьбу конкурренции. Монополисты ограничивают конкурренцию между собою посредством частичных ассоциаций, но зато конкурренция среди рабочих растет; чем больше масса пролетариев увеличивается в сравнении с монополистами одной нации, тем необузданнее становится конкурренция между монополистами различных наций.

Относительно земельной собственности Прудон полагал, что ее происхождение вне-экономическое и лежит в соображениях психологии и морали, имеющих лишь весьма отдаленное отношение к производству богатств; поземельная рента имеет своим назначением крепче привязать человека к природе. Против этого Маркс возражает: «Во всякую историческую эпоху собственность развивалась разно и при совершенно различных общественных отношениях. Определить буржуазную собственность значит, таким образом, изложить все общественные отношения буржуазного производства. Попытка дать определение собственности, как независимого отношения, как особой категории, абстрактной и вечной идеи, может быть только иллюзией метафизики или юриспруденции». Поземельная рента есть избыток цены сельскохозяйственных продуктов над издержками их производства, включая сюда обычную прибыль и процент на капитал. Она возникла при определенных общественных отношениях и только при них может возникнуть; она не может взять своего начала из более или менее твердого, более или менее прочного свойства почвы, она происходит от общества, а не от природы. Поземельная рента есть поземельная собственность в ее буржуазной форме, т.-е. феодальная собственность, подчинившаяся условиям буржуазного производства. Она означает превращение патриархального сельского хозяйства в промышленное, приложение промышленного капитала к земле, переселение городской буржуазии в деревню. Нисколько не привязывая человека к природе, рента поставила лишь эксплоатацию земли в зависимость от конкурренции.

В качестве ренты, земельная собственность мобилизуется и становится предметом торговли. Рента возможна лишь с того момента, как развитие городской промышленности и вытекающая отсюда социальная организация принуждают землевладельца обращать все свое внимание только на торговую прибыль, на денежную выручку от своих сельскохозяйственных продуктов, и видеть в своей земельной собственности исключительно машину для чеканки денег. Рента настолько отделила землевладельца от земли, от природы, что ему нет даже надобности знать свои земли.

Наконец, Маркс переходит к осуждающему приговору, произнесенному Прудоном над стачками и рабочими коалициями. Маркс опровергает утверждение, будто общее повышение заработной платы должно повлечь за собою общее возвышение цен; он показывает, что при повышении заработной платы падает прибыль, при чем в большинстве случаев изменившееся отношение заработной платы к прибыли не влияет на цены. Уже то, что стачки и рабочие союзы вызывают против себя механические изобретения, доказывает громадное влияние их на развитие промышленности. В чем заключается, однако, настоящая причина, по которой развитие коалиций и стачек идет параллельно развитию крупной промышленности, несмотря на то, что экономисты и социалисты, хотя и по противоположным основаниям, настоятельнейшим образом предостерегают рабочих против пользования этим оружием? «Крупная промышленность собирает в одном месте множество незнакомых друг с другом людей. Конкурренция разделяет их в смысле интересов, но поддержание заработной платы, этот общий интерес их против хозяина, объединяет их в одной общей мысли сопротивления — к о а л и ц и и». Чтобы сломить это сопротивление, отдельные капиталисты, в свою очередь, соединяются, а чтобы противостать соединенному капиталу, разрозненные на первых порах коалиции рабочих образуют группы. Таким образом, поддержание союзов становится для рабочих более необходимым, чем поддержание заработной платы; рабочие жертвуют — чему экономисты не могут достаточно надивиться — порядочную часть своей заработной платы в пользу союзов, которые были основаны, по мнению этих экономистов, только для возвышения заработной платы. В этой борьбе развиваются

все элементы грядущей битвы. Защищаемые рабочими интересы становятся классовыми интересами. Коалиция принимает политический характер, ибо борьба класса против класса есть политическая борьба.

Маркс напоминает о том, что буржуазия также начала с частичных коалиций против феодальных сеньоров, чтобы конституироваться как класс и затем, в качестве конституированного класса, превратить феодальное общество в буржуазное. «Угнетенный класс есть необходимое условие существования всякого общества, основанного на классовом антагонизме. Поэтому, освобождение угнетенного класса необходимым образом подразумевает создание нового общества. Для того, чтобы угнетенный класс мог освободить себя, должна быть достигнута ступень, на которой приобретенные уже производительные силы и существующие общественные учреждения не могут больше уживаться рядом. Из всех орудий производства самой большой производительной силой является сам революционный класс. Организация революционных элементов в класс предполагает наличность всех производственных сил, какие только могли вообще развиться в недрах старого общества». Но после падения старого общества не будет больше классового господства, которое выражалось бы в новой политической власти. Рабочий класс может освободить себя, только упразднив все другие классы, точно так, как условием освобождения третьего сословия буржуазного класса, было уничтожение всех сословий. Победа пролетариата принесет по мере его развития ассоциацию без классов и, следовательно, также без политической власти в собственном значении этого слова, ибо политическая власть именно и есть оффициальное выражение классового антагонизма внутри гражданского общества До тех же пор антагонизм между пролетариатом и буржуазией есть борьба класса против класса,— борьба, которая, будучи доведена до своего высшего выражения, означает полную революцию. Социальное движение не исключает политического, ибо нет такого политического движения, которое не было бы в то же время социальным. Только в таком обществе, где не будет классов, социальные эволюции перестанут быть политическими революциями. До того времени последнее слово социальной науки будет гласить накануне всякого коренного

преобразования общества: «Битва или смерть; кровавая борьба или небытие. Такова неумолимая постановка вопроса». Этими словами Жорж Занд заканчивает Маркс свою книгу.

В полемике против Прудона Маркс окончательно порвал со всяким утопизмом. Он дал неопровержимое доказательство того, что общество не есть произведение человеческой головы, не есть искусственное сооружение мудрых или немудрых архитекторов, что оно, напротив, живой организм, который в себе самом носит законы своего развития. Исторический материализм был выпукло представлен, как метод для раскрытия, а не для создания этих законов, и был пролит яркий, новый свет на проблемы, над разрешением которых тщетно бились до тех пор лучшие умы трех великих культурных народов.

Тем непонятнее или, если угодно, тем понятнее было при тогдашнем положении классовой борьбы в Европе, что книга Маркса прошла почти бесследно мимо современников, несмотря на новые пути, которые она открывала. В немецкой литературе она, повидимому, не обратила на себя никакого внимания, по крайней мере, не встретила такого внимания, какое сколько-нибудь отвечало бы ее значению, во Франции же она не только не поколебала престижа Прудона, но влияние последнего на французский пролетариат продолжало, напротив, беспрерывно расти.

Тем не менее, нашелся решительный и храбрый авангард, постепенно собравшийся вокруг Энгельса и Маркса, как знаменоносцев новой эры. Пусть ученые игнорировали их работы, пусть преобладающая масса пролетариата не была еще достаточно зрела для понимания лозунгов, с которыми они обращались к ней: все-таки они приобретали круг действия, в котором стоило созидать. Их научная работа стала энергично обнаруживать свое влияние на революционную борьбу того времени.

ГЛАВА VII.

Союз коммунистов.

Со времени июльской революции Бельгия представляла собою образцовое государство среди буржуазных монархий, мнившее себя независимым от классовой борьбы между буржуазией и пролетариатом и, следовательно, также от революции. Для политических изгнанников из больших государств оно являлось убежищем, которое оказалось, однако, призрачным, как только эта иллюзия рассеялась. Усилия прусского правительства добиться высылки Маркса из Брюсселя не имели успеха. Однако, они побудили Маркса выступить из прусского подданства, при чем он не натурализовался ни в Бельгии, ни в другом месте за-границей.

За три года его брюссельского изгнания бельгийская столица стала своего рода центром коммунистического движения. С весны 1845 г. до лета 1846 г. в Брюсселе жил также Энгельс; отсюда они оба поддерживали оживленные сношения с революционными элементами английского чартизма и французской социал-демократии. Особенно деятельно они переписывались с Юлианом Гарнэем, редактором «Северной Звезды», и с Фердинандом Флоконом, редактором «Реформы». Еще важнее была их переписка с «Союзом справедливых» в Лондоне и с Эвербеком, который руководил парижскими общинами этого союза. В самом Брюсселе они приобрели нескольких сторонников, напр., служащего городской библиотеки Жиго, который находился в дружеских отношениях с Прудоном и которого привлекала, быть может, не столько коммунистическая теория, сколько гуманитарная сторона рабочего движения.

С немецкой родиной они также находились в непрерывных сношениях; в Рейнской провинции, в частности в Кёльне, они имели известное число приверженцев. Но, кроме того, к ним приехал из Лондона Вейтлинг, из Швейцарии — Себастиан Зейлер, из Вестфалии — Иосиф Вейдемейер, отставной

артиллерийский поручик, ставший потом их неизменно верным спутником. По возвращении в Германию Вейдемейер усердно старался привлечь на их сторону «Вестфальский Корабль», как и вообще устранить издательские затруднения, которые встречала на германской территории их литературная деятельность. Один молодой ученик Фейербаха, Герман Криге, раньше чем переселиться в Соединенные Штаты, чтобы вербовать коммунизму приверженцев в Новом Свете, также приезжал сначала к Энгельсу в Бармен, а затем в Брюссель к Марксу.

Из всех, примкнувших в Брюсселе к Марксу и Энгельсу, ближе всего сошелся с ним Вильгельм Вольф, «смелый, благородный, верный защитник пролетариата», памяти которого Маркс посвятил впоследствии первый том своего «Капитала». Вольф был сыном крепостного крестьянина в Силезии. Несмотря на крайне неблагоприятные внешние условия, он приобрел в гимназии и университете образование классического филолога, не теряя никогда жгучей ненависти к угнетателям своего класса. Как «демагога», его целыми годами таскали по прусским крепостям, затем он жил частными уроками в Бреславле, где весело и храбро воевал с бюрократией и цензурой. Его революционные и боевые наклонности отнюдь не исчерпывались, однако, юмором этой партизанской войны. Он спустился в трущобы, где погибал бреславльский пролетариат, и захватывающее описание этих «казематов» доставило ему почетное прозвище «казематного Вольфа». Об его ясном понимании экономических вопросов свидетельствовал очерк о силезском восстании ткачей, помещенный им в «Немецкой гражданской книге». Привлеченный к ответственности за нарушение законов о печати, он отказался от удовольствия жить в прусских тюрьмах и отправился сначала в Лондон, а вскоре затем в Брюссель, к Марксу и Энгельсу. Он стал деятельнейшим помощником этих последних, как человек с непоколебимой силой характера, надежный, как скала, и проникнутый чувством долга, одинаково строгим к другу и недругу, но наиболее строгим к себе самому.

Таким образом, не было недостатка в разнообразных побуждениях к коммунистической пропаганде, если бы даже Маркс и Энгельс склонны были — чего в действительности отнюдь не было — передавать шопотом свои теоретические выводы исключительно ученому миру и в толстых книгах. Рука об

руку с их научными исследованиями шла их практическая агитация. Это была утомительная работа, довольно часто оставшаяся безрезультатной или, по крайней мере, казавшаяся безрезультатной; не от одного литературного плана, за который они с живым интересом принимались в эти годы, им пришлось отказаться. Но они не уставали, несмотря на все внешние препятствия, несмотря даже на самое тягостное препятствие, создававшееся для них как раз со стороны тех кругов, на которые они хотели воздействовать, упреком в легкомысленной жажде разрушения, — упреком, будто своей разлагающей критикой они мешают социалистическому движению, которое иначе с непреодолимой силой завоевало бы мир. Маркс и Энгельс были, однако, слишком хорошими мыслителями, чтобы не знать, что при отсутствии ясных и верных целей освободительная борьба современного пролетариата может только терпеть одно поражение за другим.

Марксу, несомненно, не доставляло особого удовольствия критически сводить счеты с Прудоном, а затем и с Вейтлингом, этими гениально-одаренными пролетариями, первое появление которых на исторической сцене никем не было так радостно приветствовано и не понято так глубоко, как именно им. Мы имеем также достаточное число свидетельств о том терпении и снисходительности, с которым Маркс относился к Вейтлингу в этот брюссельский период. Но утопическое самомнение Вейтлинга было уже неизлечимо, и таким образом не оставалось ничего больше, как устранить этот тормоз для развития пролетариата. Сам Вейтлинг и один беспристрастный свидетель, русский публицист Анненков, с драматической живостью описал сцену, происходившую в марте 1846 г., когда ставшие непримиримыми противоречия прорвались наружу. Вскоре после того Вейтлинг довел дело и до внешнего разрыва, притом в форме, которою сам подчеркнул свою очевидную неправоту.

Произошло это, когда Маркс, Энгельс и их ближайшие друзья вынуждены были в мае 1846 г. выступить с циркуляром против Криге. Этот молодой студент обманул надежды, которые особенно возлагал на него Энгельс; он с детски-надутым видом разыгрывал из себя в Нью-Йорке пророка европейского коммунизма и обнаруживал в своем «Народном Трибуне» фантастически-сантиментальную мечтательность,

«слюнявую чувствительность», как говорилось в брюссельском циркуляре, которая изображала коммунизм любвеобильной противоположностью эгоизма, сводила всемирно-историческое революционное движение к двум-трем словам, вроде любовь — ненависть, коммунизм — эгоизм, и таким образом, должна была оказать в высшей степени деморализующее действие на рабочих, если бы они усвоили такую точку зрения. Криге довел дело до того, что даже его земляки, коммунисты из Вестфалии, отвернулись от него. Люнинг перепечатал брюссельский циркуляр, даже против воли авторов, в «Вестфальском Корабле», не скрывая того, что дает этим до некоторой степени самокритику своей собственной газеты. Вейтлинг не примкнул, однако, к демонстрации брюссельских коммунистов и в письме к Криге самым недружелюбным образом заподозрил их намерения. Его мания величия и преследования оттолкнула от него, наконец, его последнего друга Гесса; тогда он отправился к Криге в Америку.

В циркуляре брюссельских коммунистов подвергся критике и «Союз справедливых», который Криге сделал предметом сказочного хвастовства. Однако, пролетарии, принадлежавшие к этому союзу, отнеслись к брюссельской критике гораздо разумнее, чем Вейтлинг, с которым они не в силах были сладить уже во время его пребывания в Лондоне. Около конца года — Маркс указывает конец 1846 г., а Энгельс — весну 1847 г. — в Брюссель приехал Иосиф Молль, чтобы предложить Марксу и Энгельсу вступить в союз, который намерен сделать их критический коммунизм учением союза. Таким образом, молния мысли все-таки ударила в наивную народную почву; привлечением организации подлинных пролетариев, как-бы малочисленна она ни была, приобреталось больше, чем терялось вследствие отпадения всякого литературного, утопического и прочего социализма, не сумевшего оценить освободительную борьбу пролетариата в ее историческом значении. В Брюсселе возникли общины союза, в которых работали Маркс и Вольф; Энгельс, уехавший в августе 1846 г. в Париж, чтобы положить конец путанице, внесенной Грюном в умы тамошних немецких рабочих, продолжал и потом работать в парижских общинах, что не мешало ему, вероятно, возвращаться временами в Брюссель.

В то же время открылись другие виды на практическую деятельность. В Германском Союзе, особенно в Пруссии, умножались предвестники революции. С изданием февральского патента 1847 г., созвавшего соединенный ландтаг, романтический король в Берлине начал капитулировать пред буржуазией; это было робкое начало, но все же начало, которое по своим историческим условиям не могло не развиваться дальше. Все устои до-мартовского деспотизма стали шататься. Традиции Шёна и Альтенштейна никогда не умирали вполне среди прусской бюрократии; капризный режим Фридриха-Вельгельма IV укрепил их именно тем, что старался совершенно вытравить их. Дух тайной оппозиции проникал в самые секретные шкафы самых почтенных канцелярий, сдувая пыль с хранившихся в них актов. Всего сильнее он замечался среди духовенства, учителей и судей, среди тех слоев бюрократии, которые не совсем уже были выданы головой произволу высших мандаринов. Ортодоксальное хозяйничание Эйхгорна в церкви и школе возбудило мятежное настроение среди той части духовенства, которая не дошла еще до полного ханжества, и среди всех почти учителей, начиная с университета и кончая сельской школой. Судьи были возбуждены пресловутым дисциплинарным законом, рейнские юристы стали недоверчивыми и подозрительными вследствие постоянных урезываний наполеоновского кодекса. Но и среди войска, особенно среди младших офицеров, распространялись радикальные тенденции. Когда артиллерийского поручика Аннеке в Миндене захотели исключить со службы за коммунистический образ мыслей, то долго не удавалось добиться его осуждения. В суде чести настоящие товарищи его, 30 младших офицеров, высказались за оправдание, тогда как 18 высказалось за исключение, а другие 18 только за предостережение. Чтобы добиться исключения Аннеке из армии, королю пришлось вмешаться угрожающим кабинетским приказом и назначить новый суд чести исключительно из одних штаб-офицеров. Затем старым служакам пришлось еще без конца браниться, чтобы удержать прежних товарищей Аннеке от дружеских сношений с ним. Этот случай был особенно поразительным, но далеко не единственным симптомом брожения среди младшего офицерства.

Отставным прусским офицером был также Адальберт ф. Борнштедт, издававший с начала 1847 г. дважды в неделю «Немецко-Брюссельскую Газету». Он не был строгим человеком принципов, но и не дельцом только, как Бернштейн; недоверчивое отношение к нему в эмигрантских кругах было скоро рассеяно процессами, возбужденными против него по доносу прусского посольства. Маркс находил, что «Немецкая Брюсселъская Газета», «несмотря на свои многочисленные слабые стороны, имеет и кое-какие заслуги»; вместо того, чтобы искать препятствия в имени Борнштедта и на этом основании ничего не делать, он предпочел улучшить газету. Начиная с весны 1847 г. и затем все усерднее в последующие месяцы, он вместе со своими друзьями сотрудничал в газете и доставил ей репутацию третьего органа тогдашней европейской демократии, рядом с «Северной Звездой» и «Реформой».

Тем временем круг его друзей увеличился новыми ценными силами; в Брюссель приехали Георг Верт, Моисей Гесс, Фердинанд Вольф, а в самом конце и Эрнст Дронке. К этим идеологам присоединились пролетарии, принадлежавшие к наиболее развитым элементам своего класса: маляр Штейнгенс, позументщик Ридель, оба наборщика «Немецкой Брюссельской Газеты», Стефан Борн, впоследствии профессор университета в Базеле, и Валлау, впоследствии обер-бургомистр в Майнце. Они образовали ядро Немецкого Рабочего Кружка, возникшего в августе 1847 г. и насчитывавшего около 100 членов. Несколько позже, в ноябре, было основано Демократическое Общество, которое носило международный характер и объединяло бельгийских демократов с политическими эмигрантами, жившими в Брюсселе. Почетным президентом был генерал Меллине, спасший Антверпен от голландцев, президентом — адвокат Жотран, бывший член бельгийского временного правительства. Вице-президентами были: от немцев — Маркс, от поляков — бывший член польского временного правительства Лелевель, от французов — Эмбер, который после февральской революции 1848 г. был назначен губернатором Тюльерийского дворца. В Демократическое Общество входило, конечно, еще меньше членов, чем в Немецкий Рабочий Кружок, и Маркс отнюдь не представлял себе значения этих организаций в преувеличенном

виде. Он находил лишь, что непосредственная пропаганда, общественная деятельность необыкновенно освежающе действует на каждого.

Необыкновенно освежающе действует и теперь еще все, что Маркс и Энгельс создали тогда, занимаясь непосредственной пропагандой: статьи в «Немецкой Брюссельской Газете», лекции в Немецком Рабочем Кружке и в Демократическом Обществе, наконец, больше всего — то, что они делали для «Союза справедливых».

Статьи в «Немецкой Брюссельской газете.»

Первое соприкосновение, в которое Маркс пришел с газетою Борнштедта, имело своим поводом полемику с Карлом Грюном.

Грюн, создавший себе, как истый немецкий журналист, широкую рекламу в прессе, искал Маркса, по немецкой поговорке, «за той печкой, за которой спрятался сам»: Маркс прибег будто бы к мелким вылазкам в мелких газетных статейках, чтобы умалить значение книги Грюна о социальном движении в Бельгии и Франции. Так инсинуировала «Трирская Газета», орган Грюна. В ответ на это Маркс заявил, что напечатает в «Вестфальском карабле» подробный разбор книги Грюна, который он написал для составленного вместе с Энгельсом сочинения о немецкой идеологии, и покажет, в какой мере ему есть надобность пускать в ход против Грюна приемы недобросовестной конкурренции. Этот разбор действительно появился; вместе с тем Маркс поместил в «Немецкой Брюссельской Газете» подробный разбор книги Грюна о «Гете с человеческой точки зрения». Маркс ясно показал здесь, что Грюн не замечает всего гениального и великого в Гете и топит его в море тривиальностей, но зато раздувает, как газетчик, все филистерские, мещанские черты Гете, все мелочные стороны его, чтобы выставить немецкого филистера идеалом «человека».

Как метка ни была эта критика и как ни заслужил ее Грюн своими пресными разговорами о Гёте, однако, нужно все-таки признать, что Маркс был не вполне прав, когда он в «Немецкой Брюссельской Газете» делал «известной фракции немецких социалистов» упрек в том, что «они не переставая шумят против либеральной буржуазии и притом

в такой форме, которая не приносит пользы никому, кроме немецких правительств». Моисей Гесс, напр., вел тогда борьбу рука об руку с Марксом и Энгельсом: он становился вполне на их точку зрения в ряде статей о последствиях пролетарской революции и в нескольких заметках, направленных против Руге. Люнинг жаловался еще, правда, на резкий тон Маркса, но принял с большой радостью в «Вестфальский Корабль» критическую статью о Грюне, присланную ему Марксом. Даже суровый приговор, произнесенный Марксом над Грюном, необходимо принять с известными ограничениями, поскольку Грюн, без сомнения — плохой философ и плохой социалист, все же был на свой беллетристический манер добрым демократом. Посвоему «истинные социалисты» относились сердечно к рабочим классам и никогда не думали предавать интересы пролетариата до-мартовской реакции. Кроме того, в актив их исторического счета нужно записать, что вопрос, какое положение должен занять до-мартовский социализм относительно до-мартовского либерализма, был не так уже прост.

Как Маркс и Энгельс сами указывали много раз, начиная с «Немецк.-Франц. Ежегодника», немецкая буржуазия, именно в тот момент, когда она собиралась завязать борьбу с королевской властью и юнкерством, почувствовала у себя на шее львиную лапу рабочего класса. Ее политика носила вследствие этого, с одной стороны, еще революционный, но, с другой — уже реакционный оттенок. Маркс и Энгельс имели за себя всякую историческую логику и разум, когда говорили, что рабочий класс должен в своем собственном интересе обеспечить сначала победу буржуазии над абсолютизмом и феодализмом, когда они осыпали едкими насмешками все попытки «истинного социализма» побороть либерализм еще раньше, чем последний справился с феодализмом. Но найти границу между еще революционной и уже реакционной тактикой было не так легко. Маркс и Энгельс иной раз также ошибались на этот счет, хотя и в противоположную сторону, чем «истинные социалисты». Когда они хвалили отклонение подоходного налога соединенным ландтагом, «как логически последовательный отказ в отпуске денег», как «энергичную попытку» парализовать абсолютистско-феодальный режим в слабом его месте, то они оказывали оппозиции против

подоходного налога слишком много чести. Речи и голосования доказывают, что налог был отклонен не из революционной оппозиции правительству, а из весьма реакционной заботы о карманах имущих классов, которые не хотели взять на себя даже маленькой жертвы, чтобы доставить небольшое и временное облегчение рабочим классам.

От этой ошибки не была также свободна блестящая в прочих отношениях статья Маркса и Энгельса от 12 сентября, где они свели счеты с правительственно-церковным социализмом «Рейнского Наблюдателя». Против ссылки на эгоизм либеральной буржуазии, заботящейся, дескать, только о себе и нисколько не думающей о «благе народа», они возражают: «Народ, или употребляя вместо этого расплывчатого и шаткого термина определенное выражение — пролетариат, не спрашивает, составляет ли народное благо главное или второстепенное дело для буржуа, хотят ли они пользоваться пролетариями как пушечным мясом, или нет. Пролетариат не спрашивает, чего буржуа только хотят, а что они вынуждены делать. Он спрашивает, кто даст ему больше средств для достижения его собственных целей: теперешний политический порядок, господство бюрократии, или же тот порядок, к которому стремятся либералы, т.-е. господство буржуазии. Достаточно ему сравнить для этого политическое положение пролетариата в Англии, Франции и Америке с его положением в Германии, чтобы видеть, что господство буржуазии дает в руки пролетариату не только совершенно новое оружие для борьбы против буржуазии, но и доставляет ему совершенно новое положение, — положение признанной партии». Не следует ведь думать, что пролетариат это — берлинские посыльные или померанские мужики: пролетариат так же хорошо видит насквозь фразы правительства о народном благе и плохом социальном положении, как однородные фразы либеральной буржуазии.

Что касается социальных принципов христианства, то у них было 18 веков времени, чтобы развиться, и что же они дали на практике? «Социальные принципы христианства оправдывали древнее рабство, возвеличивали средневековое крепостное состояние и при нужде умеют также защищать, хотя и с несколько жалостной миной, угнетение пролетариата. Социальные принципы христианства проповедывают

необходимость господствующего и угнетенного класса и имеют для последнего только благочестивое пожелание, чтобы первый был благотворителен. Социальные принципы христианства переносят возмездие за все подлости на небо и оправдывают этим дальнейшее существование этих подлостей на земле. Социальные принципы христианства объявляют все низости угнетателей против угнетаемых либо справедливой карой за первородный грех и прочие грехи, либо испытаниями, которые господь посылает людям по неисповедимой мудрости своей. Социальные принципы христианства проповедывают трусость, презрение к себе самому, униженность, покорность, смирение, коротко говоря — все свойства canaille, а пролетариату, который не хочет, чтобы с ним обращались как со сволочью, его мужество, самосознание, гордость и чувство независимости нужны еще гораздо больше, чем его хлеб. Социальные принципы христианства смиренны, а пролетариат революционен».

Таким же образом Маркс и Энгельс беспощадно рассеяли сладкую мечту о союзе между королем и народом: «Из всех политических элементов,— писали они,— самым опасным для короля является народ. Не тот народ, о котором говорит Фридрих Вильгельм и который со слезами на глазах благодарит за полученный пинок ногой и зильбергрошен: этот народ совершенно безопасен, ибо он существует только в воображении короля. Но действительный народ, пролетарии, мелкие крестьяне и чернь, это — выражаясь словами Гоббса — puer robustus sed malitiosus, крепкий и злой парень; он не дает себя одурачить ни тощим, ни жирным королям. Этот народ прежде всего охотно вырвал бы у его величества конституцию со всеобщим избирательным правом, свободой союзов, свободой печати и т. под. И если бы он приобрел все это, то употребил бы добытое на возможно скорейшее разрушение власти, достоинства и поэзии королевской власти». Пророчество, которому потребовалось всего полгода, чтобы сбыться слово в слово.

На столбцах «Немецкой Брюссельской Газеты» Маркс и Энгельс рассчитались не только с правительственно-церковным социализмом, но и с тем политическим радикализмом, который видел в монархах виновников всякой реакции, — представление, столь же глубокомысленное, как представление

монархов, которые могут себе объяснить революционные движения только подстрекательством демагогов. В качестве носителя этого радикализма, шумевшего тем сильнее, чем меньше у него было идей, выступил против них Карл Гейнцен. Среди до-мартовских политических эмигрантов Гейнцен приобрел некоторую известность больше своим грубиянским тоном, чем умственными дарованиями; не будучи ни в каком случае равным противником для Маркса и Энгельса, он, как типичный представитель целого направления, все же имел известное значение, так что более серьезное объяснение с ним не было напрасной затратой труда.

Возражая Гейнцену, Маркс писал, что не монархи источник немецкого общества, а напротив, немецкое общество есть источник монархической власти. «Насильническо-реакционная роль, в которой выступают государи, доказывает только, что в порах старого общества постепенно образовалось новое общество; политическая оболочка — эта естественная покрышка старого общества — не может не ощущаться новым обществом, как противоестественные путы, которые необходимо разорвать. Чем менее развиты эти разлагающие элементы, тем более консервативной кажется даже самая яростная реакция старой политической власти. Чем развитее эти новые, разлагающие общественные элементы, тем более реакционной представляется даже невиннейшая охранительная попытка старой политической власти. Реакция княжеской власти доказывает не то, что последняя создает старое общество, а напротив, что этой власти придет конец, как только материальные условия старого общества переживут себя. Ее реакция есть в то же время реакция старого общества, представляющего еще собою оффициальное общество и потому находящегося еще в оффициальном обладании властью или в обладании оффициальной властью. Раз материальные жизненные условия общества разовьются настолько, что преобразование его оффициальной политической власти станет для него жизненной необходимостью, то преобразится вся физиономия старой политической власти. Так, абсолютная монархия пытается теперь децентрализовывать, вместо централизования, в котором заключалась собственно ее цивилизующая деятельность. Выросшая из поражения феодальных сословий и сама принимавшая деятельнейшее участие в их разрушении, она старается теперь удержать хотя бы

видимость феодальных различий. После того, как она благоприятствовала раньше торговле и промышленности и вместе с тем возвышению буржуазного класса, как необходимым условиям национального могущества и собственного блеска, абсолютная монархия становится теперь повсюду на пути развитию торговли и промышленности, являющихся все более опасным оружием в руках и без того уже могущественной буржуазии. С города — места, откуда пошло ее возвышение — она переносит свой боязливый и отупевший взор на деревню, удобренную трупами ее старых противников-богатырей». Как прозрачно ни было это объяснение, но оно осталось для Гейнцена загадкой за семью печатями.

Он был достаточно бестактен, чтобы в разгаре революционной борьбы следующего года выпустить нелепую и пресную брошюру против Маркса и Энгельса, но его собственные революционные подвиги оставались позади самых скромных требований. К ужасу филистеров и к великой радости полицейских он сочинял курьезные катехизисы, чтобы побудить солдат к дезертирству, или изобретал паровые гильотины для массового препровождения государей в лучший мир; с той стороны океана он еще в течение десятилетий метал громы против немецких князей и немецких коммунистов, не повредив волоска ни тем, ни другим.

«Наемный труд и капитал»,—«О свободе торговли».

Из лекций по экономическим вопросам, читанных Марксом в Немецком Рабочем Кружке, сохранился лишь отрывок его статьи о наемном труде и капитале, свидетельствующие об его мастерстве и в деле популяризации. Маркс исследует прежде всего, что такое заработная плата. На повседневном опыте каждого рабочего он показывает, что заработная плата не есть доля рабочего в производимом им товаре, а напротив, та часть наличных уже товаров, при посредстве которой капиталист покупает себе определенную сумму производительного труда. Маркс спрашивает далее: как определяется цена труда? и отвечает: как цена всякого другого товара. Она определяется троякой конкурренцией: покупателей между собою, или спросом; продавцов между собой, или снабжением; покупателей с продавцами, или колебаниями спроса и снабжения.

Эти колебания заставляют цену каждого товара колебаться около издержек его производства. Если спрос сильнее снабжения, то цены товаров поднимаются, масса капиталов устремляется в процветающую отрасль промышленности, пока цена ее продуктов не упадет вследствие перепроизводства ниже издержек производства. Если предложение какого-нибудь товара сильнее спроса, то происходит обратный процесс: капиталы отливают от производства этого товара, пока его цена не превысит снова издержек производства. Сообразно с этим и цена труда определяется издержками его производства; в вечном колебании она то поднимается выше, то опускается ниже их. Но издержки производства простого труда равны расходам на поддержание существования рабочего и продолжение его рода; цена этих издержек образует заработную плату. Подобно тому, как цена товаров определяется издержками производства вообще, так и уровень заработной платы имеет силу не для отдельного индивида, а для рода. Отдельные рабочие, миллионы рабочих не получают столько, сколько нужно, чтобы иметь возможность существовать и продолжать свой род, но заработная плата всего рабочего класса выравнивается в пределах своих колебаний до этого минимума.

Маркс переходит затем к исследованию капитала. Против объяснения экономистов, согласно которому капиталом является накопленный труд служащий средством для нового производства, Маркс возражает: «Что такое негр - невольник? Человек черной расы. Одно объяснение стоит другого. Негр есть негр. Только в определенных условиях он становится невольником. Бумагопрядильная машина есть машина для бумагопрядения. Только в определенных условиях она становится капиталом. Вырванная из этих условий, она так же мало капитал, как золото есть само по себе деньги, или сахар есть цена сахара». Капитал есть общественное отношение производства; он представляет собою буржуазное отношение производства, производственное отношение буржуазного общества. Сумма товаров, меновых ценностей, становится капиталом благодаря тому, что путем обмена на непосредственную, живую рабочую силу, она сохраняется и увеличивается, как самостоятельная общественная власть, т.-е. как власть одной части общества. «Существование класса, единственное имущество которого заключается в его способности работать, есть необходимая

предпосылка капитала. Только господство накопленного, прошлого, объективированного труда над непосредственным, живым трудом делает накопленный труд капиталом. Капитал состоит не в том, что накопленный труд служит живому труду средством к новому производству, а в том, что живой труд служит накопленному труду средством поддерживать и увеличивать свою меновую ценность». Капитал и труд обусловливают друг друга, они взаимно создают себя.

Буржуазные экономисты выводят отсюда заключение, что интересы капиталиста и рабочего совпадают. И бесспорно: рабочий гибнет, если капитал не дает ему занятия, а капитал гибнет, если он не эксплоатирует рабочего. Чем быстрее увеличивается производительный капитал, чем более процветает следовательно, промышленность, чем больше обогащается буржуазия, тем лучше идут дела, тем больше рабочих требуется капиталисту, тем дороже рабочий продает себя. Таким образом, непременным условием для сносного положения рабочего является возможно быстрый рост производительного капитала.

Но что такое рост производительного капитала? Рост власти накопленного труда над трудом живым, рост господства буржуазии над рабочим классом. Если наемный труд производит господствующее над ним чужое богатство, враждебную ему силу — капитал, то к нему притекают назад средства к существованию, под условием, что он опять сделается частью капитала, рычагом, который опять сообщит ускоренное движение роста капитала. Фраза, что интересы капитала и интересы рабочих совпадают, означает лишь одно: что капитал и наемный труд суть две стороны одного и того же отношения. Одна обусловливает другую, как взаимно обусловливают друг друга ростовщик и мот.

Маркс берет для примера наиболее благоприятный случай: растет производительный капитал, растет вследствие этого спрос на труд и вместе с ним заработная плата. Но заметное увеличение заработной платы предполагает быстрый рост производительного капитала, а таким ростом вызывается столь же быстрый рост богатства, роскоши, общественных потребностей и наслаждений. Следовательно, если сумма наслаждений рабочего и стала заметно большей, то общественное удовлетворение, доставляемое ими, упало в сравнении

с умножившимися наслаждениями капиталистов, недоступными рабочему, вообще — в сравнении с уровнем общественного развития. Наши потребности и наслаждения имеют своим источником общество, мы и прилагаем поэтому к ним общественную мерку; будучи общественными по своей природе, они имеют относительный характер. Пусть номинальная заработная плата, т.-е. денежная цена труда повысилась, пусть повысилась даже реальная заработная плата, т.-е. сумма товаров, которая действительно дается в обмен за заработную плату, но относительная заработная плата может, тем не менее, упасть.

Заработная плата не есть доля рабочего в производимом им товаре, но она должна быть возмещена из цены, за которую капиталист продает произведенный рабочим продукт.

Эта цена распадается для капиталиста на три части: возмещение потребленного сырья и изнашивающихся орудий производства, возмещение заработной платы и прибыль самого капиталиста. Первая часть возмещает лишь существовавшие раньше ценности, остальные две части, заработная плата и прибыль, должны быть покрыты из новой ценности, которую труд рабочего создал и прибавил к сырью. С этой стороны можно представлять себе заработную плату и прибыль, в видах их сравнения, как доли в продукте рабочего. Они находятся, в таком случае, в обратном отношении друг к другу: прибыль повышается в той мере, в какой падает заработная плата, и падает в той мере, в какой заработная плата повышается. Даже в пределах отношения капитала и наемного труда интересы капитала и интересы наемного труда диаметрально противоположны друг другу. Если капитал растет, то заработная плата может подняться, но несоразмерно быстрее растет прибыль на капитал. Материальное положение рабочего улучшилось, но на счет его общественного положения: социальная пропасть, отделяющая его от капиталиста, стала шире. Тезис, согласно которому «наиболее благоприятным условием для наемного труда является возможно быстрейший рост капитала», означает лишь одно: чем быстрее рабочий класс умножает и увеличивает враждебную ему силу, чужое, властвующее над ним богатство, при тем более благоприятных условиях ему разрешается работать снова над увеличением власти капитала и с чувством удовлетворения ковать самому золотые цепи, на которых тащит его за собою буржуазия.

Фактически, однако, рост капитала и повышение заработной платы отнюдь не так неразрывно связаны друг с другом, как это утверждают буржуазные экономисты. Неправда, что чем тучнее капитал, тем лучше откармливается его раб. Рост капитала увеличивает конкурренцию между капиталистами. Возрастающий размер капиталов дает средства посылать на промышленное поле битвы все более громадные рабочие армии со все более гигантскими орудиями промышленной войны. Один капиталист может выбить другого из его позиции и завоевать его капитал, только продавая дешевле, а чтобы быть в состоянии дешевле продавать, не разоряясь, он должен дешевле производить, т.-е. возможно больше повышать производительную силу труда. Но производительная сила труда повышается, прежде всего, путем большего разделения труда, путем более всестороннего применения и постоянного улучшения машин. Чем многочисленнее рабочая армия, среди которой разделен труд, в чем более гигантском масштабе вводятся машины, тем больше уменьшаются сравнительно издержки производства, тем плодотворнее становится труд. Капиталисты стараются, поэтому, наперебой друг перед другом увеличить разделение труда и применение машин и эксплоатировать их в возможно более крупном масштабе. Закон, который в пределах колебаний спроса и предложения необходимо выравнивает цену товаров до издержек производства,— этот закон революционирует способ производства, беспрерывно преобразует орудия производства, выбивает каждый раз буржуазное производство из старой колеи и неустанно нашептывает капиталу: вперед, вперед! Если представить себе это лихорадочное возбуждение на всем мировом рынке, то легко будет понять, почему рост, почему накопление и концентрация капитала имеют своим последствием беспрерывное, стремительное и осуществляемое во все более гигантском масштабе разделение труда, применение новых машин и усовершенствование старых.

Все эти явления неразрывно связаны с ростом производительного капитала; спрашивается, какое действие оказывают они на определение заработной платы? Большее разделение труда дает рабочему возможность выполнить работу пяти, десяти, двадцати человек, она увеличивает, следовательно, конкурренцию между рабочими в 5, 10, 20 раз. Далее,

разделение труда есть упрощение труда. Особое искусство рабочего теряет всякую ценность: он превращается в простую однообразную производительную силу, которой не приходится пускать в ход ни физического, ни умственного напряжения. Его труд становится доступным для всех трудом; по мере того, как работа становится более отвратительной, конкурренция между рабочими увеличивается. Но в той же мере уменьшается и заработная плата, ибо чем проще известный вид труда, чем легче ему можно обучиться, тем менее значительны издержки его производства. Тщетно рабочий старается сохранить полностью свой заработок, работая больше, т.-е. либо трудясь в течение большего количества часов, либо производя больше в течение прежнего числа часов. Чем больше он работает, тем меньшую плату он получает, по той простой причине, что он в такой же мере делает конкурренцию своим товарищам, следовательно, делает себе из товарищей по работе стольких же конкуррентов, предлагающих свой труд на столь же плохих условиях, как он сам.

Машины вызывают те же действия, но в гораздо большем масштабе, заменяя искусных рабочих неискусными, мужчин — женщинами, взрослых — детьми, выбрасывая массами на мостовую ручных рабочих там, где они вводятся впервые, и вытесняя рабочих менее значительными группами там, где они совершенствуются или заменяются более производительными машинами. Промышленная война между капиталистами имеет ту особенность, что сражения выигрываются в ней не столько набиранием, сколько распусканием рабочей армии. Полководцы-капиталисты состязуются друг с другом в том, кто кто сумеет уволить наибольшее число промышленных солдат.

Но этого мало! Мелкий промышленник не выдерживает борьбы, одно из первых условий которой состоит в том, чтобы производить во все более крупном масштабе, т.-е., быть именно крупным, а не мелким промышленником. Процент на капитал падает в той самой степени, в какой возрастает масса и количество капитала; мелкий рантье не может больше жить своей рентой и бросается в промышленность, чтобы разделить судьбу мелкого промышленника. Масса мелких промышленников и мелких рантье летит вниз в ряды рабочего класса и спешит поднять свои руки рядом с руками

рабочих. Таким образом, лес рук, вытянутых вверх и просящих труда, становится все гуще, а самые руки — все более худыми.

Наконец, в той мере, в какой капиталисты вынуждаются использовать в большем масштабе существующие уже гигантские средства производства и с этой целью приводить в движение все пружины кредита, в такой же мере умножаются промышленные землетрясения, когда торговый мир спасает себя лишь тем, что отдает в жертву подземным богам часть богатства, продуктов и даже производительных сил,— одним словом, умножаются кризисы. Они становятся более частыми и жестокими уже потому, что по мере возрастания массы продуктов, следовательно, возрастания потребности в более обширных рынках, мировой рынок все больше сокращается остается все меньше новых рынков для эксплоатации, так как каждый из предшествующих кризисов подчинил всемирной торговле рынок, до тех пор незавоеванный или же лишь поверхностно использованный торговлей. Капитал не только живет трудом. Важный барин и в то же время варвар, он тянет за собою в могилу трупы своих рабов, целые гекатомбы рабочих, погибающих во время кризисов. Маркс резюмирует: если капитал растет быстро, то еще быстрее растет конкурренция среди рабочих, т.-е. тем большее относительное уменьшение испытывают средства, идущие на наем рабочих, средства существования для рабочего класса, а, между тем, быстрый рост капитала представляет собою еще самое благоприятное условие для наемного труда.

К сожалению, только этот переданный в основных чертах отрывок и сохранился из лекций, в которых Маркс открыл немецким рабочим в Брюсселе экономическое понимание века крупной промышленности. Другой образчик его практической агитации в то время дает речь о свободе торговли, произнесенная в Демократическом Обществе.

Первоначально Маркс намеревался произнести эту речь на международном конгрессе экономистов, заседавшем в сентябре 1847 г. в Брюсселе и шумно выступившем в пользу свободы торговли. Марксу не пришлось тогда говорить. Позиция Маркса в споре о свободе торговли вытекала из его принципиального воззрения на классовую борьбу между буржуазией и пролетариатом. То же замечание относится и к Энгельсу. В своих эльберфельдских речах Энгельс

подчеркивал необходимость высоких таможенных пошлин для германской промышленности, но в то же время предостерегал слушателей, чтобы они в протекционистской агитации Листа не усматривали панацеи для капиталистического способа производства. В «Немецкой-Брюссельской Гозете» он доказывал затем, что рабочему живется одинаково скверно при системе свободной торговли и протекционизме, и в этом смысле для рабочего могло бы быть безразлично, победят ли фритредеры или протекционисты. Но немецкая буржуазия нуждается в покровительственных пошлинах: она не может держаться и укрепиться, она не может, таким образом, справиться с королевской властью и юнкерством, если не будет искусственными средствами охранять и лелеять своей промышленности и своей торговли. С этой точки зрения рабочий класс также заинтересован в покровительственных пошлинах. В таком же смысле Маркс назвал в своей полемике против Грюна агитацию за покровительственные пошлины «прогрессивной буржуазной мерой». Это нисколько не мешало ему, однако, насмехаться над до-мартовским социалистом Риттингаузеном, который на брюссельском конгрессе экономистов защищал протекционистскую точку зрения, исходя из соображений, всего менее революционных.

Маркс и Энгельс, несомненно, ошибались, когда они думали, что немецкая промышленность нуждается в более высоких покровительственных пошлинах, чтобы не быть задавленной английской индустрией и воспитаться, напротив, для успешной конкурренции с нею. Принципиально они не впадали, однако, ни в малейшую непоследовательность, когда со своей революционной точки зрения высказывались за свободную торговлю для английской промышленности и за покровительственные пошлины для германской, разоблачая в то же время ложный блеск, которым окружали свои лозунги английские фритредеры и немецкие протекционисты. Последнее было тем более необходимо, что фритредерство только что отпраздновало свой величайший триумф, добившись отмены английских хлебных законов, и теперь неустанно хвастало, что с его господством наступает тысячелетнее царство для пролетариата.

Против этого Маркс выступил со своей речью о свободе торговли. Он показал, что английские фритредеры хотят

понизить цену хлеба только с целью понизить заработную плату; не заработная плата, а прибыль на капитал должна повыситься на столько, на сколько упадет земельная рента. «Английские рабочие дали понять фритредерам, что те их не проведут своими фокусами и ложью; если несмотря на это рабочие примкнули к ним против земельных собственников, то это было сделано с целью разрушить последние остатки феодализма и иметь впредь дело только с одним врагом. Рабочие не ошиблись в своих расчетах, так как землевладельцы, чтобы отомстить фабрикантам, соединились с ними для проведения билля о 10-часовом рабочем дне, которого рабочие тщетно требовали в продолжение 30 лет и который прошел тотчас же после отмены хлебных законов». Если свобода торговли, так заявляют ее приверженцы, увеличивает производительные силы капитала, то рабочим от этого не станет лучше. Маркс доказывает свое положение таким же образом, как в лекциях о наемном труде и капитале.

Свобода торговли в капиталистическом обществе есть не что иное, как свобода капитала. Отнюдь не помогая рабочему классу, она, напротив, беспощадно подвергает его всем следствиям капиталистического способа производства. Но Маркс не выступает еще поэтому в пользу протекционизма. «Можно бороться против конституционализма, не будучи другом абсолютизма». Система таможенного покровительства есть только средство насадить в стране крупную промышленность. Это означает, однако, не что иное, как сделать крупную промышленность зависимой от всемирного рынка и, следовательно, от свободы торговли. Система протекционизма развивает свободную конкурренцию внутри страны и является для молодой буржуазии средством сконцентрировать свои силы. Маркс указывает на немецкую буржуазию, употреблявшую тогда большие усилия, чтобы добиться покровительственных таможенных пошлин. Но в общем, заключает он свою речь, система протекционизма консервативна, тогда как система свободной торговли действует разрушающим образом: она разлагает прежние национальности, доводит антагонизм между пролетариатом и буржуазией до крайнего предела, ускоряет социальную революцию. Только в этом революционном смысле Маркс подал свой голос за свободу торговли.

В своих международных сношениях Маркс и Энгельс защищали, конечно, также свою материалистическую философию истории. Они отвергали пустую революционную фразу, которая игнорировала историческую действительность, как безусловно предосудительный факт, произвольно созданный конгрессами деспотов и дипломатов, и хотела, чтобы этот факт без околичностей стушевался перед мнимой народной волей, с ее категорическими императивом и абсолютным требованием свободы. Они видели препятствия для всеобщего освобождения народов: громадное различие в ступенях цивилизации и обусловленное им различие в потребностях отдельных народов. В споре с анлийскими и французскими демократами они восставали против теории всеобщего братства народов, которая, не обращая внимания на историческое положение, на ступень общественного развития отдельных наций, хотела только зря братать.

С другой стороны, они выступали также против того высокомерного превосходства, с которым многие «истинные социалисты» взирали на братание народов, особенно на братание их под знаменем великой французской революции. Во 2-м томе «Рейнского Ежегодника» Энгельс писал: «Братание народов, как оно осуществляется теперь повсюду крайней политической партией, в противоположность старому, инстинктивному национальному эгоизму и лицемерному, частно-эгоистическому космополитизму свободы торговли, имеет большую ценность, чем все немецкие теории об истинном социализме, взятые вместе». Для него, как и для Маркса, демократией был коммунизм. «Другая демократия может существовать только в головах теоретических духовидцев, которым нет дела до действительных событий и для которых не люди и обстоятельства создают принципы, а принципы развивают себя сами. Демократия стала пролетарским принципом, принципом масс». Но эта демократия с полным основанием чествует французскую республику не только потому, что все народы, бывшие достаточно глупыми, чтобы позволить сделать из себя орудие для борьбы против революции, обязаны дать публичное удовлетворение французам; не только потому, что социальное движение XIX столетия представляет лишь второй акт французской революции, но и потому, что «в нашу трусливую, эгоистическую, убогую буржуазную эпоху уместно воскресить

память о тех великих годах, когда целый народ отбросил на одну минуту всякую трусость, всякое себялюбие и убожество, когда были люди, имевшие мужество не подчиняться законам, не страшившиеся ничего,—люди, железная энергия которых добилась того, что с 31 мая 1793 г. до 26 июля 1794 г. во всей Франции не смел показаться открыто ни один трус, ни один торгаш, ни один спекулятор, коротко говоря—ни один буржуа».

Маркс и Энгельс правильно определили пункт, в котором братание народов могло получить практическое значение и стать действительной силой. «Фантазии об европейской республике,—пишет далее Энгельс,—о вечном мире на основе политической организации стали столь же смехотворными, как фразы об объединении народов под эгидою всеобщей свободы торговли. И в то время, как все подобные химерические сантиментальности совершенно выходят из употребления, пролетарии всех народов начинают уже спокойно брататься под знаменем коммунистической демократии. Пролетарии являются, впрочем, единственными людьми, которые действительно могут делать это, ибо буржуазия имеет в каждой стране свои специальные интересы, и так как интерес стоит для нее выше всего, то она никогда не может возвыситься над национальностью. Что касается кучки теоретиков, то со всеми своими прекрасными «принципами» они ничего не могут сделать, ибо они спокойно оставляют существовать противоречивые интересы, как и вообще все существующее, и умеют только сочинять фразы. Между тем пролетарии имеют во всех странах один и тот же интерес, они имеют перед собой одного и того же врага, одну и ту же борьбу; пролетарии в своей массе уже свободны от национальных предрассудков, все их образование и движение носит существенно гуманитарный, антинациональный характер. Одни пролетарии могут уничтожать национальность, один пробуждающийся пролетариат может подвинуть различные нации, чтобы они побратались друг с другом».

В данном случае повторилось то, что мы можем наблюдать и в других случаях: Маркс и Энгельс придали твердую, ясную конкретную форму международной, космополитической идее, всплывавшей у революционных идеологов буржуазии и у великих утопистов в виде нерешительных, смутных предчувствий;

они исследовали, при каких условиях и предпосылках она может воплотиться в живую действительность. Материалистическое исследование истории показало им единственный путь, идя которым можно было подвинуться вперед, и они не задумались вступить на этот путь.

Кризис в «Союзе справедливых».

Первые сношения Маркса и Энгельса с «Союзом справедливых» начались еще тогда, когда Маркс жил во Франции, а Энгельс—в Англии, но идеологический эгалитарный коммунизм, исповедывавшийся еще тогда Союзом, не мог удовлетворить их, и потому они не вступили в него.

С тех пор в Союзе произошла эволюция, шедшая сама навстречу их воззрениям. Сам по себе он состоял из тех же элементов, какие входили в тайный союз Вейтлинга в Швейцарии. Члены его, поскольку они принадлежали к рабочему классу, были почти исключительно ремесленники, среди которых преобладали портные. Из парижских общин две состояли в 1847 г. преимущественно из портных, одна—из мебельщиков. Эксплоатировали этих ремесленников мелкие мастера, и сами они надеялись в конце-концов стать мастерками. Они стояли еще одной ногой в немецком ремесле, опутанном цеховыми иллюзиями; все это был столь же дельный народ, как приверженцы Вейтлинга в Швейцарии, но им угрожала та же участь—застрять в противоречиях своего двойственного классового положения.

Наиболее влиятельных членов Союза Энгельс рисует следующим образом: «Шаппер, человек богатырского сложения, решительный и энергичный, всегда готовый рискнуть своим материальным положением и жизнью, был образцом профессионального революционера,—типа, игравшего роль в 30-х г.г. При известной неповоротливости мышления, он отнюдь не был недоступен для более правильных теоретических воззрений, как это доказывается уже его развитием из «демагога» в коммуниста; раз убедившись в правильности какой-нибудь мысли, он тем упорнее держался потом за нее. Именно поэтому, его революционной страсти случалось увлекать за собой его рассудок, но он всегда замечал потом свою ошибку и открыто признавал ее. Шаппер был цельной натурой, и то что он сделал для основания немецкого рабочего движения,

останется незабвенным. Генрих Бауэр был по ремеслу сапожник; живой, остроумный человечек, в маленьком теле которого был, однако, скрыт большой запас хитрости и решительности. К ним примыкал Иосиф Молль, часовщик из Кёльна, Геркулес среднего роста,—как часто он и Шаппер победоносно удерживали дверь в залу против напора сотен противников!—человек, по энергии и решительности по меньшей мере равный обоим своим товарищам, но в умственном отношении превосходивший их обоих. Он не только был прирожденным дипломатом, как доказали успехи его многочисленных поездок с миссиями; он был также доступнее теоретическому убеждению». Этих старших вождей значительно превосходили по способности к теоретическому познанию двое более молодых: рисовальщик миниатюр Карл Пфендер из Гейльброна, которого Энгельс называет замечательно тонко мыслящей головой, остроумным, насмешливым, диалектичным, и портной Георг Эккариус из Тюрингии.

Если сравнить статью Эккариуса о портняжестве в Лондоне—или, как гласит ее подзаголовок, о борьбе между крупным и мелким капиталом—с сочинениями Вейтлинга, то сразу же становится понятным, почему «Союз справедливых» не потерпел такой же неудачи в Лондоне, какую он потерпел в Швейцарии. Эккариус и в отдаленной степени не обладал литературным талантом Вейтлинга, но насколько он уступал ему в этом отношении, настолько, и даже больше, он превосходил его по ясному пониманию экономической структуры современного буржуазного общества. Нет больше и в помине сантиментальной, нравственной и психологической критики: Эккариус смотрит на победу крупной промышленности над ремеслом, как на исторический прогресс, и в результатах крупной промышленности он видит порожденные самой историей и ежедневно создаваемые вновь реальные условия пролетарской революции.

Когда Эккариус писал свою статью, он был уже учеником Маркса. Факт решающего значения именно в том и заключается, что «Союз справедливых» проникся сочувственным пониманием исторического материализма, как только он очутился в центре всемирного рынка. С тех пор, как центр тяжести был перенесен из Парижа в Лондон, он из немецкого союза превратился постепенно в международный. В основанный им

рабочий кружок входили, кроме немцев и швейцарцев, члены всех тех национальностей, для которых немецкий язык служил преимущественно, как средство объясняться с иностранцами: скандинавцы, голландцы, венгры, чехи, южные славяне, также русские и англичане. Кружок вскоре наименовал себя «Коммунистическим рабочим кружком», и тезис «все люди—братья» значился на членской карточке по меньшей мере на 20 языках,—не всегда без грамматических ошибок, по уверению Энгельса. Международный характер гласного кружка оказал в свою очередь действие и на тайный союз, практически—благодаря различной национальности членов, теоретически—укрепив сознание, что революция, если она хочет победить, должна быть европейской. «Союз справедливых» принимал живое участие в международных митингах политических изгнанников в Лондоне, на которых праздновались годовщины Великой французской революции.

В то же время общественная доктрина Союза переросла грубый эгалитарный коммунизм. Она прошла через различные фазисы английско-французского социализма и немецкой философии. В журналах Вейтлинга Шаппер и его товарищи писали об оуэновских колониях, которые при всей своей утопичности все-таки должны были изощрить их умственный взор относительно условий крупной промышленности. В то самое время, как Август Беккер обменивался в Швейцарии нежными взглядами с немецким католицизмом, Бауер, Молль и Шаппер обратились к Ронге с открытым письмом, где с восхитительной иронией отделывали нового апостола. «Ты основываешь новую национальную церковь, — писали они, — Иисус Христос не основал никакой национальной церкви. Чтобы церковь стала национальной, ты упраздняешь латинские песни в обедне и вводишь немецкие. Народ будет теперь понимать, что поется во время обедни, но не станет ли ему именно потому скучнее слышать каждое воскресенье или ежедневно то, что он понимает? Что выигрывает верующий, жаждущий знания, бедный и угнетенный, если вы начинаете вдруг читать в нескольких захолустьях на национально-немецком языке известные слова, которые уже тысячу лет читались ежедневно во всем мире по-латыни?» И так далее. Когда Вейтлинг приехал в Лондон, он не мог больше столковаться с руководителями Союза: он уже слишком увяз в своей пророческой роли, а они ушли далеко вперед от всякого религиозного

утопизма. Но, с другой стороны, им не удалось и не могло удаться развить тайное учение Союза во что-либо более значительное, чем смесь из немецкой философии и английско-французского социализма.

Тут получило решающее значение вмешательство Маркса и Энгельса, провозгласивших научное понимание экономического строения буржуазного общества единственной состоятельной теоретической основой и объяснявших в популярной форме, что дело идет не об осуществлении какой-либо утопической системы, а о сознательном участии в происходящем на наших глазах историческом процессе преобразования общества. К сожалению, до нас не дошли те частью печатные, частью литографированные циркуляры, которые, по словам Маркса, произвели указанное выше действие на развитие Союза. Так или иначе, но когда Маркс и Энгельс не согласились сразу вступить в Союз, то Молль заявил, что центральный комитет намеревается созвать в Лондон конгресс Союза, где выставленные ими критические воззрения будут, в качестве доктрины Союза, формулированы в публичном воззвании, но что в виду наличности устарелых и упирающихся элементов необходимо личное содействие Маркса и Энгельса, а оно связано с их вступлением в Союз. Всякое сомнение, таким образом, устранялось, тем более, что, по убеждению Маркса и Энгельса, организация внутри немецкого рабочего класса была необходима, а при существующих обстоятельствах эта организация могла быть только тайной.

Первый конгресс Союза происходил в Лондоне летом 1847 г.. Маркса еще не было на нем, но присутствовали Энгельс и Вольф, первый—как представитель парижских общин, второй—как представитель брюссельских. Конгресс прежде всего провел новую организацию Союза. Он устранил все, что напоминало еще о старых заговорщичьих тенденциях, и придал Союзу характер общества для пропаганды, покоившегося всецело на демократических началах. В первой статье «целью союза» провозглашалось «низвержение буржуазии, господство пролетариата, упразднение старого гражданского общества, покоящегося на классовых противоречиях, и основание нового общества без классов и без частной собственности». Союз организовался, под названием «Союз коммунистов», в общины, округа, руководящие округа, центральный

комитет и конгресс. В уставе содержались по этому предмету следующие правила. Каждая община состоит минимум из трех и максимум из 20 членов. Каждые 2—10 общин образуют округ. Над различными округами страны или города стоит один руководящий округ. Окружный комитет есть исполнительная власть для всех общин округа, а руководящий округ—для всех округов своей провинции. Он состоит в переписке с этими округами и с центральным комитетом. Центральный комитет есть исполнительная власть всего союза и, как таковая, обязан отчетом конгрессу. Он состоит, по меньше мере, из 5 членов и выбирается окружным комитетом того места, которое конгресс определил для нахождения центрального комитета; каждые три месяца он отдает отчет о состоянии всего союза. Общины и окружные комитеты, так же, как центральный комитет, собираются, по меньшей мере, каждые 2 недели. Члены окружных комитетов и центрального комитета избираются на 1 год; они могут быть переизбраны, но, с другой стороны, и смещены во всякое время своими избирателями. Конгресс есть законодательная власть всего союза. Всякий отдельный округ, имеющий до 30 членов, посылает одного делегата, имеющий до 60 членов—двух делегатов, до 90 членов—трех и т. д. Конгресс собирается в августе месяце каждого года и после каждой сессии выпускает манифест от имени партии.

Что касается финансов союза, то конгресс устанавливает для каждой страны минимальный взнос, обязательный для каждого члена. Взнос этот поступает наполовину в центральный комитет, другая же половина остается в окружной или общинной кассе. Денежные доходы союза употребляются исключительно на цели пропаганды, на покрытие расходов по переписке, по печатанию и распространению брошюр, рассылке эмиссаров. Статуты требуют от каждого члена, кроме исповедывания коммунизма, «революционного усердия и энергии в пропаганде», не вдаваясь, однако, в подробности относительно способа этой пропаганды. Практически дело осталось при том способе, который уже был испробован «Союзом справедливых». Деятельность членов Союза заключалась ближайшим образом в основании гласных кружков для самообразования рабочих. Эти кружки посвящали один вечер в неделю обсуждению различных вопросов, другой—

развлечениям, пению и декламации. Они устраивали библиотеки и, где только это оказывалось возможным, классы для преподавания рабочим элементарных знаний. Тайный союз, стоявший за открытыми кружками и руководивший ими, находил в них ближайшее поле действия для публичной пропаганды и, сверх того, пополнялся и расширялся из наиболее подходящих членов этих кружков. При странствующей жизни немецких ремесленников центральный комитет лишь в самых редких случаях нуждался в посылке особых эмиссаров.

Новый устав был послан на рассмотрение отдельным общинам и затем окончательно принят на втором конгрессе, происходившем также в Лондоне в ноябре и декабре 1847 г. Он подписан «от имени второго конгресса, происходившего осенью 1847 г.», Шаппером, как председателем, и Энгельсом, как секретарем. Между первым и вторым конгрессом произошел еще следующий характерный эпизод: Кабэ, занимавшийся тогда переселением коммунистов в свою Икарию, обратился с просьбой о помощи и поддержке, между прочим, и к «Коммунистическому рабочему кружку» в Лондоне. Ответ кружка показывает, как ясно он стал отдавать себе отчет в задачах современного пролетариата. Он воздает должное уважение личности Кабэ, с радостью признает, что Кабэ обнаруживает неутомимое рвение и достойную удивления выдержку в борьбе за дело страждущего человечества, что он оказал неизмеримую услугу пролетариату своими предостережениями против всяких заговоров. Но в то же время кружок восстает против переселенческого плана, как против ложного пути; при помощи убедительнейших доводов он показывает, что осуществление этого плана принесет величайший вред принципу коммунизма, что оно вызовет ликование правительств, омрачит последние дни Кабэ горькими разочарованиями. Кружок обращается к лучшему разумению Кабэ: для коммунистов, признающих принцип личной свободы, общность имуществ так же невозможна без переходного периода,—притом демократического переходного периода, во время которого частная собственность лишь постепенно превращалась бы в общественную,—как для поселянина жатва без посева. Кабэ приехал еще лично в Лондон, чтобы в продолжение целой недели дебатировать с немецкими коммунистами, но ему не удалось привлечь их на сторону своей утопии.

Главной задачей второго конгресса была формулировка учения союза в манифесте. Проект, предложенный Марксом и Энгельсом, обсуждался по крайней мере в течение 10 дней немецкими, французскими, английскими, бельгийскими и швейцарскими рабочими, представленными на конгрессе, и после основательного разъяснения всех сомнений авторам было единогласно дано поручение выработать предназначенный для публики манифест. Старый сантиментальный лозунг «все люди—братья» был заменен новым, радостным боевым кличем: «пролетарии всех стран, соединяйтесь!». В феврале 1848 г. Коммунистический Манифест появился в печати, и вскоре после того он вышел также в переводе на английский, французский, датский и польский языки. Знамя современного научного коммунизма было водружено.

„Коммунистический Манифест".

«Коммунистический Манифест» резюмирует в классическом изложении результаты, к которым Маркс и Энгельс пришли на основании своих теоретических исследований и практической борьбы.

Манифест — исторический документ в полном значении этого слова, исторический и в том смысле, что таков, как он есть, он мог возникнуть лишь в тот исторический момент, когда он действительно появился. Только знакомство с временем его рождения проливает полный свет на богатый мир идей, заключенный в немногих его страницах. Если, несмотря на это, он пережил пять десятилетий, пережил столько программ и систем, предназначавшихся для вечного существования, если в век огромнейших переворотов он все более и более становился общим знаменем для пролетариата всего земного шара, то и этим всемирно-историческим успехом он обязан проницательности, с которой авторы его сумели понять процесс развития современного буржуазного общества, обязан мастерству, с которым они сумели объяснить этот процесс в такое время, когда буржуазное общество находилось еще в своих начальных исторических стадиях.

Манифест покоится на историческом материализме. Основная мысль, которая проходит через него, заключается в том,

что хозяйственное производство и необходимо вытекающее из него общественное расчленение всякого исторического периода образуют основу для политической и интелектуальной истории этого периода; что соответственно с этим вся история была до сих пор историей классовой борьбы, — борьбы между эксплоатируемыми и эксплоатирующими, между классами, находящимися под чужим господством, и классами, господствующими на различных ступенях общественного развития; что эта борьба достигла в соовременном буржуазном обществе той ступени, когда эксплоатируемый и угнетаемый класс, пролетариат, не может больше освободить себя от эксплоатирующего и угнетающего его класса, буржуазии, не освободив в то же время навсегда всего общества от эксплоатации, угнетения и классовой борьбы. Эта мысль подверглась одному, но только одному ограничению, с тех пор как новейшими исследованиями, в которых Марксу и Энгельсу принадлежит славная доля, была открыта неписанная первобытная история человечества: мы разумеем первобытное общинное землевладение, лишь с разложением которого общество начало раскалываться на классы.

В своем первом отделе, озаглавленном «буржуазия и пролетариат», Манифест дает беглый обзор исторического возникновения современной буржуазии, как продукта продолжительного развития, ряда переворотов в способах производства и и обмена. «Каждый из этих этапов развития буржуазии сопровождался соответственным политическим прогрессом. Угнетенное сословие при господстве феодалов, вооруженная и самоуправляющаяся ассоциация в городской коммуне, здесь независимая городская республика, там третье податное сословие монархии, затем в мануфактурный период — противовес дворянству в сословной или абсолютной монархии, главный устой больших монархий вообще, — буржуазия со времени установления крупной промышленности и всемирного рынка завоевала себе, наконец, в современном представительном государстве безраздельное политическое господство. Современная государственная власть есть не что иное, как комитет, управляющий делами всего буржуазного класса».

Манифест рисует затем резкими штрихами ту в высшей степени революционную роль, которую буржуазия играла в истории. Повсюду, где она достигла власти, она разрушила

все феодальные, патриархальные и идиллические отношения. На место эксплоатации, замаскированной религиозными и политическими иллюзиями, она поставила открытую, беззастенчивую, прямую и грубую эксплоатацию. Она сорвала ореол со всех родов деятельности, которые до сих пор вызывали почтительное и благоговейное отношение к себе. Она обратила врача, юриста, священника, поэта, ученого в своих платных, наемных работников. Она не может существовать иначе, как революционируя беспрерывно орудия производства, следовательно, отношения производства и вообще всю совокупность общественных отношений, в противоположность всем прежним промышленным классам, для которых первым условием существования было сохранение неизменным старого способа производства. Так как она колеблет все сословное и устойчивое, так как она профанирует все святое, то люди приходят, наконец, к необходимости взглянуть трезвыми глазами на условия своего существования и на свои взаимные отношения.

Подталкиваемая потребностью во все более широком сбыте своих продуктов, буржуазия распространяется по всему земному шару. Эксплоатацией мирового рынка она придает космополитический характер производству и потреблению всех стран. На место старого, местного и национального самодавления и замкнутости становится всемирный торговый оборот, зависимость всех наций друг от друга как в материальном производстве, так и относительно произведений умственного труда. Посредством усовершенствования орудий производства и бесконечного облегчения способов сообщения буржуазия вовлекает в поток цивилизации все, даже самые варварские народы. Дешевые цены ее товаров — вот тяжелая артиллерия, с помощью которой она пробивает бреши во всех китайских стенах и принуждает к капитуляции самую упорную ненависть варваров к иностранцам. Она создает себе мир по своему образу и подобию, заставляя все нации вводить у себя буржуазный способ производства.

Буржуазия подчинила деревню городу. Она создала огромные города; она в громадной степени увеличила городское население на счет деревенского и тем избавила значительную часть населения от идиотизма (исключительной обособленности) деревенской жизни. Она увеличила плотность населения,

централизовала средства производства, концентрировала собственность в немногих руках. Необходимым следствием этого была политическая централизация. С того времени, как буржуазия достигла господства, прошло менее ста лет, а между тем она создала более разнообразные и колоссальные производительные силы, чем все прошлые поколения вместе взятые. Подчинение человеку сил природы, машины, применение химии к промышленности и земледелию, пароходы, железные дороги, электрические телеграфы, вовлечение в земледельческую обработку целых частей света, приведение рек в судоходное состояние, целые поселения, как бы по волшебству выросшие из земли,— в какие из предшествующих столетий предполагали, что подобные производительные силы таятся в общественном труде!

Но современное буржуазное общество, вызвавшее к жизни столь громадные средства производства и обмена, похоже на того волшебника, который не умеет справиться с им же вызванными подземными силами. Оружие, при помощи которого буржуазия сразила феодализм, обращается теперь против самой буржуазии. Подобно тому, как средства производства и обмена, на основе которых выросла буржуазия, разбили некогда феодальные отношения собственности, так современные производительные силы уже целые десятилетия возмущаются против современных производственных отношений, против отношений собственности, являющихся условием существования буржуазии и ее господства. Во время кризисов над обществом разражается эпидемия, которая всем прежним эпохам казалось бы нелепостью — эпидемия перепроизводства. Общество неожиданно оказывается возвращенным обратно к состоянию временного варварства из-за того, что у него избыток цивилизации, слишком много средств существования, чрезмерно развитая промышленность и торговля. Буржуазные отношения стали черезчур тесными, чтобы вместить созданное ими богатство. Побороть кризис буржуазия может только двояким образом: с одной стороны, путем вынужденного уничтожения массы производительных сил, с другой – путем завоевания новых рынков и более основательного использования старых; иначе говоря, она подготовляет более общие и более жестокие кризисы, уменьшая в то же время средства к их предотвращению.

Но буржуазия не только выковала оружие, которое несет ей смерть, она создала также людей, которые будут действовать этим оружием: она создала современных рабочих, пролетариев, которые могут жить, лишь покуда они находят работу, и могут находить работу, лишь покуда они своим трудом увеличивают капитал. Манифест изображает в сжатых чертах возникновение и развитие современного пролетариата, как оно было исследовано в предшествующих произведениях Маркса и Энгельса. В особенности выдвигается тот факт, что раздоры внутри старого общества различными путями благоприятствуют развитию пролетариата. Буржуазия живет в состоянии вечной борьбы: сначала против аристократии, затем против тех разрядов самой буржуазии, интересы которых приходят в столкновение с прогрессом промышленности, наконец, она ведет непрерывную войну против буржуазии всех чужих стран. Во всех этих случаях она видит себя вынужденной обращаться к содействию пролетариата, втягивать его в политическое движение, доставлять ему элементы своего собственного политического и социального воспитания, т.-е. оружие против себя самой. Рабочему классу приносят, далее, многочисленные элементы прогресса те слои господствующего класса, которые успехами промышленности сброшены в ряды пролетариата, или положению которых этот промышленный прогресс угрожает, по меньшей мере, опасностью. Наконец, в те времена, когда классовая борьба приближается к решительному моменту, процесс разложения внутри всего старого общества принимает столь энергичный и резкий характер, что небольшая часть господствующего класса отделяется от него и присоединяется к революционному классу, в особенности — часть буржуазных идеологов, возвысившаяся до теоретического понимания исторического движения в его целом.

Из всех классов, стоящих в наше время лицом к лицу с буржуазией, истинно революционным классом является только пролетариат. Остальные классы приходят в упадок и погибают вместе с развитием крупной промышленности, между тем как пролетариат есть собственный продукт ее. Мелкий промышленник, мелкий купец, ремесленник, крестьянин, – все они борются с буржуазией, чтобы спасти от гибели свое существование в качестве средних слоев. Они, следовательно, не революционны, а реакционны, они стараются повернуть назад

колесо истории. Если же они действуют революционно, то поступают так в виду предстоящего им перехода в кадры пролетариата; они защищают в этом случае не свои нынешние, а свои будущие интересы. Что касается босяцкого пролетариата, этого пассивного продукта гниения, этих подонков старого общества, то местами он вовлекается в движение пролетарской революцией, но все условия его жизни предрасполагают его скорее продаваться реакционным интригам.

До сих пор все исторические движения были движениями того или другого меньшинства или преследовали интересы меньшинства. Пролетарское же движение есть самостоятельное движение огромного большинства в интересах огромного большинства. Пролетариат, низший слой теперешнего общества, не может подняться иначе, как взорвав на воздух все верхние слои, образующие оффициальное общество. Хотя и не по существу, но по форме борьба пролетариата против буржуазии принимает на первых порах характер национальной борьбы. Пролетариат каждой страны должен, конечно, справиться сначала со своей собственной буржуазией. Развитие пролетариата представляет собою более или менее скрытую междоусобную войну внутри существующего общества до того момента, когда она переходит в открытую революцию, и пролетариат устанавливает свое господство путем насильственного ниспровержения буржуазии.

Изобразив таким образом процесс преобразования внутри современного буржуазного общества, Манифест в заключение первого отдела резюмирует его в нескольких энергичных положениях. Всякое общество покоилось до сих пор на антагонизме угнетающих и угнетенных классов. Чтобы иметь, однако, возможность угнетать какой-нибудь класс, необходимо обеспечить ему, по крайней мере, условия, которые позволяли бы ему влачить хотя бы рабское существование. Между тем современный рабочий опускается все ниже условий своего собственного класса, рабочий становится паупером, и пауперизм развивается еще быстрее народонаселения и богатства. Буржуазия неспособна править, так как она неспособна обеспечить существование своему рабу даже в условиях его подневольной жизни, так как она заставляет его опуститься до положения, при котором ей приходится кормить его, вместо того, чтобы кормиться на его счет. Общество не может больше

жить под ее господством, ее существование несовместимо более с существованием общества. Господство буржуазии покоится на системе наемного труда, а система наемного труда покоится на конкурренции рабочих между собой. Но прогресс промышленности, пассивным и бессознательным орудием которого является буржуазия, ставит на место разъединения рабочих вследствие конкурренции их революционное объединение путем ассоциации. Таким образом, он вырывает из под ног буржуазии ту почву, на которой зиждется ее система производства и присвоения продуктов. Ее гибель и победа пролетариата одинаково неизбежны.

Во втором отделе Манифеста характеризуется положение, занимаемое коммунистами относительно пролетариев. «Коммунисты не образуют особой партии, противоположной другим рабочим партиям. У них нет интересов, обособленных от интересов всего пролетариата. Они не выставляют никаких особых принципов, согласно которым им хотелось бы формировать пролетарское движение. От других пролетарских партий коммунисты отличаются лишь в двух отношениях: во-первых, в борьбе, происходящей в пределах различных наций, они выдвигают на первый план общие, независящие от национальности интересы всего пролетариата; во-вторых, в различных фазисах борьбы между пролетариатом и буржуазией они всегда являются представителями интересов движения в его целом. Таким образом, среди рабочих партий всех стран коммунисты практически — самая решительная часть, безостановочно толкающая всех вперед; теоретически они имеют то преимущество пред остальной массой пролетариата, что отдают себе ясный отчет в условиях, ходе и общих результатах пролетарского движения». Ближайшая цель коммунистов та же, что ближайшая цель всех остальных рабочих партий: классовая организация пролетариата, ниспровержение господства буржуазии, завоевание политической власти пролетариатом.

Манифест блестяще доказывает затем, что теоретические положения коммунистов отнюдь не покоятся на идеях или принципах, изобретенных тем или иным преобразователем мира, а вытекают, напротив, из реальных отношений существующей классовой борьбы. Уже в этом доказательстве дан исчерпывающий ответ на все, что в течение 50 лет выставлялось

буржуазией и ее учеными против коммунистов. Шум по поводу уничтожения лично приобретенной, добытой своим трудом, собственности основан всецело на пристрастном взгляде, который буржуазия разделяет, впрочем, со всеми теперь уже сошедшими со сцены, но некогда господствовавшими классами, Буржуазия уничтожила феодальную собственность, она не возражает против того, что ее способ производства каждодневно уничтожает мелко-буржуазную и мелкую крестьянскую собственность, но свои особые отношения собственности и производства она из преходящих исторических отношений, возникающих и исчезающих вместе с ходом производства, возводит в вечные законы природы и разума. То, что понятно для нее, когда дело идет об античной и феодальной собственности, то она перестает понимать относительно современной буржуазной частной собственности, а именно, что эта собственность есть исторический продукт и подлежит историческому процессу. Уничтожение существовавших до сих пор отношений собственности не представляет собою чего-либо свойственного одному коммунизму. Французская революция уничтожила феодальную собственность, так как последняя стала несовместимой с историческим развитием общества, и по тому же историческому основанию коммунисты хотят уничтожить современную буржуазную частную собственность. Поскольку, однако, эта собственность является последним и законченным выражением способа производства и присвоения продуктов, основанного на классовом антагонизме, на эксплоатации одних людей другими, постольку коммунисты могут резюмировать свою теорию в предложении: отмена частной собственности.

Но ведь вместе с этим,— говорят противники коммунистов,—уничтожается основа всякой личной свободы, всякой личной деятельности и независимости! Так ли это? В существующем обществе частная собственность упразднена для $^9/_{10}$ его членов: она существует для одной десятой именно благодаря тому, что для девяти десятых она не существует. В своей нынешней форме собственность движется в рамках противоположности между капиталом и наемным трудом. Капитал — не личная, а общественная сила. Капитал есть коллективный продукт и может быть приведен в движение лишь путем совместной деятельности многих членов общества,

в конечном счете даже путем совокупной деятельности всех членов общества. Если он превратится в общую собственность, принадлежащую всем членам общества, то это не будет превращением личной собственности в общественную, а изменится лишь общественный характер собственности, так как она потеряет свой классовый характер.

Напротив, то, что наемный рабочий приобретает своим личным трудом, не доставляет ему никакой собственности, а покрывает лишь в обрез расходы на скудное существование и продолжение своего рода Коммунисты отнюдь не хотят упразднить это личное присвоение продуктов труда, необходимых для поддержания и воспроизведения человеческой жизни,— присвоение, не оставляющее никакого чистого дохода, который мог бы доставить власть над чужим трудом. Они хотят только уничтожить нежелательный характер этого присвоения, при котором рабочий живет лишь для того, чтобы увеличивать капитал, живет лишь постольку, поскольку, этого требуют интересы господствующего класса. «В буржуазном обществе живой труд представляет только средство увеличивать накопленный труд; в обществе коммунистическом накопленный труд является лишь средством расширить, обогатить и украсить существование рабочего В буржуазном обществе, следовательно, прошедшее господствует над настоящим, в коммунистическом — настоящее над прошедшим. В буржуазном обществе капитал независим и личен, тогда как трудящийся индивидуум зависим и безличен». Все фразы об уничтожении свободы и индивидуальности сводятся к тому, что предполагается уничтожить буржуазную свободу и буржуазную индивидуальность. Свободолюбивое бахвальство буржуазии имеет вообще смысл лишь постольку, поскольку речь идет о стеснениях торгашества и угнетении горожанина средних веков, но не тогда, когда дело идет о предлагаемом коммунистами уничтожении торгашества, буржуазных производственных отношений и самой буржуазии. Коммунизм не отнимает ни у кого возможности присваивать себе общественные продукты он отнимает только возможность порабощать себе при помощи этого присвоения чужой труд.

Манифест переходит затем к упрекам, что коммунисты хотят уничтожить семью и отечество. Он указывает, что буржуазная семья основана на капитале и на индивидуальной

наживе, что во вполне развитом виде она существует только для буржуазии, что она находит свое дополнение в вынужденной бессемейности пролетариев и в публичной проституции. Буржуазные декломации о семье и воспитании становятся тем более противными, чем больше крупная промышленность разрывает для пролетария все семейные узы и превращает детей в простые предметы торговли и рабочие инструменты. С едкой насмешкой Манифест отмечает высоконравственный ужас буржуазии по поводу мнимой оффициальной общности жен у коммунистов, между тем как коммунисты хотят, напротив, вместе с теперешними производственными отношениями устранить оффициальную и неоффициальную проституцию буржуазного общества.

Подобно тому, как у рабочих нет семьи, у них нет и отечества. Нельзя отнять у них то, чего они не имеют. Поскольку пролетариат должен прежде всего завоевать политическую власть, подняться до степени национального класса, конституироваться как нация, постольку он сам еще национален, хотя и не в буржуазном смысле. Национальное обособление и антагонизм народов и без того исчезают все более и более вместе с развитием свободы торговли, мирового рынка, однообразного промышленного производства и соответствующих ему жизненных условий. Переход власти к пролетариату будет еще больше содействовать их исчезновению; солидарные действия, по крайней мере, цивилизованных стран, представляют собою одно из первых условий его освобождения. По мере того, как будет уничтожаться эксплоатация одного индивидуума другим, будет также уничтожаться и эксплоатация одной нации другою: вместе с антагонизмом классов внутри нации исчезнет и враждебное отношение наций друг к другу.

Манифест разбивает вкратце обвинения, выставляемые против коммунизма с идеологической, философской и религиозной точек зрения. Вместе с жизненными условиями людей с их общественными отношениями, с их общественным бытием изменяются также их представления и понятия, изменяется, одним словом, и их сознание. Вместе с материальным производством преобразуется и интеллектуальное производство: господствующие идеи каждой эпохи были всегда лишь идеями господствующего класса. Когда говорят об идеях,

революционирующих целое общество, то этим выражают лишь тот факт, что в недрах старого общества образовались элементы нового, что параллельно с разложением старых условий жизни идет разложение старых идей. «Когда в XVIII веке христианские идеи уступили место идеям просветительной философии, феодальное общество вело предсмертную борьбу с революционной тогда буржуазией. Идеи свободы совести и свободы вероисповеданий провозглашали лишь господство свободы конкурренции в области знания». Но коммунистам возражают, что существуют вечные истины, как свобода, справедливость и т. д.,— истины, общие всем общественным состояниям, изменявшиеся, конечно, с ходом исторического развития, но сохранившиеся, несмотря на эти превращения; коммунизм не может устранить их, не становясь в противоречие с историческим развитием. На это Манифест отвечает, что эксплоатация одной части общества другою принимает различные формы в различные эпохи, но она была общим фактом для всех предшествующих веков. «Неудивительно поэтому, если общественное сознание всех веков, несмотря на все свое многообразие и различие, движется в известных общих формах, в формах сознания, которые разложатся вполне только с совершенным исчезновением классового антагонизма». Подобно тому, как коммунистическая революция порывает самым радикальным образом с традиционными отношениями собственности, так она радикальнейшим образом порывает и с традиционными идеями.

После этой убедительной отповеди противникам коммунистов Манифест возвращается опять к ходу пролетарской революции. Ее первым шагом является возведение пролетариата на степень правящего класса, завоевание народовластия. Пролетариат воспользуется своим господством для того, чтобы постепенно вырвать весь капитал у буржуазии, сосредоточить все орудия производства в руках государства, т.-е. пролетариата, организованного в правящий класс, и возможно быстрее увеличить массу наличных производительных сил. На первых порах это может быть выполнено только путем деспотического нарушения права собственности и буржуазных производственных отношений, следовательно, посредством мероприятий, которые кажутся экономически недостаточными и несостоятельными, но которые с ходом движения будут толкать

к дальнейшим шагам и необходимы, как средства революционировать весь способ производства. В наиболее передовых странах, полагает Манифест, можно будет применить почти повсюду следующие меры: экспроприацию земельной собственности и употребление земельной ренты на государственные расходы, прогрессивный налог (возрастающий в сильной прогрессии для более крупных доходов и состояний), упразднение права наследования, конфискацию собственности всех эмигрантов и мятежников, сосредоточение кредита и транспортного дела в руках государства, увеличение числа национальных фабрик и орудий производства, распашку и мелиорацию земель согласно общему плану, одинаковую обязательность труда для всех, организацию промышленных армий, соединение земледельческого труда с промышленным и постепенное устранение различия между городом и деревней, общественное и безвозмездное воспитание всех детей, соединение воспитания с материальным производством и т. д.

Раз классовые различия вместе с ходом развития исчезнут, и все производство сосредоточится в руках ассоциированных индивидов, то общественная власть потеряет свой политический характер. Политическая власть есть, собственно говоря, организованная власть одного класса для угнетения другого. Когда объединенный в класс пролетариат упразднит старые производственные отношения, в которых лежит корень классов и их взаимного антагонизма, то он упразднит этим и свое господство, как класса. На место старого буржуазного общества с его классами и классовыми антагонизмами станет ассоциация, где свободное развитие каждого будет условием свободного развития всех.

Третий отдел Манифеста критикует социалистическую и коммунистическую литературу первой половины XIX столетия. Манифест делит ее на реакционный, консервативный и критически-утопический социализм. Реакционный социализм распадается в свою очередь на феодальный, мелко-буржуазный и немецкий, или «истинный» социализм.

Феодальному социализму Манифест дает классическую оценку, которая еще теперь вполне подходит к нему, с той лишь разницей, что внушенные отчаянием остроты феодального социализма стали еще гораздо более плоскими, а его политическая практика еще более прозрачной. Феодальный социализм

возник, как результат поражения, испытанного французской и английской аристократией вследствие июльской революции и билля о реформе. Ее старые феодально романтические фразы стали невозможны, и чтобы возбудить сочувствие к себе, она вынуждена была придать своему обвинительному акту против буржуазии форму защиты интересов эксплоатируемого рабочего класса. Таким образом, она нашла удовлетворение в том, что стала сочинять сатирические песни на своего нового владыку и напевать ему на ухо более или менее мрачные пророчества об ожидающих его несчастьях. «Таким путем возник феодальный социализм, смесь иеремиады с пасквилем, отголосков прошлого и угроз будущим. Если временами он и поражал буржуазию в самое сердце своей злой и остроумной критикой, то его полная неспособность понять ход современной истории делала его всегда смешным. Эти господа размахивали пролетарской нищенской сумой, как знаменем, чтобы собрать вокруг себя народ, но как только народ пробовал пойти за ними, от тотчас замечал на их спине старый феодальный герб и разбегался с громким и непочтительным хохотом». Феодальная эксплоатация происходила при иных — теперь отживших — условиях, чем эксплоатация буржуазная, но когда феодалы доказывают, что при их господстве не было современного пролетариата, они забывают одно: что современная буржуазия есть необходимый отпрыск их социального строя. «Впрочем, они настолько не скрывают реакционного характера своей критики, что главным обвинением их против буржуазии является именно факт развития при буржуазном режиме такого класса, который низвергнет весь старый общественный строй. Они не столько упрекают буржуазию в том, что она создает пролетариат вообще, сколько в том, что она создала революционный пролетариат. В политической практике они принимают, поэтому, участие во всех насильнических мерах против рабочего класса, а в повседневной жизни они умеют, несмотря на все свои напыщенные фразы, подбирать золотые яблоки и выменивать верность, честь и любовь на барышничество шерстью, свеклой и водкой». С христианским социализмом Манифест разделывается в нескольких словах, как с разновидностью феодального: это святая вода, которою поп кропит недовольство аристократов.

Второй вид реакционного социализма, отмеченный Манифестом, это мелко-буржуазный социализм, главным представителем которого был Сисмонди во Франции. В тогдашней своей форме он умер, но критика, которой он подвергся в Манифесте, ничуть не устарела и теперь. Чем более резким становится антагонизм между буржуазией и пролетариатом, тем больше весь буржуазный социализм сосредоточивается на сохранении мелкой буржуазии, средних слоев, анти-коллективистского мужицкого черепа. «Реакционный и в то же время утопический»,— эта критическая оценка мелко буржуазного социализма в Манифесте подходит ко всякому антисемитству, к устройству консервативных «крестьянских союзов» и цеховым утопиям наших дней так же хорошо и даже лучше, чем к социализму Сисмонди.

Подобным же образом немецкому катедер-социализму очень далеко до Сисмонди в смысле глубины и силы принципиальной критики, но зато он далеко превосходит Сисмонди по нерешительности предлагаемых им средств к исцелению зла. Его судорожные попытки отыскать еще в современном буржуазном обществе прочное место для средних сословий манифест заранее критикует следующими словами: «В странах, где развилась современная цивилизация, образовалась новая мелкая буржуазия, которая стоит на поллороге между пролетариатом и буржуазией; будучи дополнительной частью буржуазного общества, она беспрерывно образуется вновь, но отдельные члены ее постоянно сбрасываются конкурренцией в ряды пролетариата, мало того — видят с дальнейшим развитием крупной промышленности приближение момента, когда они совершенно исчезнут, как самостоятельная часть современного общества, и будут заменены в торговле, мануфактуре и земледелии надсмотрщиками за работами и прислугой». Этот исторический процесс зашел теперь так далеко, что новое «среднее сословие», занимающее столько места в профессорской литературе, на самом деле состоит преимущественно из служащих в крупных предприятиях, к которым присоединяются все более приходящие в упадок обломки старой карликовой промышленности и карликовой торговли. Но именно потому указанное среднее сословие не есть гранитный столп капиталистической собственности, которым его провозглашают; это, напротив, слабый тростник, которому недостает корня старого

ремесла — частной собственности на средства производства. Оно несомненно образует привилегированный класс по сравнению с пролетариатом и может, пожалуй, доставить успокоение боязливым душам, так как относится большей частью равнодушно, а подчас даже враждебно к освободительной борьбе рабочих, но ему грозит постоянно опасность, что вместе с увеличивающейся концентрацией капитала оно вследствие конкурренции будет сброшено в пролетариат. Таким образом среднее сословие все более и более раскалывается на две группы, из которых меньшая занимает высшие и лучше оплачиваемые места, а большая и постоянно возрастающая часть низводится до пролетарских условий существования. Первые становятся беспринципными слугами буржуазии, следовательно, всего менее твердой опорой во дни бури, вторые все более и более идут заодно с пролетариатом. Большей частью они находятся в столь зависимом положении, что не могут так энергично бороться, как настоящие рабочие, но несомненно, что это «новое среднее сословие», которое видел насквозь уже Коммунистический Манифест, не есть тот спаситель капиталистического общества, которого приветствует в нем восхищенное сердце академических кругов. Чем больше оно становится на место старого среднего сословия, тем сильнее шатается основа частной собственности, и тем более поднимаются шансы рабочего класса на победу.

Третью форму реакционного социализма, тот «истинный» социализм, представителями которого были Гесс и Грюн, Коммунистический Манифест разбирает, ввиду его немецкого происхождения, особенно подробно и особенно резко, хотя и не вполне справедливо, поскольку дело шло о намерениях его тогдашних носителей. Он едва пережил появление Коммунистического Манифеста, но в своем историческом существе никогда не вымирал в Германии, хотя давно не переводит больше французских социалистических речей на плохой гегелевско-немецкий язык и язык сантиментальной любовной мечтательности. Маркс и Энгельс метко охарактеризовали его, вскрыв его корень — специфически-немецкое мещанство, пугающееся серьезной классовой борьбы. В какие бы внешние формы ни рядился этот социализм, будет ли то «этическая культура», «натуралистическая эстетика», или еще что-нибудь другое, но его одеяние остается всегда одним

и тем же: как выражается Манифест, «сотканным из бесплотной пряжи умозрения, вышитым цветами красноречия и насквозь пропитанным розовой сантиментальностью». В его среде имеются, конечно, некоторые даровитые натуры, как, напр., в 40-х г.г. Моисей Гесс; вместе с усиливающимся ожесточением классовой борьбы они приходят к «грубо-разрушительному коммунизму», рядовые же «истинные» социалисты при том же условии соскальзывают назад в капиталистическое болото, да еще в самое глубокое его место.

Именно это усиление классовой борьбы, чем больше оно переходило из области гипотез в область исторической действительности, положило конец консервативному и критико-утопическому социализму, который подвергается в манифесте такой же уничтожающей критике, как реакционный социализм. Манифест указывает на «Философию нищеты» Прудона, как на самый значительный систематический труд консервативного социализма, но прудонизм даже у себя на родине умалился теперь до степени забавы для небольших буржуазных кругов, в Германии же он вот уже десятки лет, как насчитывает только одного приверженца в лице одного чудака. Консервативный социализм, который со своим винегретом жалких реформ хотел бы сохранить буржуазию без пролетариата; который предлагает пролетариату «остаться в теперешнем обществе, но отбросить свои злобные представления о нем»; который сводится, в сущности, к утверждению, что «буржуа суть буржуа... в интересах рабочего класса»,— этот социализм является практически устаревшей шуткой, сколько бы его теоретически ни расписывали на все терпящей бумаге.

То же относится к критически-утопическому социализму, хотя из всех видов буржуазного социализма он дал наиболее ценные подготовительные работы для научного коммунизма. Это обстоятельство Коммунистический Манифест признает в полной мере, но он указывает также, что значение разбираемой формы социализма находится в обратном отношении к ходу исторического развития. Подобно тому, как Сен-Симон, Фурье и Оуэн были революционными мыслителями, а сенсимонисты, фурьеристы и оуэнисты стали реакционными сектантами, ибо они не хотели видеть живых успехов пролетариата и клялись словами своих мертвых учителей,— так точно и нынешний утопизм, там где он еще появляется,

напр., в неудачной экспедиции Герцки, отличается от ходячего реакционного социализма «только более систематическим педантизмом, фантастической и слепой верой в чудодейственную силу своей социальной науки».

Четвертый и последний отдел Манифеста занимается отношением коммунистов к различным оппозиционным партиям. Здесь, конечно, все положение дела изменилось коренным образом вследствие исторических перемен, происшедших в течение более чем 50 лет, но тем успешнее выдержали трудное испытание установленные в этом отделе принципы коммунистической тактики. Коммунисты борются за достижение ближайших целей и за непосредственные интересы рабочего класса, но в этом движении настоящего они защищают и представляют также будущность движения; они повсюду поддерживают всякое революционное движение против существующих социальных и политических порядков и во всех этих движениях подчеркивают вопрос о собственности, как основной вопрос движения, независимо от более или менее развитой формы, которую он принимает; они повсюду работают над объединением и соглашением демократических партий всех стран,— все эти положения сохраняют еще теперь полную силу, под тем, конечно, условием, если понимать их в общей идейной связи манифеста, следовательно, под революционным движением разуметь не детские, напр., покушения и революционные вспышки, а экономическо-политический переворот, и под демократическими партиями всех стран — пролетарскую демократию. В настоящее время все это еще меньше может возбуждать сомнения, чем тогда, после того, как в промежуточный период все виды буржуазной демократии доказали опять свою полную несостоятельность.

В отношении к отдельным странам Манифест рекомендует примыкать к самому радикальному крылу существующего революционного движения. Во Франции коммунисты примыкают к социально-демократической партии, к партии «Реформы», против консервативной и радикальной буржуазии, сохраняя, однако, за собою право критиковать фразы и иллюзии, завещанные революционной традицией. В Швейцарии они поддерживают радикалов, не забывая, однако, что эта партия состоит из противоположных элементов, частью из демократических социалистов во французском значении слова,

частью из радикальных буржуа. В Польше они поддерживают партию, которая видит в аграрной революции условие национального освобождения. «В Германии коммунистическая партия борется заодно с буржуазией всякий раз, как эта последняя выступает революционно, против неограниченной монархии, феодальной земельной собственности и мелкой буржуазии. Но никогда она ни на одну минуту не забывает о необходимости пробуждать в рабочих возможно более отчетливое сознание враждебного антагонизма между буржуазией и пролетариатом, дабы в надлежащий момент немецкие рабочие сумели обратить в оружие против буржуазии те общественные и политические условия, которые буржуазия необходимо создает своим режимом; дабы, после ниспровержения реакционных классов, в Германии тотчас могла быть начата борьба против самой буржуазии. На Германию коммунисты обращают свое особое внимание, обращают потому, что Германия находится накануне буржуазной революции; что она произведет этот переворот при более высоком уровне европейской цивилизации вообще и, в частности, с гораздо более развитым пролетариатом, чем Англия в XVII и Франция в XVIII веке; что, следовательно, немецкая буржуазная революция может быть только непосредственным прологом к пролетарской революции». Манифест заканчивается словами: «Коммунисты не унижаются до скрывания своих воззрений и целей. Они открыто заявляют, что эти цели могут быть достигнуты только путем насильственного ниспровержения всего теперешнего общественного строя. Пусть правящие классы трепещут при мысли о коммунистической революции! Пролетарии не могут потерять в ней ничего, кроме своих цепей. Выиграть они могут целый мир. Пролетарии все стран, соединяйтесь!»

Чем дальше, тем больше история Коммунистического Манифеста становилась историей современной международной социал-демократии. При первом своем появлении он был с энтузиазмом приветствован маленьким отборным отрядом развитых пролетариев и проницательных идеологов, но все же очень маленьким отрядом, так как «Союз коммунистов» вряд ли мог насчитывать во всех странах, где у него были приверженцы, больше нескольких сот членов. Затем Манифест исчез со сцены вместе с временным отливом в революционном

рабочем движении. Но вновь нарастающая волна последнего опять вознесла манифест вверх, как лоцманское судно, компас которого указывает верный путь через водную пустыню в новый мир труда. Теперь Манифест представляет собою наиболее распространенное, наиболее международное произведение всей социалистической литературы, общую программу, которой добровольно обязуются следовать в великой борьбе за освобождение своего класса миллионы рабочих во всех странах, от Сибири до Калифорнии.

В буржуазном мире на долю Манифеста выпала довольно странная судьба. С победоносной силой он ввел политическую экономию Германии, питавшуюся до тех пор крохами с английского и французского стола, в круг европейских культурных народов. Но любовь к теоретической мысли, считавшаяся наследственным добром немецкого бюргерства в дни его классической литературы, уже настолько угасла, что в течение трех десятилетий с лишним Манифест существовал для буржуазных классов Германии только в Черной книге политической полиции. Все же такой господин, как Штибер, находил еще в нем «ум и энергию». Иное произошло, когда в 1881 году г. Эйзенгарт из Галле первый из немецких университетских профессоров сделал счастливое открытие о существовании Манифеста. В своей истории политической экономии он назвал Манифест «жалким обезьяньим подражанием манифесту Бабёфа», и как образчик из него привел выдуманную им самим бессмыслицу: «мы желаем равенства, хотя бы из-за этого должны были погибнуть все искусства». С тех пор снова прошло пол-поколения, и теперь совы настолько научились глядеть на свет, что они открыли в Манифесте «насильственный переворот», следовательно, благодарный и по сию пору еще далеко не исчерпанный материал для нравственного негодования.

Без всякого сомнения, авторам Манифеста было чуждо простодушное упование, что современная буржуазия, как только пробьет ее последний исторический час, добровольно отречется от своего господствующего положения. Но и сама буржуазия придерживается ведь неодинаковых мнений по этому пункту. В то время, как ее идеологи клеймят «насильственный переворот», усматривая в нем дерзкое сомнение в доброй воле господствующих классов, ее суды

и полиция выносят пролетариям, мирно агитирующим за освобождение своего класса, обвинительный приговор, как кровожадным революционерам, так как и думать, мол, нечего, чтобы теперешние капиталисты экспроприировали себя сами. Впрочем, когда Маркс и Энгельс составляли Коммунистический Манифест, по европейской земле уже шел гул от приближавшегося взрыва колоссальных классовых столкновений, и буржуазия без всяких угрызений совести расположилась удобно на месте, которое пролетариат расчистил для нее путем «насильственного ниспровержения» абсолютистско-феодального общественного и политического строя.

На самом деле жалобные причитания по поводу «насильственного переворота» не стоят серьезного обсуждения, хотя бы они раздавались из-под самых почтенных париков. То, что может быть сказано по этому вопросу в дополнение и в поправку к Коммунистическому Манифесту, сказали еще сами Маркс и Энгельс. Если изучение французского революционного периода с 1789 г. до 1830 г. позволило им глубоко заглянуть в процесс преобразования буржуазного общества, то, с другой стороны, оно же побудило их слишком точно перенести формы буржуазной революции на революцию пролетарскую. При опубликовании Манифеста обоим авторам не было и по 30 лет, и если, будучи уже стариками, они всегда готовы были поучаться из практических опытов истории, то тем менее они оставались глухими к ее урокам в свои молодые годы.

В своем эпилоге к истории революционной борьбы 1848—1851 г.г. Маркс проводил уже резкое различие между ходом буржуазной и пролетарской революции. «Буржуазные революции,— писал он,— несутся быстрее от успеха к успеху, их драматические эффекты один сильнее другого, люди и вещи кажутся оправленными в огненные брильянты, каждый день проникнут экстазом, но эти революции недолговечны, наступает скоро момент, когда они достигают своего апогея, и обществом овладевает продолжительное похмелье, раньше, чем оно трезво усвоило себе результаты своего периода бурных стремлений. Напротив, пролетарские революции постоянно критикуют себя сами, беспрестанно прерывают себя в своем собственном течении, возвращаются назад к тому, что, повидимому, свершилось, чтобы опять

начать его сызнова, основательно и жестоко высмеивают половинчатость, слабость и ничтожность своих первых опытов, повергают ниц своего противника как бы для того только, чтобы он почерпнул из земли новые силы и поднялся против них еще большим, чем прежде, исполином, отступают каждый раз вновь в страхе пред неопределенной громадностью своих собственных целей, пока не создается положение, которое делает всякий возврат невозможным, и условия сами призывают: «Hic Rhodus, hic salta!». Затем Парижская Коммуна показала, что «рабочий класс не может просто взять в руки готовую государственную машину и пустить ее в ход для своих целей» (Маркс), а на примере исторического развития германской социал-демократии Энгельс еще в последней своей работе объяснил, что при повороте исторической диалектики революционный пролетариат, ограничиваясь принципиально мирными и законными средствами борьбы, «нагулял румяные щеки и выглядит, как вечная жизнь», в то время, как самые призванные столпы порядка требуют до хрипоты «насильственного переворота», «революции сверху», требуют государственных переворотов и открытого господства штыков.

Многие противники исторического материализма любят изображать его социалистическим кудесником, которого следует признать лжепророком, раз он не может по пальцам предсказывать день в день, что случится в течение ближайших ста лет. Честные люди знают, что исторический материализм есть прямая противоположность всякого прорицания, что он представляет собою научный метод, дающий более или менее точные результаты, в зависимости от того, как велика рабочая сила и каковы орудия труда, при помощи которых он применяется. Рабочая сила, создавшая из Коммунистического Манифеста духовную мировую державу, тем более заслуживает удивления, чем несовершеннее были при тогдашнем состоянии исторических наук орудия труда, которыми она могла располагать. Манифест сам говорит, что практическое применение его основных начал будет всегда и везде находиться в зависимости от наличных исторических условий, а между тем при своей смене этих условий его принципы остались непоколебимыми. Маркс и Энгельс работали не на год и не на десятилетие, а на столетие, и столетие охотно

подтверждает им то, что год и целые десятилетия, казалось, так дерзко оспаривали у них.

Каким ошибочным могло казаться в дни Кёниггреца и Седана утверждение, что буржуазная революция в Германии будет непосредственным прологом к пролетарской революции, а между тем, когда теперь оглядываешься на общий ход исторического развития,— чем она была, как не таким прологом?

ГЛАВА VIII.

Успехи научного коммунизма.

В Германии 50-х годов коммунистическая пропаганда была совершенно невозможна. В рабочем классе она не находила отклика, а ее главные носители были рассеяны по всему свету и почти все принуждены были вести упорную борьбу за существование. Даже немецкий книжный рынок и тот закрылся для таких людей, как Маркс и Энгельс; немногие издатели, продолжавшие разыгрывать из себя радикалов, встречали, тем не менее, с искренним ужасом «несвоевременное требование» печатать их произведения. Лишь к концу десятилетия была нарушена тяготевшая над ними опала.

Однако 50-е годы не пропали даром для научного коммунизма. Они были для него периодом накопления сил и углубления. Он сточил со своего меча зазубрины, вынесенные из горячей борьбы революционных годов, и из мощных камней построил твердыню, о стены которой его противники разбивали себе потом головы. Там, где практическая пропаганда была еще возможна, наприм., в американской и английской печати, ее отнюдь не забрасывали. В разоблачениях по поводу кёльнского процесса коммунистов, появившихся одновременно в Базеле и Бостоне, Маркс пригвоздил прусское правительство к позорному столбу, которого оно заслужило. Затем Маркс написал для немецко-американского журнала, издававшегося его другом Вейдемейером, историю французского государственного переворота — «18-е брюмера Луи Бонапарта», где он показал, как классовая борьба во Франции дала заурядной и комической личности возможность разыграть роль героя; шедевр материалистической историографии, эта едкая, блещущая умом и остроумием критика открыла бонапартизму, вызывавшему удивление всех европейских спасителей общества, перспективу его одинаково позорных успехов и поражений. В «Нью-Иоркской Трибуне»,

европейским сотрудником которой Маркс оставался до американской междоусобной войны, он сильными штрихами нарисовал историю немецкой революции и контр-революции. В чартистских газетах, которые после великого поражения чартизма в 1848 г. еще продолжали агитацию за всеобщее избирательное право, Маркс сотрудничал с бескорыстным усердием; в нескольких летучих листках он бичевал лорда Пальмерстона за его дружеские услуги царскому правительству. Все это составляло в общем итоге большую работу даже для незаурядного человека, а между тем оно было лишь самой незначительной частью того, что Маркс сделал в 50-е годы.

Подобно тому как Маркс нашел средства к существованию в работе для «Нью-Йоркской Трибуны», так Энгельс нашел их, вступив опять в дело своего отца в Манчестере. Разделенные пространством, они не прекращали все-таки совместной работы и разделили между собой труд следующим образом: Энгельс взял на себя защиту общей точки зрения против нападок со стороны противников, для чего, впрочем, в течение многих лет не представлялось случая, Маркс же путем обширных исследований созидал научный фундамент современного коммунизма, прочно связывал его цели с историческим процессом. Сокровища Британского Музея служили для него неиссякаемым источником поучения. В течение этого десятилетия Маркс и Энгельс пополняли свои знания и занимались исследованиями в самых различных научных областях; они так же основательно использовали для своего великого дела вынужденный перерыв в борьбе, как они в свое время использовали основательно все благоприятные моменты самой борьбы. Ни на одну минуту их не сбивал с пути тот факт, что отечество поминает их одной лишь бранью и клеветой, в которых ненависть их противников могла отныне безнаказанно проявляться.

Все же это было тяжелое время, и отклик его звучит еще в словах, которые Энгельс целое поколение спустя произнес у могилы жены Маркса: «Теперь для Женни Маркс наступило изгнание со всеми его ужасами. Однако, материальную нужду, под гнетом которой погибли оба ее мальчика и одна дочка, она перенесла бы еще. Но то, что правительство и буржуазная оппозиция, от вульгарно-либерального до демократического ее крыла, составили один большой заговор

против ее мужа, что они осыпали его самыми подлыми и низкими клеветами, что вся пресса закрылась для него, что у него была отрезана всякая возможность защищаться, что он на время оказался совершенно безоружным перед противниками, которых он и она презирали,— вот что глубоко задело ее. И это длилось очень долго». В эти мрачные годы Маркс проделал главную работу для своего главного научного произведения.

Маркс и Лассаль.

Альберт Ланге провел однажды следующее сравнение между «Капиталом» Маркса и «Системой приобретенных прав» Лассаля: «Оба произведения имеют ту общую черту, что умозрительный элемент и позитивное содержание так проникают в них друг друга, как ни в каком другом сочинении, но они различаются тем, что в отношении спекулятивной основы своего произведения Лассаль держится свободнее и — как философская натура, по преимуществу — независимее от влияния своего учителя (Гегеля), тогда как юридический материал его добыт, правда, с необычайной силой ума, но добыт все-таки с служебной целью; наоборот, у Маркса экономическое содержание как бы само собой вытекает из поразительного запаса специальных эмпирических знаний, которым автор владеет необычайно свободно, тогда как спекулятивная форма тесно примыкает к манере философского образца (Гегеля) и во многих частях сочинения с трудом втискивается в содержание, вредя его убедительности». Эта оценка переворачивает в известном смысле вверх ногами фактическое соотношение вещей. Не Лассаль относился свободнее и независимее к Гегелю, чем Маркс, а наоборот: Маркс сумел совершенно отделаться от ошибок Гегеля, тогда как Лассаль освободился от них лишь на-половину. Заблуждение Ланге объясняется тем, что он сам не понимал исторического материализма. Но в другом отношении Ланге затрагивает глубочайшую основу различия, существовавшего между Лассалем и Марксом. Оба были революционерами, но Лассаль усваивал колоссальный научный материал, чтобы получить в нем могущественнейшее орудие для революционирования общества, тогда как Маркс с помощью специальных эмпирических знаний старался проникнуть в корень

вещей для того, чтобы отдать себя в распоряжение движущих революционных сил, преобразующих буржуазное общество.

С полной рельефностью это различие выступает, когда сопоставляешь любимых писателей того и другого. Для Маркса таковыми были Гомер, Данте, Шекспир, Сервантес, из новейших — Бальзак; для Лассаля — Гуттен, Лессинг, Фихте, из новейших — Платен. Мы видим здесь два ряда литературных типов, коренным образом различающихся между собою. В первом случае пред нами писатели, настолько объективно воспринявшие в себя образ целой эпохи, что всякий субъективный элемент более или менее стушевывался, а отчасти даже совершенно исчез, и самые творцы как бы скрываются за своими творениями в мифическом тумане. Во втором случае мы имеем дело с людьми, которые, по поэтическому сравнению одного из них, лишь отражают «образ мирового образа», — людьми, в произведениях которых мы не столько узнаем, как выглядел мир в их время, сколько то, как они сами понимали или старались понять современный им мир. Кто читает теперь памфлеты Гуттена ради них самих, ради их содержания или хотя бы ради их формы? Их читают ради самого Гуттена. Из всех исторических фигур Гуттен был всего ближе сердцу Лассаля. Он говорит в одном месте, что его судьба и судьба Гуттена совершенно одинаковы и поразительно сходны, — утверждение, против которого справедливо возражали, что в то время, когда Лассаль его выставил, оно всего меньше отвечало фактической действительности. Тем не менее, в основе его лежало очень верное чувство. Стоить сравнить показания того и другого, относящиеся к самому раннему периоду их жизни, дневник Лассаля и «Ссоры» Гуттена против семьи Лец, чтобы найти поразительное сходство в основном характере их темпераментов. Они похожи друг на друга вплоть до детского самообмана, с каким они разыгрывают из себя невинно преследуемых овечек, тогда как на самом деле достаточно прочесть сотню строк у Гуттена или Лассаля, чтобы видеть, что они с раннего возраста были, вероятно, очень беспокойными малыми для окружающих, живших традиционно-размеренной жизнью. Выражаясь словами его любимого поэта Платена, Лассаль нашел «узел запутанной загадки своей жизни» распутанным в следующем замечании Гуттена: «Совершенно верно, что

у меня в жизни не больше забот, чем у других, а даже меньше; но бог, я боюсь, послал мне такой характер, что обычные неприятности затрагивают мое сердце глубже и причиняют мне больше страданий, чем другим».

Всякое сравнение хромает, и было бы нелепо проводить параллель между Марксом и Лассалем на основании их литературных симпатий дальше того пункта, где она освещает различие в основном характере их духовной деятельности: от этого пострадал бы и Лассаль и Маркс. Но в указанных пределах сравнение это имеет свой смысл. Представим себе на минуту невозможный случай, что Маркс мог бы быть совершенно забыт: тем не менее, главный научный труд его сохранял бы в течение столетий свое значение, как самая верная картина эпохи крупной промышленности. Между тем сочинения Лассаля сохранятся через немногие десятилетия — отчасти мы видим это уже теперь — только как свидетельство о том, что думал и делал гениальный человек во время всемирно-исторического движения; они будут жить, как непреходящие свидетельства о деятельности человеческого духа, но не в качестве монументальных творений, в которых нашел себе классическое выражение великий поворот в мировой истории. Чисто внешним образом это различие проявляется в том, что Лассаль и в специально-научных работах охотно выдвигает свою личную точку зрения, тогда как Маркс даже в политической агитации настолько отодвигал свою личность на задний план что в течение многих десятилетий могли находить себе распространение и веру невероятнейшие лживые измышления на его счет.

Но отсюда вытекает еще нечто другое. Маркс охватывал своим умом несравненно большую область, чем Лассаль. Он неутомимо переходил из одной области знания в другую, как только научные занятия раскрывали перед ним новые горизонты. Как много, например, поработали Маркс и Энгельс в области естествознания, с которою Лассаль был знаком лишь самым поверхностным образом! Конечно, этому могло способствовать то, что Маркс во время своего английского изгнания стоял на самой высокой обсерватории европейского общества, тогда как Лассаль жил в самом глухом, так сказать, уголке его, в Пруссии Мантейфеля. Однако, Лассаль чувствовал себя здесь одиноким не столько умственно, сколько душевно;

скорее он довольствовался более узким горизонтом потому, что этот горизонт охватывал как раз тот мир, который он намеревался перевернуть. Лассаль вправе был сказать о себе, что, движимый фаустовским стремлением, он путем самого серьезного и упорного труда пробился от греческой философии и римского права через разнообразнейшие исторические науки до современной политической экономии и статистики; если ограничиться науками о духе, то слова Лассаля, что он владеет всем образованием века,— слова, вызывавшие столько насмешек,—далеко не были пустым хвастовством. Бесспорно, однако, что научное исследование стояло у Лассаля на втором плане.

В одном письме к Гервегу Лассаль говорит о таком исследовании, как о муке, — муке, приносящей, правда, освобождение, но все же муке; быть может, он в этом письме несколько преувеличивал, чтобы встряхнуть Гервега от его тупой спячки, но он, без сомнения, высказывал свой действительный взгляд, когда в 1859 г. писал Энгельсу, что будет заниматься впредь одной политической экономией и философией истории, если только — что было бы весьма отрадно — не начнутся, наконец, практические движения, которые приостановят всякую более обширную теоретическую работу. «Как охотно я оставил бы ненаписанным то, что я знаю, если бы взамен удалось сделать хоть что-нибудь из того, что мы умеем». Если о Марксе Энгельс сказал: «Маркс способен был радоваться от всей души всякому новому открытию в любой теоретической науке, — открытию, практическое приложение которого представлялось, быть может, пока еще совершенно неясным; но совершенно иную радость испытывал он, когда дело шло об открытии, которое тотчас же влияло на промышленность, на историческое развитие вообще», — то Лассаль вообще интересовался лишь революционным вмешательством науки в историческое развитие. За исключением разве его сочинения о Гераклите, задуманного и разработанного в значительнейшей своей части уже в 40-е годы, вся научная работа Лассаля в 50 е годы посвящена исключительно политическо-социальной ликвидации мартовской революции.

В связи со сказанным находится еще третий момент: идеалистическое мировоззрение Лассаля. Строго

говоря, он даже не был гегельянцем младшей школы, а всегда оставался старогегельянцем, со всей ортодоксальной верой в умозрительное понятие, как движущую силу всемирной истории. Его духовная жизнь стояла под знаком классической философии и ее источника — античного образования. Когда Лассаль впервые подошел ближе к классической философии, она находилась уже в периоде полного разложения, но, несмотря на свою боевую натуру, он никогда не вмешивался в эти философские споры. О Штраусе, Бруно Бауэре, Фейербахе он почти никогда не упоминает в своих произведениях, а если упоминает, то не в связи с их разлагающими классическую философию тенденциями. Лассаль был в полном смысле слова запоздалым представителем этой философии; если Гёте замечает для характеристики исторического значения Вольтера, что старым народам выпадает иногда счастье сконцентрировать все свои хорошие и дурные стороны в одном индивидууме, то его слова применимы к Лассалю в том смысле что все положительные и отрицательные стороны идеализма, который в годы самого глубокого упадка Германии один удержал ее на высоте западно-европейских культурных народов, снова воплотились в Лассале.

Идеализм нашей классической философии не имеет ничего общего с тем, что в настоящее время именует себя идеализмом и ссылается в борьбе с историческим материализмом на Лассаля, чтобы поставить пустые фразы на место решительной классовой борьбы. На такую ссылку Лассаль ответил бы презрительным смехом. К классической философии его влекла ее революционная сущность. Из ее представителей ему был, как личность, всего ближе Фихте, который наиболее страстно воспринял дух Великой французской революции и настолько расширил требования буржуазного разума, чтобы они наиболее приблизились к праву рабочего класса. Смелый идеализм Фихте не ослабил, однако, чутья Лассаля к позитивному, того чутья, которое Кант пояснил однажды словами, что истина заключена только в опыте, а всякое познание вещей из одного чистого разума есть одна лишь иллюзия В таком же духе Лассаль писал: «Материя без идеи все еще имеет относительную ценность, но идея без материи имеет лишь значение химеры». Удивительно мастерски пользуясь диалектическим методом Гегеля, как оружием

революционного переворота, Лассаль в то же время подчеркивал, что Гегель на каждой странице своих произведений неутомимо напоминает о необходимости углубления в опытные науки, как одном из самых главных требований философии.

Лассаль самым резким образом полемизировал с теми пустыми и бездарными подражателями, которые создали из философии Гегеля новый вид литературного остроумия, превратили ее в новый беллетристический пикантный соус, которым приправляли все непонятные и неизвестные вещи. Насколько эти господа были ему противны, об этом еще резче, чем указанная полемика, свидетельствует чрезмерно снисходительное отношение Лассаля к после-мартовскому материализму. Он делает этому материализму комплимент: уже Гераклит положил в основу своей философии взгляд, что мысль есть движение материи, и Бюхнер с полным правом ссылается на древнейших ионических философов. Но между ними, — продолжает Лассаль, — есть одно немаловажное различие: Гераклит высказывал это воззрение тогда, когда не существовало еще настоящей философии духа, когда еще не развернулось различие между мышлением и бытием, современная же физиология возвращается к этому воззрению, когда развитие философии духа уже завершилось; это «возвращение, подобно всякому такому возвращению, совершающемуся после того, как различие пройдено и преодолено, не может уже быть простым возвращением к первоначальной непосредственности, а должно воспринять в себя преодоленное различие». Правда, Лассаль делает примечание, что юная философия, находящаяся еще в процессе брожения и преисполненная первого восторга по поводу того, что она обрела себя, во многих отношениях грешит против указанного требования, но даже с такой оговоркой он слишком переоценивает Бюхнера и компанию, доказывая этим самым, что его идеализм действительно ничего общего не имеет с тем бесплотным призраком, который в настоящее время бродит под этим именем в немецких университетах.

От исторического материализма идеализм Лассаля отличался тем, что Лассаль воспринимал условия и законы пролетарской классовой борьбы не в их экономической наготе, а переводил их

предварительно в идеалистические формы мышления, и притом в те идеалистические формы мышления, которые больше всего были характерны для буржуазного века, т.-е. в формы философии и права. Но Лассаль так же мало становился от этого буржуазным революционером, как «железнобокие» Кромвеля не были феодальными революционерами от того, что они говорили ветхозаветным языком. Буржуазная революция в течение нескольких столетий протекала в формах религиозного мышления феодальной эпохи; точно также пролетарская революция совершалась по меньшей мере несколько десятилетий в юридических и философских формах мышления буржуазной эпохи. Лишь исторический материализм сознательно и без остатка разбил их. То, чего никогда не могли понять буржуазные революционеры и социалисты-доктринеры, т.-е. всемирно-историческое значение пролетарской классовой борьбы, — это Лассаль понял; от исторического материализма его отделяла лишь та несравненно более слабая преграда, что он пришел к указазанному пониманию через буржуазные формы мышления.

Лассаль был убежденным коммунистом в духе «Коммунистического Манифеста»; к некоторым промахам и ошибкам его приводило лишь то обстоятельство, что он предварительно переводил себе экономические воззрения манифеста на юридический и философский язык *).

*) Маркс говорит в предисловии к первому труду «Капитала», что Лассаль внес «значительные недоразумения, в передачу рассуждения о величине ценности и субстанции ценности, содержащихся в «Критике политической экономии». «Если Ф. Лассаль почти дословно, вплоть до созданной мною терминологии, заимствовал из моих сочинений, притом без указания источника, все общие теоретические положения своих экономических работ, напр., об историческом характере капитала, о связи между производственными отношениями и способом производства и т. д. и т. д., то этот образ действия был, конечно, обусловлен соображениями пропаганды. Я не говорю, понятно, об его деятельных разъяснениях и практических приложениях, до которых мне нет никакого дела».

Эти недоразумения имели своим конечным источником глубокое различие, существовавшее между Лассалем и Марксом, различие между юридическо-философским и экономически-материалистическим воззрением. Лассаль подверг в «Бастиа-Шульце» уничтожающей критике категорию «услуги», которою Бастиа и другие софисты прибыли на капитал подменили теорию ценности английской политической экономии. Он снова восстановил эту теорию в ее чистоте, в смысле Рикардо, согласно которому все ценности разрешаются в известные количества труда, а эти последние—в рабочее время. Затем Лассаль, следуя Марксу,

Так как он понимал пролетарскую классовую борьбу, то свойственный классической философии культ государства не мог выродиться у него в такие застывшие формы, как у Родбертуса, но так как он никогда не порывал с идеалистическими формами мышления, то он никогда не порывал и с этим культом государства. Бесспорно что в области права и философии он двигался несравненно увереннее, чем в области политической экономии, хотя было бы большим преувеличением сказать, что в этой последней он вообще не работал настоящим и самостоятельным образом. Это он, конечно, делал, и притом с успехом, который мог бы осчастливить целый полк академических педантов. Но он не был в такой степени полным хозяином в экономической области, как Марк или Энгельс, ибо идеалистические формы мышления слишком часто становились ему поперек дороги. В разгаре борьбы он брал, конечно, оружие всюду, где находил его, следуя известному изречению Лессинга: «Взбирается на верх не тот, кто делал лестницу, а тот, кто поднимается по ней, ловкого же и отважного человека выдерживает и гнилая лестница». Буржуазные экономисты правы, когда утверждают, что Лассаль не был социалистическим теоретиком, проложившим новые пути в науке. Если бы только эти кроты, так прекрасно ориентирующиеся в темноте, были способны видеть также свет!

развил мысль, что в обществе, где отдельный человек производит не потребительные, а меновые ценности, где он работает не для своих потребностей, а для потребностей всех других людей, индивидуальное рабочее время создает и измеряет меновую ценность товаров не как таковое, а лишь поскольку оно воплощает в себе общественно-необходимое рабочее время, получающее свое самостоятельное бытие в деньгах. Однако, предположение Лассаля, что этими рассуждениями о деньгах и общественно-необходимом рабочем времени он дал «идейную квинт-эссенцию» сказанного Марксом относительно величины и субстанции ценности,—это предположение бесспорно содержало «значительные недоразумения». Из теории ценности, развитой Марксом, он взял лишь то, что подходило к его юридическо-философскому мировоззрению: доказательство того положения, что так как ценность создается общественным рабочим временем, то для обеспечения рабочему полного продукта его труда необходимо коллективное производство всего общества. Между тем для Маркса развитая им теория ценности была разрешением всех загадок, заключенных в капиталистическом способе производства, нить, при помощи которой можно было проследить образование ценности и прибавочной ценности, как всемирно-исторический процесс, долженствующий превратить капиталистическое общество в социалистическое. Лассаль упустил из виду различие между трудом, создающим потребительные ценности, и трудом,

Но идеализм Лассаля, будучи его слабостью, был и его силой. Он дал Лассалю ту несокрушимую веру в могущество идеи, под влиянием которой он совершил так много. Допустим даже, что Лассаль не так ясно и глубоко, как Маркс и Энгельс, познал законы движения и развития современного буржуазного общества; все же было бы неправильно измерять его историческое значение исключительно по этой или какой-нибудь другой стороне его, отнюдь не имеющей решающего характера. Это значило бы трактовать исторические проблемы, как школьные упражнения, в которых, конечно, достаточно искать только ошибок. Каждой исторической личности можно воздать должное, лишь принимая во внимание ее историческую обстановку.

Если сравнить Лассаля с Марксом и Энгельсом, выросшими при совершенно иных исторических условиях, то они, быть может, затмевают его до известной степени,—ведь вообще жизненный путь его был с самого начала покрыт более густыми тенями, чем жизненный путь Маркса и Энгельса. Но если сравнить его с современниками, которые получили определяющие жизненные впечатления при приблизительно одинаковых или даже более благоприятных условиях, т.-е. с младшими гегельянцами в философской области, с Родбертусом в экономической, с Иоганом Якоби в политической, то он гигантски вырастает и вширь и ввысь.

создающим ценности меновые, другими словами - двойственную природу заключенного в товарах труда, составляющую центральный пункт, вокруг которого вертится понимание политической экономии, как Маркс потом еще раз подробно показал в первом томе «Капитала». Лассаль шел некоторое расстояние вместе с Марксом по новому пути, проложенному последним, чтобы затем снова закрыть этот путь своим морально-юридическим воззрением на теорию ценности; вполне понятно, что Марксу пришлось устранить это препятствие, когда он взялся за продолжение своей работы 1859 г.

Сострадательные души, сетующие теперь по поводу несправедливости, которую Лассаль испытал со стороны Маркса, несомненно не понимают Маркса, но еще гораздо менее они понимают Лассаля. Он был слишком искренним и серьезным апостолом науки, чтобы не приветствовать разъяснения важной ошибки, хотя бы оно последовало за его счет. Он увидел бы для себя избавление от неприятного стеснения в том, что Маркс потребовал обратно свою духовную собственность. Особенно же спокойно он мог бы отнестись к тому, что Марксу «не было никакого дела до его подробных разъяснений и практических приложений». Эти приложения были оружием, которое Лассаль дал в руки немецкому пролетариату, и пробуждение германского рабочего движения от 15-летней дремоты именно и составляет, как заметил по другому случаю Маркс, бессмертную заслугу Лассаля.

Ему удалось то, что никому из них не удалось: несмотря на идеалистическое мировоззрение, которого он придерживался вместе с ними, он проник до глубокой сущности научного коммунизма благодаря своим великим умственным дарованиям, благодаря своим революционным инстинктам, но в то же время—и это важнее всего—благодаря своему честному и и неутомимому исканию истины.

Маркс о товаре и деньгах.

Первым опубликованным в свет плодом научной работы Маркса в 50-е годы была небольшая книга «К критике политической экономии». В предисловии Маркс рассматривал систему буржуазной экономии в таком порядке: капитал, земельная собственность, наемный труд; государство, внешняя торговля, мировой рынок. Под первыми тремя рубриками он хотел исследовать экономические условия существования трех больших классов, на которые раскалывается современное буржуазное общество, и первый отдел первой книги, трактующей о капитале должен был состоять из трех глав—о товаре, о деньгах и о капитале вообще. Обе главы о товаре и деньгах составили содержание первого выпуска, изданного Марксом в 1859 г.

В том же предисловии Маркс дал краткий обзор хода своих научных работ: критическое рассмотрение гегелевской философии права,—писал он,—привело его к заключению, что правовые отношения и государственные формы нельзя понять ни из них самих, ни из так называемого общего развития человеческого духа, что они коренятся, напротив, в материальных условиях жизни, совокупность которых Гегель называл гражданским обществом, анатомию же гражданского общества следует искать в политической экономии. Затем следовало то классическое изложение материалистического понимания истории, которое с тех пор не раз цитировалось.

Маркс самым недвусмысленным образом указал во введении на исторический характер своей книги, столь же недвусмысленно выступающий в самом тексте на каждой странице. «На первый взгляд богатство буржуазного общества представляется громадным скоплением товаров, а отдельный товар—его элементарной формой», так начинается изложение. Маркс исследует определенную историческую форму общества; он

желает выяснить не то, чем товар или деньги могут или должны быть в каком-либо общем, философском смысле, а лишь то, что они суть в современном буржуазном обществе. Уже в своей книге, направленной против Прудона, Маркс осмеял тех буржуазных экономистов которые возводили условия жизни буржуазного общества в условия жизни человеческого общества вообще; теперь он в «Критике политической экономии» пространно изложил историческое развитие и, следовательно, историческую обусловленность теорий о товаре и деньгах. Тем не менее, в буржуазном лагере, в целях сознательного обмана или вследствие бессознательного самообмана, но всегда безнадежно путая понятия, не перестают утверждать, будто Маркс именно в своей теории ценности выдумал из головы какой-то идеальный или моральный принцип, который более умные или более нравственные головы могут опровергнуть при помощи других, идеальных или моральных принципов. И это тот самый Маркс, который подробно развил мысль, высказанную Давидом Рикардо лишь косвенно,—что теория ценности в своем вполне развитом виде предполагает общество с крупным промышленным производством и свободной конкурренцией, т.-е. современное буржуазное общество!

Следствием исторической точки зрения Маркса было то, что он подхватил нить исследования там, где она оборвалась у буржуазной политической экономии. Рикардо в наиболее чистом виде развил теорию определения товарной ценности рабочим временем, но и из его теории получался ряд противоречий, которых не в состоянии были разрешить ни буржуазные экономисты, ни прежние социалисты. Достаточно напомнить о разнице между заработной платой и продуктом труда,—разнице, которая так резко противоречила закону ценности Рикардо и которую Грей и Прудон, Родбертус пытались уничтожить устранением денег. Маркс убедительнее, чем кто-либо другой, доказал безнадежность этих попыток, но теперь дело шло о положительном выяснении того, в чем крылась ошибка Рикардо, в каком пункте буржуазная экономия недостаточно глубоко проникла в организм буржуазного общества. Маркс подверг основательному пересмотру свойство труда создавать ценность; он исследовал вопрос о том, какой именно труд создает ценность, почему и как он ее создает,

почему ценность есть не что иное, как такой кристаллизованный труд. Он расчленил затем отношение между товаром и деньгами и показал, как и почему товар,— в силу присущего ему свойства ценности — и товарообмен должны создавать противоположность между товаром и деньгами.

Маркс первый открыл двойственный характер труда в буржуазном обществе. Всякий товар можно рассматривать двояко, как потребительную и как меновую ценность. «Какова бы ни была общественная форма богатства, его содержание всегда составляют потребительные ценности, ближайшим образом индифферентные к этой форме. По вкусу пшеницы не видно, кто ее возделывал, русский ли крепостной, французский мелкий крестьянин или английский капиталист. Хотя и будучи предметом общественных потребностей и получая таким образом общественный характер, потребительная ценность не выражает, однако, никакого общественного отношения производства... Потребительная ценность в этом безразличии своем к определенной экономической форме, т.-е. потребительная ценность, как таковая, не входит в круг исследований политической экономии. В круг последней она входит лишь тогда, когда сама принимает определенную экономическую форму. Непосредственно она составляет материальное основание, на котором пред нами выступает определенное экономическое отношение — меновая ценность». Этими ясными положениями Маркс уничтожил источник бесконечных недоразумений и бросил в печку целые кучи учебников политической экономии.

В качестве меновой ценности одна потребительная ценность имеет такое же значение, как всякая другая, при условии, что она имеется в надлежащей пропорции. «Меновая ценность какого-нибудь дворца может быть выражена в определенном количестве коробок сапожной ваксы. Наоборот, лондонские фабриканты сапожной ваксы выразили в своих дворцах меновую ценность множества коробок». Товары, обмениваясь друг на друга, совершенно независимо от естественной формы их бытия и без всякого отношения к тем специфическим потребностям, которые они должны удовлетворять, представляют одну и ту же сущность, несмотря на свое видимое разнообразие.

Потребительные ценности суть прежде всего средства существования, но эти средства существования сами являются продуктами общественной жизни, результатом затраты человеческой, рабочей силы — овеществленным трудом. Как овеществление общественного труда, все товары представляют собою кристаллизации одной и той же сущности. «Труд, который одинаково овеществляется в них, следовательно — труд, выражающийся в меновой ценности, сам должен быть однородным, простым трудом, для которого так же безразлично, проявляется ли он в золоте, железе, пшенице, шелке, как безразлично для кислорода, встречается ли он в ржавчине железа, в атмосфере, в виноградном соку или в крови человека». Если различия потребительных ценностей вытекают из различий труда, производящего потребительные ценности, то для труда, образующего меновые ценности, так же безразлична особая форма самого труда, как для него безразлично особое вещество потребительных ценностей. Далее, если различные потребительные ценности являются продуктами деятельности различных индивидуумов, следовательно — результатом индивидуально различных работ, то в качестве меновых ценностей они представляют собою одинаковый, однородный труд, т.-е. труд, в котором вытравлена индивидуальность работавших. Труд, образующий меновую ценность, является поэтому абстрактным, всеобщим трудом, различающимся уже не качественно, а только количественно, сообразно большим или меньшим количествам его, овеществленным в меновых ценностях различной величины. Для количественно различных масс абстрактного, всеобщего труда существует лишь одно мерило: рабочее время, масштабом которого являются, в свою очередь, естественные меры времени — час, день, неделя и т. д. Рабочее время есть живое бытие труда, безразличное к его форме, его содержанию, его индивидуальности. Как меновые ценности, все товары представляют собою лишь определенное количество застывшего рабочего времени. Рабочее время, овеществленное в потребительных ценностях товаров, представляет собою, с одной стороны, субстанцию, которая делает их меновыми ценностями и потому товарами, а с другой — мерило для определения величины их ценности.

Сведение различных видов труда и однородному, простому труду кажется абстракцией, но это абстракция, ежедневно

совершающаяся в процессе общественного производства. «Разложение всех товаров в рабочее время есть не бо́льшая, но и не менее реальная абстракция, чем разложение всех органических тел в газы». Указанная выше абстракция существует в виде среднего труда, который может быть выполнен каждым средним индивидуумом данного общества, — это определенная производительная трата человеческих мускулов, нервов, мозга и т. д. Простой труд образует наибольшую массу труда в буржуазном обществе. Сложный труд есть умноженный простой труд: один день сложного труда равен, например, трем дням простого труда; по каким бы законам ни совершалось это приведение сложного труда к простому, практический опыт показывает, что оно совершается ежедневно. Продукты сложного труда ежедневно обмениваются в определенной пропорции на продукты простого среднего труда. Понятно далее, что рабочее время, образующее ценность, должно быть необходимым рабочим временем,— необходимым для того, чтобы при данных общих условиях производства создать новый экземпляр того же товара; уже в «Нищете философии» Маркс показал, что ценность вещи образует не то время, в течение которого она была произведена, а минимум времени, в течение которого она может быть произведена.

Двойственный характер присущ труду при исторически определенной общественной форме производства, при товарном производстве, которое стало господствующей формой производства в капиталистическом обществе и вместе с ним. Поскольку труд создает потребительные ценности, постольку он свойственен всевозможным формам общества; как целесообразная деятельность, направленная к использованию сил природы в той или иной форме, труд является естественным условием человеческого существования, условием обмена веществ между человеком и природой, независимым от каких бы то ни было социальных форм. Этот труд нуждается в веществе и, таким образом, не есть единственный источник всего созданного им, т.-е. он не единственный источник вещественного богатства. Как бы различно ни было отношение между трудом и веществом природы в различных потребительных ценностях, все же потребительная ценность всегда заключает в себе естественный субстрат.

Наоборот, труд, образующий меновую ценность, есть специфически общественная форма труда. В первобытном

коммунизме, который мы встречаем на пороге истории всех культурных народов, отдельный вид труда составлял непосредственно одну из функций общественного организма. В личных службах и натуральных повинностях средневековья общественной стороной труда являлись не общие его свойства, а его индивидуальные особенности. В деревенской патриархальной семье, где женщины пряли, а мужчины ткали для собственной потребности семьи, пряжа и холст были общественными продуктами, прядение и ткачество были общественным трудом в пределах семьи. Семейный уклад с его естественным разделением труда налагал на продукт этого труда свою своеобразную общественную печать; пряжа и холст не обменивались друг на друга, как равнозначущие и равносильные выражения одного и того же всеобщего рабочего времени. Лишь в товарном производстве индивидуальный труд становится общественным трудом вследствие того, что он принимает форму своей прямой противоположности, форму абстрактной всеобщности. Меновая ценность есть объективное выражение специфически общественной формы труда. Как таковая, она не содержит никакого вещества: труд есть единственный ее источник, а вместе с тем и единственный источник богатства, состоящего из меновых ценностей.

Но товар представляет собою непосредственное единство потребительской и меновой ценностей, и в то же время он является товаром лишь в отношении к другим товарам. Реализация отношения товаров друг к другу, это — меновой процесс. В этом процессе, в который вступают независимые друг от друг индивидуумы, товар должен являться одновременно потребительной и меновой ценностью, особым видом труда, удовлетворяющим особые потребности, и трудом вообще, могущим обмениваться на одинаковое количество всеобщего труда. Процесс обмена товаров должен развернуть и разрешить то противоречие, что индивидуальный труд, овеществленный в отдельном товаре, должен непосредственно обладать характером всеобщего труда.

Как меновая ценность, каждый отдельный товар становится мерилом ценности всех других товаров. Наоборот, всякий особый товар, в котором все другие товары измеряют свою ценность, становится адекватным бытием меновой ценности; меновою ценностью становится, таким образом, особый

исключительный товар, который в силу того, что все другие товары превращаются в него, является непосредственным овеществлением всеобщего рабочего времени. Таким образом, в этом одном товаре разрешается противоречие, заключенное в товаре, как таковом, т.-е. то противоречие, что, будучи особой потребительной ценностью, товар должен быть в то же время всеобщим эквивалентом или потребительной ценностью. Этот особый, исключительный товар — деньги.

В деньгах меновая ценность товаров кристаллизуется как особый товар. Денежный кристалл есть необходимый продукт менового процесса, в котором разнообразные продукты труда фактически приравниваются друг к другу и потому фактически превращаются в товары. Он продукт бессознательного исторического развития. Непосредственная меновая торговля, эта первобытная форма менового процесса, представляет собой в гораздо большей степени начало превращения потребительных ценностей в товары, чем товаров в деньги. Чем больше развивается меновая торговля, чем больше потребительные ценности становятся товарами, чем более, следовательно, меновая ценность принимает свободную форму и перестает быть связанной непосредственно с потребительной ценностью, тем больше меновая торговля толкает к созданию денег. Сначала роль денег играют один или даже несколько товаров, обладающих наиболее общей потребительной ценностью: скот, хлеб, рабы. Функцию денег попеременно исполняли весьма различные, более или менее неподходящие товары. К благородным металлам эта функция перешла, в конце-концов, потому, что они обладают необходимыми физическими свойствами того особого товара, в котором должна кристаллизоваться денежная сущность всех товаров, — свойствами, непосредственно вытекающими из природы меновой ценности: прочностью их потребительной ценности, произвольной делимостью, однородностью частей и одинаковостью всех экземпляров этого товара. Этот особый товар не должен портиться во время процесса обмена; как овеществление всеобщего рабочего времени, он должен быть овеществлением однородным и способным выражать одни лишь количественные различия.

Из благородных металлов, в свою очередь, все более и более становится исключительным денежным товаром золото. Оно служит мерилом ценностей и масштабом цен, оно служит

орудием обращения товаров. Путем сальто-мортале товара в золото определенный вид труда, накопленный в товаре, доказывает, что он есть также абстрактный всеобщий труд, общественный труд. Если это превращение не удается товару, то он теряет свое значение не только как товар, но и как продукт, ибо товаром он является лишь потому, что не имеет никакой потребительной ценности для своего обладателя.

Золото, специфический товар, служащий мерилом ценностей и орудием обращения товаров, становится деньгами без всякого дальнейшего содействия общества. В противоположность товарам, которые являются только представителями самостоятельного бытия меновой ценности, общественного труда вообще, абстрактного богатства золото есть само материальное бытие абстрактного богатства. Но золото есть также материальный представитель вещественного богатства; оно удовлетворяет всякую потребность, поскольку оно может быть непосредственно обменено на предмет любой потребности; в своей массивной металличности золото содержит в скрытом виде все богатство, развернутое в мире товаров. Оно одновременно является по своей форме непосредственным воплощением труда вообще, а по содержанию — совокупностью всех реальных видов труда. Золото есть всеобщее богатство, как индивидуум. Из раба оно превращается в господина, из простого подручного оно становится богом товаров.

Маркс раскрывает роль денег в буржуазном обществе во всех ее разветвлениях, проливая свет повсюду, где раньше господствовал ненадежный полусвет или полная тьма. Сила его экономического анализа напоминает тот паровой молот, о котором Маркс говорит в одном месте: «Он шутя превращает в пыль гранитную глыбу, но в состоянии также рядом легких ударов вогнать гвоздь в мягкое дерево». Нет, поэтому, ничего более ошибочного, чем упрекать Маркса в затемняющей мифологии и туманной мистике, как это делали Рошер и его последователи. Наборот, Маркс рассеял мифологический и мистический туман, окутывавший товарное производство и неоднократно сбивавший с толку буржуазных экономистов.

Маркс показал, как общественное отношение производства принимается за существующий вне индивидуумов предмет, как определенные отношения, в которые эти индивидуумы вступают в процессе производства своей общественной жизни,

принимаются за специфические свойства известной вещи, и как именно это превратное представление, эта прозаически реальная, а не воображаемая мистификация характеризует все общественные формы труда, образующего меновую ценность. «В товаре эта мистификация еще очень проста. Все более или менее сознают, что отношение товаров, как меновых ценностей, есть скорее отношение лиц к их взаимной производительной деятельности. В высших производственных отношениях эта кажущаяся простота исчезает. Все иллюзии, так наз., монетной системы*) проистекают от одной причины: на золоте не видно, что оно представляет общественное производственное отношение, но в форме естественной вещи, обладающей определенными свойствами. У современных экономистов, презрительно посмеивающихся над иллюзией монетной системы, замечается та же иллюзия, как только они начинают оперировать высшими экономическими категориями, напр., капиталом. Она прорывается в выражении наивного удивления, когда то, что они, казалось, сейчас лишь держали грубо в руках, как вещь, вдруг принимает вид общественного отношения, и когда затем их начинает поддразнивать, как вещь, то самое, что они минуту назад фиксировали как общественное отношение». Рошеру следовало бы лучше поразмыслить над этим тонким разграничением, чем с полдюжины раз утешать себя в своих толстых книгах остротой, что Маркс был-де человеком остроумным, но не острого ума.

На товаре и деньгах Маркс раскрыл мистификацию товарного производства. Он хотел затем доказать то же по отношению к капиталу, но внешние обстоятельства, между прочим — продолжительная болезнь, неоднократно прерывавшая его работу; в течение восьми лет мешали продолжению труда, опубликованного в 1859 г. Первый выпуск книги совершенно замолчали. Зато быстро следовали одно за другим издания рошеровского «Учебника политической экономии», где исторический метод праздновал свой триумф беспорядочной болтовней о товаре и деньгах, вплоть до открытия, что деньги — «приятный товар».

*) Главной разновидностью этой системы является меркантилизм.

Главное сочинение научного коммунизма.

В 1867 году появился первый — и в течение многих лет остававшийся единственным — том великого произведения («Капитала»), где Маркс довел до классической законченности свою критику политической экономии. Изобразив процесс производства капитала, Маркс поднялся на высоту, с которой ясно расстилалась вся область современных социальных отношений, подобно тому, как ниже лежащие местности расстилаются пред туристом, стоящим на вершине горы.

В первом отделе своего нового сочинения Маркс резюмировал еще раз то, что было сказано им о товаре и деньгах в работе 1859 г. Он сделал это в еще несравненно более богатом изображении, в широких, как мир, рамках и в картине, полной тончайших оттенков. Немногие вещи в мировой литературе могут сравниться по литературному мастерству с этими главами. Их прославленная трудность существует только для читателя, не прошедшего еще диалектической школы мышления; при серьезном усилии пред каждым здравым умом открывается источник познания, брызжущий ключом из глубин созидающейся человеческой жизни и притом столь ясный и прозрачный, что можно сосчитать каждую песчинку на его дне.

Во втором отделе Маркс переходит к исследованию вопроса о превращении денег в капитал. Если в товарном обращении происходит обмен равноценностей, то каким образом владелец денег может покупать товары по их действительной ценности, и, тем не менее, извлекать в конце процесса большую ценность, чем та, которую он внес в обращение в начале этого процесса? Это удается ему по той причине, что при теперешних общественных отношениях он находит на товарном рынке один товар, обладающий особенным свойством; потребление его является источником новой ценности. Товар этот — рабочая сила. Таким образом Маркс разрешил загадку, которую не удалось решить классической экономии и над которой тщетно бился мелко буржуазный социализм; он объяснил разницу между вознаграждением труда и продуктом труда, находившуюся, казалось, в вопиющем противоречии с капиталистическим законом ценности.

Рабочая сила существует в образе живого рабочего, которому нужна определенная сумма средств для поддержания

своего существования и существования своей семьи так, чтобы обеспечивалось сохранение рабочей силы и после его смерти. Рабочее время, требующееся для производства этих средств существования, представляет собою ценность рабочей силы. Но эта ценность, уплачиваемая в форме заработной платы, значительно меньше той ценности, которую покупатель рабочей силы может выжать из последней. Прибавочный труд рабочего сверх времени, необходимого для возмещения его заработной платы, есть источник прибавочной ценности, постоянного накопления капитала. На неоплаченный труд рабочего содержатся все нетрудящиеся члены общества: из него покрываются поземельная рента землевладельца, прибыль капиталиста, государственные и местные налоги, на нем покоится весь общественный строй, среди которого мы живем.

Правда, неоплаченный труд сам по себе не представляет исключительной особенности современного буржуазного общества. С тех пор, как существуют имущие и неимущие классы, неимущий класс всегда принужден был отдавать другим неоплаченный труд. Пока часть общества обладает монополией средств производства, до тех пор рабочему, свободному или несвободному, приходится сверх рабочего времени, необходимого для поддержания его собственного существования, работать еще некоторое время, чтобы произвести средства существования для собственников средств производства. Наемный труд есть лишь особая историческая форма системы неоплаченного труда, господствующей со времени разделения классов, – особая историческая форма, которая должна быть исследована, как таковая, чтобы быть правильно понятой.

Для превращения денег в капитал владелец денег должен найти на товарном рынке свободного рабочего,— свободного в том двояком смысле, что он, будучи свободной личностью, располагает своей рабочей силой, как товаром, и что у него нет других товаров для продажи, другими словами — что он свободен от всех вещей, требующихся для реализации его рабочей силы. Это не есть естественно-историческое отношение, ибо природа не производит, с одной стороны, владельцев денег и товаров, а с другой — лиц, у которых нет ничего, кроме собственной рабочей силы. Но, вместе с тем, мы не имеем здесь также перед собою социального отношения, общего всем историческим периодам, а имеем перед собою

результат продолжительного исторического развития, продукт многих хозяйственных переворотов, гибели целого ряда более старых формаций общественного производства.

Обращение товаров есть исходный пункт капитала. Производство товаров, обращение товаров и развитое товарное обращение, торговля, образуют исторические предпосылки, при которых капитал возникает. Новейшая биография капитала ведет свое начало от возникновения современной мировой торговли и мирового рынка в XVI столетии. Иллюзия вульгарных экономистов, будто существовала некогда избранная часть общества, накоплявшая богатство, и масса ленивых бездельников, у которых, в конце-концов, не осталось для продажи ничего, кроме собственной шкуры, эта иллюзия есть плоское ребячество, столь же плоское ребячество, как полусвет, в котором буржуазные историки изображают разложение феодального способа производства, рассматривая его исключительно, как освобождение рабочего, вместо того, чтобы представить его одновременно и как превращение феодального способа эксплоатации в капиталистический. Одновременно с тем, как рабочие перестали принадлежать непосредственно к орудиям производства, в качестве рабов и крепостных, орудия производства перестали принадлежать им, как они принадлежат, напр., самостоятельно хозяйствующему крестьянину и ремесленнику. Земля, средства существования и орудия производства были отняты у народных масс при помощи ряда насильственных и жестоких актов, которые Маркс, пользуясь историей Англии, подробно описывает в своей главе о первоначальном накоплении. Таким путем возникли свободные рабочие, в которых нуждается капиталистический способ производства; капитал явился на свет, покрытый с головы до пят кровью и грязью, сочащимися изо всех его пор. Раз став на ноги, он не только поддержал разобщение между рабочим и собственностью на условия реализации труда, но и стал воспроизводить это разобщение во все более широком масштабе.

От прежних видов неоплаченного труда наемный труд отличается тем, что движение капитала беспредельно, что его алчность к прибавочному труду ненасытна. В хозяйственном строе, где главная роль принадлежит не меновой, а потребительной ценности продукта, прибавочный труд ограничивается

более или менее широким кругом потребностей, но из самого характера производства не вытекает никакой беспредельной потребности в прибавочном труде. Иначе происходит дело там, где перевес имеет меновая ценность. Как производитель чужого трудолюбия, как выжиматель прибавочного труда и эксплоататор рабочей силы, капитал превосходит по энергии, безмерности и успешности все прежние способы производства, основанные на прямом принудительном труде. Для него важен не процесс труда, не производство потребительных ценностей, а создание меновых ценностей, которое дало бы ему возможность выжать больше ценности, чем им было вложено. Жажда прибавочной ценности не знает чувства утоления; у производства меновых ценностей нет той границы, которую ставит производству потребительных ценностей удовлетворение потребностей.

Подобно тому, как товар есть единство потребительной и меновой ценности, так процесс производства товара есть единство процесса труда и образования ценности. Процесс образования ценности продолжается до того пункта, где ценность рабочей силы, заплаченная в форме заработной платы, возмещается равной ценностью; дальше этого пункта он становится процессом производства прибавочной ценности, процессом увеличения ценности. Как единство процесса труда и увеличения ценности, он становится капиталистическим процессом производства, капиталистической формой производства товаров. В процессе труда действуют совместно рабочая сила и средства производства; в процессе увеличения ценности те же составные части капитала фигурируют, как постоянный и переменный капитал. Постоянный капитал обращается в средства производства, в сырье, вспомогательные материалы, орудия труда; он не меняет размеров своей ценности в процессе производства. Переменный капитал обращается в рабочую силу и меняет свою ценность в процессе труда: он воспроизводит свою собственную ценность и создает еще излишек, прибавочную ценность, которая сама может изменяться, быть большей или меньшей. Таким образом, Маркс прокладывает ясный путь для исследования прибавочной ценности, различая при этом две формы ее: абсолютную и относительную прибавочную ценность, из которых каждая играла хотя и не одинаковую, но решающую роль в истории капиталистического способа производства.

Абсолютная прибавочная ценность производится тогда, когда капиталист удлиняет рабочий день дальше того времени которое требуется для воспроизводства рабочей силы. Если бы все шло по желанию капиталиста, то рабочий день содержал бы 24 часа, ибо чем длиннее рабочий день, тем большую прибавочную ценность он производит. Наоборот, у рабочего есть верное сознание, что каждый час труда, в течение которого он работает сверх времени, необходимого для возмещения его заработной платы, отнимается у него неправильно; ему на собственном организме приходится испытывать, что значит работать слишком долго. Борьба за нормальный рабочий день ведется свободными рабочими с первого выступления их на историческую арену по настоящий день. Капиталист борется за свою прибыль, и конкурренция заставляет его, будь он лично благородным человеком или мерзавцем, растягивать рабочий день до крайней границы человеческой работоспособности. Напротив, рабочий ведет борьбу за свое здоровье, за несколько часов отдыха в течение дня, чтобы иметь возможность не только работать, есть и спать, но и проявлять свою человеческую личность в других видах деятельности. Маркс выпукло изображает полувековую междоусобную войну за рабочий день, которую вел в Англии класс капиталистов с рабочим классом, начиная с того момента, как родилась крупная промышленность, побудившая капиталиста разбить все преграды, которые ставили эксплоатации пролетариата природа и нравы, возраст и пол, день и ночь, и кончая изданием закона о 10-часовом рабочем дне, который был завоеван рабочим классом, как непреодолимое общественное препятствие, мешающее ему самому продавать себя и свое потомство на смерть и рабство путем добровольного договора с капиталом.

Относительная прибавочная ценность создается тем, что рабочее время, необходимое для воспроизводства рабочей силы, сокращается в пользу прибавочного труда. Ценность рабочей силы понижается путем повышения производительной силы труда в тех отраслях промышленности, продукты которых определяют ценность рабочей силы. Для этого требуется беспрерывное революционирование способа производства, технических и общественных условий рабочего процесса. Исторические, экономические, технологические

и социально-психологические рассуждения Маркса по этому поводу, заключающиеся в главах о кооперации, о разделении труда и мануфактуре, о машинном производстве и крупной промышленности, принадлежат к значительнейшим вещам, которые он когда-либо написал. Даже один из его буржуазных биографов забавляется над тем, что академические учебники политической экономии, вместо того, чтобы черпать из этой богатой сокровищницы научного познания, все еще поверхностно повторяют рассуждения Адама Смита о разделении труда, которым минуло уже больше ста лет. Извинением для них может служить лишь то обстоятельство, что легче вырвать у Геркулеса его палицу, чем найти у такого революционного мыслителя, как Маркс, мысль, которая непосредственно годилась бы для корма в университетском стойле.

Маркс не только показывает, что машинное производство и крупная промышленность создали ужасающую нищету в большей мере, чем какой-либо из предшествовавших им способов производства: он показывает также, что, беспрерывно революционируя капиталистическое общество, они подготовляют высшую социальную форму. Фабричное законодательство есть первое сознательное и планомерное воздействие общества на стихийно возникшую форму его производственного процесса. Пока оно регулирует труд на фабриках и мануфактурах, до тех пор оно кажется только вмешательством в эксплоататорские права капитала. Но сила фактов принуждает скоро законодательство регулировать также домашний труд и вмешаться в сферу родительской власти, следовательно, заставляет его признать, что крупная промышленность, вместе с экономическим основанием прежнего семейного быта и соответствовавшего ему семейного труда, разрушает и прежние семейные отношения. «Каким бы ужасным и отвратительным ни казалось разрушение старых семейных отношений при капиталистической системе, тем не менее, крупная промышленность, благодаря той решающей роли, которую она отводит женщинам, подросткам и детям обоего пола вне домашней сферы, в общественно организованных процессах производства, тем самым создает новое экономическое основание для высших форм семьи и отношений обоих полов. Разумеется, считать христианско-германскую

форму семьи абсолютною столь же нелепо, как считать таковой форму древне-римскую, древне-греческую или восточную, которые, между прочим, все вместе образуют ряд последовательных форм развития. Настолько же ясно, что составление коллективного рабочего персонала из лиц обоего пола и самых различных возрастов может, при соответственных условиях, обратиться в источник человечного развития, несмотря на то, что в своей стихийно-грубой капиталистической форме, где рабочий служит для процесса производства, а не процесс производства для рабочего, оно является источником нравственной порчи и рабства». Машина, низводящая рабочего до роли простого ее придатка, создает вместе с тем возможность довести производительные силы общества до высоты, которая сделает возможным для всех членов общества одинаково достойное человека развитие,— для чего все прежние общественные формы были слишком бедны.

Исследовав производство абсолютной и относительной прибавочной ценности, Маркс дает первую рациональную теорию заработной платы, какую знает история политической экономии. Цена товара, это его ценность, выраженная в деньгах, а заработная плата есть цена рабочей силы. На товарном рынке появляется не труд, а рабочий, продающий свою рабочую силу; труд возникает лишь вследствие потребления товара, именуемого «рабочая сила». Труд есть субстанция и имманентное мерило ценностей, но сам по себе он не имеет никакой ценности. Тем не менее, на первый взгляд кажется, что труд вознаграждается в заработной плате, так как рабочий получает плату лишь по окончании работы. Форма заработной платы стирает всякий след деления рабочего дня на оплаченный и неоплаченный труд. С невольником дело происходит наоборот: невольник как будто работает на своего господина и в течение той части рабочего дня, когда он только возмещает ценность своих собственных средств существования, весь его труд кажется неоплаченным трудом. Напротив, при системе наемного труда даже неоплаченный труд кажется оплаченным. Там отношения собственности скрывают труд невольника на самого себя, здесь же денежные отношения скрывают даровой труд наемного рабочего. Понятно, говорит Маркс, почему так важно превращение ценности

и цены рабочей силы в форму заработной платы, или в ценность и цену самого труда. На этой форме проявления, скрывающей действительные отношения и показывающей нечто прямо противоположное им, основываются все правовые представления как рабочего, так и капиталиста, все мистификации капиталистического способа производства, все капиталистические иллюзии свободы, все апологетические уловки вульгарной политической экономии.

Двумя основными формами заработной платы являются плата по времени и сдельная плата. На законах повременной платы Маркс изобличает, между прочим, корыстную вздорность фраз, пускаемых в ход ненасытными эксплоататорами, и прежде всего бравым Бисмарком, против законодательного ограничения рабочего дня, фраз, будто вследствие такого ограничения понижается заработная плата. В действительности мы наблюдаем явление прямо противоположное: временное сокращение рабочего дня понижает заработную плату, но постоянное его сокращение действует на нее повышающим образом; чем длиннее рабочий день, тем ниже заработная плата.

Сдельная плата есть не что иное, как превращенная форма платы по времени; она представляет собою форму рабочей платы, наиболее соответствующую капиталистическому способу производства. Получив более значительное распространение во время мануфактурного периода (в тесном значении этого слова), она в период «бури и натиска» английской крупной промышленности служила орудием для удлинения рабочего дня и уменьшения заработной платы. Сдельная плата очень выгодна для капиталиста, так как она делает в значительной степени излишним надзор за работой и, сверх того, дает разнообразные предлоги для вычетов из заработной платы и иных способов обсчитывания. Для рабочих сдельная плата соединена с рядом крупных невыгод. Рабочие при этой системе вознаграждения надрывают свое здоровье чрезмерным трудом, в надежде увеличить свой заработок, тогда как фактически система эта имеет тенденцию понижать последний. Затем, сдельная плата усиливает конкурренцию между рабочими и ослабляет среди них чувство солидарности; благодаря ей создается также между капиталистами и рабочими класс паразитических посредников, урывающих изрядный кусок от уплачиваемого вознаграждения за работу и т. д.

Результатом отношения, связывающего заработную плату и прибавочную ценность, является то, что капиталистический способ производства не только беспрерывно воспроизводит капиталисту его капитал, но и беспрерывно воспроизводит бедность рабочих: он воспроизводит, с одной стороны, капиталистов, которым приналлежат в собственность все средства существования, все сырые материалы и все орудия производства, с другой — трудовую массу, вынужденную продавать этим капиталистам свою рабочую силу за количество жизненных средств, которого в лучшем случае едва хватает на поддержание ее в работоспособном состоянии и на воспитание нового поколения работоспособных пролетариев. Но капитал не только воспроизводится, он постоянно увеличивается и растет. Этому «процессу накопления» Маркс посвящает последний отдел в своем изображении процесса производства капитала.

Прибавочная ценность не только возникает из капитала, но и наоборот: капитал получается из прибавочной ценности. Часть ежегодно производимой прибавочной ценности потребляется, в качестве дохода, имущими классами, среди которых она распределяется; другая часть накопляется, как капитал. Неоплаченный труд, выжатый из рабочего класса служит теперь средством выжимать из него все большее количество неоплаченного труда. В потоке производства весь первоначально авансированный капитал становится вообще все меньшей величиной в сравнении с непосредственно накопленным капиталом, т.-е. в сравнении с превращенной снова в капитал прибавочной ценностью или прибавочным продуктом, безразлично — функционирует ли этот капитал в руках лица, которое накопляло, или в чужих руках. Закон частной собственности, покоящийся на товарном производстве и товарном обращении, в силу своей внутренней и неизбежной диалектики обращается в прямую свою противоположность. Законы товарного производства, казалось, устанавливали право собственности на собственный труд. Лицом к лицу стояли равноправные владельцы товаров, средством для приобретения чужого товара было лишь отчуждение собственного товара, а собственный товар мог быть произведен только путем труда. Теперь собственность проявляется на стороне капиталистов, как право присвоить себе

чужой неоплаченный труд или его продукт, а на стороне рабочего —как невозможность присвоить себе свой собственный продукт.

Когда современные пролетарии начали соображать эту связь явлений, когда лионский городской пролетариат ударил набат, а земледельческий пролетариат Англии стал пускать красного петуха, то вульгарными экономистами была изобретена «теория воздержания», согласно которой капитал возникает вследствие добровольного «воздержания» капиталистов,— теория, которую Маркс бичует столь же безжалостно, как ее бичевал уже Лассаль в «Бастиа-Шульце». В действительности накоплению капитала способствует вынужденное «воздержание» рабочих, насильственное понижение заработной платы ниже ценности рабочей силы с целью обратить часть необходимого потребительного фонда рабочих в фонд накопления капитала. Вот откуда берут фактически свое начало все вопли по поводу «роскошного» образа жизни рабочих, бесконечные причитания по поводу бутылки шампанского, будто бы когда-то выпитой берлинскими каменщиками, дешевые кухонные рецепты христианских социал-реформаторов и прочие капиталистические штуки.

Таким образом, закон капиталистического накопления состоит в следующем. Рост капитала подразумевает рост переменной его части, затрачиваемой на покупку рабочей силы. Если строение капитала остается неизменным, т.-е. если для приведения в действие определенной массы средств производства (постоянного капитала) требуется та же масса рабочей силы, то спрос на труд и фонд существования рабочих, очевидно, растут в той же пропорции, в какой растет капитал, и тем быстрее, чем быстрее капитал увеличивается. Подобно тому, как простое воспроизводство постоянно воспроизводит самые капиталистические отношения, так и воспроизводство в расширяющихся размерах, или накопление капитала воспроизводит капиталистические отношения в более широком масштабе: оно воспроизводит больше капиталистов и более крупных капиталистов на одном полюсе, больше наемных рабочих — на другом. Накопление капитала, стало-быть, равносильно увеличению пролетариата, и притом в предположенном выше случае оно происходит еще при условиях, наиболее благоприятных для рабочих, т.-е. из их

собственного прибавочного продукта, который все больше растет и увеличивает собою добавочный капитал, более значительная часть возвращается к ним назад в форме платежных средств, так что они могут расширять круг своих потребностей и тратить больше денег на платье, мебель и т. д. Но рабочие не перестают вследствие всего этого быть зависимыми и составлять предмет эксплоатации, подобно тому, как хорошо одетый и хорошо накормленный невольник не перестает быть невольником. Рабочие всегда принуждены отдавать известное количество неоплаченного труда; правда, оно может уменьшаться, но оно никогда не может опуститься до пункта, который угрожал бы серьезной опасностью капиталистическому характеру производственного процесса. Если заработная плата поднимается выше этого пункта, то стимул наживы притупляется и накопление капитала ослабевает, пока заработная плата не опустится снова до уровня, соответствующего потребности капитала в нарастании.

Но золотая цепь, которую кует себе сам наемный рабочий, становится более свободной лишь в том случае, когда при накоплении капитала отношение между его постоянной и переменной частью остается неизменным. Фактически, однако, вместе с ростом накопления наступает крупный переворот в органическом строении капитала: постоянный капитал растет насчет переменного, возрастающая производительность труда ведет к тому, что количество средств производства растет сравнительно быстрее количества вкладываемой в них рабочей силы, спрос на труд не поднимается равномерно вместе с накоплением капитала, а испытывает относительное падение, то же действие только в иной форме производит концентрация капитала, происходящая (независимо от его накопления) вследствие того, что законы капиталистической конкурренции приводят к поглощению мелкого капитала крупным. Если добавочный капитал, образующийся вместе с поступательным ходом накопления, притягивает все меньшее и меньшее, сравнительно с его размерами, число рабочих, то, с другой стороны, воспроизведенный в новом составе первоначальный капитал все более и более отталкивает рабочих, которых он занимал раньше. Таким образом, возникает относительное перенаселение, т.-е. избыток рабочего населения сравнительно с потребностями

самовозрастания капитала возникает запасная промышленная армия; эта армия в периоды застоя или посредственного состояния дел в промышленности не имеет правильного занятия и вознаграждается ниже ценности ее рабочей силы, либо вынуждена обращаться за помощью к общественной благотворительности, но, во всяком случае, является фактором, парализующим силу сопротивления занятых рабочих и удерживающим их плату на низком уровне.

Но если запасная промышленная армия составляет необходимый продукт накопления при развитии богатства на капиталистической основе, то она становится, в свою очередь, фактором капиталистического накопления, даже условием существования капиталистического способа производства. Вместе с накоплением капитала и сопровождающим его развитием производительной силы труда растет способность капитала к внезапному расширению, нуждающаяся в больших массах людей, чтобы внезапно устремлять их на новые рынки и в новые отрасли промышленности, без уменьшения производства в других областях. Характерный жизненный круг современной промышленности — десятилетний цикл, прерываемый мелкими колебаниями и состоящий из периодов среднего оживления производства под высоким давлением кризиса и застоя — покоится на постоянном образовании запасной промышленной армии, большем или меньшем ее поглощении и, затем, образовании ее вновь. Чем значительнее общественное богатство, чем значительнее функционирующий капитал, размеры и энергия его роста, следовательно — чем значительнее также абсолютная величина рабочего населения и производительность его труда, тем больше также относительный избыток населения или запасная промышленная армия. Ее относительная величина растет вместе с силами богатства. Но чем больше запасная промышленная армия в сравнении с действующей рабочей армией, тем более многочисленны рабочие слои, жалкое вознаграждение которых находится в обратном отношении к тягости их труда. Чем значительнее, наконец, слой Лазарей рабочего класса и запасная промышленная армия, тем больше также размеры оффициального пауперизма. Таков абсолютный, общий закон капиталистического накопления.

Из него вытекает также историческая тенденция этого накопления. Рука об руку с накоплением и концентрацией

капитала развивается во все больших размерах кооперативная форма процесса производства, сознательное техническое приложение науки, планомерная совместная эксплоатация земли, превращение средств труда в такие средства, которые могут быть прилагаемы только сообща, экономизирование всех средств производства вследствие употребления их, как производственных средств комбинированного общественного труда. Вместе с постоянным уменьшением числа магнатов капитала, которые присваивают себе и монополизируют все выгоды этого эволюционного процесса, возрастает также бедность, гнет, порабощение, вырождение и эксплоатация, но увеличивается также возмущение рабочего класса, который постоянно растет и дисциплинируется, объединяется и организуется самим механизмом капиталистического процесса производства. Монополия капитала становится помехой для того способа производства, который развился вместе с ней и под ее руководством. Концентрация средств производства и обобществление труда доходят до такого пункта, при котором они становятся несовместимыми со своей капиталистической оболочкой. Бьет час капиталистической частной собственности, экспроприирующих экспроприируют. Индивидуальная собственность, основанная на собственном труде, восстановляется опять, но уже на основе завоевания капиталистической эры, т.-е. на основе кооперации свободных работников и их коллективного владения землею и средствами производства, созданными самим трудом. Разумеется, процесс превращения капиталистической собственности, фактически покоящейся уже на общественном ведении производства, в собственность общественную далеко не так медлен, тяжел и труден, каким было превращение раздробленной частной собственности, основанной на собственном труде индивидов, в собственность капиталистическую. Там дело шло об экспроприации народной массы немногими узурпаторами, здесь дело будет итти об экспроприации немногих узурпаторов народной массой.

На протяжении немногих страниц невозможно, конечно, дать приблизительное понятие о богатстве мыслей и фактов, содержащихся в первом томе «Капитала». То, что в подобном резюме имеет все-таки в большей или меньшей степени вид недоказанного утверждения, в самой книге построено камень за камнем, неоштукатуренное и без прикрас,

прочно скрепленное железной логикой и твердо покоясь на солидном фундаменте фактов. При всем обилии духовных сокровищ, разбросанных щедрой рукой по всему сочинению, оно носит на себе самую подлинную печать гения: читателя не оставляет сознание, что мастер еще более велик, чем его творение. В двух последних томах «Капитала» не следует искать законченного готового решения всех важнейших проблем политической экономии: в них отчасти только поставлены эти проблемы и есть указания на то, в каком направлении следует искать их разрешения. Как и все мировоззрение Маркса, его основной труд не есть Библия с готовыми, раз навсегда высказанными конечными истинами; но он является неисчерпаемым источником возбуждения к новой умственной работе, к дальнейшим исследованиям и к дальнейшей борьбе за истину.

По своей внешней литературной форме второй и третий томы не столь закончены, не так сверкают и искрятся умом, как первый том. Но все же по непосредственной работе мысли, чуждой всяких забот о форме изложения, они доставляют многим читателям еще большее наслаждение, чем первый том. По содержанию оба тома составляют дополнение и дальнейшее развитие первого тома и необходимы для понимания всей системы; к сожалению, они до сих пор еще не переизложены в популярном виде и потому остаются неизвестными широким массам просвещенных рабочих*).

В первом томе Маркс задается основным вопросом политической экономии: откуда возникает богатство, где лежит источник прибыли. Ответ на эти вопросы давался до выступления Маркса в двух различных направлениях.

«Научные» защитники этого лучшего из миров, в котором мы живем, люди, частью пользовавшиеся уважением и доверием рабочих, как, например, Шульце-Делич, объясняли капиталистическое богатство целым рядом более или менее допустимых оправдательных соображений и хитрых манипуляций: как плод систематического повышения цен на товары для «вознаграждения» предпринимателя за «благородно» предоставленный им свой капитал для производства, как возмещение за «риск», которому подвергается каждый предприниматель, как плату

*) Ныне есть ряд изложений этих томов (см. Ленина, Каутского, Бернштейна, Гиршфельда и др.). Прим. ред.

за «духовное руководительство» предприятием и т. п. Эти объяснения сводились каждый раз к тому, чтобы представить богатства одних и нищету других как нечто «справедливое», и тем самым неотвратимое.

В противоположность этому, критики буржуазного общества, в частности социалистические школы, предшествовавшие Марксу, объясняли обогащение капиталистов как чистое надувательство, даже как кражу у рабочих, ставшую возможной при посредстве денег или из-за отсутствия организации производственного процесса. Отсюда эти социалисты переходили к различным утопическим планам устранить эксплоатацию путем упразднения денег, «организации труда» и т. п.

В первом томе «Капитала» Маркс показал действительные корни капиталистического обогащения. Он не занимается ни попытками оправдания богатства капиталистов, ни обвинениями их в несправедливости; он в первый раз показывает, как возникает прибыль и как она направляется в карман капиталистов. Это он объясняет двумя решающими экономическими фактами: во-первых, тем, что масса рабочих состоит из пролетариев, которые вынуждены продавать свою рабочую силу, как товар, а во-вторых, тем, что этот товар, рабочая сила, обладает в настоящее время такой степенью производительности, что может производить в определенное время гораздо большее количество продуктов, чем необходимо для поддержания ее собственного существования в это время. Благодаря этим двум чисто экономическим фактам, вызванным, однако, объективным историческим развитием, плоды, создаваемые работой пролетариев, сами собой попадают в руки капиталистов и механически, в виду продолжения системы заработной платы, скопляются в огромные, все более увеличивающиеся запасы капитала.

Маркс объясняет таким образом капиталистическое обогащение не как вознаграждение капиталистов за их воображаемые жертвы и благодеяния и также не как надувательство и кражу в обычном смысле этого слова, а как вполне правомерную с точки зрения уголовного права меновую сделку между капиталистом и рабочим, которая происходит по тем же законам, как всякая другая купля или продажа товаров. Чтобы вполне осветить эту безукоризненную сделку, которая приносит золотые плоды капиталистам, Марксу нужно было

развить до конца закон стоимости, установленный в конце 18-го и в начале 19-го века великими английскими классиками Смитом и Рикардо, иными словами, объяснить внутренние законы товарного обмена и применить их к товару, представленному рабочей силой. Закон стоимости, из которого вытекают заработная плата и прибавочная стоимость, иными словами, объяснение того, как без всяких насилий и мошенничеств продукт наемного труда сам собою делится на скудную поддержку существования рабочих и на богатство капиталиста, не обусловленное трудом с его стороны,— вот что составляет главное содержание первого тома «Капитала». И великое историческое значение этого тома заключается в изложении того, что эксплоатация может быть устранена только тогда, когда будет уничтожена продажа рабочей силы, т.-е. система наемного труда*).

В первом томе «Капитала» мы все время находимся в мастерской: на фабрике, в руднике или в современном сельско-хозяйственном производстве. Те выводы, к которым приходит Маркс, действительны для каждого капиталистического предприятия. Речь идет только о частном капитале, как типе всего производственного процесса. По прочтении этого первого тома становится ясным ежедневное происхождение прибыли, и весь механизм эксплоатации освещается до глубины. Перед нами лежат горы всевозможных товаров такими, какими они выходят из мастерских, еще пропитанные потом рабочих, и во всех них мы можем ясно различить ту часть их стоимости, которая возникает из неоплаченного труда пролетария и столь же закономерно, как и весь товар, переходит в собственность капиталиста. Мы своими руками осязаем здесь корень эксплоатации.

*) „Маркс—говорит Роза Люксембург в своей книге „Накопление капитала“— во всем первом томе своего „Капитала“ исходит из следующих предпосылок: во-первых,— что все „товары продаются по их стоимости“ и во-вторых,—„что заработная плата соответствует полной стоимости рабочей силы“. А между тем это допущение, как известно на каждом шагу противоречит практике. Маркс применил этот прием для того, чтобы показать, как осуществляется капиталистическая эксплоатация даже при наличии наиболее благополучных для рабочих условий. Его анализ из-за этого отнюдь не перестает быть научным; наоборот,—идя именно этим путем, он только и дает нам непоколебимую основу для точной оценки ежедневной практики с ее отклонениями“.

Прим. ред.

Но это не все: жатва капиталиста еще не свезена в амбары. Плод эксплоатации налицо, но еще в форме, не пригодной для предпринимателя. Поскольку он владеет им в виде склада товаров, капиталист еще не может возрадоваться своей эксплоатации. Он не рабовладелец античного, греко-римского мира и не феодальный властитель средневековья, которые обирали рабочий люд только для своей собственной роскоши и для величия своего двора. Капиталисту нужно, чтобы его богатство заключалось в наличных деньгах, и он мог бы использовать его на-ряду с «подобающим его положению образом жизни» и для постоянного увеличения своего капитала. Для этого необходима продажа товаров, созданных наемными рабочими, вместе с вложенной в них прибавочной стоимостью. Товар должен пойти на рынок из фабричных складов или сельско-хозяйственных магазинов; капиталист следует за ним из конторы на биржу, в лавку, и мы следуем за ним туда во втором томе «Капитала»

В области товарного обмена, где разыгрывается вторая глава жизни капиталиста, у него возникает много затруднений. У себя на фабрике, в своей крепости, он был господином. Там царила строжайшая организация, дисциплина и планомерность. На товарном рынке, напротив того, царит полнейшая анархия, так называемая, свободная конкурренция. Тут никому нет дела ни до кого другого, и никому нет дела до всего в целом. И все же капиталист чувствует как раз через посредство этой анархии свою зависимость во всех отношениях от других, от общества.

Он должен итти в ногу со всеми своими конкуррентами. Если он замедлит с окончательной продажей своих товаров дольше, чем безусловно необходимо, если не запасется достаточными деньгами и своевременно не закупит сырые материалы и все необходимое, чтобы предприятие тем временем не пострадало от перерыва, если не позаботится о том, чтобы его деньги, оказавшиеся у него снова на руках после продажи товаров, не остались без дела, а были бы выгодно помещены куда-нибудь, то он так или иначе отстанет от других. Кто последний, того кусают собаки, и предприниматель, который не позаботился о том, чтобы его дело шло так же гладко между мастерской и товарным рынком, как оно идет в самой мастерской, не получит обычной прибыли, как бы

старательно он ни извлекал все силы из своих рабочих. Часть его «честно заслуженной» прибыли застрянет где-нибудь, и не попадет в его карман.

Но это еще не все. Для того, чтобы капиталист скопил богатство, нужно, чтобы он поставлял товары, т.-е. предметы потребления. Он должен, однако, поставлять как раз те виды и сорта товаров, в которых нуждается общество, и только в таком количестве, в каком оно нуждается. Иначе товары останутся непроданными и вместе с тем улетучится вложенная в них прибавочная стоимость. Но как все это знать отдельному капиталисту? Никто не скажет ему, сколько и каких именно товаров нужно обществу, не скажет потому, что никто этого не знает. Ведь мы живем в анархическом обществе, лишенном планомерности. Каждый отдельный предприниматель находится в таком же положении. И все же из этого хаоса, из этой путаницы должно образоваться нечто целое, и оно сделает возможным как отдельное дело капиталистов и их обогащение, так и удовлетворение потребностей и дальнейшее существование общества в целом.

Говоря точнее, из хаоса рынка, лишенного планомерности, должны создаться, во-первых, постоянный кругооборот отдельного капитала, возможность производить, продавать, закупать и вновь производить, при чем капитал постоянно переходит из денежной формы в товарную и обратно. Эти переходы должны согласоваться между собою. Нужен запас денег, чтобы пользоваться всякой конъюнктурой на рынке для закупки и покрывать текущие расходы по предприятию; с другой стороны деньги, притекающие постепенно назад по мере продажи товаров, должны быть немедленно снова помещаемы в дело. Отдельные капиталисты, с первого взгляда как будто совершенно не зависимые друг от друга, фактически заключают между собою великое братство; они дают в заем друг другу необходимые деньги при помощи системы кредита и банков и с другой стороны берут имеющиеся в запасе деньги и тем самым обеспечивают возможность беспрерывного производства и продажи товаров как для отдельных лиц, так и для общества. Кредит, который буржуазная политическая экономия может объяснить лишь как хитрое установление для «облегчения товарооборота», Маркс выясняет попутно во втором томе своего сочинения, как простую форму существования

капитала, как связь между двумя фазами жизни капитала: в производстве и на товарном рынке, а также между, как будто бы самодовлеющими, движениями отдельных капиталов.

Во-вторых, в хаосе отдельных капиталов нужно постоянно поддерживать кругообращение производства и потребления общества в целом, и притом таким образом, чтобы условия капиталистического производства, а именно: созидание средств производства, питание рабочего класса, прогрессирующее обогащение класса капиталистов, т.-е. постоянно растущее накопление и пользование капиталом, остались бы обеспеченными для общества. Во втором томе своего сочинения Маркс, впервые за сто лет со времени Адама Смита, хотя и не вполне разрешил, но поставил на прочную основу закономерности целый ряд относящихся сюда проблем. Он показал, как из бесчисленных хаотических движений отдельных капиталов образуется нечто целое; как это движение целого поддерживается всегда в рамках правильного соотношения; как путем постоянных колебаний, то избытка повышающейся конъюнктуры, то распада и кризисов всегда снова восстанавливается равновесие, чтобы потом снова выйти из него; как посредством всего того, что для теперешнего общества является только средством, т.-е. его собственного пропитания и экономического прогресса, и того, что является его целью — прогрессирующего накопления капиталов, капитал приобретает еще более грандиозные размеры.

Но все это еще не исчерпывает тернистой задачи капиталиста. После того или по мере того, как прибыль в возрастающих размерах превращается в деньги, возникает великий вопрос, как поделить добычу. На нее заявляют притязания самые разнообразные группы: на-ряду с предпринимателем купец, банкир, землевладелец. Они все способствовали эксплоатации наемного рабочего и продаже изготовленных им товаров, каждый в своей области, и потому требуют каждый своей доли прибыли. Это распределение, однако, гораздо более щекотливая задача, чем может казаться с первого взгляда. И среди предпринимателей, в зависимости от рода предприятия, есть значительные различия в получаемых прибылях, как только эта прибыль, так сказать, в свежем виде получается из рабочей мастерской.

В одной отрасли производства получение товаров и продажа их происходит очень быстро, и потому капитал возвращается с приростом в самое короткое время; он быстро вновь пускается в оборот и дает новую прибыль. В другой отрасли производства капитал лежит в производстве целые годы. и только после долгого времени приносит известную прибыль. В известных отраслях производства предприниматель должен затратить значительную часть своего капитала на мертвые средства производства: строения, дорогие машины и т. д., которые сами по себе не приносят ничего, не дают прибыли, но все же необходимы для извлечения прибыли. В других же отраслях предприниматель может употреблять свой капитал, главным образом, для привлечения рабочих, и каждый из них является курицей, которая несет для него золотые яйца.

Таким образом, в самом извлечении прибыли возникают значительные различия между отдельными капиталистами, и эти различия представляют собой в глазах буржуазного общества гораздо более «вопиющие несправедливости», чем своеобразное «разделение» прибыли между капиталистом и рабочим. Как установить известное уравнение, «справедливое» распределение добычи так, чтобы каждый капиталист «получил свое»? Все эти вопросы приходится решать без всякого сознательного и планомерного распределения. Распределение в современном обществе носит такой же анархический характер, как и производство. Никакого «распределения», в смысле установленного общественного масштаба, вообще не имеется; есть только обмен, товарообращение, только покупка и продажа. Но как же, одним только путем слепого товарного обмена, каждой категории эксплоататоров и каждому отдельному эксплоататору среди них получить «справедливую», с точки зрения капиталистического господства, часть богатства, созданного рабочею силой пролетариата?

На эти вопросы Маркс отвечает в своем третьем томе. После того, как он в первом томе разобрал производство капитала и тайну образования прибыли, а во втором изложил движение капитала между фабрикой и товарным рынком, между производством и потреблением общества, Маркс изучает в третьем томе распределение прибыли. И он делает это при соблюдении тех же трех основных посылок: что все, что

происходит в капиталистическом обществе, протекает не случайно, а по определенным, планомерно действующим, хотя и не осознанным участвующими лицами законам; что хозяйственные отношения покоятся не на насильственных способах грабежа и кражи и, наконец, что никакой общественно-разумной мысли не проявляется в планомерном воздействии на целое. Все явления и отношения капиталистического хозяйства Маркс выводит, с прозрачной последовательностью и ясностью, исключительно из механизма обмена, иными словами, из закона стоимости и вытекающей из него прибавочной стоимости.

Если бросить общий взгляд на весь труд Маркса в целом, то можно сказать, что первый том с содержащимся в нем учением о законе стоимости, заработной плате и прибавочной стоимости обнаруживает фундамент современного общества; второй и третий томы показывают этажи здания, которое покоится на этом фундаменте. Или, пользуясь другого рода сравнением, можно сказать, что первый том показывает нам сердце общественного организма, где образуется животворящий сок, а второй и третий томы объясняют кровообращение и питание целого организма вплоть до наружных клеточек кожи.

Соответственно содержанию мы обретаемся в двух последних томах на совершенно иной плоскости, чем в первом. В первом томе мы нащупывали источник капиталистического обогащения в мастерской, в глубокой общественной рабочей шахте. Во втором и третьем томах мы движемся на поверхности, на оффициальной сцене общества. На первом плане тут — товарные склады, банки, биржа, денежные дела, «нуждающиеся аграрии» и их заботы. Рабочий во всем этом не участвует. Ему, действительно, мало дела до всего этого, что разыгрывается за его спиной после того, как с него уже содрали шкуру. И в жизни, в шумной суете деловой толпы, мы встречаем рабочих лишь при свете утренней зари, когда они направляются кучками в мастерские, и в сумерках наступающего вечера, когда мастерские извергают их длинными вереницами из своих недр.

Остается неясным, какой интерес могут иметь для рабочих различные частные заботы капиталистов при извлечении прибыли и их ссоры между собою из-за дележа добычи. Фактически, однако, второй и третий томы «Капитала» столь же

нужны для исчерпывающего понимания современного хозяйственного механизма, как и первый том. Конечно, они не имеют того решающего и основного исторического значения для современного рабочего движения, как первый том. Но они заключают в себе много прозрений, которые неоценимы для духовного снаряжения пролетариата в его практической борьбе. Приведем только два примера.

Во втором томе Маркс, рассматривая вопрос о том, как из хаотического движения отдельных капиталов может возникнуть правильное питание общества, естественно затрогивает вопрос о кризисах. Систематического и учетного исследования о кризисах тут ожидать не приходится, а есть лишь несколько беглых замечаний. Но знакомство с этими замечаниями оказало бы большую пользу просвещенным и мыслящим рабочим. Одним из постоянных, так сказать, железных положений социал-демократической и в особенности профессиональной агитации является утверждение, что кризисы возникают, прежде всего, вследствие близорукости капиталистов: они не хотят понять, что массы их же рабочих являются их наилучшими потребителями и что достаточно поднять заработную плату рабочих, чтобы приобрести платежеспособных потребителей и устранить опасность кризиса.

Как ни популярно это воззрение, оно все же совершенно неправильно, и Маркс опровергает его следующими словами: «Совершенная тавтология утверждать, что кризисы возникают вследствие недостатка платежеспособного потребления или платежеспособных потребителей. Капиталистическая система вообще не знает других потребителей, кроме платящих, за исключением бедных, содержащихся на общественный счет, и «мошенников». Когда товары не продаются, это и значит, что для них не находится платежеспособных покупателей и следовательно потребителей. Чтобы придать этой тавтологии более глубокое обоснование, говорят, что рабочий класс получает слишком ничтожную часть своего собственного продукта и что для устранения этого зла следует увеличить получаемую рабочими часть, вследствие чего естественно возрастет их заработная плата. На это нужно заметить, что кризисам обыкновенно предшествует период, когда заработная плата вообще повышается и рабочий класс получает относительно большую долю в той части ежегодного продукта, которая

предназначена для потребления. Такие периоды, с точки зрения рыцарей здравого и «простого» человеческого смысла, должны были бы, напротив, отдалять кризисы. Ясно поэтому, что капиталистическое производство содержит в себе некоторые условия, независимые от доброй или злой воли людей, что эти условия допускают лишь на короткое время относительное благополучие рабочего класса и это благополучие является всегда буревестником наступающего кризиса».

И действительно, второй и третий томы дают нам возможность очень глубоко заглянуть в сущность кризисов; они оказываются просто неизбежными последствиями движения капитала — движения, которое в своем неистовом, ненасытном стремлении к накоплению, к росту, вскоре перекатывается чрез границы потребления, как бы это потребление ни расширялось, вследствие увеличения покупных средств у отдельного общественного класса, или даже вследствие завоевания совершенно новых рынков для сбыта. Приходится поэтому отказаться и от скрывающейся за популярной профессиональной агитацией мысли, что между капиталом и трудом существует гармония интересов и что только близорукие предприниматели не видят ее. Вместе с тем падает и всякая надежда внести какие-либо смягчающие поправки в хозяйственную анархию капитализма. Борьба за материальный подъем пролетариата имеет достаточно отличного оружия в своем духовном арсенале и не нуждается в теоретически несостоятельной и практически двусмысленной аргументации.

Другой пример. В третьем томе Маркс дает в первый раз научное объяснение тому явлению, перед которым с беспомощным изумлением останавливалась политическая экономия со времени своего возникновения, а именно, что во всех отраслях производства, при каких бы самых различных условиях в них не был вложен капитал, он приносит всегда так называемую «обычную» прибыль. С первого взгляда это явление, как будто, противоречит тому объяснению, которое дал сам Маркс, а именно возникновению капиталистического богатства из неоплаченного труда наемного пролетариата. Действительно, каким образом капиталист, который вложил в мертвые средства производства сравнительно большую часть своего капитала, будет получать такую же прибыль, как и его сотоварищ, потративший на это лишь ничтожные средства,

вследствие чего он может впрячь в работу большее количество живой силы?

И вот Маркс решает эту загадку поразительно просто, показывая, как выравниваются различия в прибыли посредством продажи одних сортов товаров по цене свыше их стоимости, а других — ниже стоимости, и как образуется одинаковый для всех отраслей производства «средний размер прибыли». Сами не имея об этом представления, без всякого сознательного соглашения между собою, капиталисты при обмене товаров как бы собирают в одну кучу всю отнятую от их рабочих прибавочную стоимость и затем братски распределяют между собою общую жатву эксплоатации, давая каждому часть, соответствующую величине его капитала. Отдельный капиталист таким образом получает не лично добытую им прибыль, а лишь приходящуюся на его долю часть прибыли, добытой всеми его сотоварищами. «Различные капиталисты, поскольку имеется в виду прибыль, выступают как акционеры акционерного общества, при чем доля прибыли исчисляется по процентам; поэтому, для различных капиталистов она различается только в зависимости от величины вложенного ими в общее предприятие капитала, в зависимости от их сравнительного участия в общем предприятии».

Какое глубокое проникновение заключается в этом, казалось бы, совершенно сухом законе «среднего размера прибыли»! Как ярко он разъясняет твердую материальную основу классовой солидарности капиталистов: в повседневной борьбе они являются враждующими братьями, но по отношению к рабочему классу они образуют нечто вроде франкмасонского братства, самым близким и самым эгоистическим образом заинтересованного в общей эксплоатации рабочих. Капиталисты, нисколько не сознавая, конечно, действия этих экономических законов, по безошибочному инстинкту господствующего класса проявляют понимание собственных классовых интересов и противоположность их интересам пролетариата; это понимание, к сожалению, более твердое и надежное среди всех бурь истории, чем классовое самосознание рабочих, впервые научно разъясненное и обоснованное в трудах Маркса и Энгельса.

Эти два кратких и наудачу вырванных примера показывают, какие непочатые сокровища духовного воздействия и

углубления для просвещенных рабочих содержатся в двух последних томах «Капитала» и ждут еще популяризации. Несмотря на свою незаконченность, оба тома дают больше, чем всякая готовая истина: они вызывают работу мысли, побуждают к критике и к самокритике, которая является самым основным элементом того учения, которое оставил после себя Маркс.

Критикуя политическую экономию, Маркс привел ее в законченное состояние. Он строил на фундаменте, заложенном Адамом Смитом и Рикардо; исследование капиталистического способа производства он продолжал с того пункта, где названные самостоятельные мыслители оборвали его,—вернее говоря, где они принуждены были его оборвать, так как игра имманентных законов этого способа производства еще не достигла такого развитого состояния, чтобы глубокое познание их было возможно. Буржуазные преемники классических экономистов шли обратным путем: чем больше капиталистическое производство показывало свой истинный и бесспорно некрасивый облик, тем больше они отказывались от исследования и разъяснения и ударялись в прикрашивание и затушевывание, называя это «дальнейшим развитием науки». При появлении книги Маркса они попробовали сначала применить к ней свою излюбленную систему замалчивания, но когда эта тактика оказалась недействительной, то они подняли страшный вопль по поводу якобы ненаучной ее тенденции. Чрезвычайно характерна в указанном смысле критика, которой подвергся первый том «Капитала» спустя 8 лет после своего появления,—критика, исходившая не от первого встречного манчестерца, а, как это явствует из всего содержания, от какого-то видного представителя исторической школы.

Сей превосходный муж писал, что кто хочет основательно понять сущность капитала, тот должен научно исследовать действительную историю последнего. Для подобной работы требуются силы гиганта и терпение карлика. Кто хочет разговаривать о несправедливости нынешнего распределения богатств, тот должен исследовать факты, касающиеся современных прибылей и заработных плат, собственности, ее роста и ее гибели. Только таким путем он может доказать что-нибудь сведущим читателям. После подобного вступления

читатель был бы в праве ожидать заключения, что Маркс удовлетворил всем указанным требованьям. Не тут-то было! «Маркс, — читаем мы, — сознательно и намеренно становится на точку зрения английской политической экономии первой четверти XIX-го века, пренебрежительно игнорируя или, пожалуй, действительно не зная всех дальнейших успехов в разработке науки. Он старается развивать дальше и дополнять Давида Рикардо, следуя его абстрактной манере, старается как бы доказать последнее недоговоренное слово Рикардо. Со всей гордостью самоучки он опирается на предпосылки, которые для него составляют нечто бесспорное, тогда как для других они являются чем-то давным-давно опровергнутым. Рикардо и другие старые авторы имеют, конечно, ту неоспоримую заслугу, что они применяли и усовершенствовали экономическую логику, но все это происходило давно и отошло в область прошлого. Кто рассчитывает в настоящее время двигать вперед науку попытками разрешать при помощи экономической логики жгучие вопросы, связанные с капиталистической собственностью, тот ошибается и... проспал целое поколение в жизни науки». Это «целое поколение», которое будто бы проспал Маркс, было наполнено, с одной стороны, софизмами, при помощи которых Бастиа и его подражатели фальсифицировали учение Адама Смита и Рикардо, с другой — боязливыми усилиями Рошера и прочих мастеров «исторического метода» обойти как-нибудь неудобные логические выводы из классической экономии.

Мы можем ограничиться одним этим образчиком, так как при всей нелепости содержащихся в нем рассуждений он является классическим для той меры понимания, которую буржуазная экономия обнаруживала в течение многих лет и десятилетий всякий раз, когда ей приходилось разбирать произведения Маркса. Со временем и для нее оказалось невозможным избегнуть его влияния. Самый ход вещей слишком разительно подтверждал выводы, сделанные Марксом, чтобы правильность его аргументации не стала очевидной даже для близоруких глаз. Ни один буржуазный экономист не осмеливается теперь больше повторять старую дребедень, которою 20 лет тому назад приветствовали в этих кругах первый том «Капитала»; можно даже без преувеличения сказать, что вся действительная работа, какую еще делает буржуазная

экономия, находится прямо или косвенно под влиянием этой книги. Поскольку буржуазная экономия борется с научным коммунизмом не при помощи одних соломинок, а имея сколько-нибудь твердое оружие в руках, она выковала это оружие в огне «Капитала». От своей судьбы она все-таки не уйдет, как не могут уйти от своей судьбы орды варваров, даже когда они прибегают к оружию цивилизации, чтобы защитить свои отжившие общественные порядки.

Однако и рабочему классу нужно было еще пройти через школу экономического развития раньше, чем произведение Маркса начало переходить в его плоть и кровь. Причина заключалась в положении вещей, на которое Маркс намекнул сам в предисловии к «Капиталу», говоря, что Германию, как и всю остальную континентальную Европу, угнетает не только развитие капиталистического способа производства, но и недостаточность этого развития. Длинный ряд унаследованных зол, вытекающих из прозябания старых, отживших способов производства, с сопровождающими их общественными и политическими анахронизмами затемнял еще для рабочих внутреннюю связь современных зол, раскрытую сочинением Маркса. Иоганн-Филипп Беккер назвал последнее «библией рабочего класса», — теоретически неудачное, но исторически верное сравнение. На первых порах перед «Капиталом» больше останавливались в изумлении, чем читали его; ему больше удивлялись, чем понимали его, его толковали больше с правоверным усердием, чем с критической вдумчивостью. Упрек по поводу «догматического фанатизма» имел в то время больше смысла, чем теперь, когда неудержимый прогресс германской крупной промышленности ежедневно показывает, насколько правильно Маркс понял типическую сущность английской крупной промышленности, насколько книга его была не догматическим, а историческим сочинением.

Историческое сочинение, изображающее определенный период в процессе развития человечества, не может быть непогрешимым источником мудрости на все грядущие времена, и никто не был более далек от подобной претензии, чем сам Маркс. За последние 30 — 40 лет капиталистический способ производства породил многие явления, которых Маркс не знал и не предвидел в их теперешнем виде; характерный жизненный

путь современной промышленности не имеет больше формы того 10-летнего круговорота, о котором говорил Маркс. Однако, всякое уклонение в фактах лишь подтверждало правильность общей тенденции, историческое господство которой Маркс подметил в капиталистическом способе производства. Обнищание, с которым сопряжен для рабочего класса капиталистический способ производства, тщетно пытаются опровергнуть указанием на успехи, достигаемые этим классом именно там, где названный способ производства достиг наиболее высокого развития. Тенденция капиталистического накопления, доказанная Марксом, в том и состоит, что чем дальше, тем больше крупная промышленность своим бичем голода и тяжкого труда сама обучает и дисциплинирует рабочую армию, которая вырвет ее капиталистические корни. Пресловутая мудрость, которая хочет убедить рабочий класс в несостоятельности экономической и политической классовой борьбы, выдавая с этой целью за плоды крупной промышленности то, что было с тяжелыми усилиями вырвано у этой промышленности пролетарскою классовой борьбой, — эта мудрость может в лучшем случае сойти за «шутки висельника», которыми капиталистический способ производства сокращает себе горестные этапы своего неудержимого упадка.

Тематически связанные материалы
(скачивать на странице http://vive-liberta.narod.ru/biblio/biblio_1.htm)

Теодор Дезами. Кодекс общности
Этьен Кабе. Путешествие в Икарию
Вильгельм Вейтлинг. Гарантии гармонии и свободы. Человечество, как оно есть, и каким оно должно было бы быть
Изложение учения Сен-Симона (лекции Базара, Анфантена, Родрига)
В.Вознесенская. Экономические воззрения великих социалистов-утопистов Запада

А.Иоаннисян. Коммунистические идеи в годы Великой французской революции
А.Иоаннисян. К истории французского утопического коммунизма первой половины XIX столетия
А.Иоаннисян. Революционно-коммунистическое движение во Франции в 1840-41 гг.
А.Иоаннисян. Революционно-коммунистическое движение во Франции в 1842-47 гг.
А.Иоаннисян. Революция 1848 года во Франции и коммунизм
А.Шутов. Коммунисты и социал-демократы

В.Волгин. Пьер Леру — один из эпигонов сен-симонизма
В.Волгин. Очерки истории социалистических идей с древности до конца XVIII в.
В.Волгин. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII веке
В.Волгин. Социальные и политические идеи во Франции перед Революцией
В.Волгин. Французский утопический коммунизм: к 200-летию со дня рождения Гракха Бабефа
В.Волгин. Очерки истории социалистических идей. Перв.половина 19 в.
А.-Л.Мортон. Английская Утопия
Дж.Рюде. Народные низы в истории. Идеология и классовое сознание. Идеология народного протеста

С.Назарова. Проблема социальной революции в работах Т.Дезами

К.Оберманн. Революционное значение пропаганды Вильгельма Вейтлинга в 1838-1843 годах
Н.Застенкер. Анри де Сен-Симон
В.Волгин. Сен-Симон и сенсимонизм
Г.Кучеренко. Сен-симонизм в общественной мысли XIX в.
Б.Рожков. Идейная борьба между оуэнистами и чартистами
И.Зильберфарб. Творческий путь Шарля Фурье
И.Зильберфарб. Шарль Фурье и французская революция
Н.Застенкер. Прудон и февральская революция 1848 г.
Н.Застенкер. Прудон и его проект «Банка обмена»
С.Бернстайн. Филипп Буонарроти и Бронтер О'Брайен

Г.Быков. Английский рабочий класс во второй половине XVIII в. и в первой половине XIX в.
Е.Кожокин. Французская буржуазия на исходе Старого порядка
Е.Кожокин. Французские рабочие: от Великой буржуазной революции до 1848 г.
Л.Гордон. Забытый утопист XVIII века Тифэнь Деларош
Л.Морщихина. О принципах управления "идеального государства". Эгалитарная утопия якобинской диктатуры
З.Чеканцева. Политические представления французских простолюдинов на исходе Старого порядка
Ж.Дотри. Бабувистская традиция после смерти Бабефа и до революции 1830 г.
И.Киссельгоф. К истории возникновения «Общества прав человека и гражданина» (1830—1833)
П.Ткаченко. Восприятие революционными разночинцами идей западноевропейского утопического социализма
П.Фроман. Рабочее восстание в Лионе
Р.Барни. Фоше и «Социальный кружок»
«Весна народов»: революции 1848-1849 гг.
Ф.Потемкин. Июльская монархия во Франции (1830—1848 гг.)
Ф.Потемкин. Промышленная революция во Франции. Т.I. От мануфактуры к фабрике. Т.II. Положение трудящихся масс и социальные движения
Ю.Кучинский. Условия труда во Франции с 1700 по 1948 гг.
Л.Эритье. История французской революции 1848 г. и Второй республики. Выпуск 1. 1814-1848 гг.
М.Нечкина. Что дает историку «Капитал» Карла Маркса
П.Луи. Французские утописты: Луи Блан, Видаль, Пекер, Кабе, с отрывками из их произведений

Некоторые персоналии

ДЕЗАМИ Теодор http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref4.htm#th-dez dezamy
КАБЕ Этьен http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref4.htm#cabet
БЛАН Луи http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref1.htm#lblanc
СЕН-СИМОН Клод Анри http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref4.htm#st-sim
ЭНГЕЛЬС Фридрих http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref4.htm#eng
МАРКС Карл http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref4.htm#marx
ПИЙО Жан Жак http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref4.htm#pillot